Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет

ARS DOCENDI
ИСКУССТВО НАУЧИТЬ

К 90-летию латиниста
Николая Алексеевича Федорова



Москва
Издательство ПСТГУ
2015

УДК 82-94(08)
ББК 84стд1-4
А80

Редакторы
М. Мушинская, Н. Кулькова

Эскиз обложки *А. Н. Федорова*
В оформлении обложки использована картина
«Портрет латиниста Н. А. Федорова».
Художник *Елена Рубанова*. Холст. Масло. 2011 г.

А80 Ars docendi – Искусство научить: К 90-летию латиниста Николая Алексеевича Федорова: Сб. / [Сост. Е. С. Федорова]. – М.: Изд-во ПСТГУ, 2015. — 472 с.

ISBN-978-5-7429-1016-9

В истории московского классического образования уроки латинского языка Николая Алексеевича Федорова составляют целую эпоху: он преподает 65 лет. Его ученики ныне видные ученые, переводчики, преподаватели, писатели, журналисты. Оригинальные впечатления и суждения о манере преподавания и личности Н. А. Федорова, написанные специально к данному изданию коллегами, друзьями и учениками, собрали уникальную коллекцию статей, ярко характеризующих время, а также свидетельствующих, что московские филологи сегодня являются живым содружеством, школой. Особый раздел составляет ранее не публиковавшееся научное сочинение Н. А. Федорова.

Сборник представляет интерес для истории педагогики, истории образования, истории науки, для культурологических и психологических исследований, а также открывает новые материалы в области локалистики и каждодневной истории.

УДК 82-94(08)
ББК 84стд1-4

ISBN-978-5-7429-1016-9

DE NICOLAI VITA ET ARTE DOCENDI

NICOLAI ALEXII FILII CURRICULUM VITAE

Федоров Николай Алексеевич (16.04.1925. Москва) — специалист в области классической филологии, латинист, переводчик.

Николай Алексеевич родился в семье Алексея Николаевича и Зинаиды Михайловны Федоровых в Москве, в Трубниковском переулке. В 1933–1944 гг. учился в московской средней школе № 91 и в казанской — с перерывом в два года (1941–1942). Важную роль в выборе специальности сыграло общение Федорова с историком западного театра и литературы А. К. Дживелеговым.

В 1944–1949 гг. Федоров учился на отделении классической филологии филологического факультета Московского университета. Учителями Федорова были С. И. Радциг, П. М. Шендяпин, К. Р. Мейер, А. Н. Попов. С 1949 по 1952 г. он обучался в аспирантуре по кафедре классической филологии (под научным руководством С. И. Радцига). В Московском университете Федоров работает с 1952 г.

С 1994 г. Н. А. Федоров — профессор кафедры античной культуры историко-филологического факультета (с 2003-го — Институт восточных культур и античности) РГГУ. Со дня открытия (1994) по 2008 г. он декан филологического факультета РПУ св. Иоанна Богослова. В 1990-е вел курс латинского языка в Греко-латинском кабинете Ю. А. Шичалина; с 2003-го преподает в ПСТБИ (ПСТГУ). За вклад в развитие культуры и классического образования награжден орденами Св. Даниила Московского 3-й степени, Св. Сергия Радонежского 2-й степени, Св. Иннокентия Московского 3-й степени. Глубочайшее знание и тонкое понимание латинского языка всех периодов сделали Федорова общепризнанным авторитетом в области латинистики. Основной предмет его научных интересов —

латинская литература Рима и европейского Средневековья. Его кандидатская диссертация (защищена в 1981 г.) и основные научные исследования посвящены анализу эстетической лексики Цицерона. В переводе Федорова вышли философские сочинения Цицерона — «О пределах добра и зла», «Парадоксы стоиков», «Учение академиков». Он выпустил первую в России хрестоматию средневековых и ренессансных латинских текстов (2003). В его переводах выходили латинские сочинения великих авторов эпохи Просвещения: Гассенди, Бэкона, Скалигера, Лейбница, Локка, Гоббса.

Н. А. Федоров участвовал в конгрессах Академии содействия развитию латинского языка и культуры (Academia latinitati fovendae) в Бухаресте (1970), Левене (1993), Мадриде (2002), а также в конгрессах ФИЕК (Будапешт, 1980) и «Эйрене» (Ереван, 1976) и пр.

В 1970–80-е гг. Николай Алексеевич создал Студенческий латинский театр филологического факультета Московского университета; инсценировки античных и средневековых текстов (Плавта, Катулла, Гросвиты). Театр под его руководством с блестящим успехом выступал в Москве, Ереване, ГДР.

Вместе с В. И. Мирошенковой (1924–1991), замечательным педагогом, эллинистом и латинистом, Н. А. Федоров написал учебник латинского языка, впервые вышедший в 1968 г. под названием «Латинский язык. Учебное пособие для студентов-заочников» и с тех пор выдержавший 11 изданий, этот учебник стал базовым пособием в ведущих вузах России и давно уже признан классическим. Как базовые учебные пособия во многих вузах приняты и хрестоматии по греческой и римской литературе, составленные Н. А. Федоровым и В. И. Мирошенковой.

Н. А. Федоров — выдающийся педагог; уже более 50 лет он оказывает глубокое формирующее влияние на московских филологов. Для тех, кто учился у него, его уроки понимания текста остаются образцом во всей последующей научной и переводческой работе. Виртуозное владение предметом, любовь к античным авторам, к русской словесности и театру и, главное, яркая, артистичная личность Федорова уберегают студентов

и от скуки невежества, и от соблазнов ложной избранности и открывают для них античность как необходимую часть живой европейской культуры.

Соч.: Учебник латинского языка. М., 1968; 11-е изд. М., 2011 (в соавт. с В. И. Мирошенковой); Античная литература: Хрестоматия: Греция. М., 1989; 2002 (в соавт. с В. И. Мирошенковой); Античная литература: Хрестоматия: Рим. М., 1981; 2003 (в соавт. с В. И. Мирошенковой); Хрестоматия по Средним векам и Возрождению. М., 2003.

Пер.: *Бэкон Ф.* Соч.: В 2 т. М., 1971; 1972; *Лейбниц Г. В.* Соч.: В 4 т. Т. I, III. М., 1984; *Локк Дж.* Соч.: В 3 т. Т. III. М., 1988; *Марк Туллий Цицерон.* О пределах добра и зла: Парадоксы стоиков. М., 2000; *Марк Туллий Цицерон.* Учение академиков. М., 2004.

Лит.: *Фрумкина Р. М.* «О нас наискосок». М., 1997; *Солопов А. И., Полонская К. П., Тахо-Годи А. А.* Кафедра классической филологии // Филол. ф-т Моск. ун-та: Очерки истории. М., 2001.

Григорий Дашевский[1]

ЕКАТЕРИНА ФЕДОРОВА

МОСКОВСКИЕ АДРЕСА ЛАТИНИСТА НИКОЛАЯ ФЕДОРОВА

Николай Алексеевич подлинный старый москвич, по нынешним временам большая редкость. Это немалая часть, его сформировавшая. Корни его в самой гуще городской московской среды, его предки не аристократы, не промышленники, а потомственный городской люд, настоящие — из поколения в поколение — московские горожане. Большую роль в его формировании сыграл театр, в особенности музыкально-театральные жанры, а также радио, слушая которое с умом в те времена вполне можно было получить прекрасное образование. Записи классических спектаклей, опер и концертов, замечательные

[1] Филологический факультет Московского университета: Энциклопедический словарь. М.: Изд-во Моск. ун-та, 2005. С. 281–282.

радиоинсценировки детской сказочной классики — все это несло еще в очень большой мере отзвуки старой российской культуры.

Для понимания уклада этой семьи, который с революции почти не изменился, важно объяснить географию его детства современному читателю. Мама Николая Алексеевича Зинаида Михайловна (1898–1977) и отец Алексей Николаевич (1899–1943) родились и росли на одном и том же «пятачке», называвшемся тогда Новинский бульвар — сейчас это пересечение Садовой и Нового Арбата, — каждый в маленьком одноэтажном домике. Объединившись, молодые с родителями с той и другой стороны переехали в каменный многоэтажный доходный дом рядом.

Трудно представить себе это пространство, так все здесь ныне перестроено. Дом 11 по Трубниковскому переулку — именно туда после революции переселилась семья Федоровых — находился на пересечении Трубниковского и Кречетниковского переулков (теперь Кречетниковского и следа нет, он располагался параллельно нынешнему Новому Арбату). Здание скрывало за собой некий ансамбль строений, разделенных густым, старым садом (такой буколический мотив в центре Москвы уже не просто трудно — невозможно себе представить). С садом соседствовало маленькое городское кладбище, церквушка при кладбище, как водится, церковный флигелек...

Дом 11 принадлежал до революции князю Чегодаеву, равно как и отдельный «приросток» или флигель его — так называемая чегодаевская клиника, обращенная фасадом к внутреннему двору (этого крыла ныне не существует). Здание было возведено по проекту архитектора И. П. Машкова в конце XIX столетия. То было время расцвета строительства доходных домов Серебряного века, комфортных, оснащенных всеми техническими инновациями. В таких домах возможны были наряду с квартирами и клиники. Вот так и маленькая частная хирургическая клиника врача, князя А. В. Чегодаева, находилась в непосредственной близости с его жилой квартирой, примерно в том духе, как это замечательно реконструировано в фильме

«Собачье сердце», и это было обыкновением московских врачей — жить при своей клинике, чтобы в любой момент помочь больному. Было принято, чтобы и гимназические директора жили в квартире при гимназии... Чегодаевское здание, где родился Николай Алексеевич, было знаменито тем, что князь оперировал язву желудка художнику Валентину Серову здесь, поскольку, опасаясь перитонита, посчитали опасным перевозить его в городскую больницу...

А детство родителей Николая Алексеевича протекало внутри этой территории, отделенной от внешнего мира доходным чегодаевским домом. Итак, Зинаида Михайловна жила в «церковном домике» — так он назывался — позади дома князя Чегодаева, недалеко от больничного его крыла. Церковь была посвящена Иоанну Предтече[1]. За церковью простиралось церковное кладбище. Чтобы современный читатель представил себе — кладбище находилось за так называемым «Домом Морфлота»[2] (выросшим в 1937 г.). Даже в детстве Николая Алексеевича кладбище было уже «историческим» — на нем не хоронили.

На той же внутренней территории за домом князя Чегодаева, отделенный садом от церковного дворика, располагался еще один трехэтажный флигель, деревянный, крашенный красной краской, — «красненький домик», как называли его обитатели Кречетниковского и Трубниковского переулков. Там до революции жил будущий отец Николая Алексеевича Федорова с родителями.

Вот так они и познакомились, девочка из «церковного домика», мальчик из «красненького» — московские Дафнис и Хлоя, Алексей и Зинаида. Они жили, в сущности, в одном большом московском дворе...

Как упоминалось, Зинаида и Алексей стали мужем и женой, и в 1920-е гг. на первый этаж бывшего доходного дома 11 в квартиру 9 переехала из своих флигельков и поселилась вся большая московская семья Федоровых. Хотя квартира счита-

---

[1] Церковь Усекновения главы Иоанна Предтечи, что в Кречетниках, известна с 1657 г., снесена в 1930-х гг.

[2] «Дом Морфлота», или «Дом полярников» (построен в 1937 г.) — дом 12 по Новинскому бульвару, на пересечении с Новым Арбатом.

лась коммунальной, ее нельзя было считать таковой в общепринятом смысле слова, поскольку в разных комнатах жили и молодожены, и их родители с той и другой стороны. Трем комнатам предшествовала отдельная прихожая, а в отдаленном «аппендиксе» жили «настоящие» соседи, мало соприкасавшиеся с этим большим «федоровским пространством». Почему так подробно здесь описывается это устройство квартиры? Ибо бытие московской семьи чудным образом и благодаря стечению обстоятельств не испытало такого «жилищного слома», как это обычно бывало после революционных событий. Сохраненный уклад, бесспорно, оказал сильное влияние на формирование ребенка.

Итак, одну комнату занимал Алексей Николаевич Федоров с женой Зинаидой Михайловной и сыном Кокой (таким образом, Николай Алексеевич родился на Арбате — как и полагается, в роддоме Грауэрмана). В другой комнате жили бабушка и дедушка со стороны Кокиного папы.

В третьей комнате — мамины мама и отчим. Отчим мамы, Михаил Павлович Александров, в юности был настоящим дореволюционным фельдшером, страстно любящим и преданным медицине. Однако позже у него обнаружился драматический тенор. Он окончил Филармоническое училище в один год с Григорием Пироговым — и они приятельствовали всю жизнь. Позже Михаил Александров пел в небольших частных оперных театрах столицы. Однако сорвал голос и принужден был давать уроки пения. Маленький Коля помнил, что дед все время пел, а если не пел, то «крутил» пластинки с записями Карузо. Оперу Коля знал с детства превосходно. В доме была брошюрка, собравшая планы театров и виды зрительных залов. Любимым занятием его было рассматривать планы театров, воображать эти залы, наполнять их жизнью. Колю дедушка Михаил Павлович выучил читать и писать, разучивал с ним басни Крылова, так что в школу в 1933 г. Коля пришел вполне грамотным. Это была как раз школа, находившаяся в помещении бывшей так называемой нечаевской гимназии, в которой учился и его отец (в какой-то постреволюционный период она носила номер 39, а потом 106). В начальных классах он учился здесь.

Затем его перевели в бывшую 5-ю московскую мужскую классическую гимназию (ныне это знаменитая 91-я школа). 5-я гимназия находилась на углу Молчановки и Поварской, сейчас на этом пространстве мы видим церковь Симеона Столпника — церковь стояла во дворе школы. В те времена память о «пятой гимназии» была еще живой, было несколько преподавателей старого склада — если и не из той гимназии, то из какой-то другой московской — тогда никому бы в голову не пришло интересоваться из какой, это было небезопасно и для спрашивающего, и для того, кому вопрос был адресован. Память о прошлой жизни московских улиц была живой — в обиходе Федоровых и располагавшийся неподалеку «Дом Плевако» так и продолжал именоваться, хотя знаменитого адвоката уже и в помине не было, а дом «встроили» в современный...

Отец, Алексей Николаевич, окончил Московскую мужскую гимназию В. В. Нечаевой, что располагалась в начале Хлебного переулка, в двухэтажном доме — памятнике московского раннего классицизма (ныне здесь Институт США и Канады Российской академии наук). В той же гимназии несколькими годами позже учился актер МХАТа Павел Массальский. Дружившая с ним Наталия Сац подробно описала гимназическое юное житье-бытье. Совсем недалеко, в Столовом, была женская гимназия М. Г. Брюхоненко, где училась она, еще поблизости реальное училище Мазинга на Знаменке. И веселая романтичная жизнь гимназистов, реалистов и гимназисток предреволюционной эпохи, их «встречи на перекрестке» замечательно описаны ею в книге «Новеллы моей жизни»[1], запечатлены в главе «Красота и благородство». Много красоты и благородства было в этих щеголеватых предреволюционных московских переулках, в юных учащихся, в их общении и флирте, балах и маскарадах, чтении серьезных книг и первых самостоятельных рассуждениях. После революции гимназия Брюхоненко для девочек и гимназия Нечаева для мальчиков были объединены в одно учебное заведение. «Конец встреч на

[1] *Сац Н. И.* Новеллы моей жизни. Кн. вторая. М.: Искусство, 1985.

перекрестках»[1],— напишет Наталия Сац, подводя черту тому воздушному, беззаботному гимназическому детству...

Алексей Николаевич Федоров в самый канун революции поступил в Московский университет. Но, как сына чиновника, принадлежащего враждебному классу, после революции его отчислили, он не имел права учиться. По призыву А. Н. Федоров воевал на фронтах Гражданской войны, хотя, по сути, к призыву был непригоден — по причине врожденной травмы руки. Он был способным финансистом и, вопреки «лишенческой биографии», прерванному образованию, потом, до конца короткой жизни (он умер сорока с небольшим лет), работал в Наркомфине.

Дед Зинаиды Михайловны по материнской линии был из кантонистов[2]. Что касается отца Зинаиды Михайловны, то тут история загадочная. Мать ее выдали замуж в 16 лет и тут же, чуть ли не на следующий же день, забрали от мужа. Может быть, вынужденно? Прикрывая тайну? 17-летней «бабушка Клавдия» вернулась в семью и с тех пор жила в «церковном домике». С мужем Василием Романовым, служившим швейцаром в Политехническом, никогда больше не встретилась. А вскоре родилась девочка — и выросла не просто красивая, а с утонченными, породистыми чертами лица, изысканными ручками, точеными ножками, с изящными фигурой и манерами девушка. Все, кто знает Николая Алексеевича, не забывают впечатления поразительной красоты его чеканного лица, всего тонко обрисованного облика. Красотой он в маму... Однажды снял у них комнату оперный певец Александров. С Клавдией завязался пылкий роман.

---

[1] Ныне это известная школа № 110, образовавшаяся в свое время в результате слияния нескольких гимназий. После революции, в начале 1920-х, бывшая нечаевская носила имя «Единая трудовая опытно-показательная школа № 3 имени Карла Маркса».

[2] «Кантонисты — малолетние и несовершеннолетние сыновья нижних воинских чинов, которые образовали как бы особое состояние или сословие лиц, принадлежащих со дня рождения к военному ведомству и в силу своего происхождения обязанных военной службой (в России); поступавшие на службу из кантонов (особых полковых округов)» (Академическая еврейская Вики-энциклопедия — EJWiki.org).

Они сошлись и более не расходились. Зинаида стала зваться по имени отчима Михайловной, хотя злая соседка иной раз в глаза ехидно именовала ее Зинаидой Васильевной.

Оба дедушки и обе бабушки были любимы маленьким Кокой.

Мама Николая Алексеевича была человеком талантливым. При небольших средствах семьи Зинаиде Михайловне удалось окончить четырехклассную городскую школу, а с ее природными дарованиями этого курса хватило, чтобы овладеть прекрасной речью, красивым почерком, потребностью читать и в результате — хорошим знанием литературы. А еще открылось, со временем, врожденное чувство стиля, умение создавать одежду. Именно это слово – «создавать», в том же смысле, в каком Станиславский всегда высказывался о работе Надежды Сергеевны Ламановой. Ей привелось учиться, а потом стать и швеей в мастерской ученицы Ламановой. «Мастерская Фольмер» — такова была фамилия ученицы Ламановой — располагалась на Никитском бульваре, видимо в доме 13[1]. Как сохранила память Николая Алексеевича, близ дома, где умер Гоголь, во дворе которого с начала 1950-х находился «сосланный» памятник Гоголю, слишком пессимистичный, чтобы украшать более торжественное советское пространство. Поступила туда Зинаида лет в 15–16, в канун Первой мировой. Хозяйка, ценившая вкус и сноровистость девочки, сулила Зинаиде большое будущее, предрекала открытие собственного дела. Школа ее была искусной, ламановской. Потом всю жизнь Зинаида Михайловна шила на руках, презирая всякие механические приспособления. Отделанные ею костюмы, которые я еще видела, отличаются удивительной, ювелирно изящной строчкой — действительно, понимаешь, что всякая машинка при таком мастерстве груба и кощун-

[1] «Построено в 1910 г. по проекту архитектора Карла Кайзера под размещение гимназии. В доме размещались различные образовательные учреждения: Общество распространения практических знаний между образованными женщинами, частная женская гимназия Екатерины Николаевны Дюлу, курсы художественных вышивок, школы кройки и шитья» (URL: https://ru.wikipedia.org/wiki/Никитский_бульвар).

ственна. Как я жалею теперь, что созданные ею костюмы не достались музею А. А. Васильева.

Кстати сказать, для всех Федоровых актриса Вера Холодная оставалась особым образцом красоты и элегантности, особенно для мамы. В конце 20-х огромные шляпы Зинаиды Михайловны (когда все, что не косыночка, признавалось «чуждым и враждебным» и осуждалось обществом), строгие изящные костюмы, да и тип лица, и прическа, а главное пластика (которую сумели передать мгновенные снимки) воспроизводили европейский образ — вне «Советов рабочих депутатов». Дама на фотографиях Колиного детства — Голливуд, Скандинавия или Южная Франция 20-х? Да, все это можно себе представить.

В дореволюционном прошлом квартира Федоровых — барская квартира главного врача Басманной больницы, профессора Федора Михайловича Ремизова. Как уже упоминалось, патриархальный уклад ее не выветрился после известных событий 1918-го. Шум советской действительности не мог не доноситься с улицы, но и не был слишком назойлив. Коке он не досаждал. Семья тайно праздновала Рождество, тайно приносилась и украшалась елка — еще задолго до официально разрешенной «постышевской елки». Елку привозила молочница из деревни — в те годы по домам в центре Москвы еще ездили деревенские молочницы. Тайную елку наряжали в дореволюционные игрушки. Был такой новогодний набор у Федоровых, сделанный артистами Большого театра, — помимо деда Мороза и Снегурочки куклы представляли оперных персонажей, — например, Кармен, разных принцев и т. д. Елочные куколки были сделаны из ваты и сверху облиты каким-то очень стойким красящим веществом, так что, хотя и ватные, они оказались прочными и верно служили до войны — служили бы дольше, но, когда семья уехала в эвакуацию, куклы пропали...

Соседи по коммунальной квартире были учителями, мать семейства — директор школы в Поленовском дворике (ныне французская школа № 1231). Зная, что ставят тайную елку, причем елка наряжалась именно на Рождество, соседи свою дочь в гости к Коле в это время не пускали, чтобы та не увидела буржуазную елку. Трудно сейчас представить этот «сред-

невековый ригоризм», но спасибо и на том, что не доносили. В те времена это было проявлением немалой доброты и лояльности. В 1935 г. по предложению П. П. Постышева было принято постановление, разрешавшее елки и елочные праздники. Радость московской семьи Федоровых была безмерной, и дедушка Николай Афанасьевич даже в честь этого события повесил портрет Постышева в своей комнате. Через год Колю повели на официальную елку в Центральный дом работников искусств — билетов на главную елку в Колонном зале Федоровым было не достать. Н. А. вспоминает, что стали выпускать какие-то специальные елочные игрушки, сначала, как он говорил, грубые, нелепые, затем все лучше, лучше. Покупались и обычные детские игрушки (какие тогда водились, кустарные), для этого был специальный пеший маршрут с мамой — в Леонтьевский переулок, в магазин кустарной игрушки... Потихонечку, понемногу, но постоянно женщины семьи Федоровых ходили в церковь — и бабушки, и мама, Зинаида Михайловна. «Идеологически выдержанные» соседи-учителя в голос смеялись над ними, прекрасно понимая, когда Федоровы отправлялись в церковь, однако же и тут не доносили. С соседями Федоровым повезло. А детство Николая Алексеевича получилось несколько «анахроническим», и на самом пике общественного неприятия понятия «воспитанный» как чуждого и буржуазного домашнее воспитание он получил, решающим было влияние дома, а не школы, общества, улицы. Это обстоятельство сформировало его некоторую закрытость, не подавив непосредственности и горячего нрава.

Очень рано Колю стали водить в театры. Первым спектаклем, как водится, была «Синяя птица» во МХАТе, поставленная К. С. Станиславским в 1908 г. и шедшая с тех пор без изменений. До войны он успел увидеть «Три сестры» Чехова в постановке В. И. Немировича-Данченко (первую редакцию 1901 г. в 1940-м сменила вторая редакция того же режиссера), «Дни Турбиных» Булгакова, поставленный И. Судаковым и запрещенный в 1929-м, в 1932 г. спектакль был вновь возвращен на сцену, «Горячее сердце» Островского, поставленный Станиславским в 1926 г. Зачем мы называем даты постановок?

Николаю Алексеевичу удалось неоднократно видеть спектакли, несущие в себе дух настоящего старого, подлинно московского, общедоступного художественного театра.

Много ходил он в Театр Революции («Два веронца», «Собака на сене», спектакль «Правда» по пьесе А. Корнейчука, где Ленина играл Штраух). Он смотрел арбузовскую «Таню», но не с Бабановой, как можно было предположить, а с другой крупной актрисой — Карповой. Ведь в течение всего московского театрального детства билеты ему доставались на воскресные утренние «взрослые» спектакли, а Бабанова по утрам не играла. Но он успел повидать в спектаклях и Бабанову, и Глизер, и Д. Н. Орлова, Ивана Переверзева. Видел пьесу 1939 г. Николая Вирты «Клевета», где, Коля запомнил, играл Осип Наумович Абдулов, а в первом действии уничтожали, как «великий компромат», пластинки Вертинского. Инженера завода несправедливо обвиняли в измене родине, он подвергался всяческим преследованиям. Но в конце спектакля являлся энкавэдэшник в характерной фуражке, как deus ex machina, и все расставлял на свои места. Инженер был оправдан. Надо заметить, что то был короткий, полугодовой, период «оттепели», о которой теперь мало кто помнит. Берия сменил Ежова на его кровавом посту, были демонстративно выпущены узники по некоторым из сфабрикованных тогда печально известных «дел» 58-й статьи (впрочем, как правило, через некоторое время фигуранты вновь ссылались в «места не столь отдаленные»). Так что пьеса была «заказной» в самом прямом смысле слова. Кстати, Вертинский был тоже у Коли на слуху с детства, хотя в те годы Александр Николаевич был еще эмигрантом, вернулся в 1943 году. Может быть, и не пластинки Вертинского слушал, недоступные до войны, а в передаче домашних, напевавших то одну, то другую песенку. Например, с детства помнил песенку «Ваши пальцы пахнут ладаном, на ресницах спит печаль, ничего теперь не надо нам, ничего теперь не жаль...», посвященную Вере Холодной.

Разумеется, видел Коля и «Принцессу Турандот» в Вахтанговском, а также запомнился «Человек с ружьем», а в Малом — «Лекарь поневоле».



Прадед Афанасий Федорович Федоров, 1915 г.



Дедушка Николай Афанасьевич Федоров, 1891 г.



Дедушка и бабушка Н. А. и М. И. Федоровы около своего домика, 1914 г.



Дедушка Николай Афанасьевич Федоров. Первая мировая война



Церковь Иоанна Предтечи и флигели церковного дворика



Бабушка Марина Ивановна Федорова – сестра милосердия клиники кн. Чегодаева. Перед революцией



Дедушка и бабушка Н. А. и М. И. Федоровы у дома в Кречетниках, 1913 г.



Н. А. Федоров. Утренний туалет. Интерьер домика в Кречетниках. 1913 г.



Дом дедушки.
Кречетниковский пер.



Дедушка Михаил Павлович Александров,
певец (отчим матери)



Б. Молчановка. 5-я классическая гимназия,
которую окончил отец Н. А. Федорова



Отец
Алексей Николаевич Федоров



Мама Зинаида Михайловна
Романова



Отец А. Н. Федоров – гимназист (слева)



Отец Алексей Николаевич Федоров 1924 г.



Мама Зинаида Михайловна Федорова 1920-е гг.



Мама Зинаида Михайловна Федорова в церковном дворике 1924 г.



Зинаида Михайловна с Колей. Ему 8 месяцев. 1925 г.



Коля Федоров 1929 г.



Коля Федоров 1931 г.



Музыкальная школа находилась в Хиветном пер., затем в одном из переулков Арбата. 1936 г. Коля Федоров четвертый в последнем ряду слева



Коля Федоров. 1937 г.



Коля Федоров в школьном спектакле. 1939 г.



Коля Федоров. 1940 г.

А оперетта! Он так ее любил, что в детстве мечтал стать каскадным опереточным артистом. Всерьез собирался избрать артистическую карьеру. В последний момент испугался, что недостанет способностей. Помешала присущая ему на всех этапах жизни чрезмерная скромность, часто прямо переходившая в «заниженную самооценку»... Ему посчастливилось видеть настоящую классическую оперетту. Любимцем его был, разумеется, Григорий Ярон, он задыхался от восторга от элегантного и воздушного каскада Игнатия Гедройца, обожал глубокий баритон Николая Бравина. Напомним слова К. С. Станиславского: «Оперетта, водевиль — хорошая школа для артиста. Старики, наши предшественники, недаром начинали в них свою карьеру, на них учились драматическому искусству, на них вырабатывали технику». Кстати сказать, «античник» Федоров еще более неожидан в своих художественных пристрастиях — не только оперетта в числе его любимых художественных переживаний или Вертинский, которым он не перестает наслаждаться, «любоваться» им, но и Владимира Высоцкого он глубоко ценит за острую и точную социальную метафорику и едкий, разящий «не в бровь, а в глаз» юмор.

Артистизм Федорова, так поражавший всех в преподавании и столь нужный его методу, необходимый, не праздный, всецело способствующий успеху усвоения материала, — это артистическая довоенная Москва, живая в нем и по сей день. Но его секрет еще и в том, что ему свойственна не только внешняя артистичность манеры преподавания, — он внутренне, по-актерски и с большой долей «детскости», свойственной актерской натуре, «входит» в латинский текст и, подобно актеру, проживает не одну свою, но многие жизни в текстах. Оттого у него выработалось обыкновение, как бы примеривая текст на себя, «ныряя» в другие эпохи, искать в них сегодняшний день, отсюда бесконечные его ссылки: ut apud nos — «как у нас», в свое время отмеченные немецкими преподавателями латыни. Он даже прозвище получил такое на латинских семинарах в Германии — «Ut apud nos»... Мне думается, небезосновательно некоторые исследователи считают: Серебряный век как художественное явление, продолжавшее плодоносить,

жил и после революции и был оборван Второй мировой войной. Это соображение в основном относят к художественным фактам, созданным эмиграцией. Но, наверное, Серебряная эпоха жила и в России, пока жили и были творчески деятельны некоторые представители этой культуры, под спудом, втайне, вразрез и в противоречии с успешно утвержденным строем и — что важнее для формирования культурного сознания — с регламентированным властью *образом жизни*. И облик Федорова оттуда, поражающий не только вечной красотой, но и изяществом «прежних времен» в выражении и мимике лица, да и во всей, скажем по-актерски, «психофизике». В связи с этим вспоминается любопытная история. В 70-е гг. Н. А. Федоров присоединился к группе университетских историков, отправлявшихся на экскурсию в Париж. В аэропорту, как водится, их встречал сотрудник посольства. Опытным взглядом он окинул делегацию, всем энергично повторял: «Здрасьте, товарищи», — но, задержав взгляд на Федорове, на мгновение призадумался, произнес почему-то: «Bonjour, Monsieur...» Не признал «товарища». Весьма характерно. Хотя Федоров к тому времени был весьма активным парторгом кафедры. Но облик его и то, что называют психологи «невербальным языком», говорил о другом содержании личности и даже о другом «типе культуры». Помнится, замечательный, думающий, «нутряной» актер Станислав Любшин (Николай Алексеевич его высоко ценит и, помимо того, говорит, что он внешне очень похож на его папу) как-то за кулисами МХТ имени А. П. Чехова, где мы были по приглашению Киндиновых, заметил скромно сидящего в кресле Федорова, внимательным актерским взглядом мгновенно выделил его из окружающих, подсел, стал беседовать. В конце беседы задумчиво произнес: «Теперь я понимаю, как играть старого итальянского графа...» В общении с Федоровым Любшин спонтанно решал свою специфически актерскую задачу, обогащая роль пожилого аристократа в спектакле «Немного нежности», которую в те годы ему привелось играть на сцене МХТ...

Неверно думать, что Федоров не был увлечен (именно увлечен) идеями построения бесклассового социалистического

общества, многое объяснял сам себе (и младшим товарищам) и толковал «с лучшей и гуманной стороны», и вообще хотел жить в созвучии с текущим днем, участвовать в общественной жизни. Однако идеология одно, а культурный облик и так называемые фоновые знания — совсем другое. Бесспорно, тут было некое внутреннее противоречие, впрочем, у кого же его в ту эпоху не было? Дело для его психологического существования осложнялось тем, что он был сформирован чуждой злобе дня, задержавшейся и как бы законсервированной домашней культурой, о чем никогда не пожалел. Потому он был и открытым, и закрытым человеком одновременно — открытым в силу темперамента и детской непосредственности, которая никогда его не покинула, закрытым в силу житейской умудренности и трезвого ума.

Материальная скудость, да, очень коснулась детства Коли. У мамы было смолоду слабое здоровье, она почти не работала, папа был страстный игрок на скачках. В иной раз одну шоколадную конфетку мама делила для Коли на четыре части — на четыре дня. А образ жизни тем не менее в целом был скорее традиционно московский, продолжал жизнь столичных горожан. Позже Федорову очень понравилась книга Анатолия Рыбакова «Дети Арбата». Но он, коренной житель Приарбатья, своего детства и юности в ней не узнавал. Да оно и было другим, пожалуй. В нем как-то не было места «уличному взрослению». Важно не только то, что увлеченная театром семья, и красивая, элегантная мама в особенности, знакомила с ним Колю, но и то, что и он был в него не менее мамы погружен. Более того, из детства его память выхватывает и до сих пор держит в подробностях именно эти, иллюзорные события, а не дворовые, например, «догонялки». Впрочем, может быть, их не было в его детстве. Почти. Артистизм он вкладывал и в шалости, которые случались и в его детстве, как во всяком нормальном детстве. Их отличие в том, что они были все «постановочные».

Его память сохраняет, как малышом лет четырех, плывя на пароходе и в ветреную погоду укутанный на носу палубы в материнскую кофту, он тут же вообразил себя священником и, помахивая воображаемым кадилом, важно произносил «паки-паки...», других слов службы он по малолетству еще не усвоил.

В младших классах он придумал и поставил следующую, как все тогда трактовали, «шалость». Входит учитель. Весь класс сидит под партами, затаился и не дышит. Пустынно. И лишь на первой парте Коля Федоров и его друг, будущий филолог Марк Винокур, невозмутимо и безмятежно пьют чай с баранками. Их режиссерской задачей было выдержать именно это настроение полной невозмутимости. Немая сцена. Надо ли говорить, сколь тщательно готовился реквизит, доставались баранки, приносился из буфета чай...

Разумеется, без школьного театра Федорову было не обойтись. Была поставлена сцена из «Бориса Годунова», сцена из Мольера «Мнимый больной». Не обошлось и без «злобы дня». Под впечатлением безрадостных событий 1938 г., обсуждаемых повсеместно, Колей была сочинена и поставлена пьеса о неком вредителе — директоре завода. Он, разумеется, взял на себя острохарактерную роль директора. Тот подкрутил какие-то краники, завод остановился. Директор бежит за границу — этот побег Коля придумал, чтобы бежать, картинно задыхаясь. Но побег не удался! Суд над ним заканчивается фразой: «Суд окончательный и пересмотру не подлежит». Атмосфера эпохи террора уродовала детские души.

Началась война. Семья уехала в эвакуацию в Казань. Отец умер в 1943-м от туберкулеза. Туберкулез обрушивается и на Колю. Его направляют в детский санаторий. Вот там ему пришлось рано повзрослеть. Детям нередко приходилось самим обряжать своего умершего сверстника в последний путь и класть в гроб. Такие воспоминания в чувствительной душе не забываются никогда. Это не было никакой жестокостью руководства. Просто время было таким тяжелым, что с этим не справлялся немногочисленный персонал, и так выбивавшийся из сил...

Во время войны умерли бабушка и дедушка, родители отца, затем отчим матери. После войны жизнь уже никогда не вернулась в прежнюю колею. Бывшую дедушкину-бабушкину комнату власти перегородили пополам, вселили туда постороннего человека, началась обычная коммуналка «со многими ее прелестями». Очарование семейного гнезда потускнело, однако уклад федоровской семьи у Коли и его мамы как-то теплился, сохра-

нялся. Жили скудно, у Зинаиды Михайловны здоровье было подорвано войной, она по-прежнему почти не могла работать.

Алексея Карповича Дживелегова, который сыграл решающую роль в становлении специальности, юный Коля узнал в 40-е годы. Это был крупный ученый старой школы, подлинный энциклопедист, замечательный искусствовед и историк. Он появлялся в Трубниковском переулке, стуча палочкой в окно Елизавете Сергеевне Сокольской, артистке хора Музыкальной студии Художественного театра. Окна Сокольской находились прямо напротив окон Коли, в доме 18 по Трубниковскому переулку. В воспоминаниях Дона Аминадо читаем о некой Дживелеговой, жене московского профессора, которая жила в то время в Париже[1]. Конечно, такие факты полагалось скрывать. Так или иначе, ученый коротал одинокие дни в дружбе с Сокольской, ставшей позже его женой. Алексей Карпович производил на Федорова впечатление своей респектабельной, типично профессорской дореволюционной внешностью.

В «ПОЛЕ КРАСОТЫ»

В своем труде «Становление эстетической лексики Цицерона» Николай Алексеевич оперирует понятием «поле» (семантическое). Предметом изучения было «поле красоты в лексике Цицерона». В мир классической филологии, думается, он вошел как в «поле красоты». А предваряли это поиски.

Когда приблизилась пора поступать в высшее учебное заведение, мама Коли попросила Дживелегова об аудиенции. Тот принял юного Федорова и в результате беседы посоветовал поступать на филологический факультет МГУ. Случилось

---

[1] «Екатерина Нерсесовна Дживелегова, жена известного московского профессора и львица большого света» (*Дон Аминадо.* Поезд на третьем пути. М.: Вагриус, 2000. С. 247). Она была переводчицей, — например, перевела с французского рассказы и стихотворения в прозе К. Мендеса (М., 1912). Известно, что первым браком Дживелегов женился в 1897 г. на дочери московского профессора Е. Н. Нерсесовой, ставшей Е. Н. Дживелеговой и родившей ему двух дочерей. В официальной биографии ученого до сих пор о дальнейшей судьбе семьи – дырка.

так, что Коля не добрал полбалла. Дживелегов принял горячее участие и звонил тогдашнему ректору Галкину с просьбой принять Федорова. Коля попал сначала на русское отделение. Ему там не понравилось. Он стал энергично посещать лекции на других отделениях. И наткнулся на лекцию А. Г. Бокщанина[1], посвященную Древнему миру. Бокщанин был говорун, любил рассказать на лекции и о себе, и именно живость лекций, а также красота и огромность самого Древнего мира заворожила и соблазнила Федорова. И он вновь пошел советоваться к Дживелегову. Тот одобрил решение перейти на классическое отделение. Но тут было непросто — надо было найти человека, который согласился бы перейти на русское отделение в виде обмена. Это не остановило Колю, и такой человек, к счастью, нашелся. Переход на классическое отделение состоялся. Дживелегов подарил Коле соответствующие словари, несколько книг на латыни и греческом, а также... брюки. Ходить-то было не в чем, и ученый это прекрасно видел. Тогда все жили более чем скромно. Обласканный властями Дживелегов имел — о роскошь! — целых две комнаты в коммунальной квартире. (Вообще, в отдельных квартирах до войны в Москве жили, за какими-то единичными исключениями, только крупные чины НКВД, разумеется серьезное начальство, но не повсеместно, в редких случаях такую же привилегию получали «работники науки и искусства», в основном «в рамках профильных кооперативов».)

Но продолжались еще поиски авторитетов и знаний. Тогда были времена, когда крупные специалисты читали публичные лекции по своему предмету, адресованные не только студенчеству, но и всем, кому захочется. В лектории МГУ имелись платные абонементы, на лекциях бывал подлинный аншлаг, публика стремилась на них, как в консерваторию на известного тенора или на симфонический концерт, — словом, это было особым культурно-просветительским явлением послевоенной Москвы. Чтению предшествовали афиши, развешанные на

[1] Анатолий Георгиевич Бокщанин (1903–1979) — доктор наук и профессор Московского университета, где читал историю Древнего Рима.

улицах столицы. Происходило это в Коммунистической (бывшей Богословской) аудитории на Моховой. Так Федоров попал на первом курсе на лекцию знаменитого шекспироведа, сына Маргариты Кирилловны Морозовой — Михаила Михайловича Морозова[1]. В его импозантном облике, как казалось Коле, проступал «выросший Мика Морозов», изображенный на известном портрете Валентина Серова — «повзрослевший и оживший портрет». Позже Дмитрий Евгеньевич Михальчи[2] заинтересовал Николая Алексеевича, и он участвовал в его семинаре, посвященном литературе Возрождения, написал курсовую работу о Рабле. Ученые интеллигенты «старой формации»,

---

[1] М. М. Морозов (1897–1952), выдающийся шекспировед, в частности, вел шекспировский семинар на филологическом факультете МГУ. Литературу изучал в Англии. Работал режиссером, читал лекции по истории театра и английской литературы и т. д. Б. Л. Пастернак посвятил ему строки: «...И под руку с Морозовым — Вергилием в аду — Все вижу в свете розовом / И воскресенья жду» (цит. по: *Бэлза С. И.* Вдохновенный друг Шекспира // *Морозов М.* Театр Шекспира. М., 1984. С. 10). Легендарная Маргарита Кирилловна Морозова, прожившая яркую и трагическую жизнь, пережила сына, и вот что привелось вспомнить о нем: «Особенно характерной чертой его всегда была одержимость той мыслью, которая в данное время его захватывала. Однако это сочеталось в нем с исключительным упорством в работе над предметом увлечения. Ко всему, что было вне этого, он был невнимателен и даже рассеян. Всю жизнь помню его сидящим за письменным столом и пишущим. Меня всегда трогало его отношение к работе. Он любил свою работу, был буквально тружеником, который не жалел своих сил. В работе он был строг, добросовестен, никогда не работал поверхностно, а всегда вкладывал всю свою душу и знания. Память у него была очень большая. Что касается практической жизни, то он в ней часто терялся и бывал даже беспомощен. В жизни, во всех своих привычках и в обстановке, он был до крайности прост и скромен. Он любил жизнь, был очень веселый и живой собеседник, умел талантливо подражать и изображать тех, о ком рассказывал. С большой легкостью и грацией в движениях он импровизировал балетные танцы, несмотря на свою большую и грузную фигуру, чем забавлял и смешил нас. Он очень любил и хорошо читал стихи. Особенно любил он читать лекции и умел зажигать и увлекать слушателей. У молодежи он имел большой успех» (*Морозова М. К.* О моем сыне // Театр Шекспира. М., 1984. С. 10).

[2] Д. Е. Михальчи (1900–1973) — крупный романист, окончил историко-филологический факультет МГУ, «успев получить дореволюционное образование»; лингвист (романская лексикография) и литературовед (Средние века и Ренессанс).

видимо, бессознательно привлекали студента Федорова. А вот Александр Николаевич Попов, старый московский классик, почему-то вызывал отторжение (хотя коллеги говорили, что в приемах и манере преподавания Федоров очень напоминает Попова и многое из его приемов преподавания впитал). Видимо, это было бессознательное, чисто мужское, соперничество двух ярких педагогов разных поколений.

Совсем недавно Николай Алексеевич дополнил новыми рассказами уже известные:

«Когда я вошел внутрь этого мира классической филологии, конечно, там была атмосфера, несколько отличная от других отделений и от окружающего мира. Но это вовсе не то место, как бы противоположное «социалистической действительности», где можно было бы «укрыться от сегодняшнего дня», отнюдь нет. Меня принял мир прежде всего большого спокойствия, размеренности, упорядоченности — вот что мне импонировало. Этими свойствами отличались занятия Мейера и Шендяпина. Павел Матвеевич Шендяпин был импозантной внешности, но очень просто держался. Ну как его еще описать? Об одежде тогда не думали, каждый из преподавателей ходил в одном каком-то своем костюме, никто не обращал внимания. (Впрочем, когда у Шендяпина случился роман с яркой студенткой Ниной Клячко, позже благополучно закончившийся браком, вот тогда он купил новое пальто — и это было уже событием!) Шендяпин, Мейер, Радциг, Попов, Дератани были, бесспорно, интеллигентными людьми, но без особой, я бы сказал, утонченности, элегантности, интеллектуальных изысков. Конечно, знание своего предмета у всех было на очень высоком уровне. Павел Матвеевич Шендяпин вел у нас первые три года древнегреческий язык, хотя, вообще говоря, более тяготел к латинистике. В Шендяпине была привлекательная доброжелательность, почти домашняя атмосфера уютного добра, вот это большое спокойствие, так меня привлекавшее, последовательность, чистота четкости. Он был очень добрым человеком — это первое, что чувствовалось и запоминалось. В годы так называемого «безвременья», когда весь уклад старой России разрушился, многие люди интеллигентных специально-



Алексей Карпович Дживеелегов



Михаил Михайлович Морозов



МГУ. Годы ученья. Группа «классиков».
Справа налево: В. Фальский, Н. Федоров, Б. Волк, Л. Городкова,
Р. Титова, Е. Тимошенко



Н. А.Федоров 1957 г.



П. М. Шендяпин



А. Н. Попов с женой и П. М. Шендяпин



Сергей Иванович Радциг



Н.А. Федоров. 1957 г.



МГУ. 1957 г. Н.А. Федоров с однокурсницей К. Богдановой



Майская демонстрация

стей вынуждены были работать кто кем устроится. Шендяпин преподавал в одной из школ Арбата русский язык и литературу, как раз в той самой, где директором была наша «идейная соседка», и продолжал вести эти занятия и во времена моей учебы. Он умер вскоре после того, как мы закончили курс, в начале 50-х, нестарым еще человеком.

Латынь у нас первые три года вел Константин Рудольфович Мейер (1884–1963), замечательный человек и педагог, почти 20 лет преподавал на кафедре классической филологии. Странным образом, у многих ныне пожилых людей с годами не утихает потребность вспоминать Константина Рудольфовича и те далекие дни. Он не был отмечен никакими научными степенями и званиями, не оставил после себя никаких публикаций (начатый им уже на пенсии учебник латинского языка, к сожалению, остался неоконченным), ничего, кроме благодарной памяти учеников, любивших и глубоко уважавших своего учителя, человека «изящной и особой нравственной красоты», по очень точным словам одной из его учениц, З. Н. Морозкиной. По ее же словам, занятия с Константином Рудольфовичем остались для нее «одним из самых светлых и сильных воспоминаний всей ее жизни». Такое поистине трепетное отношение к учителю вытекало и из его личности, и из его профессиональной значимости и особой манеры преподавания.

В нем не было ни малейшего желания «показать себя», «продемонстрировать свою ученость», выказать превосходство, встречающиеся порой у иных педагогов, ни малейшей пристрастности и несправедливости. Свои уроки он вел спокойно, без напряжения, но как-то *значительно*, что вызывало уважение и интерес студентов, всегда внимательно следящих за его четким и исчерпывающим изложением материала. Заметив усталость слушающих, он мог рассказать между прочим с присущим ему чувством юмора какой-нибудь забавный эпизод из гимназической жизни и снова вернуться к теме занятия.

Мягкость и доброжелательность Константина Рудольфовича никогда не переходили в снисхождение и всепрощение — он всегда оставался очень требовательным, до педантичности, преподавателем, не пропускавшим ни одной ошибки или не-

точности в студенческом ответе, но делал он это всегда спокойно, без раздражения, не нанося малейшего укола самолюбию ученика.

Неудивительно, что и результаты всегда были, как правило, неплохие, но, что гораздо важнее, в памяти его учеников надолго остался глубокий след *человека*. А это был человек удивительной доброты и скромности, обладавший каким-то глубинным чувством собственного достоинства, никогда не афишируемого, не подчеркиваемого, но неизменно вызывавшего уважение к этому человеку. Вот этот нравственный стержень его личности был и заложен в нем и воспитан всей его не очень легкой жизнью.

Константин Рудольфович родился в Москве, в семье обрусевших немцев (отсюда, может быть, его педантичность и аккуратность); окончил с серебряной медалью 5-ю московскую классическую гимназию, одну из лучших в то время, а в 1910 г. получил диплом I степени на историко-филологическом факультете Московского университета по кафедре классической филологии. В этом же году он начал педагогическую деятельность, преподавая латинский в гимназии и на Женских курсах Полторацкого. (Между прочим, в гимназии он поставил со своими учениками комедию Плавта «Менехмы», первое действие которой исполнялось на латинском языке. Спектакль не остался в Москве незамеченным и получил одобрительные рецензии в прессе, а в одном из журналов была напечатана фотография всех его участников.)

Однако так успешно начавшийся профессиональный путь был прерван Первой мировой войной. С 1914 г. Константин Рудольфович на фронте, в чине прапорщика, участвует в боях в Восточной Пруссии. Он был ранен, оказался в плену, из которого возвратился только в 1918 г., а с 1919 г. К. Р. Мейер — в рядах Красной армии на Петроградском фронте.

В том же году он становится преподавателем математики в Высшей школе военной маскировки, и с этого времени без малого 20 лет его жизнь связана с армией, а профессией становится математика. С 1928 г., после недолгой работы в гражданских учреждениях, Мейер кадровый военный, преподаватель

математики в Московской Военно-инженерной школе и на Военно-политических курсах им В. И. Ленина, где заведовал кафедрой математики.

И только в 1938 г. Мейер демобилизовался по болезни (обострение последнего фронтового ранения). И в этом же году он наконец возвратился к своей основной профессии — классической филологии.

Его учителя (С. И. Соболевский и М. М. Покровский) — спустя почти четверть века! — приглашают его на кафедру классической филологии МИФЛИ, слившегося в декабре 1941 г. с Московским университетом. После вызванной войной эвакуации Константин Рудольфович с 1944 г. и до ухода в 1957 г. на пенсию по состоянию здоровья старший преподаватель кафедры классической филологии филологического факультета МГУ.

Память сохраняет его облик — он долгое время ходил в университет в потрепанной и оборванной шинели (пока не стали выдавать преподавателям ордеры на костюмы). Смутно что-то знали о случившейся с ним в годы Гражданской войны трагедии — будто бы дочь его вышла на улицу и никогда более не вернулась. Почему-то более 40 лет помнится, как весело и с любовью на его 70-летний юбилей мы с Жюстиной Севериновной Покровской покупали ему настоящий ампирный чайник...

Он вошел по праву в когорту бывших (дореволюционных) университетских и главным образом гимназических преподавателей (С. И. Радциг, А. Н. Попов, П. М. Шендяпин, А. Н. Воронков, А. Н. Дынников, Ж. С. Покровская) под руководством М. М. Покровского и С. И. Соболевского, возродивших кафедру классической филологии и заложивших прочную практическую основу ее существования и развития.

Латинист Жюстина Севериновна, дама в дореволюционном пенсне и блузках под горло, жена академика Покровского, француженка по происхождению, поражала издалека своей величественностью и статью. Она ничего не вела у нас, слышал только ее выступления на кафедре, но важный голос и импозантная внешность помнятся и сейчас.

Сергею Ивановичу Радцигу (1882–1968), когда мы учились, шел седьмой десяток, он был уже в преклонном возрас-

те, седой, небольшого роста, сухенький, с бородкой. Миниатюрной, я бы сказал, внешности противостоял потрясающий поставленный баритон Сергея Ивановича, который временами — в Коммунистической аудитории университета, где он читал лекции по античной литературе, — превращался в трубный глас, одновременно и тонко интонирующий, и протяжно-мелодический. Я слышал его лекции еще на русском отделении, а на классическом он занимался с нами греческой поэзией. Его лекции — это было настоящее «художественное исполнительство», «представление одного актера» — актерская подача материала. Если нужно, чтобы предмет «вошел» в студента, его тексты звучали «в ухе и в памяти», то Радциг сделал для этого все возможное. Он жил внутри произведений, о которых повествовал, существовал в них, это был его мир, ну, может быть, если не *реальный* для него *мир*, то *мир его реалий*. И он его умел с любовью доносить до слушателя. То есть он сторонился всякой теории, всецело принадлежал только тексту и его конкретике, и лекции его представляли углубленное ознакомление студентов со всеми подробностями «текстовой индивидуальности». Увы, несколько избалованные тем высоким уровнем знания предмета, виртуозным мастерством профессионального анализа текста, который был, к нашему везению, присущ всем, о ком я здесь говорю, мы возжелали большего! Нам хотелось теоретизирования, которого наши учителя дать не могли и в котором были сильны ленинградские филологи-классики. Мы даже жаловались, обидели старика Радцига, чего сегодня я стыжусь. Должен сказать, что уже смертельно больной, уже не встававший с постели, он до последнего дня вел занятия со студентами дома, даже не сидя — лежа!

А что касается теоретической стороны филологии, то, когда нашим учителям приходилось к ней обращаться, получалось часто наивно или невпопад, или прямолинейно до грубости. Так, Николай Федорович Дератани (1884–1958), учившийся до революции в Германии, успевший после окончания Московского университета побыть в должности его приват-доцента, в прошлом «октябрист», то есть принадлежавший до 1917 г. к либеральной партии правого толка (правее только кадеты),

партии, исповедовавшей умеренно-конституционные взгляды и поддерживавшей Столыпина, что он мог сделать после революции, как спастись? Он вступил в партию и в своих статьях предлагал почти карикатурно-социологические трактовки античного материала. Но надо подчеркнуть, что на занятиях эти «социальные экскурсы» никак не отражались, и у него, как у всех наших учителей, занятия были совершенно аполитичными, смотрящими «внутрь» содержания текста и его лингвистических особенностей, да и только. Вот и Радциг, когда надо, говорил: «Мы должны отметить юбилей Сталина», но чувствовалось, что именно надо, он и говорит без всякого личного отношения. Дератани был человек очень ученый, знал текст, но... не чувствовал его, мне кажется, в силу некоторой суховатости натуры, никаким социальным слоям и временам неподвластной. Вот Дератани интересовался метрикой, знал очень хорошо, но она в его руках, что называется, не оживала. Читал он у нас историю римской литературы на старших курсах.

Александр Николаевич Попов (1881–1972) заведовал кафедрой после Дератани. До революции он владел собственной классической частной гимназией — это улица Знаменка (здание нынешнего Гнесинского училища), а помимо того, был официальным консультантом Малого театра по традициям и быту старой Москвы — для постановки пьес А. Н. Островского. Помимо классики он был подлинным знатоком этого самого русского из драматургов, а также превыше всех любил поэта А. К. Толстого, очень ценил в студентах знание какой-либо строчки из его поэзии, приходил в восторг и хорошее настроение. В безвременные годы, когда всех классиков необходимость выживать и иметь кусок хлеба разбрасывала в разные стороны, Попов почему-то десять лет проработал юрисконсультом в Центросоюзе. И как-то чувствовалась в нем, в его хитроватой внешности, административная жилка, некоторая склонность к интригам, некоторая пристрастность к определенным лицам — ведь администрирование предполагает больший интерес, чем обычно, ко всем хитросплетениям людских отношений, — и навык все это исследовать и расставлять по местам в коллективе. Попов был нашим латинским преподавателем на старших курсах, когда

тексты изучались углубленно, и вполне соответствовал этой новой ступени открытия «мира текста», но тоже без концептуальности, которой мы искали бесплодно.

Не могу не упомянуть совершенно замечательного переводчика Александра Федоровича Петровского (1890–1978). Его перу принадлежит перевод Лукреция «О природе вещей». Он вел у нас занятия, посвященные латинской поэзии (в те времена кто-то выбирал поэтический семинар, кто-то прозаический). Петровский был человеком светским, очень остроумным, таким бонвиваном, мало походил на преподавателя вообще, какими они тогда были.

Еще мне хотелось бы вспомнить удивительное по тем временам начинание известного университетского русиста Н. И. Либана — в начале 1950-х на Ленинском проспекте в некой московской школе он попытался воссоздать традиционную гимназию со всеми ее особенностями, которую курировал филологический факультет МГУ, и пригласил меня туда преподавать латынь. Она просуществовала несколько лет...

Не хотелось бы повторяться, обращаю ваше внимание к интервью, которое несколько лет назад дал нашим студентам РГГУ...»

* * *

В Московском университете Николай Алексеевич вот уже 70 лет (с 1945 г.) — огромная эпоха, множество учеников, к которым он был строг и которыми до сих пор умеет безгранично и безоглядно восхищаться. Учебник «Lingua Latina», который написали два автора, два блестящих педагога — В. И. Мирошенкова и Н. А. Федоров — почти полвека (первое издание 1968 г.) является рабочим пособием для освоения латыни в вузах столицы и других городах России. Он два десятилетия является профессором РГГУ — и там обрел «второй дом», новых учеников, а прежние, университетские, ученики, в том числе и завкафедрой Николай Павлович Гринцер, — стали его коллегами. Здесь он впервые взялся за чтение латинских средневековых авторов. А один из его первых студентов на классическом отделении филологического факультета МГУ, архимандрит и писатель о. Иоанн (Экономцев), в начале 90-х пригласил его в

качестве декана историко-филологического факультета вновь образованного светского (но с полным кругом церковно-исторических дисциплин) Российского православного университета св. Иоанна Богослова. Десятилетие пробыл он на этом посту, его выпускники ныне работают в МГУ, в гимназиях, в «Православной энциклопедии». Начало 90-х, скудость материальная, нехватка помещений, но участники этих событий с двух сторон — с преподавательской и со студенческой, — вспоминают это время как счастливое: да, выпало счастье вновь ввести забытые с дореволюционных времен по идеологическим причинам очень нужные филологические дисциплины, соединить в единый образовательный цикл церковные и светские предметы, где гуманитарная наука оказалась не противопоставленной церковному благочестию. Н. А. Федоров находил радость в общении с людьми разных специальностей, приходивших к нему на латинские занятия на Курсах древних языков Ю. А. Шичалина, и тоже смог обучить латыни некоторых из этих взрослых, сложившихся людей, воспринимавших предмет как хобби. Наконец, Православный Свято-Тихоновский гуманитарный университет принял его на богословский факультет. И тут для Николая Алексеевича — простор в освоении христианских латинских авторов вместе со студентами. Он не боится новых филологических трудностей. Символично, что Наталья Алексеевна Кулькова в нынешнем 2015 г. юных победителей олимпиады по латинскому языку наградила тем самым учебником «Lingua Latina». Еще в 70-е Николай Алексеевич переводил с латинского Цицерона, Бэкона, Лейбница, Локка, Гоббса, Гассенди, итальянских гуманистов эпохи Возрождения, а сейчас впервые принялся за перевод раннехристианского автора IV в. н. э.

В работе он бурный и требовательный, в семье — мягкий и снисходительный до самозабвения. Я много раз видела проявления подлинного (тщательно скрываемого) благородства в разных житейских ситуациях. Говорит об этом самое очевидное — его лицо, которое остается красивым и сейчас, потому что прежде всего несет несомненный отпечаток благородства. А также в лице и сейчас отражается то, что можно назвать «чуткостью», — мимика сохранила всю палитру эмоциональных

реакций и переживаний, мгновенно вспыхивающих по поводу любых явлений «быстротекущей жизни». Черты его лица — главный свидетель того, как прожита жизнь, в том самом «поле красоты», которое он исследует лингвистически в публикуемом здесь сочинении.

Меня всегда поражала в нем нелюбовь к публичности, полное равнодушие к власти, ко всем «погремушкам мужской успешности», некая умудренная взрослость, которая отнюдь не вступает в противоречие с его простодушной детскостью. Поражала и колоссальная проницательность, и даже провиденциальная зоркость при брезгливом равнодушии ко всякому мистицизму. И я ему даже говаривала, что, видно, он живет «четырнадцатую жизнь», а в прежних изжил «земные суетности», они ему скучны, и он потерял к ним интерес. Но и в эту «четырнадцатую жизнь» ему удалось вместить две: первая, до 63 лет, — одинокое и аскетически углубленное служение своей излюбленной специальности, а вторая — жизнь отца, мужа, деда, в которой он оказался также весьма органичен. Он вставал ночью, едва заслышав шорохи в детской кроватке, купал малыша, тер детское мыло для стирки (в 1988–1989 гг. в магазинах ничего не было), бегал ранним утром на молочную кухню, которая располагалась неблизко от дома. Привез из археологической севастопольской экспедиции колоссальное количество детских ботиночек, мокасин, сандалий — достал! При всей своей ужасающей непрактичности и полной недружественности к нему материального мира. Но когда открыли коробки — все ботиночки были одного размера! Но именно это осталось в памяти как трогательный подвиг «молодого отца». Он и сейчас этот период вспоминает как счастливый в своей жизни. Трудности забылись. Конечно, и во второй жизни без своих латинских уроков он не может дышать. В первой — он умел беспокоиться за своих учеников и бескорыстно радоваться их успехам. Но теперь добавилось трепетное беспокойство за жену, за сына Алешу и жену сына, Женю, за внука Максимилиана. Радость за их успехи. Наша семья выросла — в нее вошли замечательные родителя Жени. Как обрадовался Николай Алексеевич в этом году выходу книги Жениного отца, космонавта Юрия

Владимировича Усачева, написанной специально для детей, — «Один день в космосе». Знаменательно, что в день годовщины свадьбы сын Алексей привез всю семью в Трубниковский переулок, дом 11, квартиру 9. И Николай Алексеевич оказался за накрытым столом в комнате своего детства, в той, где жили бабушка и дедушка. В его квартире ныне грузинский ресторан. Скромная, уютно-домашнего вида грузинка-официантка тихо и грустно сказала: «Как вам, наверное, и радостно и больно»...

В нем и сейчас живет интерес к сегодняшнему дню, и в свободную минутку он бежит прильнуть ухом к «Эху Москвы» или прилипнуть глазами к новостным блокам в интернете. В год его 90-летия вышло 13-е издание легендарного учебника «Lingua Latina», написанного в соавторстве с очень важным для него человеком — коллегой по кафедре классической филологии МГУ, другом, соратником — Валентиной Иосифовной Мирошенковой. Удивительно, что на пороге 90-летия, в дни, свободные от аудиторных занятий, которые Федоров проводит дома, он садится за письменный стол и целый рабочий день — восемь часов — собранно работает над переводом святого Амвросия Медиоланского. Ныне он завершил перевод книги свт. Амвросия «De officiis ministrorum» («Об обязанностях служителей»)...

Осталось неизданным юношеское сочинение об Эсхиле. Надо заметить, какой это был ужасный год — 1949-й. Новый виток репрессий, набиравший силу среди обессилевшего послевоенного населения, мрачное, без единой светлой полосы время. Разумеется, представить себе дипломную работу без расшаркиваний и экивоков в сторону всего прогрессивного и революционного, без цитат Маркса – Энгельса – Ленина – Сталина просто невозможно, а также без «казенной терминологии», без удручающих «реакционный» и «буржуазный». И в подавляющем большинстве работ того времени вся исследовательская часть сводилась только к лаудациям марксистколенинских подходов. Удивительным остается факт, что нет ни единой «сталинской» цитаты. Но во многом наивное сочинение 24-летнего Федорова удивляет эрудицией, большим объективным текстологическим анализом, значительным корпусом упоминаемых дореволюционных и зарубежных работ, прора-



Н.А. Федоров. 1960-е гг.



Н.А. Федоров. 1970 г.



МГУ. Латинский театр. 1977 г.



МГУ. Латинский театр. 1977 г.



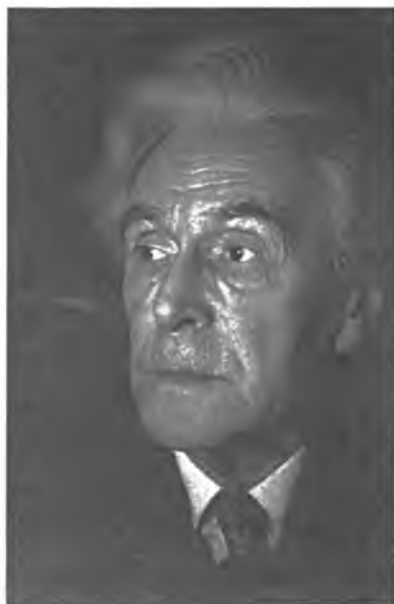
МГУ. Экспедиция в Херсонес. 1989 г.



Патриарх Алексий II вручает орден Н.А. Федорову



РГГУ. 1990-е гг. Н. П. Гринцер, Н. А. Федоров, Б. М. Никольский и др.



Н. А. Федоров. 1994 г.



Федоров с сыном Алешей. 1990 г.



РГГУ. 1990-е гг. В центре Г.М. Дашевский



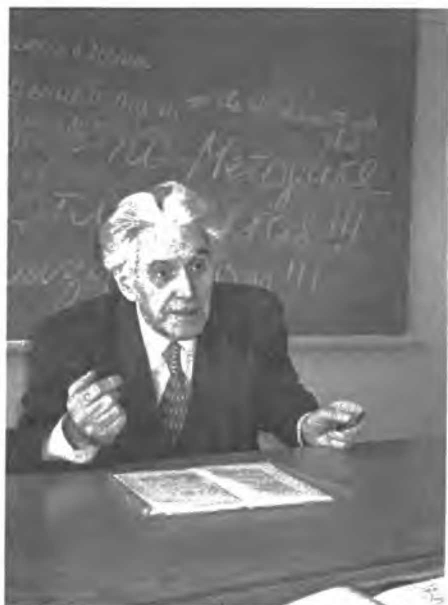
РГГУ. 1990-е гг. Н. А. Федоров с сыном



Н. А. Федоров. Узкое. 2000-е гг.



Н. А. Федоров с женой и сыном. 2005 г.



МГУ. Н. А. Федоров. 2000-е гг.



Михаэль фон Альбрехт и Н. А. Федоров



Н. А. Федоров. 2008 г.



МГУ. Юбилей кафедры классической филологии. Слева направо: Г. Гусейнов, Д. Драгунский, А. Солопов, Н. Федоров, А. Белов.



Н. А. Федоров. 2010 г.



Н. А. Федоров. 2010 г.



М.Бибиков, о. В. Асмус, М. Касьян в гостях у Н. А. Федорова. 2014 г.



Сова Минервы 2015 г.
Н. Н. Казанский и Н. А. Федоров



*Н. А. Федоров в Италии.
2014 г.*



*Н. А. Федоров на латинской
конференции в Германии. 2010 г.*



*Н. А. Федоров с сыном Алексеем
и внуком*



*Федоров с внуком
Максимилианом*



Н. А. Федоров дома. 2010 г.

ботанных с бóльшим, чем было положено, интересом и вниманием, — и сегодня нечасто встретишь среди студенческих работ такого зрелого отношения к изучаемому тексту. Он умудрился даже сослаться на Ф. Ф. Зелинского (имя которого в те годы было под запретом), широко представить источники 1910-х гг. Страшный 1949 год... В те времена и цитируемые им издания достать было почти невозможно. Найденные с невероятными трудами источники он вынужден характеризовать в идеологически «правильной» форме, что он думал сам — показывать в те времена не полагалось. Впрочем, теперь, мне кажется, мы знаем, что он на самом деле думал. Ибо он взглянул недавно на текст и сказал совершенно серьезно: «Не может быть, чтобы это написал я. Ну точно это какая-то ошибка».

Серьезность эта вполне в духе детской непосредственности Федорова. А когда востоковед А. Х. Вафа просил его охарактеризовать XX в. спонтанно, он ответил сразу: «Двадцатый век — это вообще, к сожалению, каша, дрянь, сколько мучили человека! А двадцать первый век — жестяной?»... В сущности, детская работа об Эсхиле — ныне исторический документ той эпохи, точный отчет о том, что полагалось думать марксистской науке об Эсхиле в сопоставлении с другими позициями, некое образцовое свидетельство о логике принятых тогда рассуждений по поводу фактов литературы. Но и «чуждые позиции» представлены четко и с не требовавшейся тогда «неформальной» полнотой. Вместе с тем это образец подробного текстологического разбора, ясного мышления, долгого вдумывания в подробности текста: изящная композиция, безупречный язык, тщательно выбранные примеры.

Мне думается, грядущие поколения должны с благодарностью помнить, как в те сверхидеологизированные времена, никак не созвучные с этим «дореволюционным предметом» классической филологией, поколение Федорова (это и Л. П. Поняева, и М. Г. Лопатина, и К. П. Полонская, и В. И. Мирошенкова, и Б. Б. Ходорковская, и многие здесь не упомянутые) сохранило классическую филологическую науку — прежде всего скрупулезно честное отношение к тексту и его деталям и умение передать это отношение другим. «Большая марк-

систская наука», к счастью для нас, по тем или иным причинам — для них — оставалась в стороне. И в те времена, оказывается, можно было найти отрасль неидеологизированнной науки (она могла оставаться таковой именно в сфере античности), такую, как лексико-грамматическая интерпретация текста, сопровождаемая реальным комментарием. Вот эту живую школу поколение Мирошенковой – Федорова, пусть отчасти вынужденно, преобразовало в высокое виртуозное искусство. Неизмеримо проще было в те годы оседлать «идеологического конька» советской литературы или признанной (иногда по недоразумению) «революционной» части российской классики и эксплуатировать ее до бесчувствия. И полезно и безопасно. Ведь в других российских научных школах (например, в области палеографии) не нашлось людей, способных сохранить их.

Боюсь, что реально представить себе ту общественную обстановку страха и запретов молодым уже сложно или даже почти невозможно, но следует хотя бы понимать и помнить. Вот, например, в том же 1949 г. в самой аполитичной из всех гуманитарных отраслей — музыковедении — умудрялись создавать труды «о классовой роли музыкального инструмента в симфоническом оркестре». Что же говорить о прочих гуманитарных науках? А «защитная» от политико-идеологического насилия над текстом метода многосторонней его оценки, осуществляемая совместно учеником и учителем, которую отчасти можно назвать и «медленным чтением» — ее особенно успешно реализовал в своих семинарах русист С. М. Бонди, — остается ценной и во все времена. Так что без осознания, что поколение Федорова вынесло на своих плечах школу интерпретации античного текста, нет и плодотворного движения вперед... Н. И. Толстой любил повторять, что когда-то выстроенную одним поколением научную цепочку разрывает следующее поколение, и в этом частичном разрушении предыдущего тоже залог развития науки, однако «важно, чтобы цепочка порвалась не в твоем звене». Уверенно можно сказать, что именно это звено в классической филологии не порвалось и служит объединению разных поколений антиковедов. Спасительная ниша взялась не ниоткуда, ее выстроили для своих

питомцев те самые «бывшие гимназические учителя» — старая кафедральная московская профессура, которая продолжала свое прямое гимназическое образовательное дело. Возвращаясь к студенческому «Эсхилу» Федорова, нельзя сказать, что эта тема для него сплошная «дань временам», эсхиловский герой на самом деле нравится ему столь же, сколь глубоко внутренне претит «холопство». Именно это слово не раз появляется на страницах сочинения, его он выбирает для обозначения всего отрицательного, против чего восстает Прометей: «И как самая замечательная черта рисуется нам его свободолюбие и ненависть к рабскому, холопскому подчинению». И не замечает, что «чужеродное» слово вовсе не подходит к античной реальности, зато здорово монтируется с российской действительностью. На «проговор» ни он, ни кто другой не обратил внимания... Надо сказать, что содержание эсхиловской трагедии нельзя не признать созвучным и сегодняшнему дню. В юношеском сочинении много здравых и неподвластных времени рассуждений — в частности, о подмене исследования того, что находится в тексте, фантазийными построениями. Нет нужды, что это высказывается как бы с «марксистского и революционного берега». Разве ныне, когда белое на черное переворачивается механически, — с той логикой, что то, что было плохо, должно быть непременно хорошо, и наоборот, — не бывает подобной подмены в научных работах?

Не будем подробно останавливаться на работе «Становление эстетической лексики Цицерона», она говорит сама за себя. Написанная за десятилетие до начала перестройки, эта работа минимально, по понятной необходимости, вкрапляет несколько Марксовых цитат, впрочем, вполне к месту, по сути своей являясь самодостаточным, серьезным трудом, не потерявшим своей практической актуальности и сегодня и фундаментально показывающим теоретический уровень классической филологии конца 70-х – начала 80-х (разумеется, теоретическая часть соответствует своему времени — 35 лет прошло). В силу научной порядочности, четкости этой работы ее можно включить в свод изучаемых текстов дисциплины, называемой «история науки». Николай Алексеевич оперирует «бесконеч-

но малыми величинами», изучая тонкие оттенки контекстных значений слов, обозначающих красоту. В этом сочинении он по-старинному никуда не торопится, любуясь живой для него латинской лексикой. Это длительное, протяжное созерцание, кружевное «плетение словес» вокруг pulchritudo, venustas, dignitas выдают глубокую бескорыстную любовь к латинскому языку. Может быть, в этой любви к палитре латинского слова, неуловимым сдвигам значений сила притягательности его латинских уроков. Работа дает представление об особенностях римской ментальности и, хотя написана в чисто филологическом ключе, имеет, как кажется, большое будущее в качестве материала для культурологических или даже социо-психологических наблюдений. Латинское слово для Федорова — живое растение в «саду красоты». Подобно тому как ботаник создает «диагноз» вновь открытого растения, автор рассматривает семантику слова в динамике, как поведение ростка живого растения, по-разному проявляющего себя в разных условиях — может расцвести, а может расползтись в разные стороны, или дать побочные ветви, или, увы, вовсе не привиться[1]. «Роман о латинских словах красоты» имеет свой динамический сюжет, кульминацию — раскрытие лексических тайн, побочные сюжетные линии, ныряющие в глубь перекрещивающихся контекстов и выносящие на свет божий неожиданные эффекты — увлекательное чтение для лексикографов...

Ни для кого не тайна, что Николай Алексеевич легко терял дух и твердость в том случае, когда речь заходила лично о его способностях, о которых он был самого невысокого мнения. Я могу свидетельствовать, что в случаях жизненных, когда требовалась стойкость, он проявлял даже чудеса смелости и безрассудства. Например, он не побоялся высказать в лицо одному одиозному деятелю левого экстремистского толка начала перестройки все, что он о нем думает. Он был один, уже тогда 70-летний, лицом к лицу с огромным дядькой, окруженным шестью охранниками. И его стали избивать прямо около Белого дома, но он от слов

---

[1] Кстати, как замечено Я. М. Боровским, «ботанические диагнозы» до сих пор составляются на латинском языке.

своих не думал отказываться и только кричал: «Катя, бегите...» Когда малыш Алеша отравился таблетками, которые стремительно схватил у своей прабабушки со стола, как это бывает с младенцами, я потеряла самообладание и соображение. Он — нет. Успев даже прикрикнуть на меня, чтобы не впадала в истерику, схватил ребенка и на журавлиных своих ногах, не дожидаясь троллейбуса, шесть остановок бежал по Садовой в Филатовскую. Успел... То есть в жизненных коллизиях он оказывался тем римским солдатом, который в опасности «не скован бледностью, но кровь бросается ему в лицо». Когда же дело касалось его личных возможностей, впадал в странную неуверенность и все бросал. Так было, когда он написал более сложное, нежели дипломное, сочинение по Эсхилу — кандидатскую диссертацию. Услышав вполне обычные замечания, которые и должны быть на кафедральном обсуждении, сразу панически решил, что он бездарен, а готовую диссертацию выбросил. Так что, увы, этот текст не сохранился. И только через добрые четверть века — не без плодотворного нажима коллег — написал, собственно, уже докторское сочинение об эстетической лексике Цицерона, и по порядку — после неосуществившейся кандидатской, и по уровню. Но защитил лишь как кандидатскую.

Особым пристрастием его научно-педагогической деятельности была живая латынь. Он очень тяготел к возможностям реализации коммуникативного потенциала латинского языка. И когда на первом для него международном латинском конгрессе в Бухаресте (1960) узнал об успешной деятельности единомышленников в этом направлении, о сложившейся европейской традиции, стал всеми возможными способами внедрять эту сторону латыни в обучение. Таким образом, возник и латинский театр, материализовавший его тягу к артистическому, а также, что немаловажно, к более глубокому уровню общения со студентами. В начале XX в. ему удалось сделать несколько докладов на латыни на европейских латинских собраниях. Один из них, как образец его «латинской мысли» — о латыни в России, — приводится здесь, таким образом «закольцевав» сборник, ведь он открывается латинской статьей Михаэля фон Альбрехта о методике преподавания латыни, посвященной Николаю Алексеевичу.

а кроме того, сборник содержит латинские статьи его учеников, А. Солопова и А. Кузнецова, а также стихотворение на латинском, сочиненное ученицей Николая Алексеевича О. Афиногеновой.

Замечательно, что в сборник прислали воспоминания друзья юности (Ю. И. Дегтярев, Л. М. Эпштейн), друзья, встретившиеся на жизненном пути зрелому Николаю Алексеевичу, не связанные с филологией (музыкант Г. Г. Ревазишвили, художница Е. И. Рубанова, актеры МХТ Е. А. и Г. М. Киндиновы), дочери его большого друга В. В. Мирошенковой (Т. М. и О. М. Малевы). Бóльшая же часть текстов принадлежат перу учеников и коллег Федорова. Ему посчастливилось учить талантливых и незаурядных людей. Яркие, нетривиальные свидетельства (каждое по-особому индивидуальное) творческой манеры преподавания Николая Алексеевича, во многом художественные очерки, любезно предоставленные этому сборнику, представляют собой уникальную коллекцию живых впечатлений и глубоких соображений. Эта коллекция со временем, мне думается, будет приобретать все больший историко-культурный интерес, ибо филологи явственно заявили здесь, что их содружество, их общность существует сегодня. Их рассказы, эссе и заметки, посвященные Н. А. Федорову, оказываются самоценными произведениями, представляющими разного рода рецепции того типа обучения, которое воспитало плеяду самостоятельно мыслящих ученых и преподавателей, а также описывают целую эпоху в истории отечественного классического образования.

ИНТЕРВЬЮ С Н. А. ФЕДОРОВЫМ

«ТЕХ, У КОГО УЧИЛСЯ, НЕ ЗАБЫВАЮ»

Как я выбрал специальность «классическая филология, древние языки»? Сначала я не собирался поступать на филологический факультет. Заманил сюда одноклассник, поступивший в Московский университет годом раньше. Дело в том, что я по болезни год пропустил и кончал школу позже. А он уже был студентом и рассказывал разные завлекательные истории и про преподавателей, и про факультет. И в конце концов, по-

сле долгих хождений по разным институтам, я остановился на филологическом факультете. Не могу сказать, что это был глубоко осознанный внутренний выбор. Во многом это было обусловлено случайными вещами: понравившейся мне обстановкой в приемной комиссии, моим страхом перед точными науками и т. д. Все это происходило во время войны: 44-й год. Итак, поступил я на русское отделение.

Интересно, что вместе со мной в Московский университет (но на классическое отделение) поступала моя одноклассница Галина Ильинична Володина[1]. Но, второпях не успев проверить сочинение, провалилась. Поступила в Педагогический институт имени В. И. Ленина. И стала видным русистом, крупным специалистом в области синтаксиса русского языка, профессором Московского университета, доктором наук. Ее работы имеют не только бесспорное научное значение, но востребованы преподавателями-практиками в процессе обучения русскому языку иностранных студентов. Совсем недавно мы ее похоронили...

А мне уже в течение первых недель пребывания на русском отделении как-то не очень «приглянулось», стал я посматривать на расписание других отделений и похаживать на лекции других профессоров. Забрел и на классическое отделение. Попал на лекцию доцента, преподававшего на историческом факультете, но и читавшего историю Древнего мира для филологов, Анатолия Георгиевича Бокщанина: он так рисовал поражающие воображение учебные программы классического отделения, перспективы специальности «классическая филология» в целом! Понравилось и то, что латыни и греческого было не просто много, а очень много. На русском же отделении древние языки давались весьма скромно, кое-как. А у меня было такое странное убеждение, что русская литература огромная, необъятная, она все время развивается и охватить ее невозможно — так чтобы стать более-менее приличным специалистом. А вот Античность завершена, языки уже мертвы, и дальше этот мир,

---

[1] Галина Ильинична Володина (1927–2004) — один из ведущих синтаксистов МГУ на рубеже XX–XXI вв., ученица В. А. Белошапковой. Особенно востребован ее замечательный труд: *Володина Г. И.* А как об этом сказать? Специфические формы разговорной речи. М.: Русский язык, 2005.

эта культура не развивается, — значит, она достаточно познаваема. Каким же надо было быть идиотом, чтобы говорить о некой «завершенности» Античности! Но только потом, спустя многие годы, я понял, насколько Античность огромна, необъятна, непостижима для одного человека и для одной жизни, и вот уже тысячелетия, как люди изучают эту культуру и никак до конца в ней не разберутся, хотя, может быть, часто толкутся на уже истоптанных участках и поэтому занимаются мелочами.

Но тем не менее эти два фактора сыграли свою роль, я стал советоваться с нашим соседом по дому в Трубниковском переулке (где я родился), очень крупным театроведом и литературоведом Алексеем Карповичем Дживелеговым, специалистом в частности по итальянской литературе и Возрождению, который и потом дарил мне книги (в то время для меня недоступные) и очень помогал советами и участием. Он тогда сказал мне: «Да, Коля, идите туда, потому что это очень основательная и серьезная специальность». Так, вдохновляемый расписанием с обилием древних языков, напутствиями такого большого ученого, как Дживелегов, и уверенностью, что Античность «завершена», я и оказался на классическом отделении.

Когда я поступал в университет (в 1944 г.), отделение было большим и намного превосходило нынешние, весьма скромные по численности группы «классиков». Дело в том, что в те годы предполагалось повсеместное введение латинского языка в школах. Любопытно, что сразу после войны вновь на некоторый срок появилось разделение на мужские и женские школы, была введена форма, повторяющая гимназическую: фуражка с гербом, серая рубашка с высоким стоячим воротником, с поясом и пряжкой, у девочек – черные или белые (парадные) фартуки, коричневые платья, естественно у всей школы одинаковые. К слову сказать, в некоторых министерствах (например, Министерстве финансов) были даже введены мундиры. Предполагалось, что они появятся и в высших учебных заведениях. Было даже замыслено, что профессора университета должны надеть генеральские мундиры. Все вышеперечисленные «нововведения» задумывались, как это ни странно, по образцам дореволюционной России. И вот тогда-то в средних школах (по обыкновению старых русских гимназий) на-

чали преподавать логику, психологию и латинский язык. Школьных учителей латинского языка не хватало. И потому на первый курс классического отделения стали принимать не 10 человек, как и сейчас это практикуется, а 40. Столько не набрали, но на моем курсе было тридцать «классиков»: три группы по 10 человек в каждой. Дальше количество студентов на нашем отделении стало постепенно уменьшаться. Быстро, пожарным порядком выпустили учебник Кондратьева и Васнецова[1], переиздавали его несколько раз, открыли классическое отделение и в Ленинском пединституте, где тоже готовили школьных учителей латинского языка. Предметы «Логика» и «Психология» просуществовали в средней школе сравнительно долго, а «Латинский язык» сразу вызвал идиосинкразию не только у учеников, но и у родителей, и вскоре этот эксперимент прекратился. В те годы на классическое отделение пришло очень много явно случайных людей, и поэтому я перешел туда «по бартеру»: на русское отделение была переведена одна девушка, у которой не сложились отношения с классической филологией.

Как известно, гуманитарное образование было у нас уничтожено еще в начале 1920-х годов. Окончательно прекратил свое существование историко-филологический факультет Московского университета в 1921 г., функционировали лишь Институт красной профессуры и Институт общественных наук при университете. Был большой период пустоты. Ситуация изменилась после постановления ЦК от 1934 г. Открылись два института литературы, философии и искусства: МИФЛИ (в Москве) и ЛИФЛИ (в Ленинграде). Они просуществовали до войны, а потом ЛИФЛИ перешел в Ленинградский университет, а МИФЛИ (кажется, в 1941 г.) — в Московский, в результате чего были созданы филологический, исторический и философский факультеты. Естественно, что эти десять с лишним лет пустоты нанесли определенный удар по кадрам. Когда восстанавливалась кафедра классической филологии, нужно было находить преподавателей древних языков. Их осталось не так много. К счастью, кафедру

[1] *Кондратьев С. П., Васнецов А. И.* Учебник латинского языка для 8–10 классов средней школы. М., 1948.

тогда возглавил академик М. М. Покровский[1], одновременно и лингвист, и литературовед, специалист в области латинистики, ученик Ф. Ф. Фортунатова[2]. К сожалению, он умер в Казани в эвакуации в 1942 г. И вторая не менее значительная личность появилась на вновь созданной кафедре — член-корреспондент Академии наук С. И. Соболевский[3]. Он был старше Покровского, но намного его пережил. Но сначала о руководстве...

Когда шла война, часть университета осталась в Москве, часть уехала в Свердловск, кто-то — в Ашхабад. Из-за разделения кафедры в разных местах у нее были свои заведующие. В Москве, когда кафедра вернулась из эвакуации, заведовать стал профессор, доктор наук Сергей Иванович Радциг[4], ученик Сергея Ивановича Соболевского. Он руководил кафедрой с 1943 по 1955 (1956) г. — лет двенадцать. Его память мне очень дорога.

Сергея Ивановича Радцига сменил Николай Федорович Дератани, довольно известный специалист по латинским писателям. По характеру он близок к типу Валерия Брюсова или Фриче[5]. Из дворянской семьи, был когда-то октябристом[6]. Учился в Германии у известного филолога Нордена, написал диссертацию на латинском языке о творчестве Овидия, писал, в частности, работы по риторике, публиковался во француз-

---

[1] Михаил Михайлович Покровский (1868–1942) — профессор Московского университета (преподавал с 1894 г.). Его лингвистические работы высоко ценились европейскими языковедами — Антуаном Мейе, Максом Нидерманом и др.

[2] Филипп Федорович Фортунатов (1848–1914) — русский языковед, академик Петербургской АН, основоположник московской лингвистической школы.

[3] Сергей Иванович Соболевский (1864–1963) — профессор Московского университета (начал преподавать в 1887 г.), крупнейший специалист по классической филологии, выдающийся филолог.

[4] Сергей Иванович Радциг (1882–1968) — профессор Московского университета. С 1934 г. и до смерти читал на филологическом факультете курс античной литературы.

[5] Владимир Максимович Фриче (1870–1929) — представитель школы вульгарного социологизма, литературовед, искусствовед, академик АН СССР.

[6] К партии «Союз 17 октября» принадлежали крупные представители буржуазии и помещиков, лидеры ее А. И. Гучков и М. В. Родзянко.

ских журналах. Но потом он очень быстро вступил в партию и стал преподавателем Института красной профессуры. Это был очень квалифицированный специалист, но сухой и довольно скучный для определенного типа учащихся, некоторые из студентов воспринимали его несколько в штыки. Он пришел к нам на кафедру в 1951 (1952) г. и через несколько лет стал заведовать. Этому предшествовали наши студенческие завышенные требования к уровню преподавания, всякие по этому поводу юные максималистские «шебуршения», недовольства, и выглядело это, признаюсь, не очень красиво. Студенты шумели, что передовой науки о языкознании нет, что на кафедре не преподают Марра[1] и т. п. То есть имела место обыкновенная студенческая дурость, к которой я тоже причастен. Привела она к тому, что Сергей Иванович перестал заведовать кафедрой, а бразды правления взял Николай Федорович Дератани, и продолжалось его правление лет восемь.

Когда же Покровский еще только собирал кафедру, ему пришлось приглашать бывших гимназических преподавателей (выпускников университета, окончивших его по специальности «Классическая филология»). А вот Сергей Иванович Радциг не был гимназическим преподавателем, но в период вынужденного отрыва от специальности работал экскурсоводом в Музее изящных искусств имени А. С. Пушкина. Тогда же на кафедру пришел известный более как методист, а не как ученый Александр Николаевич Попов[2], который когда-то был директором и хозяином собственной гимназии. Это был блестящий преподаватель, но с характером довольно скверным, и дух старых гимназических преподавателей все-таки господствовал на кафедре. Серьезная наука в строгом смысле в области классической филологии нашла себе место в Ленинград-

---

[1] Николай Яковлевич Марр (1864–1934) — востоковед и лингвист, академик АН СССР, выдвинул научно не обоснованную «яфетическую теорию» происхождения языков, поддержанную в высших эшелонах власти.

[2] Попов Александр Николаевич (1881–1972) — профессор Московского университета; до революции директор и владелец классической гимназии на Знаменке; заведующий кафедрой классической филологии с 1958 по 1962 г.

ском университете. А в столице же тогда все было чуть иначе, немного старомодно. Как я говорил, существовал некоторый разрыв между преподавательским коллективом (старой интеллигенцией, старыми гимназическими преподавателями) и студенческой массой, которая в большинстве случаев пришла на кафедру довольно случайно (речь идет не о случайности выбора филологии в целом, но выбора классической филологии).

О Сергее Ивановиче Радциге можно говорить очень много. Он был переполнен величайшим энтузиазмом и влюбленностью в Античность и греческую литературу. На классическом отделении он читал древних авторов на старших курсах, для всех отделений на первом курсе читал античную литературу. И во всех воспоминаниях учившихся тогда на факультете можно встретить восторг и влюбленность в Радцига. Не потому, что это была великая наука (ее там почти не было), но был увлекательный, вдохновенный рассказ об Античности. Казалось, что Радциг немножечко «не из этого времени». Когда я его встретил, ему было лет 60 с небольшим. Возраст не очень уж и великий, как мне теперь кажется. А нам он представлялся глубочайшим стариком, и даже казалось, что он таким и родился: немножко согнутым, с седой бородкой, седеньким, маленьким. Но у этого седенького, маленького, согбенного старичка был потрясающе громкий голос, который разносился по всей (тогда называемой) Коммунистической аудитории[1]. Не случайно на экзамене один студент, из нерадивых, когда возмущенный Сергей Иванович не мог от него добиться ни слова о греческих авторах (а была и такая часть аудитории), на вопрос: «Ну а кто такой Радциг, вы знаете?» — ответил: «Наверное, поэт». В этом был не только ужас и отчаяние незнания, но и какая-то глубинная правда. Все вспоминают, как Сергей Иванович читал нараспев, почти пел греческие стихи – гекзаметры. Остались в памяти до сих пор его интонации, когда он, рассказывая о греческом фольклоре, выпевал: «Ме-ли, мель-ни-ца, ме-ли». Помнится, как он восхищался и понимал Гомера. Он был

[1] До революции эта аудитория в здании университета на Моховой называлась «Богословской», а сейчас носит название «Академическая».

знаток, огромный знаток! Но на его занятиях мы слышали в основном пересказ древних текстов, изложение трагедии или комедии, которые он тут же и играл. И только?.. И поэтому на старших курсах у некоторых студентов начиналась некоторая неудовлетворенность, им хотелось «чего-то этакого научного», с умными словами и с теоретическими углублениями и мудрствованиями. Они не понимали: то, что дает Радциг (настоящее знание древних текстов, глубокое их понимание), никто другой дать не может. Он со мной работал как научный руководитель: я писал у него дипломную работу «Образ Прометея в трагедии Эсхила “Прикованный Прометей”». У всех тех, кто учился в те времена на «классике», остались немного мифологизированные воспоминания о его увлекательных и популярных лекциях. Они дали, наверное, гораздо больше, чем сухие, скучные, наукообразные (в университете читались в те времена и такие лекции). На занятиях он часто увлекался, и, как бы они ни были прекрасны, самое неловкое для студентов было, когда после полутора часов лекции он продолжал выступать. «Но это еще не все!» — восклицал Сергей Иванович, и студенты обреченно садились снова на свои места, зная, что давно следует бежать на другие лекции, а он мог говорить бесконечно, пока кто-то не осмеливался объяснить, что занятие закончилось.

Умер он в 1968 г., последнее время тяжко болел, в том числе это было связано и с желудочно-кишечными проблемами. Когда у нас на кафедре проходили веселые вечера со всеми приятными атрибутами встреч, принятыми на нашей кафедре, Сергей Иванович сидел и пил кефир. Больше ничего ему было нельзя. Но всегда неизменно приходил, чему молодежь была неизменно рада... Он всегда выступал на днях открытых дверей с рассказом об Античности и представлял собой своего рода эмблему филологического факультета.

Сергей Иванович Соболевский был фигурой в какой-то мере просто мифологической. Для многих, но не для всех. Дело в том, что в университет он уже не ходил, был глубоким стариком. Умер он, не дожив одного месяца до девяноста девяти лет и, соответственно, года с небольшим до ста. Если в последние годы, конечно, сознание у него мутилось и смешивались

сон и реальность, прошлое и будущее, то ничего подобного не происходило, когда речь заходила о его специальности, о филологии. Ясность научной мысли и фантастические знания у него сохранились до последнего дня. Ученый он был несколько старомодный, даже не XIX в., а, я бы осмелился сказать, периода Возрождения, чистейший филолог. Терпеть не мог теоретическую лингвистику. То же и с литературоведением. Он знал факты, мог помнить в филологии точнейшие детали, обладал огромнейшей эрудицией, но не оставил после себя никаких теоретических произведений. Лингвистику он почти «презирал», хотя нормативную грамматику знал, как никто, и вообще, так, как он, древние языки у нас не знали. Это были уникальные знания.

Он жил один в большой квартире в Кисловском переулке. У него была потрясающая, колоссальнейшая библиотека, которая практически погибла. Часть ее досталась его приближенным, бóльшую часть он завещал Академии наук, и все это богатство хранилось по каким-то подвалам, где почти полностью погибло. Но некоторым курсам посчастливилось заниматься у него дома. Он читал и греческих, и латинских авторов. Так повезло курсам до моего и даже некоторым курсам после, а вот на нашу долю такого счастья не выпало. Я видел его только на защите одной диссертации, и у нас он принимал государственные экзамены. Это была совершенно незабываемая картина: явление грузного 80-летнего Соболевского, ведомого под руки Поповым и Радцигом, двумя стариками. Отношение к нему было трепетное, ведь вели не человека, а какое-то высшее божество. Интересно, что психологически для патриарха классической филологии Сергея Ивановича отвечающие (студенты 22-х лет) и сидящие «одесную и ошуюю» пожилые Радциг и Попов ничем не отличались, воспринимались им одинаково, как «молодежь». Соболевский мог довольно небрежно отмахиваться от коллег. Когда-то на экзамене он поставил Радцигу двойку, и временами Сергей Иванович оставался для него всего лишь нерадивым студентом.

Что касается Александра Николаевича Попова, то это был блестящий педагог. Но у меня с ним складывались до-

вольно сложные отношения. Я попал к нему не на первый курс, а уже на четвертый и пятый, он был преподавателем, который продолжал вести занятия так, как на первом курсе, то есть продолжал нас «вводить в язык». А на старших курсах у вас уже есть определенное представление о языке и вам хочется чего-то большего. Если он мог чем-то удивить, так это своим великолепным артистизмом, свободным владением древними языками. У него была привычка: иногда обращаться по имени-отчеству, с подчеркнуто старинной учтивостью. А иногда он мог позволить себе подзывать к себе студента лишь жестом, окриком. Я с такой манерой боролся тем, что «опускал глаза долу», и ему приходилось волей-неволей обращаться ко мне по имени. Я его как-то боялся, и не могу сказать, что относился к нему с великой симпатией. Но это мой грех, а не его. Потом я довольно долго работал с ним на одной кафедре, а затем он несколько лет руководил нашей кафедрой, после смерти Дератани. Александр Николаевич Попов — это была личность все-таки другого масштаба, нежели Дератани. Замечательный методист, он написал пособие даже по немецкому языку (не говоря уже о прекрасном учебнике греческого языка и об одном из лучших учебников латыни, созданном в соавторстве с Павлом Матвеевичем Шендяпиным[1]). Научной же работой как таковой он не занимался, ограничивался преподаванием, в чем, вероятно, равных себе не имел. Он особенно не углублялся ни в историю языка, ни в теоретическую лингвистику, ни даже в общую историю культуры. Но ни в коем случае нельзя было бы сказать, что это был человек, в культуру не погруженный, поскольку он обожал русскую литературу и блестяще знал ее, а также великолепно знал поэзию второй половины XIX в. И если абитуриент на собеседовании мог сказать что-то вразумительное о Майкове, Полонском и Алексее Константиновиче Толстом, это было гарантией поступления, потому что это были любимые поэты

---

[1] Павел Матвеевич Шендяпин (1886–1949) — один из авторов лучшего (в течение многих десятилетий) учебника латинского языка А. Н. Попова и П. М. Шендяпина, по которому выучилось не одно поколение филологов и историков. Доцент кафедры классической филологии МГУ.

Александра Николаевича. Он очень увлекался театром, пьесами А. Н. Островского, и даже, в начале XX в., был общественным советником по литературно-репертуарной части в Малом театре. Для него эта область культуры была не менее важной, чем Античность. Даже нас заставлял переводить с русского на латинский язык басни Крылова...

Валентина Иосифовна Мирошенкова[1] была по возрасту старше меня на год и на два или три курса в университете. Она была в чем-то антиподом, а в чем-то чрезвычайно схожа с Александром Николаевичем Поповым, точно так же была только блестящим преподавателем, но ни в коей мере не научным работником. Она овладела не только методикой преподавания, но и лингвистической терминологией, любила термины новейшей науки, легко ими оперировала, умела в простой форме донести их смысл до студентов — Александр Николаевич терпеть не мог этой новой лингвистической премудрости, из-за чего возникла некоторая напряженность в их отношениях. Но Валентина Иосифовна, как и Александр Николаевич, была преподавателем от Бога, по призванию, они оба обладали этим особым, специфическим талантом. У нее был еще очень живой, общественный темперамент. Она была очень активным человеком, естественно, членом партии, парторгом кафедры, членом партбюро. Может показаться, что это негативная характеристика. Совсем нет! Это указывает только на желание активно участвовать в общественной жизни, и не более того. Александр Николаевич Попов, конечно, в глубине души не принимал сложившееся положение вещей. Валя же была живой, с интересом к студенту. Она любила преподавать язык на младших курсах (и здесь опять в профессиональных вкусах она совпадала с Поповым). Делала она это роскошно и великолепно. Она просто была очень хорошим человеком, с

---

[1] Валентина Иосифовна Мирошенкова (1924–1991) — один из любимейших студентами преподаватель древнегреческого языка, постоянный соавтор Н. А. Федорова. Помимо пользующегося заслуженной популярностью «Учебника латинского языка» Мирошенковой и Федорова автор ряда учебных и методических пособий, хрестоматий по греческой и римской литературе.

которым у меня сложились близкие отношения. Все книжки мы делали вместе. После того как Валя умерла (а произошло это более 10 лет тому назад), я чувствую в этой области пустоту, потому что мы всегда работали рядом, вместе. Она писала обобщающие, теоретические статьи, я готовил практический материал занятий, подбирал и сочинял латинские тексты, придумывал упражнения. Если она похвалит мою работу, значит, «урок» учебника получился. Не одобрит – что-то не удалось. Хотя мы могли спорить, ругаться и вообще ссориться сколько угодно, человек она была замечательный.

Аза Алибековна Тахо-Годи пришла на факультет в 1958 г. и 30 лет руководила кафедрой. С ее приходом атмосфера стала значительно лучше, серьезнее и существовать стало легче. Старики не очень любили молодежь и отмечали, выбирали для учебно-научного общения только некоторых. Азе Алибековне удалось добиться более ровного отношения не только к избранным, но и ко всем членам кафедры, а также выработать деловой подход к своим обязанностям. С ее приходом начался научный рост преподавателей, стали чаще происходить защиты диссертаций, образовалась на кафедре общая атмосфера доброжелательности. Аза Алибековна – настоящий ученый и вместе с тем великолепный педагог. Она не отказывалась читать лекции и на общих отделениях, принеся этим, как мне кажется, большую пользу факультету в целом, хотя этим, как правило, обычно занимались преподаватели второго ранга, а заведующие кафедрой читают лекции на общих отделениях весьма редко. Помимо мощного научного фундамента у нее есть великолепный артистизм, при этом ее выступления не просто увлекательный пересказ содержания античных произведений, а глубокий научный анализ. Точно так же замечательно она до сих пор читает курс античной мифологии, рассчитанный в том числе и на широкую аудиторию.

Между прочим, когда начинал свою деятельность Российский православный университет святого Иоанна Богослова, она принимала активное участие в его создании и читала там курс «Античная мифология». РПУ задумывался как гуманитарный вуз, совмещающий профессиональное светское обра-

зование с традициями православия и религиозной культуры. Тогда профессор Михаил Викторович Панов читал там курс фонетики, а академик Никита Ильич Толстой, стоявший у истоков университета, — «Введение в славянскую филологию». По одним этим именам уже ушедших от нас ученых можно судить о реально высоком уровне преподавания в РПУ в течение первого года его работы. Для учебного плана филологического факультета РПУ характерно присутствие большого блока древних языков, необходимых для овладения литературой, главным образом древней, для чтения источников по истории христианства и русской православной культуры. А по подготовке в области византиноведения РПУ не уступает ведущим научным центрам...

В истории кафедры классической филологии филологического факультета МГУ любопытным феноменом оказался так называемый студенческий Латинский театр, пробуждающий достаточно светлые воспоминания не только у меня, но и у тех, кто с этим в свое время сталкивался. Было это очень давно — почти 30 лет тому назад. Тем ребятам, которые играли в том театре, сейчас за 50, многих и в стране нет – кто в Германии, кто в Америке... Представление о культуре у наших студентов-классиков было тогда немножко иным, нежели теперь, тогда молодым людям были гораздо интереснее не тусовки, а игра в самодеятельном театре. Сейчас такого отношения к университетской культурной жизни уже практически не найдешь. Как организовался театр? Играть решили просто силами одной учебной группы — году этак в 1972–1973-м: Надя Малинаускене, доцент РГГУ до недавнего времени, Люба Грацианская, ныне тоже доцент РГГУ, и другие. Начали мы с комедии Плавта «Привидение». Кстати, у нас тогда был обычай — посвящение в студенты. В этом обряде участвовали в качестве персонажей в том числе Вергилий и Гомер. Вергилием был Саша Подосинов (сейчас Александр Васильевич, доктор исторических наук, автор, между прочим, замечательного учебника латинского языка для школьников в четырех томах, специалист широкого профиля по истории культуры), а Гомером — Миша Бибиков (ныне Михаил Вадимович, док-

тор исторических наук и профессор, византолог с мировым именем). Устраивалась такая церемония с участием кафедры, где играли все профессора, не исключая и заведующей Азы Алибековны. Посвящаемые давали клятву, которая была написана на латинском языке на огромном красивом листе, творении рук Дениски Драгунского (сына писателя Виктора Драгунского, автора «Денискиных рассказов»; ныне Денис — известный политолог и публицист, но в свое время окончил классическое отделение). После торжественной церемонии посвящения мы давали иногда спектакли на латинском языке, например маленькую сценку из Плавта, которую мы регулярно играли.

P. S. Поступающие на классическое отделение по-настоящему должны быть заинтересованы в приобретении фундаментального гуманитарного образования — в этом смысле древние языки составляют существенный и важный, но, впрочем, не основной и не единственный элемент формирования гуманитарной культуры, гуманитарного мышления. Профессией это может стать для очень немногих людей, хотя бы потому, что сама область знания совершенно не требует легионов ученых, толп исследователей, а требует таких ученых от Бога, как Михаил Леонович Гаспаров, Сергей Сергеевич Аверинцев (уже когда он поступал, — а я с ним беседовал перед поступлением, — было ясно, что мы столкнулись с чудом). Остальным следует идти к нам учиться, сознавая, что они получат пусть и не всестороннее, но достаточно глубокое образование. Будет создана серьезная гуманитарная база, строить на которой свою специальность предстоит уже после окончания вуза. Порой приходят на классическое отделение совершенно случайные люди. Иногда эти случайности могут быть весьма удачны. Например, Саша, Александр Васильевич Подосинов, пришел к нам совершенно случайно, предполагая, что на классическом отделении изучают русскую классическую литературу. Но в результате полюбил Античность и стал настоящим ученым...

Беседовал и записал Виктор Муханов

«НАУЧИТЬ ЧИТАТЬ, ТО ЕСТЬ ПОНИМАТЬ...»[1]

А зачем вы пошли на античную кафедру?

В какой-то мере случайно. Потому что я поступал на филологический факультет без четкого представления, зачем и почему я это делаю. Конечно, я не бежал туда от черчения и математики, я даже пытался поступать в историко-архивный институт, но он меня так испугал своей «пыльностью» и перспективой работы в архиве провинциального города, что я больше туда не заходил. Я даже несерьезно думал о юридическом факультете. У меня была ориентация на гуманитарию литературного плана — и поэтому я поступил на русское отделение.

Так как же вы пришли к Античности?

Тоже абсолютно случайно: когда я поступил, я стал слушать лекции и заходить на другие кафедры. На русской кафедре были вещи, которые меня не очень увлекали, церковнославянский язык, например. Его как-то затхловато преподавали — и мне стало немножко страшно. В том числе я заходил и на лекции классического отделения. К ним я ходил на лекции по истории — их читал Анатолий Георгиевич Бокщанин. У него есть книжка по Древнему Риму. Не то чтоб он был серьезный эрудит, но читал он завлекательно и открывал перед студентами огромные античные перспективы — уже без античности, по нему, прямо никуда.

С другой стороны, я смотрел расписание и видел, что у них есть в расписании латынь, древнегреческий язык. И стали у меня возникать сомнения, не податься ли мне на классику. Кроме того, у меня было очень наивное представление: античное вре-

[1] Впервые опубликовано в сб.: Discipuli magistro (М.: РГГУ, 2008) со следующим вступлением: «Это интервью было взято у Николая Алексеевича в 2004 г. студентами IV курса отделения античной культуры РГГУ в качестве практического занятия по курсу "История антиковедения в России" (ведет курс Н. В. Брагинская; интервью брали Борис Игнатов и Екатерина Перевезенцева). Устные ответы нимало не предназначались для публикации. Однако появление в печати в последнее время многих воспоминаний о кафедре классической филологии (воспоминания В. Н. Ярхо, С. К. Апта, М. Л. Гаспарова в «Записях и выписках») наводят на мысль о своевременности таких материалов, и редакция берет на себя полную ответственность за публикацию этого текста, неправленого и неавторизованного, но зато сохраняющего интонации живой беседы».

мя закончилось, культура завершена — и, стало быть, ею можно овладеть совершенно. А русская культура и литература продолжаются — они огромны и необъятны. Ну и, конечно, всякие разные слова о том, что Античность — источник европейской и мировой культуры. Так что я за этими корнями и погнался.

Я тогда посоветовался с одним очень хорошим литературоведом и историком, который мне помогал покровительством — Алексей Карпович Дживелегов, очень крупный театровед, большой специалист по итальянскому Возрождению. Он сказал: «Да-да, конечно, переходите на классику». И даже надарил мне тогда Тита Ливия, Геродота, Гомера — у меня сразу появилась своя античная библиотека. И потом я перешел. Это было тоже непросто: пришлось меняться с одной девицей, которая мечтала уйти с античности — а я, наоборот, очень хотел по своим наивным и детским соображениям.

А до этого как-то вы были знакомы с литературой, историей?

В шестом или седьмом классе я начал читать «Одиссею» — и не осилил, но было интересно.

И вы латыни до университета не знали?

Ни в малейшей мере. Более того, я вспоминаю, как в шестом классе мы играли лермонтовских «Испанцев». И играл я там патера, который соблазненной девице говорил: «Вы не vici, потому что я де-ви-цы не видал!» Так я произносил «вы не виси», не замечая, что никакой рифмы не получается. Ну и еще в «Лекаре поневоле» приходилось произносить какие-то фразы из биологии и медицины.

А с изучением языков у вас не было проблем?

Проблем особых не было. Я перешел на первом курсе. Во-первых, мне помогли ребята, хотя, конечно, глупостей я говорил достаточно и мог спокойно определять Indicativus Conjunctivus — но это проделывали и другие люди, которые учились с первого сентября.

Больше всего я любил греческий язык.

А почему же потом вы выбрали латынь?

Я не выбрал — это жизнь выбрала. Тут мне надо рвать на себе волосы и кричать, что лень человека сгубила: я долго занимался греческим — до конца аспирантуры. И уже когда я

остался в университете, то основная работа была — преподавать латинский язык на общих отделениях. И вот инерция, отсутствие подлинного интереса заставили отойти от греческого языка. В какие-то годы я его преподавал, но я думаю, что подготовка моя была достаточно слаба, чтобы стать профессионалом в этом деле. А латынь шла-шла — и очень прочно въелась в мое существование. Это для меня огромная потеря.

Ни в коем случае нельзя отдать предпочтение одному — должно быть две ноги.

А так бывало, что не хватало греческого языка?

Думаю, что да. Конечно, я всегда мог посмотреть куда-то и вспомнить. Но я не мог обращаться с греческим так же свободно, как с латинским, — на «ты».

Сколько вас было на первом курсе?

Очень много. Я поступил в 44-м году — и в это время намечалась очередная реформа школы — по образцу старой гимназии, когда ввели вскоре раздельное обучение мальчиков и девочек, когда появилась гимназическая форма, совершенно повторяющая старинную форму. И тогда же осуществлялся проект введения в школе древних языков, латинского прежде всего, а еще логики и психологии. Даже общежитие МГУ должно было воспроизводить нечто имперское.

Поэтому был резко увеличен прием на классику. В том числе и потому, что нужны были учителя. По-моему, даже именно с 44-го года. В 43-м университет вернулся из эвакуации. В году 43–44-м они занимались на Бронной, где сейчас ИФЛИ. И года через три и в Ленинском педагогическом институте было открыто классическое отделение. И прием там был 40 человек. Он не был реализован полностью, но 30 с лишним было. Это помогло мне поступить, потому что у меня была скользкая ситуация с баллами — их было 23 вместо 24.

А какой был конкурс?

А его практически не было. Потому что медалистов тогда принимали без конкурса и собеседования. Они автоматически становились студентами — и другим оставались какие-то пустяки. И они дрались за места. Так что то, что я попал, — тоже было счастье.

Почему открыли так много мест — это понятно. А почему так активно шли?

Я думаю, что шли бездумно.

Романтика?

Никакой особенной романтики. Ну, ведь и сейчас — в этом году приняли 15 человек, а сейчас осталось 7.

Потому что на античность легче поступить.

Именно. У нас было много хороших ребят, и многих соблазняло сознание того, что вы называете романтикой, а я назову в наше время сознанием особой культурной элитарности. А много людей у нас не имело никакого представления об античности, им было абсолютно все равно, учить ли русскую литературу, или латынь. Кстати, потом из них вышли великолепные преподаватели русского языка и литературы в школе. Так что нельзя сказать, что все туда рвались за античной наукой. Достаточно стадное было ощущение.

Уходило много?

Нет. Но уходили. Уйти было не так просто, потому что набрать 30 человек было заданием партии и правительства — они готовились стать школьными учителями. И такое количество было еще один или два года. Еще два курса после нас были очень большие, потом количество стало уменьшаться. Когда мы кончали, нас было 23 человека. Это три группы. И так было еще только два года. Когда я начал работать, группы классиков были уже по 6–8 человек.

Как проходили занятия языком?

Приблизительно так же, как у вас, только не было смешения истории и филологии в занятиях. Наш факультет был филологический, и наша кафедра занималась только филологическим факультетом, а другая часть (они раньше были вместе) занималась историей.

И вы так же, как сейчас с нами, читали тексты.

Совершенно так. Я думаю, что вы сейчас так читаете тексты, потому что эта традиция идет от наших же учителей. Вот у их учителей было по-другому: тогда профессор сам читал, сам комментировал и никого больше не подпускал — и спрашивал только на экзамене.

Вы этого не застали?

Нет, мы застали обычную, традиционную систему обучения на чтение и анализ текста.

А что было другого?

Наше время отличало то, что преподаватели специализировались.

Лучшие преподаватели занимались обоими языками. Я греческому учился у Павла Матвеевича Шендяпина, который с нами уже на четвертом-пятом курсе занимался латинскими авторами. То же самое и с Александром Николаевичем Поповым, который начинал с младшими латынь, брал первый курс, чтобы заложить основы, и потом отдавал другим. Хотя для него главным был греческий язык, а латынь у него была вторична. Потом была специализация: кто-то читал прозаиков, кто-то — поэтов. Деление, конечно, несущественное, но было. Они спокойно могли меняться, но тем не менее у нас был не один преподаватель, а много.

Кто вас взял первым?

Греческим с нами занимался Павел Матвеевич Шендяпин, соавтор учебника латинского «Попов – Шендяпин», лучшего в свое время учебника латинского языка, но он появился уже позднее. А когда мы начинали заниматься, тогда был один-единственный киевский учебник Крихатского. Была еще грамматика Соболевского — но 30-го года, ее было мало. А лет через пять вышел учебник Попова и Шендяпина, который выдержал аж пять изданий. Потом еще было первое издание Боровского. А большой грамматики греческого языка не было, Соболевский вышел много позднее, к тому времени я уже закончил учиться. В 1941–1942 гг. вышла «Краткая грамматика» Александра Попова. Очень хорошая грамматика, но с существенным недостатком: все тексты там были только на древнегреческом языке. Даже у образцов не было перевода. Но именно по «поповской» грамматике мы и занимались. Там все хорошо подано в очень концентрированном и сгущенном виде.

К концу нашего обучения в тех же целях введения в школе латинского языка стала издаваться такая серия «Римские классики» — желтые мягкие книжечки, в которых были тексты с

довольно подробными комментариями, иногда даже слишком подробными, потому что давали не столько грамматический комментарий, сколько перевод ad hoc. Там Соболевский выпустил «De bello Gallico» с огромным своим комментарием, ссылками на грамматику. Их мы тоже использовали как пособия.

А словари?

Это было труднее: их нужно было покупать у букинистов. Они были редкие и дореволюционные. Греческий словарь — это Вейсман, латинские — Шульц и Петрученко. Я смог их купить только потому, что мне тогда Алексей Карпович Дживелегов деньги дал — и я смог купить одного Петрученко и Вейсмана — они у меня до сих пор лежат, из позапрошлого века. Потом появился уже словарь Королькова — тот, что теперь Дворецкого. Корольков — его настоящий автор. Дворецкий был его редактором, и довольно активным, а после смерти Королькова, у которого никаких наследников не было, он както мягко перешел в авторство — и упоминание о Королькове, по-моему, вообще исчезло. Но Дворецкий включил туда много новых слов, он много откапывал. И после смерти Дворецкого было внесено много средневековых слов. Поздняя Античность и первые века Средневековья в нем хорошо представлены. Но в наше время его еще не было.

Вернемся к студентам: сколько из выпускников шло в науку? Кто чем занимался?

Год на год не приходился. Здесь вообще есть какая-то странная закономерность: график подъемов и спадов похож на кардиограмму: какая-то группа высокая, другая низкая. Хотя, конечно, группа — это виртуальная реальность, это просто набор людей, который объединились совершенно случайно. У меня всю жизнь равномерно чередовались группы увлеченные и скучные, успешные в науке и обычные.

Из нашего курса в науку вышло два человека. Это Беатриса Борисовна Ходорковская, латинистка, доктор наук. Ее ученый фундамент сложился еще в университете: фундамент языка, серьезного интереса. Но научный опыт там не появился. А как у нее появилась наука? Она пошла в аспирантуру в Петербургский университет и стала аспиранткой академика

Ивана Ивановича Толстого и вращалась три года в атмосфере петербургской классической кафедры, что явно содействовало ее ученому формированию. Она теперь в университете Мориса Тореза. Она такой суховатый лингвист романского профиля, меньше интересуется собственно литературой. Вторая — Елена Николаевна Вольф, которая была самой младшей из нас, необычайно яркой одаренности, — и она из классики ушла. Она занималась и на классическом, и на английском отделении. А потом стала заниматься испанским языком. И когда мы кончали университет, она защищала два диплома: по классической филологии и по английской кафедре. Но одновременно она занималась испанистикой и стала преподавателем испанского языка в МГУ. Там она сделала кандидатскую, докторскую — стала крупнейшим специалистом по иберийским языкам. Потом постепенно перетекла на Португалию и стала ведущим специалистом по португальскому языку. Она долго преподавала в Душанбе, писала учебник латинского и испанского языка для таджикского университета — потому что там муж служил. Она уже умерла несколько лет тому назад. Ярчайшая фигура в романистике.

Вы считаете, что она занималась такими многими и разными вещами, потому что кафедра ей чего-то недодавала?

Безусловно, хотя многие со скрипом одолевали только это, но она была очень одаренным человеком.

Еще был Максим Наумович Чернявский, инвалид войны, он после аспирантуры поступил в фармацевтический институт, который потом стал факультетом первого Меда, он стал завкафедрой, написал вместе с Ходорковской, которая там тоже какое-то время работала, учебник латыни для фармацевтов, а потом был автором нашей Фармакопеи. Но научных трудов у него нет. Хотя, если бы он жил в другое время, из него вышел бы замечательный литературовед: у него была прекрасная диссертация по Луцилию. И на этом все. Остальные ограничивались педагогической или редакторской работой.

А какие волны вокруг вашего курса? Курсами раньше, позже?

На курсах «до» были великолепные люди. Прежде всего, это Виктор Ноевич Ярхо, который был за курса три до нас. И

у них был перерыв на войну. У него вышла недавно книга воспоминаний «Внутри Садового кольца и вне его» — это уже о деятельности в ИФЛИ и в Торезовском институте, где он заведовал кафедрой до своего отъезда во Францию. Умер он во Франции, уехал туда к дочери. Безусловно, одна из значительнейших фигур в классической филологии. К нему можно поразному относиться и что-то оспаривать. Я всегда вспоминаю две статьи по классической филологии в девятитомнике «Истории мировой литературы»: статья Ярхо по греческой литературе и статья Гаспарова по римской литературе, — и последняя выигрывает концептуальностью и научностью, хотя никаких особых деталей там нет. У Виктора Ноевича в статьях всегда были заметны следы большой лекторской работы, объемного популяризаторского чтения. Хотя он в последние годы крайне много работал — и это была уже не популяризаторская работа, а серьезная, по папирусным находкам, например.

Его работы появились еще в студенческое время. Тогда стало складываться научное студенческое общество (НСО). На кафедре ее не было, но оно было мощным настолько, что имело возможность публиковать свои работы. И первая работа Ярхо — про Аристофана — вышла этой брошюрой в издательстве Московского университета под грифом НСО. И еще одна его брошюра вышла — она была уже по-журналистски броская — о буржуазных ученых, критиках Аристофана, которые все неправильно понимали. И он их всех разоблачал и высмеивал. Это было неизбежное отражение стиля того времени, потому что во всех работах нужно было критиковать зарубежных ученых. И начинали говорить, что все эти ученые буржуазные, русские ученые до революции тоже недопоняли, классовой борьбы не знали.

А эти пресловутые буржуазные работы читали? Они попадали в СССР?

Да, попадали, но эти советские ученые не знали, что с ними делать, как с ними работать. Но Виктора Ноевича Ярхо не обвинишь в том, что он не знает языка или чего-то не читал. Но про эти зарубежные работы нельзя было говорить в положительном ключе и признавать, что их автор что-то хорошее открыл.

Но если ты пишешь и хвалишь — это вычеркивали? Или просто прецедента не было?

Просто такого не писали. Я не знаю такого. А многие и сами не читали, а писали с чужого голоса. Конечно, я, наверное, немного утрирую, хотя работ наивных было предостаточно, особенно дипломных.

Еще одна очень известная фигура — Борис Александрович Серебренников, академик. Но он чистый лингвист. Он уже был кандидатом наук и читал нам историю языка, когда мы учились. Он из классики полностью ушел и стал крупным специалистом по финно-угорским языкам — принял участие в дискуссии по языкознанию 1952 г., выступив со статьей, которая как раз тогда была очень оппозиционная. Но его оценили, и он стал членом-корреспондентом, не будучи еще доктором наук. Так что его карьера была головокружительная. Он был один из уникальных сталинских довоенных стипендиатов. Он владел умопомрачительным числом языков еще в университете. Нам он читал историю греческого языка. (А Михаил Николаевич Петерсон читал историю латыни.) Занятий языком он не вел — только теоретические курсы, довольно скоро совсем ушел из университета в Академию наук. Это фигура, безусловно, огромного масштаба.

В это же время, но, конечно, другого, по сравнению с Ярхо, масштаба — это Исай Михайлович Нахов. Он человек более легкого характера, поэтому хорошо пишущий, но немножко слишком попадавший «в струю» — и поэтому не гнушавшийся странностей. У него была большая работа на материале Лукиана по идеологии рабов, и это отдавало духом времени. Ярхо подобных вещей не делал, хотя социологический аспект в его ранних работах тоже очень ясно прослеживается. И я увлекался его работами о социальной позиции у Аристофана, о социальности в трагедии. Я даже хотел писать диссертацию «Социальные тенденции в трагедиях Эсхила» — это мне надо было придумать такой идиотизм! Хорошо, что я ее не написал.

А можно было этого избежать в работе?

Наверное, можно. И избегали. Не литературоведы, но лингвисты. Они в своем языкознании были свободны.

Но что касается литературоведов, я не думаю, что они действовали под прессом. Характерно, что люди искренне верят в то, что делают. Это двойное сознание. Человек знает, что дважды два — четыре, и верит, что дважды два — пять. Вот это очень важная вещь, и она была очень органична для моего времени. Совсем не то что он там под гнетом что-то пишет. Нет. Он искренне верит, что дважды два — пять. Но и четыре, но тихо, про себя.

А Соболевский вам преподавал?

Нет, нашему курсу не повезло, я его видел буквально несколько раз. С курсом до нас он много занимался.

Да, я еще забыл сказать про Клару Петровну Полонскую. Она докторской не защищала, так сложилось, но авторитет ее был так велик, что это не имело значения. Она тоже поначалу занималась греческой литературой — а потом отошла к римской. Сейчас я забыл, почему это случилось. Но в какой-то момент она бросила свою греческую трагедию и целиком сосредоточилась на римской литературе. Возможно, потому, что требовался такой преподаватель для отделения — это была та ниша, которая раскрывала ее возможности. И она стала заниматься Римом. Как преподаватель, она учила только латыни всегда. Ее смерть — очень большая потеря для кафедры.

Вы писали статьи в университете?

Нет. Что-то в своей жизни я, конечно, написал, но я с самого начала говорю, что я не ученый и не исследователь. Я должен знакомиться с литературой, входить в тему — и никогда не претендую быть ученым. И поэтому то, что я делал, — это были переводы, комментарии, хрестоматии — то, что является учебным пособием, — и ни в коей мере не занимался истинно научной работой. Мой первый опыт был неудачным. Я, конечно, дописал эту ужасную диссертацию по Эсхилу (диплом тоже был по Эсхилу), но, слава богу, она оказалась неудачной — и я с этого пути свернул. Изначально ложное определение идеи и задач обусловило мою неудачу. С другой стороны, меня отвлекали и занятия общественной деятельностью — то есть то, что полегче. Это создавало внутренний предлог, что ты занят делом и поэтому не успеваешь. А на самом деле это было убиение

времени. Те, что этого не делал, те сделали карьеру, как Ходорковская, например. А те, кто это делал, те не слишком удались. А для того чтобы быть научным, нужно быть таким человеком, как Нина Брагинская, для которой научная деятельность — это содержание ее бытия. А я в основном ограничивался методическими работами и созданием пособий.

А в университете вы, конечно, как все, писали курсовые...

Представьте себе, нет. Не всегда. Мы писали на втором курсе по греческой литературе, на третьем — по римской литературе (и читали ее). Был семинар, который вел Сергей Иванович Радциг по греческой литературе, а по Риму с нами занимался Павел Матвеевич Шендяпин. Петровский, который обычно читал римскую литературу, уже ушел с кафедры. Это был третий курс, мы не успели. Я его застал только как лектора. Он с нами читал Лукреция и Горация. Я говорил, что у нас на кафедре была специализация по поэзии и прозе. Федор Александрович тогда готовил свое издание перевода Лукреция и на нас отрабатывал комментарий и всякие прочие вещи. Одно из самых страшных моих воспоминаний — это экзамен у Петровского, когда он всем поставил пять. Большей оплеухи я никогда ни от кого не получал. Он всем задал два-три вопроса, вне зависимости от ответа ставил пятерку.

Почему?

Думаю, потому, что он соответствующим образом оценивал своего собеседника. Это заведомая оплеуха. Вы понимаете, что не отвечаете на пять, даже на четыре. И это было очень страшно.

Можно и по-другому, как Кочкарев в «Женитьбе»: «Плюнут в лицо... А платок-то на что?» — но когда тебе плюют именно таким образом, в этом нет ничего, кроме презрения. Значит, с тобой и говорить не о чем.

А читал он интересно. Для меня это было скучновато. У него был очень долгий разговор про каждое слово, а где оно еще встречается, в каких вариантах бывает. Меня интересует, как сказано, структура фразы — поэтому я так и не стал лингвистом: я всегда жаждал, когда будет синтаксис в истории языка. Но так и не дождался ни греческого, ни латинского.

А он предполагался?

Наверное, курс истории языка должен предполагать синтаксис, поскольку он составляет язык. А весь курс сводился к истории фонем от индоевропейских корней, а меня это не интересовало. Хотя многие очень интересовались. Так что получалось, что этот курс Федора Александровича был никому не нужен.

А что еще с ним читали?

Также мы с ним читали оды Горация. И все время уходило на метрический анализ. Что касается того, что там написано, это мало кого интересовало, а мне очень хотелось узнать именно это. Также с нами читал Николай Федорович Дератани уже на четвертом курсе «Менехмов» Плавта. И прочитали, кажется, всего строк 20. Потому что изучали только метрику: что во что распускается, что куда стягивается в каждом стихе. Я понимаю весь обскурантизм моих заявлений, но я предпочитаю понять игру слов (но не характеристику образа раба), то, как играет мысль, в чем суть комизма и живости. Плавт — это совершенный восторг, а сплошной анализ метрики для меня лишал все интереса. Хотя у меня сейчас есть молодые ребята, которых хлебом не корми, дай поговорить про долготы и краткости.

С Дератани вы читали только Плавта?

По-моему, да. Дело в том, что Дератани пришел к нам за год или два до нашего окончания, скорее на пятом. Он пришел к нам после бурных волнений на отделении в 48–49-м гг., когда мы по полной дурости своей бунтовали.

Против чего?

Против архаических методов преподавания. Нам не хватало научной теории Марра, которой мы не знали, но знали, что она научная. Нам не хватало научности, изволили давать оценки преподавателям, писали, что Радциг прочел курс неудовлетворительно, потому что, в нашем представлении, в основном пересказывал содержание. Мы не понимали всего, что он мог дать. И совсем даже не просто содержание пересказывал. И это кончилось тем, что довели бедного Сергея Ивановича до тяжелого заболевания. Именно нашими воплями. И это затронуло и Ярхо — он в своей книжке вспоминает, какие гадости про него писали. Слава богу, не сказал, кто писал. Он вообще мно-

гих пощадил, не назвав по благородству души в книге. И тогда мы в министерство обращались. У нас была активная политическая деятельность, активная политическая позиция.

Конечно, это что-то дало положительное. Кстати, у нас не было семинаров. Только один семинар сопровождал курс греческой литературы и курс римской.

И все?

Еще нам два года Дмитрий Евгеньевич Михальчи читал курс романского Возрождения — и только его, два года, только для классиков. И ему мы писали тоже работы. Я очень хорошо помню, как я бегал в Библиотеку мировой литературы и читал там рукопись книги Бахтина о Рабле. Есть такая книжечка, но она очень сокращена по сравнению с самой диссертацией, которую защищал.

И чем вас увлекал Бахтин?

Он меня увлекал теорией готического смеха. И там мне хотелось писать научную работу, я ее написал и даже эксплуатировал потом на экзамене по французскому языку, излагая по-французски чужие мысли. Я не могу сказать, что я единственный, кто так делал.

К сожалению, обсуждений работ у Михальчи не было. Обсуждения были только по римской литературе. Я помню крики, скандалы, бросания обвинений, но не могу сказать, что это было научно — просто по-студенчески.

А чем разрешился тот скандал с министерством?

Ну, не с министерством, а с кафедрой и более всего с Радцигом, которого мы — а особенно наш курс — обвиняли в старомодности, в пренебрежении передовыми методами науки, в таком устоявшемся и старомодном учебном плане, в отсутствии семинаров. Но больше в этом было трепа — и трепа бессознательного, по глупости. Все делалось на чистом комсомольском энтузиазме — и стоило Радцигу дорого. И на этой волне к нам пришел Николай Федорович Дератани, который оппонировал и наши дипломные работы, Макса Чернявского и мою. На следующий год он стал завкафедрой (и был им до 1958 года). Недолго после его смерти заведовал Попов (до 1962 г.), а потом пришла Аза Алибековна Тахо-Годи, которая была 30 лет и 3 года.

У вас был общий язык с преподавателями?

Пожалуй, нет. Наши преподаватели все были гимназическими учителями. Вузовских преподавателей почти не было, просто потому, что они оканчивали университеты в 1914–15 г. Но Дератани вот был уже с 1912 г. приват-доцентом, после того как он стажировался у Нордена в Берлине года два. Радциг никогда не оставался в университете, его не любил Соболевский, который в свое время поставил ему двойку на экзамене и, по-моему, помнил и дальше. Так что Сергей Иванович был принужден из-за двойки служить в армии — охранял Царь-пушку в Кремле. Но он не оставался в университете, был профессором в Ярославле. После 1923 г. никто, кроме Дератани, который был профессором Института красной профессуры, вообще не работал по специальности. Он был по типу похож на Брюсова, Фрича, Переверзева, Когана, быстро сблизившихся с новым порядком, тут же вступивших в партию. В свое время он был октябристом. В нем была своя очень четкая правильность.

А кто он был как ученый?

Довольно серьезный. Без великого полета, но диссертацию по Овидию писал по-латыни. Грушка о нем говорил, что в нем «много пота и мало таланта», потом он публиковал статьи во французских журналах и был достаточно продуктивен, но был всегда очень в струе. Дератани никогда не был впереди, поэтому в 20–30-е гг. в нем преобладала вульгарная социология, откровеннейшая. «В соседней комнате ковали чего-то железного». Вы знаете издание Плавта?

Да.

Вот можете почитать там его статью. И увидите, он был суховат, сдержан, в футляре. Хотя незлой. Внешне он напоминал вот тот самый тип революционного интеллигента.

У вас были свои классические предметы, а были общие, со всеми остальными филологами?

Да, и вот одна из причин нашей пугачевщины была раздробленность этих самых курсов. Были серьезные проблемы. Настоящий план был только по языкам и примыкающим дисциплинам: по истории языка, литературы — так, как и сейчас. А все остальное было случайно: зарубежная литература не включала ни Сред-

ние века, ни Новое время (два года было романское Возрождение, за что спасибо кафедре), но общего курса не было. Классицизма не было — только романтизм, который читала Валентина Дынник. И все. На этом зарубежная литература кончалась. Русская литература у нас была, но тоже случайно. Немного XVIII в., потом я помню очень смутно. Серьезного Пушкина, Лермонтова и Гоголя не было, был какой-то кусок второй половины XIX в. — это ведь зависело от того, кто мог читать. Была интересная история литературы, особенно семинары, которые вел Лев Озеров. Это было очень интересно: он нам рассказывал и про ИФЛИ, и про свою жизнь, и про сверстников, с которыми учился. Он ведь тоже с классики, хотя неполные пять лет там просидел — перевелся на французское. К нам он приходил чуть не в солдатских обмотках. Это был не семинар, а больше его рассказы.

Это отделение касалось всех филологов или только вам так плохо составили план?

Я думаю, что второе.

То есть комплект преподавателей был?

Был. Затрудняюсь сказать, конкретно почему, но курсы были обрывочные. Например, у всех в зачетках стояли пятерки по истории Древнего Востока, которой нам никогда не читали. Они просто спохватились, что читать поздно, — и вписали. И курс литературы был очень так себе.

Физкультура была?

Вероятно, но я никогда ею не занимался, у меня был пневмоторакс с 42 до 52-го года, поэтому я ничем не занимался.

Как воспринимали классиков на факультете товарищи?

Наверное, нормально, без всякого... У меня было полным-полно друзей с других кафедр, это был цельный коллектив, нераздробленный. Конечно, были группы и люди, не связанные, не общающиеся, 9/10 я почти не знал, но друзей было много повсюду. И еще очень объединяла и примиряла общественная деятельность и комсомольская работа. Пустая — это другой вопрос, но она была реальная и занимала мысли, отнимала время, кто-то делал на этом карьеру; и это был единый организм, который отрывал от учебы всех в одинаковой степени. Поэтому нас воспринимали не отдельно, а как часть общего студенческого организма.

А вас тренировали как преподавателей?

Конечно! Это было. Педагогическая практика — прямо на нашем отделении. Мы должны были дать один урок первому курсу по греческому или по латыни. Потом решили давать и латынь и греческий, два урока. А нам еще давали выбирать. Я давал урок по Цезарю у Константина Рудольфовича Мейера.

А вы помните, кому давали?

О, те, кому я давал уроки, были меня младше на два курса — и среди них был Сергей Ошеров, который перевел «Энеиду», Мария Георгиевна Лопатина, что работает сейчас на кафедре, кто-то стал публицистом и профессором исторического факультета, и покойная Зина Морозкина — блестящий, одаренный человек, так ничего и не сделавший, потому что страшно была больна — с рождения инвалид первой или второй группы. Она была блестящий человек, но из-за болезни всегда варилась в собственном соку, и это постепенно стало чуточку провинциальным, тем более что у нее первоначальный социологический уклон, от которого быстро отошла. Она по-настоящему проявила себя как переводчик. Ей Сережа Ошеров помогал печататься в собраниях Горация, Овидия, я брал ее в римскую хрестоматию, которую мы делали с Мирошенковой. Но судьба трагическая, она уже несколько лет как умерла.

Это была ваша единственная практика?

Да. И я до сих пор с ужасом помню, как выдал за ablativus absolutus какой-то винительный падеж — и этого не заметил. Даже сейчас помню: conversa signa...

Вам поверили?

В том-то и дело. Конечно, мне потом Константин Рудольфович выдал...

Вы поступили, когда открылся большой прием на отделение. Это было общегосударственное мероприятие. Была идеология и риторика, зачем нужно столько античников?

В основном это были общие рассуждения об основах европейской культуры — то есть то, что всегда говорится на вступительных занятиях и сегодня. Меня-то увлекла поначалу речь одного из профессоров — не помню кого.

Кафедра целиком состояла из преподавателей старой формации. Это были гимназические преподаватели. Они были страшно непохожи на нас, и на первых заседаниях кафедры они казались мне монстрами. А учитывая неизбежный идеологический фон времени, я их воспринимал как ретроградов, носителей идей проклятого прошлого. Это были старики. У меня на русском отделении был достаточно старый преподаватель Шеллер, с которым я бы никогда не полюбил латынь. Это всегда плохо воспринимается от старого преподавателя. Старый вызывает внутреннее раздражение. Он нам рассказывал, что надо учить слова с помощью двух спичечных коробков — ерунду, в общем. Скука смертная. Я бы, наверное, крепко возненавидел латынь, если бы не перешел на классику, где атмосфера была все же другой. И поэтому никаких доверительных отношений быть не могло. Но тот, кто хотел заниматься, тот мог это получить. Радциг никогда никому не отказывал. Была другая проблема: Сергей Иванович никогда не был в полной мере ученым. Он был эрудит, чрезвычайно знающий, прекрасный переводчик, знаток текста, прекрасный, увлекающийся лектор. Все считали, что он если не сын, то внук Гомера, сам он казался аэдом. И пел сам мелику. И с ним можно было говорить о конкретных фактах: о понимании места в тексте, о реалиях. Когда вы пытались выйти с ним на концептуальный уровень, то уже он увядал, ему это было не очень интересно.

И Ярхо своим научным учителем считал не Сергея Ивановича, у которого он защищал диплом и кандидатскую, а Иосифа Моисеевича Тронского и петербургскую школу. Он этого не стеснялся — и это правильно. Это как и с Ходорковской.

[Про театр]

...Появились маленькие сценки: разумеется, что-то из Плавта. Это было раза два: «Мостеллярия» и еще что-то. Любовь Игоревна Грацианская играла некоего старца, Надя Малинаускене, теперь лингвист, играла. А через какое-то время, в начале 70-х гг., у меня был первый курс. И вдруг мы решили, почему бы нам не поиграть? Взяли пьесу, маленькую пьесу, «Дульциция»

[Гросвита Гандерсгеймская, X в., немецкая монахиня, писавшая на латыни]. Там было шесть-семь девочек. И мы решили сделать именно ее, монастырскую драму. Но мы же не могли тогда ставить монастырскую драму! Это кощунственно и идеологически невыдержанно. Но материал был: мы сделали полпьесы, потому что в конце были всякие чудеса, вознесение души мученицы и покарание грешников. А мы взяли моменты комические. Некий Дульциций, начальник караула, там есть воины. Поскольку девицы отказываются вступить в брак по языческим законам, их Диоклетиан заключает в тюрьму, требуя отречения. А они говорят: Nulla sacrificabimus daemonibus [Ни за что не будем поклоняться демонам]. Дульциций собирается совершить над ними насилие, пробирается к ним, но на него нападает умопомрачение — и он принимает кастрюли и горшки за девиц. После чего он выходит, полагая, что имел дело с девицами, появляется весь грязный и страшный, отчего пугаются воины — и убегают. А Дульциций идет жаловаться к императору. Его, грязного, не пускают — идет жаловаться к жене, которая его пожалела. Мы сделали из пьесы мюзикл: включили весь текст, еще и тексты из «Carmina Burana», которые так или иначе соответствовали ситуации, мы сделали хор стражников, который проходил через всю пьесу и пел: O Fortuna velut luna [О, судьба, подобная луне]... Эти стихи сами ложились на частушечный мотив. Идея была сочетать латинский текст и шлягерные или частушечные мотивы, «Утомленные солнцем»...

Еще была очень хорошая ремарка, списанная из «De ira» [О гневе] Сенеки, где описываются аффекты: Caput movendo ac totum corpus ac terram pede pulsando [Трясясь всем телом и головой, ногой пиная землю]. Это у нас говорил Диоклетиан, у которого в качестве символов власти был некий жезл и кочан капусты в качестве державы, потому что, как вы знаете, Диоклетиан после ухода от престола возделывал капусту. Как в кукольном театре, где сняли ширму — и видно актеров. Такие вещи нельзя было играть всерьез. Но надо было петь, танцевать. У нас был хор трех девиц.

А кто ставил?

Как — кто? Я! Это же группа была!

Ну, могли все вместе придумывать и ставить, а могли все вам подчиняться...

Ни в коем случае. Мы, конечно, придумывали все вместе — они были очень талантливые. Там была Наташа Германюк, была покойная Люба Якушева, позднее поэтесса. Она была и Дульцицием, и одновременно аккомпаниатором. Она немножко играла, а потом шла к пианино — и возвращалась быть Дульцицием. Она, например, играла тексты «Carmina Burana» на музыку «Лучинушки». Записи, к сожалению, погибли вместе со всей остальной фонотекой филфака. Текст был прозаический, а стихи для песен включались из других текстов. Например, на мелодию «Манчестер – Ливерпуль» пели текст из «De senectute» Цицерона.

А сколько шел спектакль?

Минут 25–30, потому что он кончался появлением жены Дульциция, которая его «жалела», давая звонкую пощечину. Недолго, но было вполне доступно первому курсу — и это дало очень серьезный толчок для включения в язык. Они стали осмыслять латынь как разговорный язык, что на нем можно общаться, что он доступен. Мы играли спектакль сначала на празднике посвящения. Потом мы показали его на международном конгрессе в Ереване. И потом мы ездили в Германию: немцам, которые были тогда в Ереване, это очень понравилось — и они нас пригласили в Иену, Халле, Лейпциг и Берлин и другие восточногерманские университеты, куда мы и съездили. В Германии принимали очень здорово! Последний спектакль, который мы играли в Берлине, шел постоянно под аплодисменты. Его захотели тут же снять для телевидения — но у нас уже не было дня, мы наутро уезжали.

За «Дульцицием» последовали плавтовские «Вакхиды», сделанные по тем же принципам.

Плавта ведь ставили не целиком?

Ни в коем случае! И не в стихотворном виде, а в прозе, иначе невозможно было бы понять из-за элизий. И сейчас Плавта в Европе ставят прозой. С этим спектаклем мы тоже ездили туда. Уже когда эти девочки окончили университет, в 1977 г., мы возобновляли «Дульциция», заглавную роль исполнял Кирилл Максимович, который сейчас читает патристику, но это было

уже не так интересно: мужская фигура создавала некую реальность и разрушала условность. А «Вакхиды» мы успели сделать еще с девочками. Эти девочки оказались способными играть и придумывать очень много.

Когда мы поставили «Мостеллярию», там играли Ольга Леонидовна Левинская, мужскую роль, и Ирина Ковалева, ее однокурсница. Это было уже немножечко по-другому. Много времени спустя мы ставили «Эпиталамии» Катулла, когда решили посоревноваться с кафедрой фольклора, где был настоящий фольклорный театр, где безумно интересно показывали разные обряды. Мы решили, что сделаем античную свадьбу, которая была положена на музыку. И это был уже закат, хотя тоже уж 20 лет как прошло.

А кто зрители?

Это было на дне посвящения в студенты, это были классики — все-таки мы хотели понимающую публику. А потом мы вышли и на более широкую аудиторию — мы на факультетских вечерах играли. Но в других спектаклях (я имею в виду после «Дульциция») повторить это уже было нельзя, сам метод себя исчерпал.

Сравнивая с сегодняшним днем, конечно, очень изменились эстетические представления зрителей — и это уже никому интересно быть не может. Это было 30 лет тому назад. Сегодня этот принцип контраста древнего текста и современного оформления уже не сработает. А это бралось из «Принцессы Турандот» Вахтангова.

Жалко, что это не записали...

Записали, но не сохранили... Но те, кто не видел спектакля, на слух это воспринимали с трудом.

А вы сами никогда не играли?

Никогда. Дело в том, что я в школе играл в драмкружке. Потом, когда меня отправили в театральную студию Дворца пионеров, меня туда не приняли — и правильно сделали. И после этого я уже никогда не пытался, хотя мне больше всего хотелось заниматься именно театром, опереттой.

А как вы думаете, если нельзя восстановить спектакль, то просто театр можно? Хотя бы день посвящения в студенты?

Думаю, что нет. Мне кажется, то, что происходит сейчас, это формализованное действие. Сегодняшние молодые люди

такое действо не могут воспринимать как праздник или делают вид, что воспринимают.

Вопрос совсем из другой области. Вы ведь преподавали только классикам? Или на общее отделение тоже попадали?

Конечно, как всякий классик, закончивший учиться, попадал и к заочникам, и на общее отделение. Но тогда отношение к предмету было немножечко другое. Может быть, это ностальгия. Но у меня часто были с ними очень хорошие отношения — и из этих групп выходило много толковых людей. У Лени Крысина, например, только что вышел толковый словарь, он у меня занимался когда-то. Теперешний критик Алла Латынина когда-то была Аллой Бочаровой. Там были и одаренные люди — и интересовались и латынью тоже. Но это было давно, и мне было ну 28–30 лет. А потом это становилось все тяжелее и тяжелее. Студентам становилось все неинтереснее и неинтереснее. И я старался общих отделений избегать. Когда у меня начались спектакли, я уже сосредоточился на классиках.

Сейчас по материальным соображениям приходилось преподавать в других вузах на общих отделениях — я уже больше не могу это делать, только в церковном университете. Я уже не могу, сжав зубы, тратить время впустую, у меня его осталось мало. Если тебе за... то ты можешь преподавать, только если ты несешь какую-то сумму идей, если ты приходишь со своей лекцией, наукой, теорией. И тогда неважно, бормочешь ты или ты артистичен, стар ты или молод. Идея — главное. А на элементарных курсах старый преподаватель — вещь печальная и нежелательная. На специальных отделениях это все-таки можно, потому что студент интересуется своей специальностью.

А в чем должно быть отличие преподавания классикам и неклассикам? С классиками понятно: вы передаете все, что знаете. А как не спугнуть неклассиков?

Часто по инерции преподают одинаково: то же, но небрежнее. Но для неклассиков надо так: если это лингвисты, то речь должна идти о чисто теоретическом моменте, чтобы показать структуру языка, фонемы — и не очень сосредоточиваться на тексте. Там, где литература и история, там речь должна идти о развитии культуры — и тексты должны быть подобраны со-

ответствующе. Если поставлена задача только научить читать, то есть понимать, то это приблизительно то же, что нужно и классикам, только в минимальных масштабах. Или дать лекции общекультурный характер и этим ограничиться, тогда уже неважно, научил читать или нет, — все равно пропадает втуне.

А для классиков главное научиться с третьего-четвертого курса самому понимать текст, свободно с ним обращаться, чтобы я с моим багажом был уже вам не нужен, а был нужен кто-то с серьезным литературоведческим анализом, большим багажом.

Можно сказать, что студенты по эпохам различаются?

И да и нет. В чем-то очень похожи. Трудный вопрос. Из классиков в последнее время вышло гораздо больше людей талантливых и продуктивных, чем лет 15—20 назад, как Ренессанс. Все идет волнами с разными периодами: то одаренности, то все сплошь тишь да гладь.

Если говорить о качестве защищенных работ, нынешнее поколение оказалось гораздо более мощным, чем наше. У нас буквально единицы остались в науке. Там есть титаны. Но и сегодня есть молодые титаны.

Была у меня гениальная группа: Александр Васильевич Подосинов, рядом с ним сидит Нина Владимировна Брагинская — теперь, когда я их вижу на кафедре, у меня очень странное ощущение. Там же была Галя Келлерман, которая уехала и теперь профессор Сорбонны и Тель-Авивского университета. А еще один из этой группы стал иеромонахом в Вильнюсе.

Брагинская родилась ученым. Но я помню занятие, когда мы читаем что-то, а Нина Владимировна читает под столом очередную научную книжку, потому что ей скучно здесь. Не детектив, а научную книжку. То, что мы талдычили про какую-то конструкцию, ей было неинтересно, потому что она и так все прекрасно понимала.

А вы ругались?

Конечно. Но не очень. И Подосинов в свое время даже не знал, куда поступает: он шел на классическое русское отделение, изучать классическую русскую литературу. Он понятия не имел вообще, что существует классическая филология.

Он с некоторым обалдением увидел, что тут какая-то латынь, древнегреческий. Но он остался. Из этой группы, где было шесть-семь человек, четыре вышли в науку, еще одна стала знаменитым палеографом и сейчас в Штатах.

А бывает группа mera solitudo — чистая пустыня.

Может быть, самое последнее... Вы переводили и издавали. А с другой стороны процесса были? Участвовали в редколлегиях?

Нет, никогда. Сама по себе эта деятельность началась совершенно случайно: просто искали переводчика, потому что срочно было нужно. А потом, когда установились эти отношения с редакциях, я получил еще один перевод, редактор мне еще дал. А художественным переводом профессионально я никогда не занимался. Хотя мне хотелось бы переводить итальянских гуманистов, это интересно: текст хороший и легко идет. Но, к сожалению, никто меня больше не звал.

Еще один вопрос: нужна ли вообще история науки?

Думаю, что да. Безусловно.

А кто ее должен писать? Классик, который знает изнутри? Или простой историк, у которого есть свежесть взгляда?

Я думаю, что лучше... ну, не знаю... наверное, классик с достаточной способностью широкого видения. Потому что смотрение со стороны без собственного опыта даст искаженную картину. Через это горнило нужно пройти, чтобы все понимать. Для всяких работ такого рода нужно еще и чувство юмора, способность критически относиться к проблеме: нужно уметь видеть и соизмерять с исторического расстояния ценность вещи.

Естественно, должен быть взгляд со стороны. Но он должен быть как перископ: подлодка под водой, а глазок наверху, чтобы было видно и окружающее, и внутреннее. Замечательно описывают состояние клинической смерти, когда душа поднимается на небеса и видит, как внизу совершается операция. Я это скоро увижу, но, к сожалению, не смогу вам рассказать. Никому это не удавалось.

Человек, прошедший через это, сам должен объективно посмотреть. Брагинская может. Но только с чувством юмора и пониманием масштаба.

Мы в прошлой беседе упустили серьезную тему: были преподаватели, которые выдвигались скорее благодаря не научной деятельности, а партийной?

На нашей кафедре не очень много. Могу начать с самого себя — я массу времени потратил на общественную деятельность. И это сказалось: я не был ориентирован на Дело. Ведь если человек погружен в Проблему, он не будет больше ничем заниматься.

Кто-то пользовался этим, чтобы ездить, смотреть, общаться. А кто-то старался приспособиться, как вы говорите. На нашей кафедре было немного. Но было. Тем тяжелее, что это было с людьми достаточно одаренными: Исай Нахов, человек безусловно одаренный, способный хорошо изучать, но посвятивший свою главную работу жизни Лукиану и идеологии рабов, которой не существовало. То же с Николаем Федоровичем Дератани. Во всяком случае, не в преподавании. Он в преподавании был очень сух и зашорен, но материал знал великолепно. А вот в научной деятельности... исследовал Овидия, когда про него сказали «много пота, мало таланта», хотя вполне добросовестное исследование. И тут же рядом были его социологические статейки, которые очень нравились редакторскому начальству, но на деле представляли собой ничтожную величину.

Говорить о парторге кафедры не имеет смысла, потому что она даже не была специалистом — кроме партийной работы, она больше ничего не умела делать.

То есть кафедры это не очень касалось?

Кафедры, скорее, нет. Это касалось судьбы человека. Могло касаться. Могли попортить настроение или задержать карьеру.

А в послевоенные репрессии кто-то пострадал на кафедре?

В отличие от Петербурга, где пострадали такие люди, как Аристид Иванович Доватур и Зайцев, который был даже младше меня... Но пострадали и на кафедре у нас. На курс младше нас учились и были арестованы в 1947 г. на третьем курсе Яша Меерович, Гена Файбусович и Галя Полонская (не родственница Клары Полонской, она сейчас в Испании живет), которая после выхода стала энтомологом или кем-то еще, во всяком случае далеким от классики.

Что касается Яши Мееровича, то не знаю, где он сейчас, но он был поэтом. Они получили по 20–25 лет за то, что «хотели взорвать Мавзолей». А всего-навсего просто были студенческие встречи и явный навет. Есть предположения про источник навета. В частности, называли декана нашего факультета Самарина, что он сыграл роль, хотя и не прямую. Была статья в «Литературке» про это. Источник назывался только намеками, понятными тем, кто в этом варился, остальным — нет. Яша Меерович, очень приятный и умный человек, когда вернулся в конце 60-х, стал учиться и кончил факультет. Окончил отделение классической филологии и занимался литературным переводом. Он писал работу и защищал диплом по римской элегии. Но он остался в том времени, когда его заставили прекратить учебу: в той литературе, в тех взглядах 40-х гг.; когда же он защищал работу через 20 лет, это выглядело очень грустно, потому что наука ушла очень далеко в методологии, терминологии, в подходах. А это было что-то архаичное. Ему оппонировала Наташа Старостина, человек намного моложе, очень талантливый и яркий, ей ничего не оставалось, как сделать хорошую мину при плохой игре. Было бы непристойным сказать что-то дурное про эту работу.

Это были три человека, которые пострадали. Это все очень фильм напоминает «Покаяние»: рыли тоннель из Бомбея в Лондон.

Еще интересна судьба Симы Маркиша, который недавно скончался в Швейцарии: одареннейший человек, хотя его работа о Гомере отдавала журнализмом. Его отец, еврейский поэт Перец Маркиш, в 1948 г. был расстрелян — и Сима Маркиш не должен был остаться в университете. Но зато Александр Николаевич Попов сделал все, чтобы Сима, который был на пятом курсе, сдал экзамены и защитил диплом — и уже с дипломом должен был ехать в ссылку в Казахстан. Потом он был реабилитирован, уехал в Швейцарию, стал известным русистом, человек крайне одаренный, но он должен был оставить факультет, хотя досрочно окончил университет. Я по-разному относился к Александру Николаевичу Попову, но этот поступок был очень мужественный и человечный.

Записали студенты РГГУ

NICOLAO ALEXII FILIO – AMICI, COLLEGAE, DISCIPULI

▼

МИХАЭЛЬ ФОН АЛЬБРЕХТ
Michael von Albrecht (philologiae classicae professor in Studiorum Universitate Heidelbergensi)

QUID LINGUA LITTERAEQUE LATINAE AD HOMINES EDUCANDOS CONFERANT

NICOLAO ALEXII F. FEDOROV NONAGENARIO

Multa mihi legenti, multa audienti de studiorum humanitatis utilitate plurima occurrunt quae et ad res ipsas cognoscendas et ad formam loquendi atque cogitandi pertinent. Hodie autem tria vobis proponam: primum de Latinitatis facultate renascendi loquar, deinde de utilitate linguae litterarumque Latinarum et de scholis reformandis, tum de Europae indole.

I. DE FACULTATE RENASCENDI

Ac primum quidem unum mihi vel maximum videtur: vim dico atque facultatem renascendi. Quae qualis quantaque sit, breviter exponere iuvat. Initium igitur faciam a narratione quadam, quam ex Claudio Quadrigario rerum scriptore excerpsit Aulus Gellius (in *Noctium Atticarum* libri noni capite tertio decimo; ceterum eadem amplius exornavit T. Livius 7. 9. 6 – 7. 10. 14). Narrat autem Gellius haec fere: Temporibus tumultus Gallici, anno a. Chr. n. trecentesimo uno et sexagesimo, vir quidam Gallus eximia magnitudine corporis pugnae pausam fieri iussit conclamans, siquis secum depugnare vellet, ut prodiret. Prodiit autem T. Manlius. Qui dum cum illo proeliatur, cito animadvertit Gallum semper eodem more atque eadem ratione et corpus movere et armis uti. Quibus legibus perspectis (quae in gentibus atque civitatibus, quae priscos mores colunt, religiosissime observari solent), Romanus hostem suum facile superavit. Usus enim

est motu quodam a Gallorum more abhorrente, quem ille minime exspectaret. Hoc est magnum testimonium atque exemplum ingenii Romanorum, quippe qui et observandi et discendi summa facultate in inveniendis rebus summa sollertia uterentur.

Quid enim de pugnis dicam navalibus, a quibus Romani antiquissimi, utpote agricolae, alieni fuerant? Attamen a Carthaginiensibus provocati et naves construxerunt et ipsi ex hominibus rusticis nautae facti hostes magnis pugnis navalibus vicerunt. Recte enim poeta dixit: *Fas est et ab hoste doceri* (Ov. *Met.* 4. 428). Certe Romani utpote viri discendi peritissimi numquam se inveterascere passi sunt, semper nova temptaverunt.

Cuius facultatis ipsi imperatores maxima nobis documenta praestiterunt. Nam secundo p. Chr. n. saeculo imperatores, cum in senatu tot viderent inimicos suos Stoicorum sectam sequentes, ipsi philosophiam Stoicam amplexi sunt. Quo factum est, ut philosophia illa ex contraria imperatoribus fieret tutela atque propugnaculum imperii. Ita ipsi quoque imperatores prorsus mutati sunt. Nam primo saeculo exeunte Domitianus adhuc philosophos Roma eiecerat. At saeculo secundo inde ab Hadriano Romanorum ius philosophia Graeca adhibita adeo mite atque humanitatis plenum factum est, ut hodie quoque omnibus gentibus exemplo esse possit. Denique imperator Marcus Aurelius ipse philosophus factus est.

Videtisne Romanorum sapientiam, qui eam ipsam vim, qua inimici vigebant, in suum usum verterint? Neque aliud Constantinus ille egit. Nam ipse religionem Christianam, quae temporibus illis maxime pollebat neque vi et armis ne a fortissimis quidem imperatoribus (Domitiano, M. Aurelio, Diocletiano) vinci poterat — Constantinus, inquam, id effecit, ut religio Christiana ex periculo rei publicae summum vinculum unitatis atque concordiae fieret.

His exemplis probatur, quam magna fuerit non solum sapientia Romanorum, sed etiam singularis quaedam vis illis insita: facultatem renascendi dico. Quod ingenium nostrarum quoque civitatum proprium putaverim, nam omnes patrimonio Romano vivimus eoque sive scientes sive inscii utimur. Quam sui renovandi vim atque facultatem si eruditione atque cultu augere volumus, duae nobis res considerandae sunt, altera fixa atque immobilis, altera plena vitae atque virium.

Ac primum quidem ipsa illa vis sui ipsius novatrix alitur mira illa stabilitate scholarum antiquarum. Quanta enim fides atque constantia grammaticorum Latinorum, qui posteris tradiderint verba eorumque formas syntaxinque una cum rerum gestarum et geographiae et philosophiae scientia! Qua doctrina discipuli non solum libros scriptos legere et intellegere discunt, sed etiam omnium rerum visibilium invisibiliumque naturam, denique ipsi se intellegunt. Fides autem et constantia in grammatica docenda nostris quoque temporibus viget. Altera tamen ars — quae est rhetorica — hodie minus colitur. Nam illam saeculo undevicesimo multi spernebant. Quam tamen saeculo duodevicesimo adhuc magistri discipulique in scholis exercebant. Scribebant enim quaedam praeexercitamenta rhetorica, quorum maximum et pulcherrimum «chria» (id est «rectus usus») appellabatur. Quae dum exercitia componunt, discebant discipuli, quomodo bona causa defenderetur, mala refutaretur. Item primum rerum inventionem, deinde partium dispositionem, tum verborum elocutionem atque ornatum via atque ratione adhibebant. Quae scholae Latinae plurimum conferebant ad sui defendendi facultatem atque sollertiam — non vi neque armis (id quod hodie in scholis fieri valde dolemus), sed ratione et oratione, quae «arma» sola homine digna sunt. At his exercitiis sublatis saeculo vicesimo etiam liberarum rerum publicarum status in tyrannidem mutatus est. Dedidicerant enim homines artem rhetoricam, quo factum est, ut demagogorum fallacias perspicere non iam possent. Ideo primum a pseudopoliticis et demagogis decepti sumus, deinde (id quod hodieque fit) mercatorum pessimi cuiusque mendaciis obruimur. Filii certe nepotesque nostri artem rhetoricam funditus discere debebunt, si modo transire volent flumen illud lutulentissimum duarum linguarum hodiernarum, quae vere «mortuae» appellari debent — et sunt: linguam pseudopoliticorum dico et linguam venditorum omnia vendentium. A quorum fallaciis nos haec arma defendent: lingua Graeca et Latina, quae vere vivae sunt.

Igitur in scholis nostris ars grammatica, quae firma atque immota est, satis bene conservatur, at amisimus partem vivam atque vigentem, id est usum atque consuetudinem artis rhetoricae. Sin autem cives educare volumus, qui vigilent, qui ea quae iusta sunt, defendant, iniustis viris obstent, exercitia rhetorica redintegranda erunt.

Huc adde quod exercitia Latine scribendi et loquendi discipulos etiam in linguae vernaculae usu atque consuetudine adiuvabunt.

Certe is qui Latine loqui et scribere didicerit etiam sermone patrio maiore cum cura atque reverentia utetur. Equidem dum tam acriter linguae Latinae usum defendo, id ago, ut litterae in omnibus hodiernis linguis renascantur. Ita enim dominatum atque potentiam unius atque solius linguae evitabimus, quae non erit illa summorum Angliae scriptorum, Shakespearii, Miltonii, Oscari Wilde, Bernardi Shaw, quorum ingenia et artem valde admiror, sed Macci Donaldi culina quaedam linguistica.

II. DE LINGUAE LITTERARUMQUE LATINARUM UTILITATE; DE SCHOLIS; DE STUDIORUM UNIVERSITATIBUS

Sequitur, ut de utilitate linguae litterarumque Latinarum dicendum esse videatur.

Ordiamur igitur ab utilitate ut ita dicam «materiali», id est a rerum cognitione. Optime enim docentibus Varrone (in iis libris, quos de lingua Latina conscripsit) et Comenio (in Orbe picto) verba Latina una cum rebus discuntur. Quare etiam atque etiam exhortor et vos, collegae carissimi, et discipulos, ut Latine non solum legere, sed loqui audeatis. Viva enim vox, ut ait Plinius, multum valet. Praeterea non solum, ut ait poeta, res, si verbis carent, nullae sunt, sed etiam verba sine rebus neque vim neque vitam habent.

Idem de litteris dicendum est: Saturae et epistulae nobis vitam cottidianam ante oculos ponunt, orationes et res privatas et rem publicam, rerum scriptores et rerum gestarum memoriam et geographiam, Cato et Varro rem rusticam, Plinius historiam naturalem, Lucretius philosophiam naturalem, Cicero omnes philosophiae et theologiae partes, poetae theologiam fabulosam omnesque antiquorum fabulas, quarum cognitio plurimum nos adiuvat in recentiorum quoque temporum scriptoribus, pictoribus, sculptoribus, musicis recte intellegendis. Quid de legum atque iuris cognitione, qua Romani omnes fere gentes adeo praecesserunt, ut omnium consensu iuris prudentiae fundamenta iecissent? Ut omnia una voce complectar, ita discentes iuvenes non solum vitae quendam usum (quem ipsi habere nondum possunt) atque consuetudinem, sed etiam longissimam memoriam quirunt, quae non

solum Nestoris memoriam superet, sed omnium aetatum memoriam complectatur.

Deinceps de ea educatione quam «formalem» appellare solemus, pauca dicam. Grammaticam enim discentes discere discimus. Primum passum enim facimus ante secundum, secundum ante tertium. Clare etiam distinguimus inter id quod iam scimus et id quod nondum scimus. Via et ratione igitur procedimus. Hoc autem optimum praeexercitamentum est earum rationum vel methodorum, quibus in omnibus scientiarum disciplinis utimur. Manifestum ergo est linguam Latinam praeparationem esse maxime idoneam ad quamvis disciplinam atque scientiam capessendam.

Venio ad litterarum Latinarum utilitatem «formalem». Quid? Nonne, dum diligenter et attente opera oratione soluta conscripta legimus, discipulos ad orationis pulchritudinem cognoscendam incitamus? Qui pulchritudinis sensus est, ut ita dicam, porta quaedam atque accessus ad iudicium in ceteris quoque rebus sapienter exercendum et ad philosophiam, non solum logicam sed etiam ethicam reapse et quasi corpore capessendam.

Sed iam ad paragraphum secundam secundae partis transeo, quae est de scholis. Hic autem brevitatis causa septem theses proponam.

I. Latine discere non paucorum quorundam privilegium esse debet; immo ius Latine discendi omnibus hominibus detur (inter ea quae «iura humana» dicuntur recipiatur).

II. Latine autem discendi facultas non ex parentum divitiis, sed ex discipuli discipulaeve ingenio pendeat.

III. Inter omnes Europae gentes conveniat de «Gymnasio» sive «Lyceo Europaeo», in quo bene discantur et binae linguae antiquae et binae hodiernae.

IV. Cum lingua Anglica saepe discatur iam inde a primo anno scholastico (a liberis sex annos natis), quinto anno scholastico (decem annos nati) Latine discere incipiant.

Cuius rei duo exempla afferam:

In Germania

A primo anno scholastico (id est: sex annos nati) Anglice vel Francogallice discunt (per septem annos)

A quinto anno (id est: decem annos nati) Latine (per octo annos)

A septimo anno (id est duodecim annos nati) Graece (per sex annos)

Ab octavo anno Francogallice vel Anglice (per quinque annos)

In Russia (Petropoli)

A sexto anno scholastico Anglice et Latine (per septem annos)

Ab octavo anno Graece et Germanice (per quinque annos)

V. Grammatica ante annum vitae XIII discenda est. Nam liberi X, XI, XII annos nati libenter grammaticam discunt. Sunt enim liberi «maturi»; inde ab anno XIII sunt «adulti non maturi» et currere quam discere malunt.

VI. In gymnasiis classicis etiam linguarum hodiernarum et physicae et mathematicae magistros optimos esse oportet.

VII. Optimorum scriptorum Latinorum opera minime ad verbum, sed eleganter lingua vernacula reddantur, ut discipuli sermonem patrium bene discant (idem dicendum de versionibus ex lingua vernacula in linguam Latinam, quae iniustissime negleguntur. Omnibus autem illis, qui elegantiae Latine scribendi student, commendo cum vetus illud «Repetitorium» Hermanni Menge in quo etiam consilia ad chrias Latine componendas inveniuntur), tum divinum illud opus Caroli Friderici de Naegelsbach, quod «Lateinische Stilistik» inscribitur. Ibi enim non verbum e verbo redditur, sed optimae locutiones Latinae adhibentur. Quamquam enim Carolus ille explicat, quantum sermo Latinus distet a linguis hodiernis, tamen semper illius «egestatis» Latinae linguae ingeniosissima remedia invenit. Ad quae addenda sunt Milenae Minkova et Terenti Tunberg opera, quibus discipuli etiam ad Latine scribendum invitantur. Hactenus de scholis.

Sed pauca de studiorum Universitatibus addam. Etenim scholae cogentur, ut linguam Latinam doceant, si accessus ad Universitatem in nonnullis materiis (maxime linguisticis et historicis) ex hac re pendebit. Quomodo hoc in Hispania se habeat, nescio; sed in Germania non omnes studiorum universitates linguae Latinae peritiam a discipulis postulant. Praestabat una voce loqui, sed varietas talis est, ut difficile sit saturam non scribere. Immo rerum veritas magis ridicula est quam ulla satura.

Etenim elencho quodam a viro docto nomine R. Nickel[1] composito demonstratur, quid quaeque Studiorum Universitas de utilitate vel necessitate linguae Latinae censeat.

Cuius rei nonnulla exempla afferre iuvat.

Quod ad studium linguae litterarumque Germanicarum attinet, in nonnullis provinciis (Baden-Württemberg, Berolini, Hessen, Niedersachsen), si studiorum universitatum auctoritati credi potest, lingua Latina opus non est. Attamen quis nescit, in omnibus paene partibus Europae usque ad saeculum duodevicesimum plures libros latine editos esse quam sermone vernaculo, eosque tales fuisse, qui in tota Europa legerentur?! Ii igitur, qui litteris patriis sine Latinitatis peritia student, magnam partem sui patrimonii legere non poterunt.

In philosophia res se paulo melius habet. Nam in una tantum provincia lingua Latina philosophis inutilis esse putatur, quae est Bavaria (id quod miror, cum ibi satis multa lycea classica sint). Habebunt ergo Bavari philosophos, qui neque Augustinum neque Thomam neque Cusanum neque Cartesium neque Spinozam legere possint.

At quod ad iuris prudentiam attinet, sola Bavaria aliquam linguae Latinae notitiam a discipulis suis requirit (etsi non magnam), etiam doctores iuris tantum in quinque universitatibus Latine scire debent (quarum unam esse Heidelbergensem gaudeo). Satis tamen miror, quomodo iuris prudentes sine lingua Latina radices iuris communes nationum Europaearum cognoscere possint.

Gaudeo tamen historicos paene totius Germaniae non esse oblitos plurima documenta recentioris quoque historiae Latine esse conscripta. Quorum versiones vernaculis linguis conscriptae saepissime non extant. Qua in re severior ceteris est Studiorum Universitas Humboldtiana Berolinensis. Spes igitur est quaedam Germaniam bonos historicos habituram.

Etiam ii, qui linguae Anglicae student, Latine scire debent. Sola in Universitate Generali (Gesamthochschule) urbis Kassel res aliter se habet. Equidem scire velim, quomodo ibi ea pars vocabulorum Anglicorum, quorum origo Latina est, explicetur? Est enim plus quam dimidium lexici Anglici. Neque intellego, quomodo opera illa divina Shake-

[1] Lexikon zum Lateinunterricht. Bamberg: C. C. Buchners Verlag, 2001.

spearii explicari possint sine Ovidio et Seneca; unum hoc scio: Miltonii Paradisum sine Virgilio et Homero illi funditus amittent neque umquam Paradisum recuperabunt.

Ergo unicuique nostrum in sua vel schola vel studiorum universitate id agamus, ut doctam ignorantiam saeculi nostri, quae multo peior est quam temporibus Erasmi, ironia Erasmiana ad absurdum deducamus et linguarum antiquarum pulchritudinem, dignitatem, utilitatem defendamus.

Certe prioribus saeculis quae etsi barbarie abundabant, tamen non tam barbara fuerunt quam saeculum nostrum, Erasmi aliorumque virorum doctorum voces a principibus audiebantur. Nam quod ad Societatis Iesu scholas attinet, satis habeo afferre vocem Friderici II regis Prussiae, qui quamvis atheus, Iesuitarum scholas etiam a Romanis, qui suorum bonorum obliti erant, defendebat. In iis provinciis Germaniae, quae fidem profitebantur evangelicam, saeculo XVI multa monasteria in scholas Graeco-Latinas mutata sunt. Eo admittebantur gratis omnes pueri qui bonae indolis. Sapienter autem lege cogebantur, ut in patria manerent. Nam ii, qui in patria sacerdotes, magistri, iudices fiebant, nihil umquam solvere debebant, ceteri, qui in alias regiones abierant, paulatim parvam pecuniam patriae reddebant. Quo factum est, ut in iis partibus Germaniae, in quibus tales scholae erant, eruditissimi essent iudices, magistri, sacerdotes. E quibus scholis etiam summi scriptores, poetae, philosophi prodierunt.

Utinam illud genus scholarum hodieque exstet! Si hoc non fiet, parentes — id quod in dies augeri videmus — filios filiasque magis magisque in scholas privatas mittent — neglectis publicis. Quod systema «duarum classium» mihi minime probatur, nam non virtute aut ingenio sed divitiis atque opibus nititur. Qua in re Americae exemplum mihi non videtur dignum, quod imitemur.

Restat ut de Roma et Europa pauca dicamus.

III. QUID SIT ROMA, QUID SIT EUROPA

Quid esset Roma, etiam atque etiam quaerebant Romani et semper alia atque nova ratione hanc rem explicabant. Vis enim illa sui renovandi, de qua locuti sumus, eo nititur, quod Romani sem-

per novas notiones mente animoque concipiebant. Ipsa enim Romae indoles non semper eadem fuit, sed crevit et vires adquirebat eundo. Neque eadem specie manebat, sed sui ipsius educandi atque transfigurandi capax exstitit. Quod ut fieri posset, Romani rerum memoriae alias atque alias velut imagines sibi fingebant.

Ac primum quidem, id quod nemo nescit, Romani maiores Troianos sibi invenerunt. Quo factum est, ut Graecos quasi pari passu aemulari possent et ut Homeri carmina quodammodo pars patrimonii Romani fierent. Tamen Romani iudicia saepe contraria Graecis ferebant. Quod in Vergili *Aeneide* (quae non Achillis superbiam singularem sed Hectoris amorem patriae defendat) videmus, ea tamen lege, ut tertio libro etiam adumbretur, quomodo Graecorum Romanorumque cognitiones deorum hominumque inter se coniungi possent.

Deinde Vergilium secuti sunt Valerius Flaccus et Papinius Statius. Qui alias historiae theologiaeque fabulosae partes in Romanorum usum verterunt (*Argonautica* et *Thebaidem* dico). Sic mythologia Graeca paene tota Romana facta est; creaverunt enim, ut ita dicam, illi poetae epici «Vetus» quoddam «testamentum» quod Romani suo more interpretari et ad civitatem suam referre possent. Sic fratricidium illud Thebanum quasi figura quaedam atque umbra Remi a Romulo occisi facta est; Thesei clementia imago atque exemplum eiusdem virtutis imperatoris Romani. Similiter *Argonautica* imagines et umbras quasdam futurorum virorum vere Romanorum praebent.

Postea autem factum est, ut ad maiores illos Graecos Romanosque tertius ordo accederet: christianus ille et biblicus. Quae tria quasi patrimonia inter se coniunxerunt summi Europaeorum poetae epici: Dantem et Miltonium dico.

Tamen non magis imperii quam liberae rei publicae exemplum Romani nobis reliquerunt. Quod saeculo duodevicesimo exeunte et Francogalli et Americani viderunt. Qui virtutes a Cicerone et T. Livio laudatas in usum suum verterunt. Nam Thomas ille Jefferson non solum quattuor linguas hodiernas callebat, sed etiam Graecam et Latinam. Quarum quota pars hodiernis illius imperii praesidibus nota est? Quin etiam quod ad indulgentiam erga dissentientes in rebus divinis attinet, quam hodie verbo non

nimis pulchro «tolerantiam» appellamus, etiam hanc ex scriptorum Graecorum Latinorumque fontibus (praecipue ex Cicerone et Livio) haustam esse patet. Nam Hugo Grotius auctor libri «De iure belli atque pacis» Latine scripti exemplis antiquis et sermone Latino usus est, ne quemquam hodiernorum offenderet et ut ab omnibus intellegeretur.

Indulgentia autem erga dissentientes in rebus divinis, qua utebantur cives liberae rei publicae Romanae nobis non minus exemplo esse potest quam humanitas illa, qua imbutum est ius Romanorum (imprimis inde a saeculo p. Chr. n. secundo). Nam exempla antiqua etiam a discipulis hodiernis sine ira et studio diiudicari poterunt, praesertim cum lingua Latina optime eae notiones, quae ad iuris prudentiam pertinent, exprimantur.

Maxima certe res, qua vita nostra hodierna exemplis Graecis et Latinis adiuvari, ali, augeri possit, haec est: Diligenter examinemus, quomodo in rerum gestarum memoria Romani adversus Fortunam illos provocantem quasi cottidie alia atque alia arma invenerint; et quomodo Romani per varios casus, per tot discrimina rerum identidem novas de semet ipsis et de Roma notiones conceperint. Recte enim Rutilius Namatianus hoc esse summum arcanum et ut ita dicam palladium Romae contendit: *crescere posse malis*. Quare hodie quoque de lingua Latina minime desperandum: nam quo maius discrimen, eo maior spes.

АНТОН АНАШКИН

MAGISTRO

Занятия латинским языком под началом Николая Алексеевича продолжались в нашей группе лишь на протяжении последних двух учебных курсов. Однако первые заочные встречи начались, как и у многих других, несколько раньше, а именно когда мы приступили к изучению латинского по учебнику Н. А. Федорова и В. И. Мирошенковой под руководством его ученицы Екатерины Павловны Орехановой, которая поведала нам много своих учебных историй об этом удивительном человеке.

К четвертому курсу, как это часто случается со студентами, мы уже совершенно «заматерели», и когда Наталья Алексеевна Кулькова, другая воспитанница Николая Алексеевича и наш наставник, сообщила, что следующие несколько лет классических авторов мы будем читать вместе с Н. А. Федоровым, мы лишь немного удивились, но, по правде сказать, ничего особенного не ожидали от этих занятий... Свое заблуждение мы осознали очень быстро. Причин было несколько. Во-первых, он оказался «устами истины» в латинской грамматике: Николай Алексеевич ни нам, ни уж тем более себе не позволял легкомысленно относиться к тексту. Во-вторых, поскольку наши занятия проходили у него дома, атмосфера была совершенно особенная, отличная от той, что бывает в учебной аудитории. Временами в наши дискуссии включалась Екатерина Сергеевна. А всем, кто посещал такие латинские «квартирники» — занятия Николая Алексеевича и Екатерины Сергеевны, — известно, со сколь глубоким пиететом они относятся к пытливости студентов. Читая авторов, мы то и дело совершали путешествия во времени и в пространстве: то учитель показывает нам Рим времен I в. до н. э. – I в. н. э., то вдруг мы оказываемся в Англии XVI–XVII вв., став ненадолго собеседниками Фрэнсиса Бэкона. А чтение «Анналов» Тацита с Николаем Алексеевичем и его комментарии к ним окончательно убедили нас, что история — это не какая-то отвлеченная схема, но представляет собой живую ткань. Изложенное здесь – лишь небольшая часть того, что дал нам наш дорогой учитель.

Особенно нас изумило и, пожалуй, навсегда врезалось в память, что Николай Алексеевич, будучи уже довольно немолодым, сохраняет исключительную работоспособность, неподражаемую живость, любовь к жизни и студентам.

Дорогой и многоуважаемый Николай Алексеевич, от всего сердца поздравляем Вас с 90-летием, приносим благодарность за понесенные труды и желаем доброго здоровья, творческих успехов и благодатной помощи Божьей Вам и Вашей семье!

Diligat te dominus, quia tu domini seruos diligis.

ВЕРОНИКА АНДРОСОВА

К ЮБИЛЕЮ НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ФЕДОРОВА

Обучаясь на отделении древнехристианской письменности на богословском факультете ПСТГУ, я имела счастье познакомиться с Николаем Алексеевичем Федоровым. Николай Алексеевич преподавал у нас латинский язык с 2004 по 2009 г., и это был один из моих самых любимых предметов. Николай Алексеевич в полноте обладает самым главным умением преподавателя — не просто давать сухие знания, а прививать живой интерес и любовь к предмету. Замечательно было заниматься с Николаем Алексеевичем по разработанному им самим учебнику, до сих пор остающемуся лучшим русскоязычным пособием по латинскому языку, и слушать его детальные комментарии, на каких принципах строилось это учебное пособие. С самых первых занятий было понятно, что Николай Алексеевич — специалист высочайшего уровня, искренне увлеченный своим делом. Когда Николай Алексеевич рассказывал об античной истории и культуре, я настолько погружалась в эту атмосферу, что у меня складывалось впечатление, будто Николай Алексеевич сам воочию видел все события и лично знал латинских авторов. Мне очень запомнилось, как мы читали и обсуждали стихи Катулла и Горация, произведения Сенеки «О краткости жизни», «Нравственные письма к Луцилию», философские труды Цицерона. Благодаря Николаю Алексеевичу у нас была возможность прочувствовать животрепещущие вопросы эпохи. Занятия с Николаем Алексеевичем способствовали не только моему культурному развитию, но принесли важную практическую пользу. Три года подряд я читаю лекционный курс «Древние языки и культура» и преподаю вводный курс латинского языка — и всегда с интересом готовлюсь к моим занятиям, продолжаю изучать неисчерпаемое наследие Античности. Для написания диссертации («Небесные книги в Откровении Иоанна Богослова: истоки

образности, интерпретация, драматургически-композиционная роль») мне необходимо было переводить латинские комментарии; в предисловии к изданию текста диссертации я, конечно же, выразила отдельную благодарность Николаю Алексеевичу за полученные знания. Я до сих пор с большой теплотой вспоминаю занятия с таким прекрасным преподавателем — это из числа тех впечатлений, которые оставляют в душе след на всю жизнь. Я очень рада поздравить Николая Алексеевича и выразить ему мою искреннюю глубокую признательность.

ЕКАТЕРИНА АНТОНЕЦ

Дорогой Николай Алексеевич!

Присоединяясь ко множеству поздравлений, которые со всех концов мира будут звучать для Вас в день Вашего замечательного юбилея, хочу прежде всего поблагодарить Вас за то, что Вы так бесконечно много дали всем нам, Вашим ученикам, поблагодарить Вас за Ваш уникальный талант заражать свою аудиторию теми знаниями, тем неиссякаемым интересом к латинскому языку и к античности, тем живым восприятием древних текстов, которым обладаете только Вы.

Сердечно поздравляю Вас и желаю крепкого здоровья, долгих лет творческой и плодотворной деятельности, неувядающей энергии, бодрости и вечной юности духа!

С глубоким почтением посвящаю Вам небольшую заметку, в предмете которой хотелось объединить разные стороны Вашей работы над наследием Цицерона — перевод, исследование и преподавание.

АНТИЧНЫЕ ДВУЯЗЫЧНЫЕ (ЛАТИНО-ГРЕЧЕСКИЕ) УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ «КАТИЛИНАРИЙ» ЦИЦЕРОНА

Сохранившиеся до наших дней античные рукописи Цицерона разделяются на две группы, из которых первую, и наиболее обширную, составляют рукописи и фрагменты рукописей, созданные на территории Италии. К ним относят-

ся главным образом знаменитые палимпсесты, входившие некогда в богатейшее книжное собрание аббатства Боббио на севере Италии. Во вторую группу входят фрагменты речей Цицерона, найденные в Египте. Если итальянские рукописи Цицерона представляют собой книги, предназначенные для чтения носителями языка, то египетские рукописи в большинстве своем являются учебными текстами, созданными для обучения латинскому языку грекоязычного населения Египта.

Подробный обзор всех античных списков Цицерона, известных науке к концу 1970-х гг., представлен в работе Рихарда Зейдера, опубликованной в 1979 г.[1]

С тех пор изучение античных рукописей Цицерона значительно продвинулось вперед как благодаря новым находкам, так и вследствие модернизации методологии и научного аппарата исследований античного рукописного наследия в целом.

В последние десятилетия XX в. в Египте были обнаружены и затем детально изучены три новых фрагмента речей Цицерона: P.Vindob. L 127 (кон. V в.), впервые опубликованный в 1982 г., P. Mil. Vogl. inv. 1190 (кон. IV – нач. V в.), первая публикация которого состоялась в 1984 г.[2], и PSI 2876 (V в.), изданный впервые в 1995 г.

Всего ныне известно 11 фрагментов античных рукописей Цицерона, происходящих из Египта[3]. Два из них выполнены унциалом (P. Berol. 13229 A-B и P. Mil. Vogl. inv. 1190), шесть полуунциалом и три — курсивом (P. Iand. 90; P. Monts. Roca 128–149 + P. Rob. 201; PSI inv. 2876). Оба унциальных фрагмента происходят из пергаменных кодексов,

---

[1] *Seider R.* Beiträge zur Geschichte und Paläographie der antiken Cicerohandschriften // Bibliothek und Wissenschaft. 1979. 13. S. 101–149. См. также: *Антонец Е. В.* Введение в римскую палеографию. М., 2009. С. 242–263, 335–345.

[2] *Galazzi C.* P. Mil. Vogl. Inv. 1190: Frammento di Cicero «In C. Verrem Act. Sec.» Lib. V // ZPE. 1984. 54. S. 21–26.

[3] В статье Р. Зейдера описаны девять известных на тот момент египетских фрагментов Цицерона.

все остальные фрагменты — остатки папирусных кодексов IV–V вв.

Примечательно, что 6 из 11 египетских рукописей Цицерона являются фрагментами двуязычных учебных изданий.

Кроме новых папирусов исследователи античных рукописей Цицерона получили качественно новый инструментарий для анализа латинского письма римского времени и для изучения материальной стороны римской книги. Широкие возможности для палеографических штудий дает корпус Chartae Latinae Antiquiores — единый свод всех известных латинских документов до IX в., публикация которого завершена в 1998 г.[1], а также регулярно обновляемые интернет-ресурсы, среди которых базы данных LDAB и CEDOPAL[2].

Современная систематизация папирусных памятников Египта способствовала и более глубокому рассмотрению проблемы билингвизма в Римской империи[3]. В русле этой работы проводятся исследования папирусов, связанных с изучением латинского языка грекоязычными жителями Египта. Все сохранившиеся фрагменты таких текстов датируются III–VI вв. н. э. Согласно классификации Брюно Рошетта, они разделяются на три категории[4]. К первой категории относятся латинские алфавиты с греческими соответствиями, ко второй — латинские

---

[1] Chartae Latinae Antiquiores: Facsimile-Edition of the Latin Charters prior to the Ninth Century, edited by Albert Bruckner and Robert Marichal. Part I–XLIX. Olten & Lausanne (Part I–IV); Dietikon-Zürich (Part V– XLIX): Urs Graf-Verlag, 1954–1998.

[2] Leuven Database of Ancient Books: www.trismegistos.org/ldab/; Centre de Documentation de Papyrologie Littéraire: *Mertens P., Pack R.A.* Catalogue des papyrus littéraires grecs et latins. 3[me] éd.: promethee.philo.ulg.ac.be/cedopal/

[3] Одна из последних публикаций: *Marganne M.-H., Rochette B.* Bilinguisme et digraphisme dans le monde gréco-romain: l'apport des papyrus latins. Liège, 2013.

[4] См.: *Rochette B.* Le latin dans le monde grec. Recherches sur la diffusion de la langue et des lettres latines dans les provinces hellénophones de l'Empire romain. (Collection Latomus; 233). Bruxelles, 1997.

и греко-латинские грамматики, к третьей — глоссарии[1]. Глоссарии, в свою очередь, встречаются трех видов: 1) глоссарии, организованные по алфавиту, тематически или по грамматическому принципу; 2) разговорники и эпистолярные руководства[2]; 3) глоссарии к отдельным писателям.

К последней группе текстов принадлежат позднеантичные двуязычные папирусы Вергилия и Цицерона, новые описания и издания текстов которых активно публикуются в последние годы.

В 2008–2009 гг. вышла в свет первая часть корпуса двуязычных папирусов «Энеиды» Вергилия, подготовленная Марко Фрессурой[3]. Публикация включает восемь папирусов, для каждого из которых представлено детальное палеографическое и кодикологическое описание, новое издание текста и подробный лингвистический комментарий.

В 2011 г. появилось аналогичное исследование, посвященное двуязычным папирусам Цицерона, выполненное Дарио Интернулло[4]. Из всех рукописей Цицерона египетского происхождения в этой работе выбраны те, в которых латинский и греческий тексты расположены параллельно в четыре или в два столбца на листе. Таких рукописей в настоящее время известно четыре, и все они содержат «Катилинарии» Цицерона. Две из этих рукописей, выполненные полуунциалом,

---

[1] См., например: Glossaria bilinguia in papyris et membranis reperta / Herausgegeben und kommentiert von Johannes Kramer. Bonn, 1983 (Papyrologische Texte und Abhandlungen; 30); Glossaria bilinguia altera: (C. Gloss. Biling. II) / Herausg. u. kommentiert von J. Kramer. Leipzig; München, 2001 (Archiv für Papyrusforschung und verwandte Gebiete. Beiheft 8).

[2] См.: *Солопов А. И.* Греко-латинские разговорники и отражение в них античной грамматической традиции // Античная грамматическая традиция в веках. Ancient Grammar and its Posterior Tradition: Материалы международной конференции (Санкт-Петербург, 20–23 апреля 2005 г.) / Отв. ред. Л. Г. Степанова, В. И. Мажуга. СПб.: Наука, 2005. С. 64–66.

[3] *Fressura M.* Corpus dei papiri bilingui dell'Eneide di Virgilio. P. 1. Tesi di dottorato di ricerca. Roma, 2008–2009.

[4] *Internullo D.* Cicerone latinogreco. Corpus dei papiri bilingui delle Catilinarie di Cicerone // Papyrologica Lupiensia. 2011–2012. № 20–21.

открыты давно и имеют почти вековую традицию изучения: P.Vindob. G 30885 a + e (IV–V вв.) и P.Ryl. 61 (V в.). Два фрагмента, вошедшие в публикацию Д. Интернулло, обнаружены относительно недавно: P.Vindob. L 127 (кон. V в.) и PSI 2876 (V в.). Все четыре фрагмента получили в работе Д. Интернулло новое описание и новое издание текста. Подчеркивая близость позднеантичных двуязычных глоссариев и средневековых, автор проводит сравнительный анализ глосс двуязычных изданий Цицерона и дошедших до нас глоссариев Средневековья.

Создание в Египте учебных двуязычных рукописей Цицерона, все сохранившиеся фрагменты которых относятся к IV–V вв., Д. Интернулло, как и некоторые другие исследователи, связывает с широким распространением латинского языка в административной сфере, вызванным реформами римских императоров[1]. К такому заключению, как представляется, следует относиться с осторожностью.

Статистически число латинских документов, найденных в Египте, составляет всего около процента от общего числа античных рукописных памятников, подавляющее большинство которых греческие. В то же время, несмотря на количественную незначительность памятников, латинский язык, несомненно, играл важную роль в Египте, будучи языком политической власти[2].

Принято считать, что распространение латинского языка в Египте в сфере администрации особенно усилилось благодаря реформам Диоклетиана (284–305). Однако, как убедительно показал Джеймс Адамс, лингвистический анализ дошедших до нас памятников письменности не подтверждает это мнение[3]. В условиях билингвизма, существовавшего в Египте еще в республиканскую эпоху, скорее можно было бы говорить о преимущественном использовании греческого языка в религиозной сфере и о превалировании латинского языка в административ-

[1] См.: *Internullo D.* Cicerone latinogreco. P. 30–36.

[2] См.: *Adams J.N.* Bilingualism and the Latin language. Cambridge, 2003. P. 527–529.

[3] Ibid. P. 636–637.

ной. При этом оба языка воспринимались как одинаково приемлемые для статуса «официального», а выбор языка зависел от индивидуального предпочтения каждого. Изучение латинского языка грекоязычным населением имело давнюю историю и не прерывалось со времен республики.

Безусловно, знание латинского языка в эпоху поздней Античности помогало продвижению по карьерной лестнице, но это не означает, что дошедшие до нас учебные двуязычные тексты были созданы именно для образования египетских чиновников (или будущих чиновников). Тот факт, что все сохранившиеся учебные издания относятся к IV–V вв., когда римская власть действительно предприняла ряд законов, косвенно расширяющих полномочия латинского языка, вряд ли можно считать логическим последствием этих самых законов. Учитывая крайне плохую сохранность латинских памятников в Египте и неоспоримую давность традиции изучения латинского языка, мы вправе предполагать, что аналогичные учебные тексты существовали задолго до эпохи IV–V вв., однако в силу исторических обстоятельств не дошли до нас.

Мы не имеем ни статистических оснований видеть в сохранившихся двуязычных рукописях Цицерона IV–V вв. результат политической экспансии латинского языка, ни лингвистических подтверждений этому. Поэтому более оправданным представляется исследовать позднеантичные двуязычные издания Цицерона с точки зрения традиционности взаимопроникновения римской и греческой культур[1], которое в сфере языка выражалось, например, в явлениях параллельного языкового развития, а в области письменности отчасти отразилось в графике.

Преобладание фрагментов Вергилия и Цицерона среди литературных текстов, найденных в Египте, говорит о том, что произведения именно этих авторов были «программными» при изучении латинского языка. Главным методом

---

[1] Об отражении в двуязычных греко-латинских папирусах из Египта античной грамматической традиции см.: *Солопов А. И.* Греко-латинские разговорники и отражение в них античной грамматической традиции. С. 64–66.

обучения был перевод латинского оригинала на греческий язык[1].

Дошедшие экземпляры показывают, что обычно учебный текст издавался в кодексе большого формата с широкими полями для заметок. Представлены два способа размещения на листе латинского текста и его греческого перевода.

Первый способ заключается в расположении греческого перевода между строк латинского текста или на полях кодекса[2].

Второй способ состоит в том, что латинский текст записывался в столбик по одному слову на строке (иногда полнозначное слово сопровождалось служебным), а рядом в соседнем столбце помещался греческий перевод каждого латинского слова. На листе могло быть два столбца (латинский и греческий) или четыре, образующие две колонки по два столбца в каждой (лат. 1 + греч. 1 и лат. 2 + греч. 2). Более древним было, по-видимому, размещение текста в четыре столбца. Оно представлено в папирусах IV–V вв. Позднее, в папирусах второй половины V–VI вв., обнаруживается расположение текста в два столбца, левый из которых предназначен для латинского текста, правый — для греческого перевода[3].

Ниже мы кратко рассмотрим все известные в настоящее время двуязычные папирусы «Катилинарий» Цицерона, уделяя основное внимание оформлению учебного текста и внешнему виду античных учебных изданий.

Сохранились фрагменты из четырех латино-греческих изданий «Катилинарий», причем во всех этих фрагментах текст расположен в несколько столбцов.

---

[1] *Reichmann V.* Römische Literatur in griechischer Übersetzung // Philologus. Supplementband XXXIV. H. 3. Leipzig, 1943.

[2] Образцами первого способа организации текста двуязычного издания являются два из сохранившихся латино-греческих папирусов Цицерона: P.Ryl. 477 и PSI 1, 20.

[3] Второй способ расположения текста (в несколько столбцов) представлен в десяти известных двуязычных папирусах Вергилия и в четырех двуязычных папирусах Цицерона.

Фрагмент 1. Наиболее объемный фрагмент — P.Vindob. G 30885 a + e[1] — хранится ныне в Австрийской национальной библиотеке (Österreichische Nationalbibliothek) в Вене[2].

Венские фрагменты были впервые опубликованы в 1937 г. Гансом Герстингером[3]. Они представляют собой четыре папирусных обрывка, извлеченных из картонажа. Размер первого фрагмента (fr. I) — 9,5 x 15,8 см, второго (fr. II) — 9,5 x 15,6 см, третьего (fr. III) — 4,5 x 5,1 см и четвертого (fr. IV) — 8,2 x 8,7 см.

Папирус сохранил текст первой речи Цицерона против Катилины (Cic. Catil. I 16–18, 15, 19–20).

Фрагменты I и IV составляют верхнюю часть листа папирусного кодекса, а фрагменты II и III — нижнюю часть следующего листа этого же кодекса. Текст располагался на листе кодекса в четыре столбца. Они организованы в две двойные колонки, каждая из которых содержит латинский текст и его греческий перевод: Lat1 + Gr1 — Lat2 + Gr2[4].

Ширина каждого латинского и греческого столбца в среднем составляет от 3 до 4,5 см, ширина двух столбцов, составляющих колонку, — 9 см. Подсчет слов лакуны между последней сохранившейся строкой fr. Ir и первой строкой fr. IVv позволяет заключить, что на листе кодекса было около 50 строк.

Учитывая ширину сохранившихся полей листа (верхнего, нижнего и внутреннего), а также предположительную ширину внутреннего поля и предположительное расстояние между колонками, можно реконструировать размер листа папирусного кодекса. По приблизительным расчетам, он составлял около 29 см x 40,5 см. Таким образом, рукопись относилась к само-

---

[1] = P. Rainer. Cent 163.

[2] CLA X 1519; CPL 21; LDAB 554; MP[3] 2922.

[3] *Gerstinger H.* Ein neuer lateinischer Papyrus aus der Sammlung «Erzherzog Rainer» // Wiener Studien. 1937. 55. S. 95–116, Taf. S. 102.

[4] Аналогичное расположение латинско-греческого издания текста в четыре столбца известно также по египетским фрагментам Вергилия: PSI 756; P. Fouas I, 5; P. Berol. 21138.

му большому формату античных кодексов по классификации Эрика Тёрнера[1].

Время написания кодекса относят к концу IV – нач. V в. н. э., точное место его находки в Египте неизвестно. Текст написан одной рукой, латинский текст выполнен книжным минускулом (полуунциалом), греческий — унциалом.

Фрагмент 2. Хорошо сохранившийся папирусный фрагмет P. Ryl. Gr. 1 61 в настоящее время хранится в Манчестере (John Rylands University Library)[2].

Папирус был впервые опубликован в 1911 г. в каталоге папирусов библиотеки Джона Райландса[3]. Он представляет собой фрагмент верхней части листа папирусного кодекса и имеет размер 16,5 х 17,5 см.

Папирус сохранил фрагмент первой речи Цицерона против Катилины (Cic. Catil. II 14–15) с пословным переводом на греческий язык. Латинский текст представлен полно, без пропусков, сокращений и перестановки слов.

Лист кодекса, из которого происходит этот фрагмент, содержал два столбца текста, в левом из которых помещался латинский текст по одному слову на строке, а в правом столбце — греческий перевод каждого латинского слова. Ширина латинской колонки колеблется от 2,1 до 5,5 см, ширина греческой — от 2,7 до 6,8 см. Сохранившийся текст состоит из 17 строк на recto. Всего на листе было около 32 строк, согласно подсчету слов, утраченных между последней (17-й) строкой recto и первой строкой verso.

Учитывая ширину сохранившихся полей листа (верхнего, нижнего и частично сохранившегося внутреннего) и расстояние между колонками, а также предположительную ширину внутреннего поля, можно установить, что лист кодекса был приблизительно 18 см в ширину и 32 см в высоту.

Папирус датируется относительно единогласно V в. н. э. Он был написан в Египте, где и был приобретен, но точное место

[1] *Turner E.* The Typology of the Early Codex. Pennsylvania, 1977.

[2] CLA II 224; CPL 22; LDAB 4135; MP[3] 2923.

[3] *Hunt A. S.* Catalogue of the Greek Papyri in the John Rylands Library Manchester. I // Literary Texts. 1911. 61. P. 193 sqq., tab. VIII.

его находки неизвестно. Текст папируса написан одним писцом; латинский текст выполнен книжным минускулом (или полуунциалом), греческий — унциалом.

Фрагмент 3. Небольшой папирусный фрагмент P.Vindob. L 127 некогда входил в состав коллекции эрцгерцога Райнера и ныне хранится в Австрийской национальной библиотеке (Österreichische Nationalbibliothek) в Вене[1].

Папирус был идентифицирован Германном Гаррауэром в 1978 г. и впервые опубликован им же в 1982 г.[2] Размер папируса составляет 14,2 x 10,1 см.

Фрагмент содержит пассаж из третьей речи Цицерона против Катилины (Cic. Catil. III 15–16) и его пословный греческий перевод.

Фрагмент представляет собой внешний нижний угол листа папирусного кодекса. Текст был расположен в кодексе в два столбца, при этом левый содержал латинский текст, правый — греческий перевод. Латинский столбец сохранился на verso фрагмента. Ширина его колеблется от 4 до 6,3 см. Расстояние от начала латинского текста до начала греческого текста стабильно 6,8 см. Столбец с греческим текстом имеет ширину от 4 до 6,5 см. Подсчет слов лакуны между последней строкой лицевой стороны (строка 6) и первой строкой оборотной стороны позволяет предполагать, что на листе была приблизительно 31 строка.

Ширина сохранившихся нижнего и внешнего полей, расстояние между столбцами и гипотетически реконструируемые размеры верхнего и внутреннего полей позволяют восстановить первоначальную величину листа кодекса: 22,5 см в ширину и 35 см в высоту. Кодекс, таким образом, относится к самому большому размеру в классификации Э. Тёрнера.

Папирус написан в Египте и датируется последними десятилетиями V в. или, возможно, первыми десятилетиями VI в. н. э.

---

[1] CLA Add. I. P. 352; LDAB 559; MP[3] 2923.1.

[2] *Harrauer H.* Ein neues bilingues Cicero-Fragment auf Papyrus (P. Vindob. L 127) // Wiener Studien. 1982. 95. S. 212–219.

Фрагмент 4. Папирус PSI 2876 был впервые издан в 1995 г.[1] Он хранится во Флоренции в l'Instituto Papirologico «Girolamo Vitelli»[2].

Папирус представляет собой часть листа папирусного кодекса, имеет размер 12,5 х 14,9 см и содержит фрагмент первой речи Цицерона против Катилины (Cic. Catil. I 10–11).

Текст размещен на листе кодекса в два столбца, левый содержит латинский текст, правый — перевод на греческий язык. Ширина латинского столбца колеблется от 2,7 до 4,8 см (в среднем 4 см). Расстояние от начала латинского столбца до начала греческого равно 5 см. Ширина греческой колонки от 2,5 до 7,7 см (в среднем 5 см). Фрагмент сохранил 11 строк, между последней строкой recto и первой строкой verso утрачены слова non patiar / non sinam magna), следовательно, лист кодекса первоначально содержал около 13 строк.

Зная ширину сохранившегося нижнего поля, частично сохранившегося внутреннего поля и предполагая ширину верхнего и внешнего полей, можно считать, что размер листа кодекса должен был составлять приблизительно 16 см в ширину и 20 см в высоту.

Папирус был создан в Египте, по мнению исследователей, в V в. н.э. Текст написан одним писцом, вероятно привыкшим переписывать документы. Латинский текст выполнен новым римским курсивом, греческий — византийским курсивом.

Итак, несмотря на незначительный размер дошедших фрагментов двуязычных «Катилинарий» Цицерона, по ним можно составить достаточно полное представление о формате и оформлении позднеантичных учебных изданий. Эти книги, по-видимому, делались по единому стандарту и выпускались широким тиражом. Античная методика изучения латинского языка посредством пословного перевода классических произведений остается предметом отдельной работы.

---

[1] *Manfredi M.* Lessico a Cic. In Cat. I 5 // Dai papiri della società italiana. Omaggio al XXI Congresso Internazionale di Papirologia. Berlino 13–19 Agosto 1995. Firenze, 1995. P. 5–9. Nr. 2. Tav. II.

[2] LDAB 556; MP[3] 2912.01.



Фрагмент 1.
P.Vindob. G 30885 a + e (Österreichische Nationalbibliothek).
Конец IV – начало V в., Египет



Фрагмент 2.
P. Ryl. Gr. 1 61 (John Rylands University Library). V в., Египет



Фрагмент 3.
P. Vindob. L 127 (Österreichische Nationalbibliothek). Конец V в., Египет



Фрагмент 4.
PSI 2876 (l'Instituto Papirologico «Girolamo Vitelli»). V в., Египет

ИРИНА АУСЕМ

МОЙ «ОПЫТ» О Н. А. ФЕДОРОВЕ, «ЗОЛОТОЙ ЛАТЫНИ», УНИВЕРСИТЕТСКОМ ОБРАЗОВАНИИ, И НЕ ТОЛЬКО

О Николае Алексеевиче Федорове я впервые услышала в 1975 г., когда я собиралась поступать на филфак МГУ. К русскому и литературе меня готовила студентка-заочница, сама учившаяся в то время на предпоследнем курсе филфака (ее задачей было спустить меня с неба на землю, сориентировав на формат экзамена. Я после своей литературной школы умела писать объемные исследования, но никак не сочинения, тем более за четыре часа). Вот эта студентка на первых курсах училась на дневном отделении, и латынь в ее группе вел Николай Алексеевич. Я же недавно прочитала «Далекие годы» Паустовского. В главе «Золотая латынь» блестящий преподаватель киевской гимназии Субоч после шалости гимназистов произносит речь в защиту своего предмета. Речь была выдержана в лучших традициях латинского красноречия и напоминала цицероновскую «Доколе, Катилина, ты будешь злоупотреблять терпением нашим». В моем воображении соединились блестящий преподаватель Паустовского и Николай Алексеевич, которого моя молодая наставница обрисовала как вдохновенного педагога и знатока античной культуры. Но когда я поступила на филфак, в моей группе, к моему великому разочарованию, латынь вел другой преподаватель, вернее преподавательница, вела добросовестно, очень грамотно, с полным знанием своего предмета, но того блеска, которого я ожидала, не было. Николая Алексеевича я встречала в коридорах факультета. В его облике, в его красивой седине ощущалось изящество, легкость, его походка всегда была торопливо-стремительной. И в нем чувствовался человек, живущий в культурной традиции, был отпечаток именно университетской культуры. И все, что я слышала о Николае Алексеевиче, эти впечатления подтверждало.

Затем я встретила Николая Алексеевича уже в начале 90-х в РГГУ. Я оказалась на факультете теоретической и прикладной лингвистики, но часто бывала на историко-филологическом факультете, где теперь работал Федоров. К моему удивлению, он мало изменился: был так же изящен, стремителен, тороплив и, как говорили, так же бестяще вел свой курс. Но познакомилась я с Николаем Алексеевичем несколько позже, когда в 2003 г. меня пригласили в Российский православный институт читать некоторые предметы литературоведческого курса. Я должна была вести теорию литературы и русскую литературу второй и последней трети XIX в. При обсуждении моих задач Николай Алексеевич попросил ориентироваться на программу филфака МГУ, — конечно, в моем, авторском варианте. Для меня самой это были ориентиры, усвоенные еще в МГУ, и было отрадно, что тут их придерживаются. Было очевидно, что Николая Алексеевича волнует то, насколько формы донесения материала будут поняты студентами. При своей привычке к классическим формам вузовского преподавания (лекция, семинар) Николай Алексеевич советовал лекций в чистой форме избегать, так как нынешние студенты могут от этого заскучать и упустить ход мысли преподавателя.

По мере моего знакомства с РПИ я все больше убеждалась в том, что вуз переживает нелучшие времена, точнее говоря, идет неостановимый процесс разрушения института. У Николая Алексеевича, участвовавшего в создании вуза с оригинальной концепцией, как университета, который должен был готовить специалистов по древним культурам, то, что происходило, вызывало глубокое огорчение. Многих прекрасных ученых и преподавателей, принимавших участие в создании РПУ (к моему приходу статус университета был утрачен), уже на факультете не было. Изначально единый историко-филологический факультет был разделен на два факультета, отчего первоначальная концепция претерпела непоправимые искажения, но Николай Алексеевич попрежнему ориентировался на университетский уровень. Это касалось, разумеется, и его предмета, что оценить могли не

все студенты. Да и состав студентов по сравнению с великолепным изначальным изменился. Если прежде в РПУ поступали в результате сознательного выбора, то к моему приходу часто поступали, чтобы куда-то поступить или чтобы серьезно не готовиться и, поступив, не перетруждаться. Разумеется, это касалось не всех, учились и ребята, с которыми было отрадно работать, но такими были не все и таких становилось все меньше. Николай Алексеевич своих стандартов не понижал. Я слышала, как некоторые студенты сетовали на его требовательность и возмущение их ленью и неосведомленностью, а их халтура вызывала целую бурю. Вот тогда я вновь вспомнила патетическую речь преподавателя Паустовского о «золотой латыни»! Кстати, общаясь с выпускниками РПИ, от некоторых из них я до сих пор слышу, что латынь они прекрасно помнят, а кто-то даже ее преподавал (я говорю не о выпускниках первых лет, среди которых оказалось много серьезных ученых и педагогов). Как декан факультета, Николай Алексеевич постоянно помнил о целостном филологическом образовании, которое должны получить студенты. Он вникал во все тонкости: стыковки курсов, количество часов и т. д. Интересно, что при своем академическом складе Николай Алексеевич не был отрешен от окружающего, в том числе от вполне бытовых вопросов, и на все очень живо реагировал, часто проявляя изящное остроумие.

Меня всегда поражала удивительная эрудиция Николая Алексеевича и прекрасное чувство как древних языков, так и, скажем, предметов литературоведческого цикла. Эта живость восприятия всегда ощущалась на госэкзаменах, которые проводились отнюдь не формально. Экзамен не становился просто итоговым отчетом студентов, а был проверкой знания, понимания и филологического чутья (что нам удавалось встретить не всегда).

Работать на филфаке было огромным удовольствием именно благодаря Николаю Алексеевичу. В целом в РПИ все больше побеждал отнюдь не интеллигентный стиль общения, и университетская атмосфера все больше уходила, но на филфаке при Федорове эта атмосфера еще сохранялась. Можно было с

другими преподавателями творчески, с полным взаимопониманием обсуждать проблемы нашего преподавания, согласовывать стыковку курсов. Были естественные и доброжелательные отношения со студентами. Обсуждение тем дипломных работ с Николаем Алексеевичем, при самом серьезном его внимании к этому вопросу, проходило без каких-либо проблем, и тут сохранялась атмосфера творчества, внимания к студентам и интереса к науке. После ухода Федорова все разительно изменится и будет царить атмосфера уже совсем другая, поэтому для тех, кого пригласил когда-то Николай Алексеевич, задачей-максимум стало довести до окончания своих студентов.

Надо сказать, что даже не в лучшие для РПИ времена на филфак приходили прекрасные преподаватели, причем привлекал их именно Николай Алексеевич (других соблазнов уже совсем не осталось). Те же, кто работал в РПИ при Николае Алексеевиче, вспоминают эти времена ностальгически.

Для меня Николай Алексеевич — воплощение универсальной гуманитарной образованности, естественной и органичной причастности к культуре, вечно живой мысли, которая реализуется в неизменном интересе к преподаванию и вообще к человеку, к жизни. И все это сочетается с любовью к «золотой латыни» как одной из главных основ европейской культуры.

МАРИНА АФАНАСЬЕВА

НЕОЖИДАННЫЙ ФЕДОРОВ В РИМЕ

К 80-летию Николая Алексеевича мы, его коллеги по РГГУ, придумали ему подарок — поездку в Италию.

Когда-то на занятиях по латинскому языку в МГУ Николай Алексеевич так вдохновенно и увлекательно комментировал тексты, так досконально знал реалии античной жизни, например топографию Рима и окрестностей, что мы все были уверены: он бывал там не раз. Мы и не подозревали, насколько невероятной была для него такая поездка

тогда — все равно что попасть в те времена, о которых мы читали...

А весной 2005 г. чета Федоровых приехала в Рим. Случилось так, что я оказалась там в одно время с ними, хотя и совсем по другим делам. Позвонила в маленький пансион на улице Кавур, где жили Николай Алексеевич и Екатерина Сергеевна, и мы договорились встретиться. Стояла удушающая майская жара, как иногда бывает в Риме, поэтому встречу назначили на вечер.

Еще в Москве я начала мечтать о прогулках с Федоровым по античному Риму: увидеть Форум, или Колизей, или термы Каракаллы с комментариями обожаемого мэтра — это будет осуществление самой заветной мечты!

Однако в тот вечер, выйдя из пансиона вместе с Федоровыми, я обнаружила, что мы идем совсем в другую сторону. Оказывается, Николай Алексеевич задумал прогуляться в Риме по следам Марчелло Мастроянни в своем любимом фильме «Сладкая жизнь»!

Помню, как мы шли по улице Четырех Фонтанов к площади Барберини — Федоров широкими шагами впереди, мы с Катей едва поспевали за ним... От фонтана Треви (несмотря на некоторые опасения, купание в нем, слава богу, не состоялось) двинулись по легендарной виа Венето. И здесь нас ожидало ужасное разочарование: за огромными зеркальными окнами дорогих отелей и ресторанов, в которых, судя по фильму, любила проводить вечера и ночи римская богема 1950–60-х гг., мы увидели лишь арабских шейхов в сопровождении многочисленных жен в унылых черных драпировках. Боже, как негодовал Федоров! Он, видно, полагал, что там все еще водятся роскошные блондинки типа Аниты Экберг да темпераментные богемные итальянцы...

А потом мы долго гуляли вдоль ограды виллы Боргезе (вход в сады уже был закрыт). Над садами стояла огромная золотая южная луна, и Николай Алексеевич читал нам Катулла так, как только он один умеет читать латинские стихи. Только звучали они здесь совсем по-другому, чем в аудитории на Моховой в далеком 1967 году!

ОЛЬГА АФИНОГЕНОВА

УЧИТЕЛЮ Н. А. ФЕДОРОВУ

* **

Нервных крыльев носа скупые тени,
Волчья масть седая пышна и прекрасна,
За неимением гербовой в пальцах млеет
Tabula rasa.

Кто-то участь такую скучной считает,
«Текст да словарь, — говорит, — какая рутина!»
Сквозь переплет ороговевший мерцает
Lingua Latina.
Шелест туники Катулла Лесбии снится,
Вновь обживают хмелю послушные боги
Гроты и заводи.

Мне ль, самозванке, хвастаться: «Ученица!»
Я та, кто, напротив сидя, считает слоги,
Spectat et audit[1].

МИХАИЛ БИБИКОВ

JUBILATIO

Буквально на днях, встретившись в пути с моим однокурсником и другом Денисом Драгунским, с которым мы в конце 60-х – начале 70-х гг. бок о бок проводили лучшие — студенческие — годы нашей жизни на отделении классической филологии МГУ, мы вспомнили самое первое наше занятие на кафедре, и это занятие было — латинский язык, и его вел, разумеется, Николай Алексеевич Федоров. Поскольку это было первое занятие по специальности, к тому же как бы вводное в весь курс наук, сам собой зашел разговор о классической филологии вообще и в Московском универси-

[1] «Смотрит и слушает» — строка из стихотворения Катулла «Ille mi par esse».

тете в частности, о филологах-классиках, многие из которых прожили долгую и интересную жизнь: к тому времени недавно скончавшийся С. И. Соболевский совсем немного не дожил до своего 100-летнего (!) юбилея, здравствовавший тогда С. И. Радциг приближался к 90-летию (он умер в 1968 г. в возрасте 88 лет), а А. Н. Попов был даже чуть более старшим его товарищем (он доживет до 91 года); почтенного возраста достигли А. Ф. Лосев (прожил почти 95 лет) и Ф. А. Петровский (проживший 88 лет), ленинградские профессора — А. И. Доватур (чуть не доживший до 85 лет), Я. М. Боровский (проживший без двух лет столетие) и многие другие, о которых вспоминал тогда еще, можно сказать, молодой, 42-летний, Николай Алексеевич. «Наша специальность, — резюмировал он, — способствует активному творческому долголетию». Знал ли он тогда, да и мы, внимавшие ему, что все сказанное будет иметь прямое отношение к самому Н. А. Федорову, встречающему теперь славное 90-летие!

Высочайший профессионализм Николая Алексеевича на занятиях по латинскому языку абсолютен. Это отмечали и специализировавшиеся у него латинисты, и те, кто не преодолел высокой планки его требований. Чтобы заслужить у Н. А. Федорова «отлично» на экзамене, надо было приложить много усилий и в процессе семестровой работы, и на самом экзамене. Не могу не вспомнить экзамен по латыни на первом курсе, где, чтобы получить высший балл, я отвечал ему... четыре часа (двойку можно было схлопотать за несколько минут). Зато с каким упоением велся разбор лексики и фразеологии Цезаря и Цицерона, а на втором курсе — Катулла и Тибулла с внедрением в сферу истории культуры, психолингвистики, истории языка, сравнительной романистики. Это был настоящий пир словесности. Так мы становились филологами, а не просто читателями и переводчиками.

Но этот энтузиазм, который сообщала нам бурлящая энергетика сегодняшнего юбиляра, был мне уже знаком до поступления на филфак и сыграл не последнюю роль в определении моей университетской судьбы. Года за два до окончания школы я определился со своими гуманитарно-филологическими при-

страстиями (хотя до этого не раз выходил победителем математических олимпиад). Но про структуру филфака с его кафедрами и отделениями я не имел никакого представления и пошел в университет на традиционный день открытых дверей, чтобы понять, что к чему.

На том дне сначала, как обычно, выступали декан, его замы, отдельные профессора, а затем все разошлись группами по кафедрам. Уже слушая вводную общую информацию, я выделил для себя классическую филологию и на вторую часть встречи сознательно пошел к «классикам». И здесь не могли не вызвать восторга рассказы Азы Алибековны Тахо-Годи и Николая Алексеевича. С таким задором, с таким заражающим энтузиазмом они говорили, причем не только о радостях научного познания основ культуры, но и о сложностях, большой нагрузке, о необходимости учить и то, и се, и все вместе. Да чем труднее, тем лучше! — подумалось тогда, и с этим я жил в школе еще два года, пока наконец не поступил на первый курс.

Наш курс оказался первым, на котором шло апробирование только что (1968) вышедшего первым изданием знаменитого учебника «Латинский язык», созданного Н. А. Федоровым совместно с его другом и коллегой В. И. Мирошенковой, преподававшей тогда нам древнегреческий язык (о ней мне уже приходилось писать в сборниках «Двойной портрет», подвижнически созданных трудами М. Н. Славятинской). Именно на наших занятиях было найдено немало «блох»-опечаток, там же выяснялось, какие из объяснений студентами усваивались лучше, какие хуже, как идет процесс постижения материала «от простого к сложному». Успешная в целом работа с этим учебником, «оживавшим» в семинарах его автора, позволила уже в конце первого семестра перейти от учебных текстов к чтению «Записок о Галльской войне» Юлия Цезаря.

Отмеченный мной энтузиазм, внутреннее горение Николая Алексеевича сказывались не только в проведении занятий, но и во многих его начинаниях. Так, он первый, съездив на международный конгресс латинистов и преисполнившись

новых впечатлений, категорически перешел на так называемое ленинградское произношение («Кикеро», «Кайсар»), вопреки первоначальному скепсису многих коллег, а также начал внедрение на занятиях «разговорной латыни», активизируя тем самым пассивный лингвистический запас студентов. Сейчас и то и другое — уже сама собой разумеющаяся практика, а тогда, пробуя нововведения на первокурсниках (мы уже к тому времени «постарели» и занимались с другими, не менее любимыми преподавателями — М. Г. Лопатиной и М. Н. Славятинской), Николай Алексеевич прорубал стены, как говорил академик Сретенский в вышедшем на экраны примерно тогда же фильме «Монолог».

Креативность его характера проявилась и в создании им студенческого Латинского театра, в котором с удовольствием играло не одно поколение студентов-классиков, ставя в конце 60-х – начале 80-х гг. «Привидение» и «Бакхид» Плавта, «Дульциция» Хросвиты. Спектакли, поставленные Н. А. Федоровым в изящной вахтанговско-таировской манере, пользовались у многочисленных зрителей невероятным успехом, далеко выходя за рамки обычной студенческой самодеятельности.

Интерес и серьезные знания Николая Алексеевича в области театра и кино, всегда увлеченно и убедительно рассказывающего о фильмах и постановках, делают его незаменимым собеседником в любой компании как хорошо и давно его знающих людей, так и только что с ним познакомившихся. В последнем я убедился, когда мы встретились с Николаем Алексеевичем в Красновидове, где я отдыхал с семьей и близкими родственниками — преподавателями физфака. Беседы и рассказы наполняли наши прогулки по живописным окрестностям Можайского моря.

Словом, глубина проникновения в интересующий Н. А. Федорова предмет, широта знаний, эрудиция, живость и творческий восторг общения, желание поделиться знаниями и впечатлениями с близкими позволяют видеть в Николае Алексеевиче прекрасные черты классического московского интеллигента.

В прошлом году мы, то есть наш, мужской, курс в полном составе — Денис Драгунский, отец Валентин Асмус и автор этих строк, совместно с девушками последовавшего за нами курса классического отделения — Леной Ильенковой-Иллеш, начинавшей, кстати, с нами, Ниной Михеевой-Рубцовой и Машей Бочаровой-Касьян, собрались, любезно приглашенные супругой и добрым ангелом Николая Алексеевича Катей, на чай в семейный дом Федоровых на Смоленской набережной. Был очень милый, интересный вечер с воспоминаниями, разговорами, обсуждением планов; разумеется, фотографировались на память, а потом какие-то снимки получили распространение в интернете. Многие из филологов, особенно классиков, живо среагировали на эту «экспромт-фотосессию» и отозвались. При этом все звонившие отмечали, что из всех действующих лиц меньше всех изменился за прошедшие 45 лет Николай Алексеевич: тот же задорный, заинтересованный и одновременно мудрый взгляд, та же живость в реакциях, очевидная даже на снимках, та же зажигательная жажда жизни.

Iterum atque iterum!

НИНА БРАГИНСКАЯ

Конечно, Николай Алексеевич всегда был импозантен, но мало кому возраст так к лицу. Недавно я стала замечать, что мои учителя и старшие коллеги с возрастом приобретают откровенно «дореволюционный вид». Такой, какой во времена моей молодости имели только действительно дореволюционные А. Н. Попов да С. А. Радциг.

Николай Алексеевич обходится при этом без седых бороды и усов, которые всякого делают немного то ли Шахматовым, то ли Оболенским — словом, сошедшим с портрета.

Когда я слышу из-за двери или, звоня на кафедру, в телефонную трубку неподражаемую восхищенно-страстную интонацию, я не просто знаю, что Федоров спрашивает слова или читает Вергилия, я думаю, что мир еще не совсем стал чужим, в нем пока можно жить, что кто-то, видя восторг, с которым учитель смакует Latinitas, вкус этот захочет распробовать. Многая лета!

АНДРЕЙ ВАНЮКОВ

ANTIQUUS — ЭТО ТОТ, КТО ANTE QUAM

Мне довелось учиться у Николая Алексеевича в 1994—1999 гг. Его занятия остаются для меня одним из самых ярких впечатлений от РГГУ.

Пожалуй, главная черта Николая Алексеевича — азарт. Он настолько неравнодушен к тексту, что порой готов опередить ученика, так что тот не успевает перевести прочитанный им латинский отрывок. То и дело Николай Алексеевич перевоплощается в героев и героинь Вергилия или Катулла — на несколько мгновений, а потом снова становится собой. Помню отчаявшуюся Ариадну в его исполнении:

Huc, huc adventate, meas audite querellas!
Сюда, сюда подойдите, услышьте мои жалобы!

Вот Лаокоон «закручивает копье» — hastam contorsit — и Николай Алексеевич делает вращательное движение рукой, словно сам хочет поразить брюхо троянского коня.

Иногда величавые герои приобретают совсем несвойственные им черты. Вот Эней скидывает покров невидимости и предстает изумленным гостям на пиру Дидоны (Дидоны из Сидона, как называет ее Николай Алексеевич):

Coram, quem quaeritis, adsum!
Вот я перед вами, кого вы ищете!

— А мне это всегда напоминало выход клоуна на арену с его неизменным «А вот и я!», — замечает Николай Алексеевич.

Окружающий мир вызывает у Николая Алексеевича жадное любопытство. Одно из любимых развлечений — перевод с современного на античный и наоборот. Отсюда изобретенное им выражение: tuta Venus. Или еще: lac duplo suavius, si iter lacteum est (узнаёте рекламную речевку?).

Iudicium inter sicarios (процесс по делу об убийстве) превращается у Николая Алексеевича в бандитскую «разборку».

Ведь буквально это выражение означает «суд между убийцами» (мои воспоминания относятся к годам, получившим впоследствии название «лихих»). И все это экспромтом, как и та шуточная этимология, которую я вынес в заголовок.

Разумеется, Николай Алексеевич не только шутит. Читаем Горация — при словах mitis sapientia Laeli он замечает, что они напоминают ему гомеровское «сила Гераклова». Но о серьезном в двух словах не скажешь. Перейду лучше к заключительной части.

Дорогой Николай Алексеевич! Не сомневаюсь, что в честь Вашего юбилея будет сложено немало латинских стихов. Позвольте и мне преподнести Вам несколько строк. В них мало изящества, зато все сущая правда:

Vox divina olim genitoris contigit aures:
plurima progenies pulveris instar erit

es nobis genitor, ditissime prole latina, —
discipulorum agmen paene caret numero

ВАСИЛИЙ ГЕРОНИМУС

НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ ФЕДОРОВ. УЧЕНЫЙ, ПРЕПОДАВАТЕЛЬ, ЧЕЛОВЕК

Николай Алексеевич в моем внутреннем восприятии всегда относился к той редкой породе гуманитарных светил, которая соответствует редким временам отрадных взлетов культуры и словесности. Сейчас есть замечательные гуманитарии, люди сведущие, но все меньше становится старорежимных профессоров в лучшем смысле этого слова. Густеют те сумерки истории культуры, из которых столь явственно высвечивается уникальная личность Николая Алексеевича.

Мое первое знакомство с Николаем Алексеевичем началось на филологическом факультете МГУ или даже несколько ранее... Еще до поступления на филфак Московского университета я слышал какие-то отзвуки ярких свидетельств о Николае Алексеевиче как о своего рода одушевленной легенде

кафедры классической филологии МГУ. О нем рассказывали как о выдающемся латинисте, который не просто знал древний язык, но ощущал его как свой язык, ориентировался в нем как на своем письменном столе. Это было, по рассказам очевидцев, не просто знание, но именно виртуозное владение латынью, включавшее в себя и живую причастность Николая Алексеевича ко всему корпусу античной литературы. Римскую словесность Николай Алексеевич ощущал как преемницу древнегреческой литературы, которую также знал в подлиннике.

Мы, молодые русисты, признаться, даже немножко побаивались личной встречи со светилом. И надо сказать, что к нам на русское отделение выпускали преподавать не самого Николая Алексеевича, а лиц иного — следующего — поколения. Это были порой весьма требовательные, исключительно знающие и замечательные преподаватели — Солопов и Россиус. И все же и все же, пусть по эпизодическим встречам с Николаем Алексеевичем в МГУ, в бытность студентом я убедился, что он исключителен и уникален на весьма добротном образовательном фоне. Ведь одно дело добросовестное, даже исчерпывающее знание своего предмета как отдельно взятой дисциплины, иное — профессиональное знание гуманитария, которое сочетается с ренессансным по своему генезису универсализмом, с личностной масштабностью и с живой причастностью к мировой культуре как целому. При своем безупречном знании избранного предмета, которое всегда конечно, Николай Алексеевич одновременно пребывал в океане мировой культуры, который бесконечен. Он был чужд удобного финализма и находился в непрестанном внутреннем подвиге, искании...

Не хочется здесь злоупотреблять риторическими блестками и уж тем более теоретизировать. Широта души и масштабность личности, умственная щедрость Николая Алексеевича проявлялись подчас в его неуловимых интонациях, жестах, даже в, казалось бы, незначительных житейских частностях. Вот Николай Алексеевич вошел в аудиторию, где, возможно временно заменяя заболевшего преподавателя (уже не помню), намеревался провести у нас, русистов, семинар по античной литературе. Общение преподавателя с аудиторией началось со

своего рода краткой презентации предмета, с вопроса о том, а что такое античная литература.

— От всего внушительного корпуса древних текстов нам осталось с гулькин нос! — в очищающем простодушии сказал Николай Алексеевич, шутливо доводя до нашего сведения, что далеко не все античные литературные памятники толком дожили до современности.

И вот не только отдельно взятые факты литературы, но некое неуловимое дыхание исторического времени, в котором она обитает, заключалось в живой интонации Николая Алексеевича. Он не только доносил до нас, современных людей, литературные сокровища древности, но и творчески органично жил среди них, словно гуляя по эпохам. Возникала ассоциация с Пастернаком, который воскликнул в высшем простосердечии:

Какое, милые, у нас тысячелетье на дворе?

С похожим или буквально с тем же вопросом Николай Алексеевич, профессор-античник, вошел, или нет, даже влетел, в аудиторию (его походка всегда была чрезвычайно легкой, а манера подачи материала — оживленной). Не побоюсь этого сказать, классическую осанку Николая Алексеевича исподволь сопровождал и некоторый юродивый юмор (в просветленном христианском значении слова).

Запомнилась, например, интонация, с которой Николай Алексеевич сообщал нам в лекции, что слово «трагедия» по своей этимологии означает «козлиная песня». У Николая Алексеевича было глубокое чувство меры, и, сообщая нам о происхождении упомянутого слова, он избегал какой-либо ненужной аффектации и лишь вводил в свою речь ребусную составляющую. В интонации Николая Алексеевича звучал вопрос: а почему *козлиная песня*?

Говоря о Гомере, Николай Алексеевич принимался на семинаре русистов (возможно, рассчитывая и на поле их восприятия) цитировать Мандельштама:

Бессонница. Гомер. Тугие паруса.
Я список кораблей прочел до середины...

И услышанная мной манера чтения стихов Мандельштама, импульсивная и вместе с тем классически сдержанная, и сама русскоязычная преамбула к Гомеру — все это указывало: Гомер для Николая Алексеевича так же современен и актуален, как его поздний литературный наследник — Мандельштам. И вместе с тем Николай Алексеевич не только ощущал, но словно нес в себе то единство литературного процесса, в котором и русская литературная классика преемственна по отношению к Античности. Поэтому и седую древность Николай Алексеевич умел явить творчески органично — той артистически точной мимикой, теми выразительными примерами, которые свидетельствовали: величавая античность не есть нечто мертвое, застывшее и схоластическое, она внутренне динамична. Без нее не было бы и Пушкина и Мандельштама...

Николай Алексеевич всегда проявлял себя как человек космически многогранный... Его манера чтения лекций была подчас несколько театрализованной, содержала и спорадические признаки некоторой эксцентрики, однако эмоциональность лектора была творчески органична. Она вполне наглядно свидетельствовала о своего рода синкретической общности мира мифологии, мира словесности и мира сцены в трагедиях Эсхила, Софокла и Еврипида. Живая целостность античного космоса требовала той подачи материала, которой придерживался Николай Алексеевич. Фактически благодаря ему я ощутил и преемственность между подслеповатым Эсхилом, уравновешенным Софоклом, замысловатым Еврипидом и последующей литературой, как бы вскормленной на закваске эллинской мифологии...

Как педагог, Николай Алексеевич мог сделать удобопонятными любые замысловатые лингвистические крюки благодаря их живой, импульсивной подаче и, я бы добавил, лично выстраданным знаниям. Это удивляло еще и потому, что на семинарах Николая Алексеевича, как и на других семинарах, студенты-русисты, которых было очень много, галдели, спорили и едва ли в полной мере могли предоставить Николаю Алексеевичу полноценную почву для работы. «Спорьте,

спорьте!» — дружелюбно-снисходительно говорил он, однако продолжая видеть насквозь каждого студента. Николаю Алексеевичу было понятно, чего он стоит и чем занимается. Это даже немножко пугало, но и захватывало. В частности, мне не всегда удавалось даже вставить слово на наших шумных и людных семинарах по античной литературе, которые вел Николай Алексеевич, и было непонятно, как и по каким критериям (собственно даже по каким внешним признакам) я могу быть оценен в ту или другую сторону.

Вторая моя встреча с Николаем Алексеевичем произошла через годы после сладостной и трудной поры студенчества, когда уже выпускником МГУ, успевшим окончить аспирантуру и получить кандидатскую корочку, я был приглашен читать лекции почасовиком в РПУ (Российский православный университет). Николай Алексеевич был деканом филологического факультета РПУ и стоял у истоков его возникновения.

И вот о чем сразу хочется сказать: в качестве фактического соучредителя РПУ Николай Алексеевич стремился соединить то лучшее, что было на русском и классическом отделениях МГУ. Говоря конкретно, он вводил в программу факультета большое количество часов, посвященных древним языкам — латыни и греческому, и в то же время всемерно сохранял образовательные контуры, присущие русскому отделению МГУ. Это было очень и очень разумно, поскольку длительного преподавания древних языков нам, русистам, в МГУ в свое время катастрофически не хватало. И вместе с тем ценно и осмысленно было то, что Николай Алексеевич позволял студентам РПУ не замыкаться в круге эллинских и латинских древностей, но свободно мыслить античность среди корней русской и европейской классики. Во многом благодаря Николаю Алексеевичу я — формально уже давно не студент — живо ощутил, что, например, «Мои пенаты» Батюшкова преемственны не только по отношению к литературной Европе, но и по отношению к античной мифологии; не говорю уже об окрашенной в античные тона поэтической риторике у Пушкина, например о «всевышней воле Зевеса» в «Онегине», и главное — о поэтической мифологии Пушкина, где Амур вполне на античный

лад спорит с Гименеем. Эта мифология присутствует в том же «Евгении Онегине» («Судите ж вы, какие розы / Нам заготовил Гименей...» — пугает Евгений Татьяну; одно из ранних стихотворений Пушкина так и озаглавлено «Амур и Гименей», что, разумеется, неслучайно).

Надо сказать, что при всем своем глубинном погружении в древние языки Николай Алексеевич отличался тем великодушием и, не побоюсь сказать, евангельским смирением, которое позволяло ему не абсолютизировать преподаваемые им предметы. У нас некоторых студентов, защитивших сильные дипломы, рекомендовали в аспирантуру (при РПУ своей аспирантуры не было)... Лучших выпускников РПУ рекомендовали в аспирантуру ИМЛИ и других смежных по профилю организаций. Так вот, если студент обнаруживал слабую успеваемость в древних языках — например, еле запоминал латинские глаголы, но тем не менее удачно защищал дипломную работу, например, по части литературоведения, — Николай Алексеевич считал возможным рекомендовать такого дипломника в аспирантуру. Он исходил из того, что своего рода высшая точка, конечная цель, к которой устремлено обучение как многосоставный процесс, — это защита дипломной работы. И от нее в РПУ преимущественно зависела дальнейшая судьба выпускника... А вот на филфаке МГУ, где студентам-русистам древние языки преподавали меньше, чем студентам филфака РПУ, такой практики не было; учебный процесс был более формализован, одним из условий поступления в аспирантуру являлось полное отсутствие троек в аттестате. А вот Николай Алексеевич, при искреннем и глубоком увлечении преподаваемыми предметами, при уважении и внимании к вузовскому образованию вообще, подобной шагистики избегал и смело практиковал творчески бескорыстное отношение к учебному процессу. Для меня все это было ново, свежо и неожиданно. Я мысленно удивился, когда услышал, что Николай Алексеевич, выдающийся латинист, не ставит в прямую зависимость от своего предмета дальнейшие судьбы выпускников РПУ.

Будучи оснащен всеми премудростями древних языков, Николай Алексеевич, однако, никогда не уходил от смысла

текста, не отгораживался от реальной истории литературы в нише цеховой филологии. Так, например, в частном разговоре с преподавателями-русистами на одном из институтских мероприятий Николай Алексеевич заговорил о том, с каким трудом выживала русская литература на причудливых ухабах политической истории, например в трагическом XX в. «Ох, я бы предпочитала держаться подальше от политики!» — содрогнувшись, проговорила хрупкая интеллигентная преподавательница. «Но не можем же мы заниматься одними только ритмами!» — дружелюбно-понимающе воскликнул Николай Алексеевич.

Я вынужден добавить, что поначалу РПУ в образовательном отношении был даже глубже, а в творческом отношении шире и свободнее МГУ. Однако со временем, по причинам, как я убежден, от Николая Алексеевича не зависящим, тот уровень, на котором стоял РПУ при своем появлении, стал теряться, уходить. И эту трагедию РПУ мне сейчас трудно комментировать хотя бы уже потому, что рассказ о постепенном кризисе РПУ увел бы нас в сюжеты, в крайней степени далекие от Николая Алексеевича... Для него фактическое саморазрушение вуза было личной болью...

У Николая Алексеевича всегда был очень ясный и в то же время масштабный ум. Нечего и говорить, что наряду со своим предметом он великолепно знал и чувствовал русскую литературу. Я имел неоднократный случай в этом убедиться, когда появлялся на выпускном экзамене в составе комиссии, возглавляемой Николаем Алексеевичем. Когда незадачливый студент путался в тонкостях символизма, ему, бывало, «подсовывали» вопрос о Горьком, рассчитывая, что с Горьким будет проще, нежели, например, с Блоком — сплошной загадкой. Мне поневоле подумалось: нет ли в такой простоте какого-то скрытого минуса? Каково же было мое удивление, когда Николай Алексеевич горячо (но без лишней патетики) воскликнул: «Горький — писатель фантастически талантливый!» Это прозвучало смело и неожиданно на фоне того, что многие у нас считают, например, «Мать» Горького слабым и программным произведением.

Для меня за высказыванием Федорова о Горьком стояло очень и очень многое. С подачи Николая Алексеевича мне ста-

новилось окончательно ясно, что в художественном строе прозы того же Горького есть смыслы, отнюдь не сводимые к его программным тезисам. Иначе говоря, Горький по своей сути значителен, сложен и противоречив, а та пролетарская идеология, которую подчас ошибочно и схематично ассоциируют с Горьким, не имеет прямого отношения к Горькому или и вовсе не имеет к нему отношения. Его писательская сущность иная...

Как-то мне пришлось писать отзыв на дипломную работу, посвященную сходным мотивам у Анненского и Ахматовой. Так вот, я заметил, что феноменальная образованность Анненского не обеспечивает автоматически художественного дара масштаба Ахматовой, поскольку искусство и наука — это вещи разные. Вот, например, Третьяковский, приводил я пример, был выдающимся ученым-тружеником, но при своей феноменальной образованности оставался посредственным стихотворцем. Я помню, что Николай Алексеевич мою мысль поддержал, — во всяком случае, одобрительно улыбнулся ей, когда я зачитывал отзыв на диплом. А между тем современные филологи подчас фетишизируют научное знание как таковое и даже смешивают его с художественным даром. Я не против того, чтоб филологи, если они хотят, писали стихи или прозу, пусть пишут, но я все же не сторонник так называемой «филологической поэзии» или даже «интеллектуальной прозы». Художество все же должно быть безыскусным, а наука может оставаться чопорно-академической.

Не хочется говорить о выдающемся человеке исключительно пафосно, поскольку — согласно наблюдениям Пушкина — величие человека может проявляться и в трогательно-житейских формах (а не только «средь копий и мечей»). Когда я очутился почасовиком среди преподавателей РПУ, я вскоре ощутил искрометный юмор Николая Алексеевича. Подчас он был немножко своеобразным, носил неповторимый отпечаток личности Федорова.

Вот запомнившийся случай.

Как-то в начале учебного года из-за неувязок в расписании, которое учебная часть еще не успела утрясти, я не получил своего графика и не явился вовремя на лекцию. А студенты

уже собрались... И вот в аудиторию входит Николай Алексеевич и спрашивает, где Геронимус, который вообще-то уже должен читать лекцию.

— А его нет! — хором отвечают студенты.

— Ну ничего, давайте в порядке научного эксперимента считать, что он есть, — помолчав, предложил Николай Алексеевич и... нарисовал на доске виртуального Геронимуса.

Надо заметить, что Николай Алексеевич не чуждался научного эксперимента и в буквальном смысле слова. Академический такт, университетская закваска не позволяли Николаю Алексеевичу произвольно принимать любые новации; однако он никогда не терял научной смелости. Например, мое увлечение так называемой лингвопоэтикой, составившей литературоведческую моду последних десятилетий, Федоров приветствовал (слово «мода» не всегда означает нечто негативное). Суть предмета, если излагать ее сейчас упрощенно, заключалась в том, чтобы обнаруживать смысл в организации и природе текста, а не в других параметрах традиционной историко-литературной филологии. В частности, в отзыве на один студенческий диплом о библейских мотивах у Ахматовой я писал, что прочтение означенных мотивов у Ахматовой может строиться не только на прямых высказываниях («Ахматова пишет, что...»), но — и может быть, прежде всего — на элементах художественного языка акмеизма Ахматовой. И Николай Алексеевич и здесь поддержал меня. Между тем далеко не все профессора, даже университетские, готовы принимать новые методы в литературоведении.

Суждения Николая Алексеевича о предметах гуманитарных всегда точны и проницательны. Например, Николай Алексеевич однажды заметил, что старославянский и древнерусский языки практически невозможно преподавать средне — их подача будет либо невыносимо скучной (и, как правило, непонятной), либо, напротив, чрезвычайно яркой, живой и увлекательной. Как же так, почему нет середины между этими крайностями?.. почему «или пан, или пропал»?.. Прокомментирую слова Федорова немножко по-своему. В принципе, хитрости и книжные премудрости древних грамматик от нас очень далеки

и подчас неудобопонятны, на них словно осела архивная пыль. От нее подчас можно и начать задыхаться... Но вот если чувствовать и понимать живое развитие русского языка как целого, если прозревать в современном русском языке архаические корни, то книжные формы вдруг оживут, увлекут и заинтересуют практически любого из нас. Достаточно не отделять частей от целого. Ведь если это целое подвижно, волнообразно, многомерно, загадочно, то и части — множественные грамматические и синтаксические условности или же буквально части речи — становятся чрезвычайно увлекательными.

Николай Алексеевич потрясающий педагог. Он умеет верно (= своевременно, точно, масштабно) поставить вопрос перед студентом так, что у него как бы сама собой начинала пульсировать мысль.

Вот, например... Одна выпускница РПУ защищала у меня дипломную работу по «Капитанской дочке» Пушкина. Предваряя ее рассказ о дипломной работе, Николай Алексеевич с ходу огорошивает ее, казалось бы, простым и очевидным, а на самом деле бесконечным вопросом: *а что, собственно, побудило Пушкина, создавшего страшную «Историю Пугачева», вскоре явить читателю совершенно иной литературный (и нравственный) портрет Пугачева в «Капитанской дочке»?*.. Да, сколько бы ни писалось исследований о Пушкине, поставленный вопрос продолжает висеть в воздухе вот уже два столетия. И остается неисчерпаемым. Он как бы вводит нас в известную со времен античности диаду истории и поэзии. Аристотель в «Поэтике» провозглашает, что история говорит о действительно случившемся, а ее несколько шаловливая сестра, поэзия, говорит скорее о должном или вероятном (подчас легкомысленно пренебрегая житейскими фактами). С Аристотеля у нас повсюду началось таинственное различение исторической и художественной правды, которое влечет за собой множество подчас взаимно противоречивых толкований предмета. И пушкинская «Капитанская дочка», поставленная рядом с «Историей Пугачева», как бы иллюстрирует контрастное, но вместе с тем двуединое соотношение вышеуказанных правд.

Не так важно, как в данном случае повела себя юная дипломница — стеснялась и дичилась или же «бодро рапортовала по существу вопроса». Замечательно иное: вопрос Николая Алексеевича расширил ее интеллектуальные горизонты, причем сделано это было минимальными средствами, которые, как известно, часто оказываются самыми сильными.

Николай Алексеевич не просто руководил факультетом, но вел *неустанный творческий диалог со студентами и преподавателями*. Я убежден, что этот диалог продолжается до сих пор.

НИКОЛАЙ ГРИНЦЕР

НИКОЛАЮ АЛЕКСЕЕВИЧУ ФЕДОРОВУ – МИФУ И ЧЕЛОВЕКУ

На страницах этой книги помимо друзей и коллег представлены несколько поколений классиков, причем разница в возрасте между старейшими и самыми молодыми авторами составляет десятки лет, но практически всех их объединяет одно немаловажное обстоятельство. Все они в то или иное время учились одному из двух главных языков своей профессии у Николая Алексеевича Федорова. Большинство училось прямо и непосредственно, с неизменным восхищением и священным трепетом сидя у него на занятиях, другие постигали латынь по его учебнику, третьи встретились с ним впервые уже после окончания периода ученичества — и немедленно осознали, что применительно к Николаю Алексеевичу и латыни (а эти два понятия ныне почти равнозначны) этот период не завершится никогда.

Студенчество в принципе склонно окружать профессоров неким мифологическим ореолом, впрочем, далеко не всех. Истории, передающиеся из уст в уста и от поколения к поколению, рассказывают обычно о тех, кто сумел поразить молодых и покорить их души не только высочайшей ученостью, но и особым складом характера, человеческим обаянием и искренностью. Однако чаще всего студенческий

фольклор повествует о делах «минувших дней», а его образы далеко не всегда четко персонифицированы: «Был один преподаватель, который...» Главный герой фольклора классических отделений московских (и не только московских) университетов имеет свою вполне очерченную индивидуальность и свое, личное имя — Lupus, он же Николай Алексеевич Федоров. И хотя версий происхождения этого прозвища великое множество, я бы хотел подчеркнуть одну несомненную его интерпретацию. Это, безусловно, тот самый Lupus in fabulis, то есть персонаж, самой сутью своей предназначенный для увековечивания в мифологических преданиях. Характерно, что преданиями этими упиваются не только молодые; классики разных поколений придирчиво сравнивают: «А у вас он уже кидался расческой?» (столь же неизменный атрибут Николая Алексеевича, как перуны Зевса или лира Аполлона), «А у вас он уже смущал девиц чтением Плавта или сам еще смущался?» (избирательное отношение его к женскому полу и собственная избранность — тоже постоянный мотив). Реальность этих характерных черт и особенностей поведения засвидетельствована многолетней непрерывной традицией, но традиция эта чем дальше, тем больше напоминает то ли богатырскую сказку, то ли истории о чудесных мудрецах.

Отдельная сторона этого образа — «прижизненный памятник», поставленный себе Николаем Алексеевичем и его замечательным, но, увы, уже умершим соавтором Валентиной Иосифовной Мирошенковой. Знаменитое обозначение «Мирошенкова–Федоров» надолго стало и еще дольше останется символом приобщения юношества к Катуллу и Цицерону. Учебникам латинского языка вообще везло на двойное авторство, и их гордые именования чем-то напоминают череду сменяющих друг друга пар римских консулов: «Я учился по Попову–Шендяпину» звучит похоже на «В консульство Марка Красса и Лутация Катула». Но «Мирошенкова–Федоров» както разом, сразу после первой публикации, прочно вытеснили и заместили и Попова с Шендяпиным, и Боровского с Болдыревым, а череда многочисленных переизданий последних лет окончательно подтвердила, что теперь свет латыни urbi et orbi

будет нести прежде всего эта, некогда зеленая[1], а впоследствии расцветившаяся и другими цветами радуги книжка. А учебники, как никакое научное исследование, возносят их авторов на мифологический пьедестал, окончательно отрываясь от их личности и делая вполне расхожими фразы «Федорова знаю» или «Федорова не хватило», смысл которых не вполне ясен непосвященным.

Но в том-то и дело, что ни затрепанный студенческими руками учебник, ни признанная всем академическим сообществом репутация великого знатока «истины в последней инстанции» («если чего не понимаешь в латыни и никто не понимает, спроси у Федорова»), ни тома великолепных переводов (второго типа изданий, создаваемых тоже «на века») — ничто из впечатляющего и, бесспорно, уже легендарного послужного списка неспособно затмить человеческого образа Николая Алексеевича, столь дорогого всем, кто имел и имеет счастье его знать, с ним соприкасаться в качестве ученика, знакомого, друга или коллеги. Самое главное, что способен дать учитель и чем только он может привлечь внимание и интерес ученика, — это живое ощущение своего предмета, неравнодушие к нему, а следовательно, и к тем, кто его постигает. Не так часто к этому оказываются готовы преподаватели вполне «жизненных» дисциплин — что уж говорить о мертвых языках, на которых, после бесконечного трудоемкого заучивания парадигм, «и поговорить-то не с кем». Но стоит столкнуться с Николаем Алексеевичем, и оказывается — есть с кем! Во-первых, с ним самим, способным не только по памяти цитировать страницами классические тексты, но и легко и изящно беседовать на латыни на вполне животрепещущие темы. А во-вторых, при его, Федорова, посредстве чтение классических авторов тоже, оказывается, можно превратить в диалог, ибо для Николая Алексеевича эти авторы более чем живы и более чем, как это было принято говорить в недавние времена, «актуальны». Потому он

---

[1] Так, помнится мне, Николай Алексеевич утверждал, что она была голубой, Мария Сергеевна Касьян пыталась примирить нас «цветом морской волны». Подобные вариации лишь подчеркивают мифологичность образа.

так живо пересыпает свои комментарии римских нравов аллюзиями на реалии нашей эпохи (заодно просвещая молодое поколение по части прошлого их собственной страны); потому столь неподдельны его личностные пристрастия и антипатии к давно почившим мыслителям и политикам. Всякий, кому случилось в присутствии Николая Алексеевича нелицеприятно отозваться о личности, исторической роли или писаниях его главного любимца, Цицерона, знает, как близко к сердцу, чуть ли не на собственный счет принимает он подобные оценки, глядя на обидчика с горестным сожалением.

Именно эта живость восприятия латыни и всего, что на ней написано и сказано, и стала главной составляющей всех занятий Николая Алексеевича. Он много писал о том, что собственно и составляет живую ткань языка — о лексике и семантике; но главной сферой его научной деятельности стала сама живая ее форма — перевод. Нет нужды лишний раз утверждать, что для классических языков и памятников античной культуры эта работа представляет собой сколь научное исследование, столь и художественный труд, — и потому так часто повторяемое Николаем Алексеевичем самоуничижительное «Какой я ученый!» следует считать не более чем кокетством (простите, Николай Алексеевич!). И опять-таки характерно, что и в этой области он обращался и обращается к тому, что, или, вернее кто, его наиболее живо интересует, — конечно, к Цицерону! Или к тому, что представляет собой живую традицию античного наследия в последующие эпохи. Именно поэтому так много Николай Алексеевич переводил труды великих просветителей: Лейбница, Локка, Гоббса и других; не случайно именно он первым в нашей стране составил и выпустил хрестоматию латинских средневековых и ренессансных текстов. Ему всегда хотелось «продлить» реальное бытование латыни как можно ближе к нашему времени, и таким мостом становились, в частности, Средневековье и Возрождение. Показательно, что в своем интервью студентам РГГУ Михаил Леонович Гаспаров в ответ на вопрос, интересовала ли его уже в студенческие годы медиевистика, сказал: «Этим стали интересоваться уже в последующие годы, когда много стал преподавать энергичный и нескучный

человек Федоров. К нам [классикам] его тогда еще не пускали, считалось, что молод»[1].

Гаспаров обладал поразительным свойством одним-двумя штрихами определить суть человека или явления. Так и в данном случае: сказать «энергичен, нескучен и молод» означает обрисовать Николая Алексеевича — что пятьдесят лет назад, что сейчас. Одно изменилось — слава Богу, его уже давно пускают к классикам. И за то, что нам всем, от мала до велика, было дано встретиться с ним, мы искренне благодарны судьбе.

ЮРИЙ ДЕГТЯРЕВ

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ Ю. И.

С Николаем Алексеевичем Федоровым мы познакомились (точнее, он со мной) в невообразимо далеком 1935 г., вскоре после моего появления на свет. Маленького Колю привели посмотреть на новорожденного и показать тем самым, какие чудеса бывают в жизни. Сейчас трудно сказать, была ли выполнена эта важная задача и был ли в восторге Коля от случившегося визита, впечатления от которого затерялись в последовавших за ним трудных годах с их несчастьями, страхами, потерями, занявшими место даже самых простеньких чудес.

Второе, уже вполне серьезное, наше знакомство состоялось 13 лет спустя, когда я, ничем не выделявшийся ученик шестого или седьмого класса близлежащей школы, пришел в гости к солидному человеку, аспиранту Московского государственного университета Н. А. Федорову и его маме Зинаиде Михайловне, с тем чтобы выполнить какое-то уже забытое теперь поручение моих родителей. Нужно было поддержать относившийся к поручению разговор и показать свою способность делать что-то полезное.

Вопреки ожиданиям беседа очень скоро пошла в ином направлении — Николай Алексеевич стал расспрашивать меня о школе, об интересах, о занятиях в свободное от уроков время.

---

[1] Кентавр. Studia classica et mediaevalia. М.: РГГУ, 2006. 3. С. 382.

Выяснилось, что школа хорошая и свободного времени достаточно для тех простых дел, которые могли появиться у подростка в послевоенной Москве. Главным же оказалось другое — возникло желание бывать у Николая Алексеевича, говорить с ним о доступных мне вещах, читать выбираемые для меня книги из его домашней библиотеки, сохранившейся еще с прежних времен. Без преувеличения, с того памятного дня Николай Алексеевич стал моим учителем и старшим товарищем.

Быстро пролетевшие школьные годы естественным образом подвели меня к необходимости принимать решение о поступлении в институт. Многочисленные споры на эту тему среди старшеклассников сводились, за редким исключением, к одному — нужно идти в «престижные» технические вузы и становиться специалистами, нехватка которых остро ощущалась в то время. К слову сказать, этот самый «престиж» не был тогда пустым звуком и основывался на ожиданиях какого-то движения вперед, к лучшему устройству жизни всех и каждого.

Возникавшие вопросы и сомнения активно обсуждались с Николаем Алексеевичем, который отнесся к ним с присущими ему тактом и доброжелательностью. Советуя мне поступать в Московский университет, он с пониманием прислушивался к моей неуверенности в собственных силах, к желанию заниматься точными инженерными науками и к идеализированным представлениям о будущем. Наступившее «холодное лето пятьдесят третьего» расставило все по местам — я начал самостоятельно (как было принято) готовиться к сдаче шести вступительных экзаменов в институт с твердым намерением набрать 26–27 проходных баллов, не сравнимых с «удовлетворительными результатами» нынешнего школьного ЕГЭ. Из всего этого сегодня осталось одно яркое воспоминание — прозрачным августовским днем мы с Николаем Алексеевичем поехали в приемную комиссию института узнать о моем зачислении в студенты и потом долго гуляли по тогдашней скромно обустроенной, но нашей Москве, обсуждая происшедшее и связанные с ним надежды на что-то новое и интересное.

Моя студенческая жизнь с ее обычными делами, успехами и огорчениями проходила в окружении появившихся друзей,

среди которых были и москвичи, и немосквичи из совершенно разных семей, что никак не отражалось на наших взаимоотношениях. Общей заботой было выполнение довольно жестких требований к изучению преподаваемых нам наук, пользовавшихся большей или меньшей популярностью. К числу последних относились общественно-политические и экономические дисциплины в силу однозначности и предопределенности их содержания, а также слабого понимания их связи с нашей будущей профессией.

Я по-прежнему часто бывал у Николая Алексеевича и Зинаиды Михайловны, делился с ними своими впечатлениями от всего того, что меня тогда окружало, а иногда и обращался за помощью, имевшей определенную специфику. Николай Алексеевич терпеливо объяснял мне, почему пролетариат является могильщиком буржуазии и почему эта важная миссия еще не выполнена в начале второй половины XX столетия, как отражается на всех нас положение основного экономического закона социализма о «максимальном удовлетворении постоянно растущих потребностей...», зачем нужно организовывать «международное рабочее движение» в условиях действия «всесильного учения Маркса» и т. д. Можно по-разному относиться к таким ныне забытым и не вполне корректным вопросам, но в середине 1950-х гг. подобные темы присутствовали в строго научном обрамлении не только на институтских лекциях. Все это, вместе взятое, давало нам с Николаем Алексеевичем возможность лучше представлять себе и сравнивать методы, особенности, трудности обучения студентов университета и технического вуза, многое узнавать о преподавателях, среди которых были известные ученые, постепенно приближать меня к уровню общения взрослых, серьезных, но все-таки еще очень молодых людей.

Наконец наступил момент окончания института — и я предстал перед Николаем Алексеевичем с дипломом в руках как символом перехода к другому, пока неизведанному активному периоду жизни и, главное, времени лучшего понимания и способности поддержать друг друга в разных обстоятельствах. Вскоре после этого изменилось мое семейное положе-

ние, и мы с Верой Борисовной вошли в узкий тогда круг близких знакомых и друзей Николая Алексеевича.

Начавшиеся 60-е гг. и последующие десятилетия были наполнены и радостными, и трудными событиями, но неизменным оставалось то, что было заложено нами в молодости и определяется емкими словами «долгий путь вместе». Случалось всякое — и частые интересные встречи, и возникавшие по каким-то причинам перерывы в непосредственном общении, но никогда не было между нами никакого непонимания и тем более отчуждения. Поистине судьбоносным для Николая Алексеевича стало появление рядом с ним Екатерины Сергеевны, а потом и рождение сына Алексея, который сегодня в свои 25 с небольшим так напоминает молодого человека, взявшегося когда-то опекать неприметного московского школьника.

Сложно рассказать здесь вкратце обо всем пережитом за это менявшееся и менявшее нас время. Постепенно стиралась разница в возрасте, появлялись новые интересы и проблемы, уходили одни и приходили другие люди в близком окружении, и в этом жизненном круговороте сохранялся и остался нетронутым небольшой «островок» нашего с Николаем Алексеевичем бытия — в свои дни рождения мы всегда вместе и стараемся дополнять это теперь уже нечастыми, но всегда волнительными походами друг к другу в гости.

Накануне приближающегося 90-летия Николая Алексеевича Федорова невольно начинаешь думать о существовании некоего предначертания или скрытой закономерности нашей встречи в этом мире, продолжающейся в течение убежавших куда-то 65 лет.

ДЕНИС ДРАГУНСКИЙ

Николай Алексеевич Федоров с первых уроков внушил мне не только любовь к латинскому языку, но еще и неимоверное уважение к латинским и, шире, классическим студиям. Как он это сделал — не знаю точно. Жестом. Взглядом. Стилем разговора. Строгой, но чуть ироничной требовательностью.

Изяществом каждой фразы. Ах, если бы я мог это понять и воспроизвести...

Но вот какой результат получился в конце первого курса, весной 1969 г.

Первые курсовые работы у всех были одинаковые: полный грамматический разбор не очень сложного, но законченного латинского текста. Мне достался Корнелий Непот, жизнеописание Аристида. У меня была своя книжечка, скромная, французское издание 1833 г., вполне, как говорится, исправный текст. Но мне вдруг показалось недостойным писать курсовую, заданную самим Федоровым, по такой задрипанной книжице. И я пошел в Историческую библиотеку в Петроверигском переулке и с надменным видом потребовал «editio princeps» (editionem requisivi principem, antiquissimam, ut non solum textus claritate, sed etiam suaveolente vetustate delectari possim — ita, magister optime?). В отделе редких книг мне выдали огромный том в белом пергаменном переплете, издание 1569 г., подготовленное ровно 400 лет назад — о, это совпадение меня просто проняло до глубины души и тела — моим французским тезкой Дени Ламбеном (Dionysius Lambinus).

Я начисто переписывал текст с этих правильных страниц, чувствуя, что надо мной склонились трое — Непот, Ламбинус и Николай Алексеевич.

Издание было чудесное, с маргиналиями, содержащими параллельные места из прочих авторов, латинских и греческих, писавших об Аристиде Справедливом (не упомянут был только Козьма Прутков, по независящим от Ламбинуса причинам).

«Как будет по-гречески concitata multitudo?» — спросил я у Игоря Чичурова. «Наверное, νενυγμένος ὄχλος, — ответил он, — а тебе зачем?» «Хочу посмотреть, нет ли такого выражения у Плутарха», — важно сказал я.

За курсовую я получил четверку. Увлекшись параллельными местами, пропустил какой-то dativus commodi. Бывает. Но зато стал филологом, текстологом.

Спасибо Вам, дорогой Николай Алексеевич, за латынь, за классику, за направление ума, которое и сейчас со мною.

АГЛАЯ ЗАХАРОВА

Николай Алексеевич Федоров был моим первым учителем латинского языка. В 1988–1989 гг. он вел латынь на первом курсе классического отделения МГУ, где я училась. Нашему курсу завидовали студенты-старшекурсники, так как редко кому выпадала возможность начать знакомство с латынью под руководством столь замечательного преподавателя. Сам Николай Алексеевич в начале года не слишком был доволен составом нашей группы и пугал нас отчислением после первой сессии. Несмотря на страх, каждое занятие с Николаем Алексеевичем было незабываемым, он не терпел рутины и скуки, мы очень быстро, еще в первом семестре, перешли от азов грамматики к чтению трактата Цицерона «De amicitia». Мои сокурсники Вадим Шайкевич и Андрей Коваль умели вызвать Николая Алексеевича на интереснейшие дискуссии по поводу семантики слов у Цицерона. На четвертом курсе Николай Алексеевич вновь стал нашим латинистом. Приближающемуся замечательному юбилею Н. А. Федорова и самому юбиляру я посвящаю свою статью.

ВОСПРИЯТИЕ «МИФОЛОГИЙ» ФУЛЬГЕНЦИЯ В НОВОЕ ВРЕМЯ

Фабий Планциад Фульгенций, чьи сочинения стали в Средние века источником сведений о древних языческих богах и героях, живший в африканском королевстве вандалов уже после так называемого падения Западной империи, ищет в толковании мифов отнюдь не священную истину древних. В своем сочинении «Три книги о мифологии» (Mytologiarum libri tres)[1] он объясняет «подлинный и реальный» смысл древних мифов. При сравнении Фульгенция с Корнутом или Проклом бросается в глаза, что его подход — хладнокровный подход ученого. Те стараются разгадать тайны мифов и оправдать их глубокую истину с точки зрения истины философской,

---

[1] Fabii Planciadi Fulgentii opera / Ed. R. Helm. Leipzig, 1898; *Fulgentius.* The Mythographer / Transl. with Introductions by L. G. Whitebread. Ohio University Press, 1971.

Фульгенций же — просто понять, в чем их целесообразность. Нововведение Фульгенция состояло в том, что каждую из коротких фабул своего сборника он снабдил аллегорическим толкованием.

Первое издание сочинений Фульгенция вышло в Венеции в 1476 г. Томас Мункер издал Фульгенция с комментариями в 1681 г. в Амстердаме. Августин ван Ставерен издал сочинения латинских мифографов в 1742 г.[1] Его книга объединяет сочинения Гигина, Фульгенция, Лактанция Плацида. В этом издании приводятся мнения известных филологов о Фульгенции[2]. Положительные суждения о Фульгенции высказываются редко, но они есть. Анжело Полициано (Angelo Poliziano, 1454–1494) пишет: «Fulgentius non contemnendus Grammaticus». Йозеф Скалигер (Joseph Justus Scaliger, 1540–1609) в «Commentarium in Elogium de Obito Maecenati» называет Фульгенция «ученейшим грамматиком»: «Quod signifer Iovis fit Ganymedes, docet doctissimus Mythologus Fulgentius». К ним присоединяется и Адриан Турнеб (Adrianus Turnebus, 1512–1565): «Auctor non contemnendus Fulgentius». Кардинал Бона (Giovanni Bona, 1609–1674) так оценивает «Мифологии»: «Fulgentii Planciadi Grammatici Mythologiarum libri tres, utiles quidem, sed dictionis admodum tumidae, & versis abstrusis, atque poeticis abundantes».

Филологи Нового времени в основном обсуждают вопрос о том, тождественен ли он Фульгенцию, епископу Руспы (Fulgentius Fabius Claudius Gordianus, 468–533), который жил примерно в то же время и в тех же местах, что и мифограф. В отличие от Нонна Панополитанского, чьи поэмы, языческая и христианская, написаны хорошо узнаваемым стилем, который принадлежит одному автору, Фульгенций-мифограф сильно отличается от Фульгенция-епископа. Путаница между ними

---

[1] Auctores mythographi latini. Cum integris commentariis Jacobi Micylli, Joannis Schefferi et Thomae Munckeri quibus accedunt Thomae Workensii emendationes et conjecturae / Curante Augustino van Staveren, qui et suas animadversiones adjecit. Apud Lugduni Batavorum et Amstelodami, 1742.

[2] Мнения филологов о Фульгенции, которые цитирует Ставерен. более полно собраны в: Censura celebriorum authorum... / Collegit... Thomas-Pope Blount... Coloniae Allobrogum, *1694. P. 315–317.*

сохраняется вплоть до нашего времени. Лилий Гиральд (Giglio Gregorio Giraldi или Giraldus Lilius Gregorius, 1479–1552) считает Фульгенция одним автором, хотя и отмечает разницу стилей: «Fulgentii vero paucos libros vidi, in quibus de Christiana Religione bene sentit: sed duriusculus in primis, & affectatior stylo est, adeo ut in scriptis suis spinas, & verborum asperitates, si non aculeos potius pro verbis inseruisse videatur: & in primis in Mythologico: nam alia quidem pie, & Christiane scripta, non tam horrida sunt».

Франциск Модий (Francois Modius, 1556–1599)[1] не смешивает двух Фульгенциев в своих «Novantiquae lectiones»: «Nunc volui hanc ad te mittere, specimen eorum, quae ex tuo veteri membranaceo codice in Mythologiarum libris iis emendavi, qui hactenus pro Fulgentii Episcopi Carthaginensis, sive ejus, cujus multa pietate & eruditione scripta ecclesiastica multa in manibus habentur, non recte circumlati cusique passim sunt; cum constet ex eodem illo tuo antiquo libro, tribusque aliis venerandae aeque antiquitatis codicibus, quibus olim Lovanii a Gemblacensibus, & nuper Coloniae a Metropolitanae ecclesiae Bibliothecae praefectis; & abbate Sigebergensi usus sum; cum, inquam, ex his omnibus constet, neque divi Fulgentii ejus... quique Ruspensi Ecclesiae praefuit... neque Cartaginensis aut omnino alterius ullius episcopi has Mythologias esse, sed nescio cujus Fabii Planciadis Fulgentii Clarissimatus dignitate ornati, qui tamen iisdem fere cum Fulgentio Ruspensi Episcopo temporibus, & in eadem Africa vixerit».

Герхард Иоанн Фоссий (Gerardus Johannes Vossius, 1577–1649) пишет о превосходстве стиля Фульгенция-епископа. Для него не представляет сомнений, что это два разных автора: «Barbare egit eapse de re Fulgentius, non quidem fulgentissimus ille Episcopus Carthaginensis, cui in antiquioribus editionibus tribuitur, ac a Florido quoque Sabino adscribitur; sed Grammaticus, qui & Fabius Planciades; cuius de Continentia Virgiliana libellum habemus, et alterum de antiquarum aliquot vocum interpretatione»[2].

Третья часть мнений филологов о Фульгенции состоит из безоговорочно отрицательных отзывов о его стиле и произведе-

[1] Novantiquae lectiones. Frankfurt, 1584.

[2] Commentarii rhetorici sive institutionum oratoriarum libri VI. Leiden, 1606.

ниях. Андреас Шотт (Andreas Schott, 1552–1629) пишет о нем в «Observationes humanae»: «Inepte ludit ille [Fulgentius] in *Etymologiis* ex Graecis fontibus derivandis, ut contra M. Varro nimio saepe linguae Latinae studio».

Жан Бродо (Jean Brodeau, 1500–1563)[1] высказывается кратко: «Fulgentii Mythologia quid ineptius?». Каспар фон Барт (Caspar von Barth, 1587–1658), плодовитый автор XVII в.[2], чье издание Стация вышло уже после его смерти, видимо, пользовался Фульгенцием как справочным источником и был весьма им недоволен: «Semeles ineptissimum etymon est apud Fulgentium Lib.II. Mythol. & tamen doctissimi viri eum Mythologum *doctissimi* nomine commendat; qui totus nihil nisi mera est nugacitas»[3]. В другом месте комментария к «Фиваиде» Стация читаем: «Haec Fulgentius: quem Scriptorem legendo miseratione temporum afficimur, tanta enim jam ruditas a Graeca literatura erat, ut sibi arrogantiae summae homo omnia scribere licere crederet, modo vel auctores Graecos vel voces ejusdem linguae per caput pedesque attrahere posset in medium, & inde suum negotium curare»[4].

В комментарии к «Сильвам» Стация Барт называет Фульгенция «дерзновеннейшим из всех авторов»: «Fulgentius omnium Scriptorum audacissimus, corruptus sermone, confusus intellectu, & omnino quidvis potius quam sapientiae consultus»[5].

Томас Мункер (Thomas Muncker, 1652–1681)[6] написал предисловие к изданию «Мифологий» Фульгенция в издании Ставерена. По поводу времени жизни Фульгенция и его личности он пишет: «Qua autem aetate Planciades noster floruerit, affirmare pro certo non possum. Modius Novantiquarum Lectionum epist. LXI aequalem fuisse, vel certe supparem Ruspensi Episcopo, & vixisse in Africa, arbitratur. Afrum fuisse quam manifeste arguat stylus, multis heic demonstrare possem, si opus foret; sed hoc facimus alibi. Accedit huc,

---

[1] Сын поэта Виктора Бродо.

[2] Написал сто двадцать томов Adversaria, из которых шестьдесят были напечатаны.

[3] Comment.ad Stat. T. II. P. 728.

[4] Ibid. T. III. P. 449.

[5] Comment. in I. Sylv. Papini. P. 81.

[6] Кроме Фульгенция издал Гигина с комментариями (Гамбург, 1672).

quod Presbyter ille Catus, cui inscribit suas mythologias, Carthaginensis fuerit, ut volunt vett. editiones: id quod & a membranis Leidensibus confirmatur. Nec displiceat forte admodum, quod aequalem faciat fulgentissimo illi Fulgentio, qui in Numidia episcopum gessit».

В написании имени Фульгенция также существовали разночтения. Мункер пишет об этом следующее: «Lundorpius in Homologumenis de Petronio auctorem Mythologiarum apellat Furium Publium Fulgentium; Continentia Virgilianae, Flavium Calpurnium Fluentium; Libelli de Prisco Sermone, Fabium Fulgentium Planciaden. Sed fallitur multum vir doctus. Nec diversorum scriptorum sunt foetus opuscula ita, nec auctor eorum Furii vel Flavii habuit nomen».

И. Н. Голенищев-Кутузов судит о стиле Фульгенция строго: «Он был ярым католиком и считал свои рассказы о языческих богах баснями, которые следует понимать аллегорически. Его бессмысленные этимологии, темные толкования, страсть к иносказаниям, отсутствие художественного чутья и придурковатость возмущали и продолжают возмущать классических филологов» [1].

НИНА ИАШВИЛИ

Николай Алексеевич — один из немногих преподавателей, которые были с нашей группой с первого до последнего курса, с тех пор когда мы, вчерашние школьники, пришли в университет на отделение древних языков и древнехристианской письменности, еще не совсем понимая, зачем мы здесь, и до самого выпуска, когда мы уже были готовы к тому, чтобы передать полученные знания следующим поколениям.

Николай Алексеевич действительно выдающийся латинист, это мы знали и тогда, когда учились у него, но еще больше осознаем сейчас, поскольку почти все выпускники нашей группы преподают, в том числе и латинский язык. К сожалению, из-за загруженности программы и постоянной утомленности мы

---

[1] *Голенищев-Кутузов И. Н.* Средневековая латинская литература Италии. М., 1972. С. 118.

воспринимали гораздо меньше того, что давалось на занятиях. Николаю Алексеевичу, как и всякому преподавателю, хотелось видеть в нас интерес к своему предмету. Случалось, он с досадой говорил: «Ну хорошо, вам неинтересно, но хотя бы притворитесь, что интересно!» Но в основном запомнилось, как Николай Алексеевич шутил, рассказывал какие-то истории. Мы всегда с интересом его слушали, задавали вопросы. Такие беседы могли длиться довольно долго, пока Николай Алексеевич не спохватывался, спрашивая, почему мы его вовремя не остановили. Особенность занятий с Николаем Алексеевичем была в том, что ему удавалось приблизить к нам древних писателей, дать почувствовать, что они люди, подобные нам, а не просто известные имена. Помню, иногда он по-свойски в шутку называл Цицерона Марком Тульевичем. Но главное даже не это. Главное — его отношение к нам, студентам. Будучи гораздо старше, умнее, образованнее нас, он общался с нами на равных, с интересом выслушивал наше мнение по каким-то вопросам, делился своими размышлениями о жизни. Для нас же он был человеком-эпохой, мы готовы были бесконечно слушать его рассказы о том времени, когда нас еще не было на свете (иногда посреди такого рассказа Николай Алексеевич с удивлением говорил: «Вас же тогда еще не было!»). Забавно было, когда Николай Алексеевич вспоминал своих учеников, которые нам были известны как светила науки, примерно так: «Да-да, как сейчас помню: вот здесь сидел Валя Асмус». Или: «Помню, как заметил выдающиеся способности Юры Шичалина и предложил ему перевестись на классику».

За пять лет учебы, конечно, бывали недопонимания, но главное то, что выразил сам Николай Алексеевич после нашего выпуска. Он сказал, что за 20 с лишним лет его преподавания именно с нашей группой у него установилась особая духовная связь. И действительно, Николай Алексеевич всегда интересуется нашими успехами, работой. Мы, со своей стороны, тоже чувствуем это: мы помним всех преподавателей, но только к Николаю Алексеевичу приходим каждый год как к своему, родному человеку. Поэтому искренне желаю Николаю Алексеевичу здоровья и радости, в том числе и от нас, благодарных учеников.

Как истинный doctor, Николай Алексеевич Федоров свой curriculum vitae должен называть curriculum studiorum. С первых же университетских дней нам был задан камертон, который, как и положено правильному камертону, звучит так же и сейчас и не фальшивит.

Почти каждый курс, выпущенный с кафедры классической филологии МГУ за последние лет 50 с лишком, может сказать: «А с нами Николай Алексеевич впервые...» Дальше варьируется: начинал Латинский театр, читал Цицеронов перевод Арата, начал произносить на «ка» или вести уроки на латинском. Вариантов много. С нашим курсом набора 1969-го г. Федоров впервые в группе читал цицероновское «De senectute», то есть «О старости».

Нам, первокурсникам, тема трактата даже не показалась странной — среди ужаса парадигм, периодов и вокабул было не до занимательности, хотя идеи дружбы или даже обязанностей 17-летним, наверное, были бы ближе и полезнее. Цицерон в поисках примера долголетия отверг Тифона и обратился к Катону Старшему. В атмосфере разочарований и грусти нашей эпохи такой образец bene honesteque vivendi был весьма уместен — все это стало пониматься много позже.

Конечно, в те годы никто из нас не примеривал senectus, сей onus Aetna gravius, ни к самим себе, ни к нашему магистру. Но от дерзкого юношеского взгляда не укрылись тогда его особое волнение и живое отношение к катоновской аргументации, что мы не без иронии относили к намечающейся проседи учителя и вполне почтенному, на наш тогдашний глаз, возрасту. Тогда мы не понимали также, что волнение и живое отношение учителя совершенно не зависят ни от темы, ни от возраста, а только от любви и интереса к тому тексту, что лежит перед ним.

Бывает, что тифонами даже рождаются, Федоров же им никогда не станет. Потому что, с какими бы цифрами ни звучали поздравления, к Николаю Алексеевичу приложимо только — iuvenis, non senex.

С Николаем Алексеевичем мы познакомились в доме выдающегося художника Михаила Захаровича Рудакова. Тогда еще была жива необыкновенная женщина, актриса, вдова Михаила Захаровича Сусанна Алексеевна. В тот день мы все сидели за столом вместе с ныне здравствующей дочерью Ольгой Рудаковой, удивительной, уникальной художницей, и мужем ее, Валерием Сохатовым, тоже очень интересным художником.

И наверное, это неслучайно, что мы познакомились с Николаем Алексеевичем именно в этом доме — доме творческих и интересных людей. С Николаем Алексеевичем мы могли бы, наверное, познакомиться и на выставке в музее, и в театре на спектакле, и в консерватории, потому что это постоянные «места присутствия» этого удивительного человека, необыкновенно красивого и интеллигентного — не только внешне, немного похожего на Дон Кихота... (сейчас)?

А в более молодые годы — представляется — похожего на одного из тех, о ком М. И. Цветаева сказала:

Вы, чьи широкие шинели
Напоминали паруса,
Чьи шпоры весело звенели и голоса,
И чьи глаза, как бриллианты,
На сердце оставляли след,
Очаровательные франты
Минувших лет...

Таким, наверное, Николай Алексеевич был когда-то — в свои замечательные юные годы, но мы познакомились позднее.

Мы провели с Николаем Алексеевичем и Екатериной Сергеевной многие часы досуга, гуляний в парке, за праздничным столом и просто за чаем — и всегда среди нас присутствует элегантный и интереснейший собеседник. Он прекрасен своей культурой отношения к людям, к женщине, к миру (к событиям), не навязывающий свое мнение, а про-

сто выражающий его, что удивительно по нынешним временам, — уж не говоря о его эрудиции и знаниях.

Думается, его ученикам несказанно повезло — и везет сейчас, а их у него множество, причем разного возраста!!! Николай Алексеевич — если можно было бы сравнить! — золотая «осенняя натура» со всеми своими цветами, плодами и красками — от золота до багряности, от ясности голубого небосклона до дождевого ливня, натура, которую пытаются поймать (уловить?) кинематографисты или художники, а потом зрители стараются разгадать. Немногим это удается. Но и это о Николае Алексеевиче не все!

С любовью, актеры Галина и Евгений Киндиновы

АЛЕКСАНДР КУЗНЕЦОВ

DE ASIATICO ET ASIAGENO, ET OBSERVATIONES DE COMPOSITIS LATINIS

I. De familia L. Cornelii Scipionis Asiatici

Inter sepulchra Scipionum, quae in monumento in Via Appia sito inveniuntur, etiam *L. Cornelii L. filii P. nepotis* inscriptionem fortuna nobis servavit[1]:

L. CORNELI L . F . P [n.]
SCIPIO . QVAIST
TR . MIL . ANNOS
GNATVS . XXXIII
MORTVOS . PATER
REGEM ANTIOCO
SVBEGIT

Qui hic Scipo fuerit, ex eo quod pater illius Antiochum regem Syriae vicit, facile comperimus. Filius erat L. Cornelii Scipionis,

[1] CIL VI 1290 = CIL I^2 12 = ILS 5. Delineationes quaerat lector benivolus in Visconti 1785, tav. V; Ritschl PLME XLg; Coarelli 1996, 224, № 77; imaginem photographicam in Coarelli 1996, 229, № 83.

qui anno a. U. c. quingentesimo sexagesimi quarto, ante Christum natum centesimo nonagesimo consul creatus est, eumque brevitatis causa *Asiaticum primum* appellabo, tametsi ipsa *Asiatici* appellatio dubia est, atque his in schedis disputabitur. Lucius autem Scipio in illo titulo CIL VI 1290 laudatus post annum quingentesimum quinquagesimum sextum (centesimum nonagesimum octavum) et ante quingentesimum sexagesimum secundum (centesimum nonagesimum secundum), ut infra demonstrabo, natus est. Quaestor fuit M. Claudio Marcello C. Sulpicio Gallo coss. anno quingentesimo octogesimo octavo (centesimo sexagesimo sexto), eodemque anno Senatui placuit, ut regem Prussiam acciperet et *circumduceret* (Liv. 45. 44. 7–17)[1].

Quaestores in officium Nonibus Decembribus inire solebant, quo sequitur Lucium Scipionem anno quingentesimo octogesimo septimo (centesimo sexagesimo septimo) exeunte, quaestorem designatum esse. Si post magistratum exactum statim obiit, annus quaesturae ultimus eius vitae fuit. Ergo anno quingentesimo quinquagesimo sexto (centesimo nonagesimo octavo) natus erat, et anno quingentesimo septuagesimo tertio (centesimo octogesimo primo), cum annos natus fuit septemdecim, primum stipendium meruit. Postquam per decem annos munus militiae sustinuerat, magistratum petere potuit[2].

Sed alia ratione tempora calculari possunt. Nam mos erat, ut iuvenes nobiles minores annis septemdecim, scilicet sub annum aetatis quintum decimum, in militiam irent. Qua ratione noster Scipio militiam obligatoriam anno quingentesimo octogesimo septimo (centesimo sexagesimo septimo) explere potuit, ut sine mora quaesturam peteret. Annus, igitur, post quem Lucius Scipio inter vivos numerari nequit, quingentesimus nonagesimus quintus (centesimus quinquagesimus nonus) instituetur.

---

[1] De L. Cornelio Scipione cos. 564/190: RE IV.1 1471: Cornelius 337; de filio eius Lucio, qui solus notus nobis est: RE IV.1 1493: Cornelius 324. Praeter *Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft* (RE) inspectet lector Broughton 1951; Degrassi 1952.

[2] De legibus annalibus consultandi sunt: Coarelli 1996, 186, № 27; Astin 1958, 42–45; Evans, Kleiwegt 1992; Fraccaro 1957, praecipue p. 212–215, ubi de militia ante aetatem legitimam suscipienda dictum est.

In eodem Scipionum sepulchro alius titulus inventus est[1]:

] RNELIVS . L . F . L. N
] PIO ASIAGENVS
COMATVS ANNORV
GNATVS . XVI

Hic *Scipio Asiagenus Comatus* filius praetoris supra dicti fuisse accipitur. Natus est circa annum quingentesimum octogesimum quartum (centesimum septuagesimum).

Quid igitur videmus? *L. Cornelium Scipionem Asiaticum primum* ex victoria cognomen accepisse scimus. Eius filii titulus cognomine patrio caret, nepos autem *Asiageni* cognomen tenuit. Hic fratrem habuit nomine Lucio, cuius filius, consul anno sexcentesimo septuagesimo primo (octogesimo tertio)[2], iam *Asiagenes* appellatus est. Nam in fragmento Fastorum Augurum[3] illam formam graecanicam legimus *Scip]io Asiagene[s.* denarios nomine suo *L. Scip. Asiag.* signavit[4]. Atqui a Diodoro Siculo cognomen triumphale Ἀσιαγενής laudatum fuisse non sine dubio accipimus, cum solum huius rei testem Constantinum Porphyrogenitum regem Constantinopolitanum habeamus[5]. Denique in in Fastis Consularibus sub Augustum confectis *L. Cornelius L. f. L. n. Scipio Asiaticus* nominatur[6]. Quo concludi potest ab Augusto cognomen mutatum esse. Re vera ad aetatem Caesaream familia Scipionum Asiaticorum evanuisse videtur[7], et cogendi non erant homines

---

[1] CIL I[2] 13 = CIL IV 1291 = ILS 8; delineatio: Ritschl PLME tab. XL; imago photographica: Coarelli 1996, 231, № 87. Hic Scipio notatur in RE IV.1 1485: Cornelius 339.

[2] RE IV.1 1483: Cornelius 338.

[3] CIL VI 32318 = CIL I[2] p. 60 = ILS 9338, 4.

[4] Cronford № 311 (an. 648/106), British Museum № 1360–1404, vol. I, 206–207. De his nummis auctores Catalogi Musaei Britanici argumentis non explicatis pronuntiant: «The type of Jupiter in a quadriga is a record of the victory of L. Cornelius Scipio...»

[5] *Constantinus VII Porphyrogenitus.* De virtutibus et vitiis. Vol. I. P. 246 / Büttner-Wobst, Roos (= Diodorus, fr. lib XXXIV/XXXV 33. 1).

[6] Degrassi 1954, 27.

[7] Scipio Asiaticus, cos 671 ilium et filiam habuit: RE IV.1 1434: Cornelius 327; RE IV.1 1596: Cornelius 416. De vita filii nihil certi novimus. Filia P. Sestio nupsit, sed de liberis eius nulla testimonia habemus.

nobiles, ut appellationem tantum in fastis et annalibus existentem commutarent, tamen cognomen *Asiatici* valebat. Nam P. Cornelius Lentulus Scipio[1] filium habere videtur, qui *P. Cornelius Scipio Asiaticus* appellatus est[2].

Cum Lentuli in sermonem veniant, notandum est Cn. Cornelius Lentulus Gaetulicus[3], qui potestatem sepeliendi in sepulchro Scipionum quodam iure obtinuit. Et monumentum filiae eius cum titulo servato habemus[4], tamen, quae illius Scipionis Lentuli et huius Lentuli Gaetulici cognatio fuerit, incertum est.

Non praetermittendi sunt silentio diversi ordininis multi Asiatici, in quibus consulares Valerii Asiatici noti sunt[5].

Atqui domini possessoresque quorum in potestate Mausoleum Scipionum in primis saeculis aetatis Caesareae erat, se Asiaticos nominari nolebant. Quod ex titulis sepulchrorum, qui multi illorum temporum sunt, concludimus[6]. In his Cornelii saepe, Asiatici numquam memorantur.

Sed ad conditorem familiae revertamur.

II. De cognomine triumphali L. Cornelii Scipionis

Asiatici primi nomen in Fastis consularibus legitur: *L. Cornelius P. f. L. n. Scipio qui postea Asiaticus appellatus est*[7]. Eius imago in Foro Augusti inter alios claros imperatores fuit, elogio instructa, in cuius fragmento legitur: *]ticus* scl. *Asiaticus*[8].

---

[1] Cos. 777/24: RE IV.1 1392: Cornelius 236

[2] Cos. 821/68: RE IV.1 1485: Cornelius 340.

[3] Cos. 779/26: RE IV.1 1460: Cornelius 220.

[4] Cornelia Gaetulici: RE IV.1 1460: Cornelius 438: CIL VI 1392. Filius Gaetulici D. Iunius Silanus fuit: RE X, 1101 Iunius 179, cuius familia M. Iunius Silanus ortus esse videtur, in Monumento Scipionum sepultus: CIL VI 1439; Coarelli 1996, 198. De ea re Th. Mommsen doctissime disseruit: CIL I. P. 14.

[5] D. Valerius Asiaticus cos. 799/46 106): RE VII A.2 2341 Valerius 106; M. Lollius Paullinus Valerius Asiaticus Saturninus cos. 847/94, 878/125 RE VII A.2 2346 Valerius 108. Homines humilioris status Asiatici multi in inscriptionibus nominantur, in antiquissimis est *M. Salvius (mulieris) l. Asiaticus*: Sup. It. 9 Amiternum, 147, saec. I post Christum natum.

[6] CIL VI. P. 1827, № 16122–16139; Visconti 1785, tav. VI.

[7] CIL I. P. 436; Degrassi 1954, 25.

[8] CIL I². P. 194, № XIV = CIL VI 40950.

Sed in monumentis linguae Latinae ante T. Livium appellatio *L. Cornelii Scipionis Asiatici* non invenitur. Ipsum nomen adiectivum *Asiaticus* ante aetatem Ciceroneanum non datur, sed Varro De Lingua Latina 8. 56 id et notum et usitatum vocabulum testari videtur, et Cicero eo libenter utitur. In dubio est, utrum Graecum Ἀσιατικός in sermonem Latinum migraverit, an Latinum *Asiaticus* ad exemplar Graecum fictum sit[1], sed hoc Ἀσιατικός tantum a recentioribus auctoribus linguae Graecae praeberi notandum est[2]. Nomen proprium Ἀσιατικός in inscriptionibus Graecis saepe legitur, quae omnes tardioris aetatis esse videntur.

Duae igitur de ea re sententiae sint. Nam sive *Asiaticus*, sive *Asiagenus* (vel *Asiagenes*) genuina cognominis forma erat. Atqui, si haec secunda sententia vera fuerit, accipiendum sit, appellationem *Asiatici* ab Augusti temporis doctis inventam esse, ut locum *Asiageni* et *Asiagenis* teneret.

Nunc vero, dubitari non potest, quin L. Scipio, qui Antiochum vicit, se *Asiaticum* appelaverit.

Titus Livius de illo triumphum petente his verbis narrat: 37.58.6: *... L. Scipio ad urbem venit; qui ne cognomini fratris cederet, Asiaticum se appellari voluit. et in senatu et in contione de rebus ab se gestis disseruit.*

Asiageni appellatio de quo infra prolixius disputabo, nec per se intellegibilis videtur nec apta est, ut L. Scipio eam sibi apud Senatum postulaverit, at ceterum scimus Senatu, sed non a militibus vel populo, cognomen L. Scipioni datum fuisse[3].

---

[1] Leumann 1977, 338c: «nach griechishen Vorbild»; aliter Kajanto 1965, 52: «As the victors' cognomina of that type were Greek obtained from corresponding Greek adjectives, Asiaticus 189, Macedonicus 146 BC, they may have been given by the Greek to the Roman generals, the custom spreading later to non-Greek names». Tamen de appellationibus, quas Graeci imperatoribus Romanis dederint, auctores non testantur. Et difficile est imaginari, quo modo et qua causa illa cognominis donatio fieri potuerit.

[2] Athenaeus IV 42 p. 155c 1, 351 Kaibel: Ἀγαθαρχίδης δ' ὁ Κνίδιος ἐν ὀγδόῃ Ἀσιατικῶν ἱστορεῖ, sed de eodem opere XII 53 p. 539b 3, 188 Kaibel περὶ Ἀσίας dicit, eadem inscriptione et ceteri testes utuntur: FGrH 86: 2A:206–222. at ante Agatharchidis libros hoc Ἀσιατικός non invenimus.

[3] Linderski 1990, 160: «In the Fasti the phrase *postea appellatus est* attached to a cognomen *ex victoria* points to the year of the triumph, and to the decree of the senate granting this honor».

III. Quo modo *Asiaticus* intellegi possit

Asiaticum igitir Antiochi victorem appellari acepimus. Sed T. Livius maiora quaerebat. *Asiam* illam, non strictiore sensu intellegi, sed immensam orbis terrarum partem a regibus Syriae eo tempore subactam cognomini L. Scipio esse implicatam voluit. Itaque disputationes de Asiatici primi habitas describens (37. 58. 8) *in Asia,* ait, *totius Asiae steterunt vires ab ultimis Orientis finibus omnium gentium contractis auxiliis.* Hanc multitudinem gentium orientalium etiam in exercitu Antiochi, cuius ordinationem T. Livius enarrat (37. 40), videmus.

Dubitari non potest, quin L. Scipio *ex Asia* triumphaverit. In Actis Triumphorum Capitolinis legitur: *L. Cornelius P.f. L. n. S[ ] pro cos. ex Asia de r[* . Et prima lacuna pro spatio suppletur *S[cipio Asiaticus an. DLXIV]*, secunda autem *de r[ege Antiocho pr. K. Mart.]* ex testimoniis T. Livii restituitur[1]. Nunc, quid sit Asia, quaeritur.

Vox Asia tres notiones significare potest. Quarum latissima orbis terrarum partem comprehendit. Iam Herodotus (4. 44) hanc partem Asiam appelavit. Media regnum Persarum indicat. Minor finibus regni Croesi continetur (Strabo 12. 1. 3), et saepissime Asia provincia Populi Romani dicitur.

Harum notionum etiam prima ad nostram quaestionem quodam modo pertinet. Pompeii Magni casum consideremus, qui *ex Asia*[2] sicut Scipio triumphavit. Annaeus Florus eum iam dominum totius Asiae fecit (1. 45): *Asia Pompei manibus subacta reliqua, quae restabant in Europa, Fortuna in Caesarem transtulit.* Civitates et gentes totius magnae Asiae se Pompeo adiungentes a Lucano multis versibus describuntur, qui huic latissimae terrarum parti Asiae nomen aperte ponit (3. 272–275).

---

[1] Livius 37. 59. 2: *triumphauit mense intercalario pridie Kal. Martias*; 45. 39. 1: *triumphatum nuper de Philippo... et de Antiocho est, ambo regnabant.* Ampelius 24. 1: *Scipio Asiaticus qui de Antiocho triumphavit.*

[2] Plin. Nat. 7. 98. In Actis Triumphorum Capitolinis (an. 693/61, Degrassi 1954, 108) tutulus Pompei datur sed nomina provinciarum perierunt. Preaeter L. Scipionem tres imperatores, qui in bello Antiochico versati erant, *ex Asia* triumphaverunt annis 565/189–567/187: L. Aemilius Regillus praet. 564/190, Q. Fabius Labeo praet. 565/189, Cn. Manlius. Vulso, cos. 565/189. anno 628/126 triumphavit M'. Aquillius, cos. 625/129, qui provinciam Asiam ordinavit.

Quae omnia ab ipsius Pompeii adulatoribus inveni potuisse suspicamur, qui res gestas notae fabulae, quae de magno inter Europam et Asiam bello a rerum scriptoribus narrabatur, accomodaverunt. Idem T. Livius (37. 58. 8) fecit, quando causam Asiatici cognominis latiori Asiae notioni retulit. Tamen huius modi tumor poeticus atque rerum inflatio saeculo Scipionum aliena fuit. Et aliis in locis, quam Antiochus possidebat Asaiam, strictiore sensu dicit (37. 35. 3–7): *...Lysimachia iam cessisse regem, ne quid habere eum in Europa dicerent; eas quae in Asia sint ciuitates tradere paratum... quod si Asiae quoque partem aliquam abstrahere uelint* (Romani)*, dummodo non dubiis regionibus finiant, uinci suam temperantiam Romana cupiditate pacis et concordiae causa regem passurum.*

Tametsi ab Antiocho appellatio regi Asiae numquam accepta erat, tamen ab indigenis ipsius Asiae, quam Minorem dicimimus, rex Asiae appellari potuit[1]. Dicit enim Cicero (Pro rege Deiotaro, 36): *etenim si Antiochus Magnus ille, rex Asiae, cum, postea quam a L. Scipione devictus Tauro tenus regnare iussus est, omnem hanc Asiam quae est nunc nostra provincia amisisset*[2]*, dicere est solitus... benigne sibi a populo Romano...* et apud T. Livium (37. 53. 13) rex Eumenes: *rex Asiae et partis Europae Antiochus filiam suam in matrimonium mihi dabat.*

In ea Minore Asia, cum provincia proprie non esset[3], L. Scipio consul iure bellum gessit. Fuit et alia causa, qua nomen L. Scipionis cum Asia coniuncum est, decreta enim est supplicatio, *quod* eo duce *exercitus Romanus... primum in Asia posuisset castra* (Liv. 37. 47. 4).

IV. De cognominibus mutatis

Priusquam de origine cognominis *Asiageni* disputabitur, de Graecanico illo *Asiagenes* dicendum est.

---

[1] Ma 2000, 272–276.

[2] Cf. Strabo 12. 1. 3: οἱ δὲ νῦν τὴν ἐντὸς τοῦ Ταύρου καλοῦσιν 'Ασίαν...

[3] Livius 37. 2. 3: *adiectum, ut, cum in prouinciam* (scl. Graeciam) *venisset, si e re publica uideretur esse, exercitum in Asiam traiceret.* Sed similis lex de provincia P. Scipionis a Senatu data est (Liv. 28. 8): (Scipioni) *Sicilia ... permissumque ut in Africam, si id e re publica esse censeret, traiceret.*

Cognomen *Asiagenus* solum in sua specie invenitur, quod et a nomine proprio derivatur et per se personam significat. Nimirum pro Latina forma Graeci nominis, ut illud *Diogenus*, haberi coepit, quae formae et vulgares et infimi Latini sermonis propriae, fortasse etiam serviles, videbantur. Qua de causa hanc *Asiagenes* formam noi-biliorem et Graecanicam Scipiones acceperunt.

Similem cognominis commutationem et in alia Scipionum familia novimus. Nam Cn. Cornelius Scipio Calvus, Africani patruus, in Hispania occisus est. Filius eius cognomen *Hispalli,* habuit, quod *Hispanum parvulum* significat[1]. Cum sermonis cotidiani vocabulum fuerit, tamen in Fastis Consularibus Capitolinis scriptum est: *]elius C[n] f. L. n. Scipio Hispallus...*[2]. Eius filius praet. 615–139 iam se *Hispanum* nominari voluit, ut in elogio in sepulchro Scipionum invento datur[3]. Et non dubitamus, quin illos *Africanos* et *Asiaticos* imitari voluerit.

V. De cognominis *Asiageni* origine, quae Graeca esse putatur

Ex Graeco Ἀσιαγενής Latinum *Asiagenus* factum esse creditur, sed usitata eius originis nominum Latina finitio *Asiagenes* fuerit. Nam inflexiones masculinae Latinae etiam in tardae aetatis inscriptionibus rarissimae inveniuntur[4]:

C. Tel[e]genus[5] ; *L. Vinuleius L. l. Philogenus*[6]; *Diogenus*[7]; *]io Q. f. Oinogeno*[8].

---

[1] Leumann 1977, 306, 4

[2] CIL I², p. 25, Degrassi, p. 66. Idem in T. Livio 41. 14. 3.

[3] CIL VI 1293 = CIL I² 15 = CLE 958. Cetera eius cognominis testimonia vide in RE IV.1 1493: Cornelius 347. Contra hos omnes Valerius Maximus praetorem ann. 139 *Hispalum* appellavit testibus Iulio Paride et Ianuario Nepotiano (1. 3, p. 126 Kempfius), hic et de Cn. Cornelio Scipione *Hispali* filio, qui praetor ca ann. 109 fuit narrat (6. 3. 3).

[4] Non dicam de nominibus barbaris finitionem *-genus* habentibus, ut *Urogenus*: CIL XIII, 1907 Lugdunum, *Ogrigenus*: CIL XIII, 7037: Mogontiacum, *pagus Verbigenus* Caes. De bello gallico 1. 27. 4. Vide Untermann 1965, 194–195.

[5] Panciera 1987, № 154, illius nullum exemplar Graecum datur, fortasse ab hoc Τηλέγονος degeneravit, cf. *Domitius Telegonus* CIL XIV 4229c.

[6] Abascal Palazón, Ramallo Asensio 1997, № 191.

[7] Marichal 1988, № 177.

[8] AE 1997, 151, cf. Οἰνογένης BGU 4, 114, vide Harris 2000, qui istius nominis originem Graecam defendebat.

Ipsum Graecum nomen licet rarissime, tamen invenitur, ut P. Erasm. 1. 3, anno ante Christum natum centesimo sexagesimo sexto Oxyrhynchi conscripta: ὑπὸ Διφίλου Ἀσιαγενοῦς, et P.Oxy 12.1463, iam aetatis Antoninae: ὀνόματι Τυραννίδαν γένει Ἀσιαγενὴν λευκόχρουν. Nimirum procul Asia servi et coloni hac appellatione nuncupabantur. Sed quid hoc ad Romanum imperatorem, qui regem in Asia vicit?

Apud scriptores Graecos praeter illum Diodori locum, de quo supra dixi, hoc Ἀσιαγενής non invenitur. Adiectivum apud Athenaeum legitur, qui et Agatharchidem iam supra nominatum laudat[1], sed nescimus, utrum proprium Agatharchidis dictio an Athenaei sit.

Graeci igitur nominis idonea testimonia desiderantur.

Dicat aliquis: hoc *Asiagenus* litteram a longam medio habere constat[2], ergo e Graeco nomine Ἀσίᾱ factum est. Sed falso concluditur. Nam vocabulum *Asiagenus* eo tempore in sermomem Latunum advenit, quando vocalium Latinarum reductio non operabatur, et *Asi=agenus* eodem iure quo, exempli gratia, *magn=animus* (Plaut. Amph. 212) exsistere potuerat.

VI. De cognominis *Asiageni* causis phoneticis

Cum origo Graeca nullam auctoritatem prae se ferre possit, constructiones verborum Latinorum considerandi sunt.

Ac primum copmpositio partium consideranda est[3]. Pacuvius 364 Ribb. *Graiugena* dicit, apud Catullum 64, 355 *Troiugena* legitur, cuius origo et aetas obscurae sunt, tamen hanc vocem Catullo antiquiorem esse censeo, cum in falsum Marcianum carmen irrepserit[4]. His tardior aetas *Maiugenam* addidit[5].

Nunc quaeritur, cur *Asiagenum*, sed non **Asiugenum* habeamus,

---

[1] Athenaeus XII, 74 p. 550e 3.214 Kaibel = Agatharchides F 2a, 86 F fr. 11: Ἀσιαγενεῖς *homines asiatici* et fortasse *Persae*; cui additur Athenaeus XIV, 68 p. 653b 3.445 Kaibel: ὄνομα Ἀσιαγενές.

[2] Leumann 1977, 390.

[3] De compositis consultentur: Bader 1962; André 1973; Leumann 1977, 383 sqq; Sblendorio Cugusi 2008. In paginis sequentibus omnia nomina in *-gena* vel *-genus* finientia enarrara nolebam, et ex scriptorum tardioris aetatis nonnulla ommittebam, quae lector in his scriptis inveniat.

[4] Liv. 25. 12. 2; FPL[5] p. 14; Perret 1942, 454–457.

[5] Iulius Valerius fr. 5 FPL[5] p. 388.

si omnino Latinum compositum esset. In illis compositis vocalis copulativa *o in u transformata esse saepe dicitur, non tamen recte. Nam haec **Graiogena* **Troiogena* numquam fuerunt. Vocabula, de quibus hic agitur, a poetis inventa sunt, eo tempore, quando antiquum *o copulativum per reductionem periit et plerisque in casibus i copulativum stetit. Nonnumquam contra leges veteris Latini sermonis hoc i ponebatur, ut *lectisternium* pro **lectesternium*. Itaque **Graiigena* expectaremus, sed contra leges reductionis *Graiugena* factum est, ut concursus i vocalium evitaretur. Eadem causa sed diverso effectu Plautus Pseud. 362 *sociofraude*[1] dicit, qua apophonia etiam in *viocurus* (Varro De Ling. Lan. 5.7) datur. Inest igitur in his aliqua ratio, sed non lex et regula. qui hoc *Asiagenus* invenit aeque **Asiigenum* facere noluit, et sine vocali copulativa compositum construxit. Contra hoc argumentum sola fit observatio: composita, quorum prima pars in litteram desinat, idonea non inveniuntur[2]. Alium affectum hoc *sapientipotens* (Ennius Ann. 198 Sk 181 V) praebet, ubi *sapientia* truncatur, ut i copulativum imitatatur. Nulla igitur certa regula fuit, qua partes *Asia* et *-genus* coniungerentur et diversae eius copmpositi formae existere potuissent.

VII. De secunda parte compositorum, quae sive *-genus*, sive *-gena* est

Privignus et similia ad nostram quaestionem non pertinere videntur. Quibus deceptus Th. Mommsen falso argumento recte conclusit: *Asiagenus*, ait, *pure et Latine declinatum*[3].

Atqui sunt duae species inter se similes, sive in *-genus* sive in *-gena* finienties. Et primum de hoc *-gen-a* agimus, cuius structura per se clara est[4].

Similia sunt Graecis in -γενής finientibus, sed Graeca in Latinum linguam venientia Latinas inflexiones femininas non declinantur. Tamen paucissima in titulis epigraphicis inveni: *Clodius Hermogena*; *Sextiae P. l. Eugenae*; *Pompeiae Diogenae* (ambo dativi sunt)[5].

---

[1] *Sociufraude* in Plauti Ambrosiano, sed lectio Palatinorum melior esse videtur, cf. Bader 1962, 25; 30.

[2] Bader 1962, 26.

[3] CIL I 36. De radice *-gno-* videat lector: Schrijver 1991, 329, 412.

[4] Bader 1962, 28.

[5] ILS 9353 = CLE 1907; CIL XIV 3755; CIL XII 4129.

Latina autem sunt *indigena* et *alienigena*[1], quae duo vocabula et a poetis et pedestribus scriptoribus satis frequenter dicuntur. Ad horum exemplar alia multa a poetis creata sunt, ut *terrigena*.

Primum illud Pacuvii 364 Ribb. *Graiugena* in medium prodiit, quod sicut *Troiugena* et *Eoigena*[2] Latina habenda puto. At totum Graecum *Cadmogena*[3] est.

Haec sive substantiva ut Annaeus Florus 1. 12:

quasi in terrigenas e caelo ac nubibus tela iacerentur

sive adiectiva ponuntur, ut Lucanus 3. 316:

aut si terrigenae temptarent astra gigantes

— plerumque feminina declinatione continentur, praeter genetivi pluralis casum, qui formam masculinam habere potest, ut Verg. Aen. 8. 127 et ceteri: *Graiugenum*; Val. Flacc. 2. 18: *terrigenum*; Catull. 64. 355: *Troiugenum*; apud et Lucretium 5. 1411 *terrigenarum* datur.

Alia species eorum est, quae masculinam inflectionem accipiunt, sed ita rara huius generis exempla sunt, ut hic omnia considerare facile possimus.

Primum apud eundem Pacuvium invenitur: Praetext. Paulus 5 Ribb.: *caprigeno generi*[4]. Quem sequuntur: Accius 544 Ribb. 213 Dangel: *caprigenum trita ungulis*; Cicero Prognostica apud Prisc. 2. 196, 10 GLK: *caprigeni pecoris*; Verg. Aen. 3. 221: *caprigenum pecus*; Accius 463 Ribb. 398 Dangel: *taurigeno*[5] *semine*; Lucr. 6. 1072: *vitigeni latices*; Lucr. 5. 15: *vitigeni liquoris*; Lucr. 2. 741: *caecigeni*, nom. plur. subst.

Paulus Festi excerptor p. 211, 13 L servavit hoc *oenigenos,* de quo pauca in cap. IX dicturus sum.

---

[1] Viro doctissimo Leumann (p. 280) non credebam, qui hoc *indigena* ex lingua Graeca deductum esse monuit, cf.: ἐνδογενοῦς: Septuaginta, Levit. 18. 9, 2.

[2] CIL X, 0131 = CLE 00428; Sblendorio Cugusi 2008.

[3] Accius 643 Ribb. 445 Dangel: *Cadmogena Semela.* Καδμογενής apud tragicos, ut Aesh. Septem., 303.

[4] Fr. 256 p. 523 Schierl, fr. 4 p. 180 Manuwald; de aetate fabulae: Manuwald 2001, 185. Priscianus 2. 196, 8 lectionem *generi* dat, Macrobius Sat. 6. 5. 14 pecori praebet, sed lectio Prisciani praeferenda est: Manuwald 2001, 196.

[5] In carmine Orphico legitur ταυρογενής: Ioannes Diaconus Galenus 361, 5 Flach = 297a Kern.

Priscianus 2. 196, 3 GLK testatur 'antiquissimos' *aliegenus, aliegena, aliegenum* dixisse, sed auctores non laudat. Etiam de Verg. Aen. 3. 221 dicit Priscianus 2. 196, 12; 292, 10 GLK *caprigenum* pro caprigenarum accipi potest. Atque sit de nomine substantivo **caprigena* derivatum, quod simpliciter *capram* significaverit. Sed huius vocis vestigia apud auctores non inveniuntur.

In carminibus epigraphicis hunc solus casus invenitur: *numine fontigeno*[1].

Difficile est de origine huius speciei iudicare. Simile hoc *caprigenus* illi *terrigena* παραδείγματι est. Saepe duae formae unius derivationis putantur, praesertim cum eadem fere in his significatio sit. Ac mihi quidem diversa formatione ortum esse videtur, et ad exemplar compositorum, quae ex substantivo *genus* procreata sunt, ut *omnigenus*, *multigenus*, *primigenus*[2], conficiebantur, sed inflectionem thematicam, quam dicimus, accipiunt. Hanc originem in illa a Pacuvio ficta figura etymologica clare videmus, atque hoc *caecigenus* a Lucretio inventum sempliciter *caecus natu*, quasi *caeci generis* intellegitur. Similis radice truncato declinationis commutatio et in hoc *capricornus* accidit.

VIII. De aetate horum compositorum

Cum numerus aetatem genus denique litterarum consideremus, statim et poetica et paucissima illa vocabula esse comperimus, et ex hoc *caprigeno generi* a Pacuvio caelato et quasi fabricato profluxisse vedentur. Non igitur magnae vetustatis sunt, cum Pacuvius fabulam *Paulum* non multo post annum 168 docuerit, quod aetati Scipionum bene convenit.

---

[1] CIL VI, 555 = CLE 266.

[2] Leumann 1977, 399, 2. *omnigenus* non declinatur. *Omnigenum deum* (gen. plur) Vergilius dicit Aen. 8. 698, sed eum imitari nemo scriptorum voluit. Tamen in carminubus epigraphicis dantur: CIL VI, 7578 = CLE 422: *omniginā viciniă* (nom. sg.); CIL VIII, 27764 = CLE 2151: *omnigena gramina*; elogium christianum: *omnigenis virtutibus* (Recueil des Inscriptions Chrétiennes de la Gaule, 15, 87). *Multigenus* praeter femininas nullas formas praebet: Lucr. 2. 35: *multigenis figuris*; Iulius Valerius 32, 6 FPL[5]: *multigenarum gentium*; Iulius Valerius 6: *multigenas urbes*). Antiquae declinationis sunt: *multigeneribus* (Plaut. Capt. 159), *multigenerum* (Plaut. Stich. 383), *multigenera* (Plin. Nat. Hist. 11. 1).

Duo igitur sunt παραδείγματα inter se coniuncta et similia *caprigenus* et *terrigena*, quas procul dubio linguae Latinae innovationes dicimus. Tamen et discrimen temporum cognoscitur. Nam vocabula ad speciem *terrigena* formata ante Varronem, Ciceronem, Lucretium, Catullum praeter Pacuvianum *Graiugena* (cui fortasse hoc *Troiugena* natu proximum erat) non inveniuntur. Sed plurimi apud epicos Vergilium sequentes sunt. Praecipue Ovidius eius formae compositis studuit.

IX. De cognomis in *-genus* et *-gena* desinentium significatione

Restat, ut intellectum significatumque consideremus. Atque hac in quastione utraque species nominum: et in *-genus* in *-gena* sine discrimine adhibenda videtur.

Quae a nominibus personarum derivantur, πατρονυμικά sunt (vel ex matre filios nominant), ut: Verg. Aen. 7. 773: *Phoebigena* filius Appollinis est; et huius modi cetera: Ovid. Amor. 3. 4. 39: *Martigenae Romulus et Remus* et Statius Theb. 3. 103: *Martigena Amor*; Ovid. Met. 4. 173: *Iunonigena*; Ovid. Met. 14. 381: *Ianigena*; Seneca Agamemnon 321: *Latonigena*; Val. Flacc. 5. 223; 317: *Soligena*; Sil. Ital. 5. 7: *Faunigena Arnus*; *Iovigena Liber Pater*[1]; incertus auctor apud Paul. p. 221, 6 L: *Opigena*. Eiusdem generis est et: Ovid. Met. 14. 449: *Faunigena domus*.

Sunt composita a communibus appellationibus derivata, quae nihilo minus partum et parentem descrubunt:

Ovid. Met. 4. 12: *Bacchum ignegenam*, hoc est ex igne natum;

Ovid. Met. 7. 212: *serpentigenis*: de militibus ex serpentis dentibus in Colchide procreatis;

Ovid. Met. 3. 531 *anguigenae*, *proles Mavortia*: de populo Thebano;

Ovid. Fast. 3. 865: *draconigenam urbem*: de Thebis.

Eadem ratione poetae Centauros *nubigenas* post Vergilium (Aen. 7. 674; 8. 293) dicunt.

Alia vero non parentes sed genus et naturam significant, atque eius generis nomina in *-genus* desinentia sunt, quae onnia (praeter *Asiagenum* nostrum) e communibus appellationibus creverunt.

---

[1] Zarker 1958, 23.

Atqui eorum, quae *-gena* finitionem habent, nonnulli rerum naturam significare possunt. Sed eadem parentem indicant, cum μυθολογίαν referunt.

Ita *caeligenae* sidera simpliciter caelestia sunt:

Apul. De mundo 1 p. 138 Helm: *caelum ipsum stellaeque caeligenae omnisque siderea conpago aether uocatur...*; Ps. Arist. De mundo 392a5: οὐρανοῦ δὲ καὶ ἄστρων οὐσίαν μὲν αἰθέρα καλοῦμεν.

Sed Varro De Ling. Lat. 6. 62 *Caeligenas* Venerem et Victoriam dici monuit, quod deo Caelo natae sunt[1].

Item Apul. De mundo 10 p. 146 Helm: (venti) *terrigenae*, qui in Graeco 394b14 ἄνεμοι ἀπόγειοι sunt. Et apud Lucretium 5. 1411–1427 *terrigenae* animalia terrestria sunt, et Cicero De div. 2. 133 *terrigenam* cocleam in carmine dicit[2].

Sed Ovidius et eum sequentes epici hoc vocabulum proferebant, cum de militibus illis ex terra natis fabulati sunt, ut Ovidius Met. 3. 118; 7. 36, 141 et Heroid. 6. 35; 12. 99, vel de sepentibus fabulosis, ut Ovidius Met. *terrigenam Typhoea*, quibus et Lucan. 3. 316 *terrigenae Gigantes* adiungeni sunt.

Item Cicero Tim. 12: *singularem deus hunc mundum atque unigenam procreavit*, quod Plato dicit 31b: εἷς ὅδε μονογενὴς οὐρανὸς γεγονὼς ἔστιν.

Sed apud Catullum 64. 300; 66. 53 *unigena* germanos, scilicet *uno parente* natos significare videtur, quae significatio tota Latina est. Graecum enim γνωτός Catullus in 66. 53 (Callimach. Aet. 4, 110, 52 Pfeiffer) reddidit. Quid enim de hoc casu dici potest? Catullus et Cicero alter de altero nescientes suum *unigena* fabricaverunt.

Suspicari possumus hoc *unigena*, quod μονογενὴς est, antiquiorem formam *unigenus* substituisse, de qua Verrius Flaccus per Paulum testatur: p. 211, 13 L *oenigenos unigenitos*.

Aliud genus considerandum nobis est. Composita, quorum principalia locorum appellationes sunt, patriam et originem significant.

---

[1] Varro Ennium secutus est, sed apud Ennium nec Caeligena, neque alii eius formae momina inveniumtur.

[2] Cicero partem Hesiodi versus reddidisse videtur: Op. 571: Ἀλλ' ὁπότ' ἂν φερέοικος ἀπὸ χθονὸς ἄμ φυτὰ βαίνῃ. At *terrigena* pro hoc ὑλογενής positum est, quod in aenignate ignoti poetae ab Athenaeo II p. 63b 1, 148 Kaibel servato invenimus: ὑλογενής, ἀνάκανθος, ἀναίματος, ὑγροκέλευθος.

Catullus 64. 252: *Nysigenis Silenis,* qui incolae Nyssae intellegantur[1]. Silius Pun. 9. 234: *Baetigenae viri* quos idem poeta et *Baeticolas viros* 1. 146 et et *vulgum Baetisque Tagique* 16. 286 nominat.

Eiusdem generis et illa *Troiugena* et *Graiugena* sunt, quae simpliciter idem atque *Troianus* et *Graecus* indicant.

Cui generi proximum est hoc *rurigenae* Ovid. Met. 7. 765, qui sunt *homines rustici.*

Item hoc *mortigena* ad regnum mortis pertinentia significare videtur in carmine christiano ICUR II 4119 : *nam sub mortigenae quidam iacuere gehennae / verbere...*[2]

Denique personae nomen proprium *Urbigena* CIL V, 4608 potius idem atque *Urbanus* vel *Romanus* est, quam *in urbe natum* significat.

Iam videmus, ea aetate, qua Scipio Asiagenus Comatus natus esse et vixisse, paucissima vocabula nobis nota fuerunt: *Graiugena, Triougena* (id enim probabile est), *caprigenus, Asiagenus,* et fortasse *unigenus.*

Cur haec *Graiugena* et *Troiugena* prima a poetis fictis reperta sint, satis clare intellegimus. Non enim longum inter hoc *Graiugena* et illa *alienigena* et *indigena,* quae verba cotidiani Latini sermonis fuerunt. Quae postea maxime floruit species, filios scilicet per parentem significans, eam ex illo *Graiugena* profluxisse iam diximus. Brevis enim in significando via est ad parentem a patria.

X. Quid de Asiatico concludi possit

Cum *Graiugena* hominem natione Graecum ostenderet, Scipio **Asiagena* nominari non poterat. *Asiagenus* autem familiam aliquo modo per nomen *Asiae* descriptum significavit. Et nihil aliud quam *progenies Asiatici* indicare potest, quod et historia convenit. Nam L. Scipio se *Asiaticum* nominari voluit, sed illa Asiatica superbia ipse

---

[1] Catullus in mentem aliquid huic simile habuit: Diodor. 3. 72. 2: συστρατεῦσαι δέ φασι (Διονύσῳ) καὶ τῶν Νυσαίων τοὺς εὐγενεστάτους, οὓς ὀνομάζεσθαι Σειληνούς.

[2] An *mortem ferens* sit? Cf. Bader 1962, 189, ubi de activa vi horum compositorum agitur. Activam significationem Festus (Paul. 221, 6) in falsa interpretatione protulit: *Opigenam Iunonem matronae colebant, quod ferre eam opem in partu laborantibus credebant.* Re vera *Opigena* deam matre Ope natam significat (Ennius Euhemer. III Varia, p. 224 Vahlen).

periit et fratrem perdidit Publium. Nimirum Lucii filius cognomen et gloriosum odiosum accipere noluit[1]. Nec dictus est in titulo sepulchrali *Asiatici filius*, sed per descriptionem cognomen patris indicatur: *pater regem Antiochum subegit.* At nepotes Asiastici primi se iam se *Asiagenos* appelaverunt, quae appelatio sive ex tragoediis nobis ignotis decerpta Scipionibus eleganter applicata est, sive ad exemplaria tragica ad Scipiones nominandos facta originem duxit.

Conspectus librorum laudatrorum

André J. Les composes en -gena, -genus // Revue de philologie, de littérature et d'histoire anciennes. 1973. 47. P. 7–30.

Astin A. E. The Lex Annalis before Sulla. Bruxelles, 1958.

Broughton R. S. The magistrates of the Roman Republic. Vol. 1–3. N.Y., 1951–1986.

Coarelli F. Il sepolcro degli Scipioni // *Coarelli F.* Revixit ars. Roma, 1996. P. 179–238.

Degrassi A. I fasti consolari dell'impero romano dal 30 avanti Cristo al 613 dopo Cristo. Roma, 1952.

Degrassi A. Fasti Capitolini. Torino, 1954.

Evans J., Kleiwegt M. Did the Romans like Young Men? A Study of the Lex Villia Annalis: Causes and Effects // ZPE. 1992. 92. S. 181–195.

Fraccaro P. I «decem stipendia» e le «leges annales» repubblicane // Opuscula. 1957. 2. P. 207–234.

Harris W. V. A Julio-Claudian Business Family? // ZPE. 2000. 130. S. 263–264.

Kajanto I. The Latin Cognomina. Helsinki, 1965.

La ciudad de Carthago Nova / J. M. Abascal Palazón, S. F. Ramallo Asensio, edd. Vol. 3: La documentación epigráfica. Murcia, 1997.

Leumann M. Lateinische Laut- und Formen- Lehre. München, 1977.

Linderski J. The Surname of M. Antonius Creticus and the Cognomina *ex victis gentibus* // ZPE. 1990. 80. S. 157–164.

Ma J. Antiochus III and the Cities of Western Asia Minor. Oxford, 2000.

Manuwald G. Fabulae praetextae: Spuren einer literarischen Gattung der Römer. München, 2001.

---

[1] Nescimus, an, si voluisset, potuerit, tamen historia Africani Minoris demonstrat, cognomina triumphalia hereditaria non fuisse.

Marichal R. Les graffites de la Graufesenque. P., 1988.

Panciera S. La collezione epigrafica dei musei Capitolini. Roma, 1987.

Perret J. Les origines de la Legende Troyenne de Rome (281–31). P., 1942.

Sblendorio Cugusi M. T. CLE 428 e lat. Eoigena // Studia philologica Valentina. 2008. 11. P. 327–350.

Schrijver P. The Reflexes Of the Proto-indo-european Laryngeals in Latin. Leiden, 1991.

Untermann J. Elementos de un Atlas Antroponimicode la Hispania Antigua. Madrid, 1965.

Visconti E. Q., Piranesi Fr. Monumenti degli Scipioni. [Roma, 1785].

Zarker J. W. Studies in the Carmina Latina Epigraphica. Princeton, 1958.

НАТАЛЬЯ КУЛЬКОВА

Признаюсь, я не собиралась «вносить свою лепту» в этот сборник, мне казалось, что «и так все ясно»: гениальный преподаватель, чудесный и искренний человек, досточтимый коллега (вот такое дерзновение!). Но потом решила, что неправильно не сказать, как наша группа любила и любит Николая Алексеевича. Мы учились у него все пять лет (с перерывом на один семестр, когда Николай Алексеевич проходил «повышение квалификации»), прочитали всего Горация и практически всего Катулла! Две девочки из нашей группы Зара Мартиросова и Лада Перерва (Муравьева) за все пять лет не пропустили ни одного занятия по латинскому! Вместе с Николаем Алексеевичем мы ездили в ту знаменитую археологическую практику в Крым, когда родился маленький Алеша (о котором мы еще ничего не знали!).

Я помню, с каким интересом мы ждали, что в нас полетит легендарная расческа, о которой столько рассказывали, но Николай Алексеевич на нас даже не сердился особо (я подозреваю, потому, что к нам на занятия иногда приходила Катя Федорова).

У нас с Николаем Алексеевичем с первого курса началось соперничество, кто раньше придет на урок, нам казалось не-

приличным, чтобы учитель нас ждал. В результате к середине первого семестра вместо 9 утра мы уже приходили на занятия к 8.00! Помню ужас Кати Орехановой, когда мы вошли в пустынный университетский холл, а гардеробщица говрит: «А ваш-то уже пришел!» Но Николай Алексеевич был очень доволен: в программе классического отделения произошло сокращение часов, и у нас было всего четыре пары латинского языка (Николай Алексеевич не любил, когда его предмет называли латынью), а благодаря тому, что урок Николая Алексеевича стоял первым три раза в неделю, мы довели свой латинский до шести пар в неделю! Так, мы прошли весь учебник за сентябрь и с октября уже начали читать Непота.

Потом я стала преподавать греческий, а когда уже лет через 15 после окончания университета меня попросили подготовить студента к экзамену по латинскому языку и я открыла учебник, то увидела, что помню каждое слово и каждую форму! Это не моя заслуга, честно! Я была средним студентом, но Николай Алексеевич вложил в голову знания, которые там сидят, независимо от меня.

В 2003 г. у нас в Свято-Тихоновском университете было образовано отделение древнехристианской письменности, и Николай Алексеевич стал преподавать там. Приходят разные студенты, но все они единодушны в своей любви к Николаю Алексеевичу, который не просто преподает им язык, не просто учит видеть текст или чувствовать автора и эпоху, но воспитывает их своей личностью.

ТАТЬЯНА МАЛЕВА

МИРОШЕНКОВАФЕДОРОВ. БЕЗ ПРОБЕЛОВ И ПАУЗ

Первые воспоминания о нашей «профессиональной» маме — это, конечно, Федоров. Именно так он звался в доме, но дети почтительно выговаривали «Николаликсеич». Когда он появлялся в доме — высокий, громкий, с пышной седовласой шевелюрой и с огромным коричневым портфелем, — большой обеденный стол выдвигался на середину гостиной.

на него водружалась пишущая машинка, вокруг группировались бесчисленные стопки бумаг, к которым притрагиваться было категорически запрещено. Трехлетняя Оля запретов не понимала, поэтому безопаснее было разместить ее под столом с игрушками. Игрушки быстро надоедали, куда интереснее возиться со шнурками ботинок Федорова! Так она и научилась завязывать шнурки, а у Николая Алексеевича при вставании случались трудности. У меня тоже сплошной рай! Эти двое были настолько увлечены своим делом, что твори под их носом что хочешь.

Когда маму и Николая Алексеевича спрашивали, как они вместе работают, они отвечали: «А мы как Ильф и Петров: один бегает по редакциям, а другой сторожит Рукопись».

Это продолжалось много-много лет — первое издание латинского учебника, второе, третье, потом греческая хрестоматия и т. д. Мы с сестрой росли, и наши отношения с Николаем Алексеевичем тоже менялись. Как-то он услышал, как я, видимо, с излишним усердием разучивала «Танец маленьких лебедей», и посоветовал мне играть легче и отрывистей (staccato). Я очень внутренне возмущалась — разве Николай Алексеевич сам умеет играть? Но мама сказала: «Умеет не умеет, а попробуй последовать его совету». Что правда, то правда — получилась другая музыка.

А когда мы сами стали студентками МГУ, по разговорам в кулуарах нашего здания мы поняли, что на кафедре классической филологии есть такой преподаватель — Мирошенковафедоров. Без пробелов и пауз. В лифтах первокурсники хвалились: «У нас греческий ведет Мирошенковафедоров!» Другие отвечали: «А у нас латынь — сам Федоровмирошенкова!» Бедняги еще не знали, что это не мед! Как-то учебная часть в попытке обуздать высочайшую требовательность Федорова к студентам обратилась к Мирошенковой с просьбой помочь его урезонить. Нашли к кому обратиться! Валентина Иосифовна после тщательного «разбора полетов» подтвердила, что «неуды», выставленные Федоровым, абсолютно справедливы, а иногда даже излишне высоки (сама она практиковала 1, 0 и даже минус 1 как признак отсутствия элементарной логи-

ки). Соавторы во всем демонстрировали единство профессиональных критериев.

И внешне и внутренне это содружество представляло собой идеальный пазл. Николай Алексеевич остается преданным этому содружеству всю жизнь. Несмотря на то что он в одиночку дорабатывал последние издания латинского учебника и мы неоднократно предлагали ему вынести свою фамилию вперед, он всегда отвечал категорическим отказом: «Без Вали этого учебника не было бы!» Мы не учились у Николая Алексеевича латыни, но этот урок не заметить было невозможно.

Спасибо Вам, дорогой Николай Алексеевич! За урок, за учебник, за дружбу с нашей мамой и даже за «маленьких лебедей»!

НАДЕЖДА МАЛИНАУСКЕНЕ

ЛАТИНСКИЙ ТЕАТР НИКОЛАЯ АЛЕКСЕЕВИЧА ФЕДОРОВА: ПЕРВЫЕ ШАГИ

Предыстория (1967/68 уч. год). На классическом отделении филологического факультета МГУ в 60–70-е гг. прошлого века была добрая традиция весной представлять первокурсников, выдержавших первую сессию, и прощаться с выпускниками текущего года. Со временем это стало называться «Днем посвящения в студенты». На такие встречи собирались преподаватели и студенты, выпускники прошлых лет, а иногда и гости — классики дружественных кафедр. Собирались, как правило, в холле общежития в Главном здании МГУ на этаже, где жили филологи. Обычно это был 12-й или 13-й этаж зоны В. За длинным столом предлагалось сухое вино (чаще всего гамза) и скромная закуска, затем пили чай. Когда распитие спиртных напитков в общежитии МГУ запретили, гамза переместилась в чайники. Все это приобреталось вскладчину, студенты сдавали копеек по 50, преподаватели — побольше, в зависимости от оклада. Но было известно, что Сергей Иванович Радциг давал 10 рублей. Для него же покупалось

его основное блюдо — бутылка кефира. Во главе стола сидели Аза Алибековна Тахо-Годи, Сергей Иванович Радциг, Исай Михайлович Нахов, а однажды нам довелось увидеть Андрея Александровича Белецкого, приехавшего тогда в Москву из Киева.

На таких вечерах люди знакомились, узнавали друг друга поближе, тем более что кто-то мог читать стихи, а кто-то — показать любительский фильм. Так мы увидели празднование защиты кандидатской диссертации Сергея Сергеевича Аверинцева в «Праге» и апельсины на улицах в Греции после поездки туда Марии Георгиевны Лопатиной.

На втором курсе у нашей группы появилась идея подготовить для такого вечера маленькое представление о нашей студенческой жизни. Группа наша сформировалась окончательно именно на втором курсе: Марина Сайкова (Афанасьева), Люба Грацианская, Тамара Шевелева (Дудникова), Люда Шустер и я, Надя Садыкова (Малинаускене). На вечере Люда Шустер изображала Валентину Иосифовну Мирошенкову, с ее коронной фразой, подытоживающей, например, определение рода существительного с третьего раза: «Развиваем филологическое чутье». Люба Грацианская «сдавала зачет» по истории античного искусства «Глебу Ивановичу Соколову», который показывал ей альбом с изображением, например, римского форума. Она начинала ответ совершенно справедливым утверждением: «Это не амфора. И не Венера Милосская». Мне же досталась роль Николая Алексеевича, врывавшегося в аудиторию с портфелем, который сразу летел на стол, а сам Николай Алексеевич прислонялся к книжному шкафу, широко раскинув руки, но уже по дороге от двери начинал опрос по лексике. Словарные формы нужно было произносить без остановки, не задумываясь, иначе считалось, что мы слов не выучили. Поэтому члены нашей «группы» отвечали «Николаю Алексеевичу», то есть мне, скороговоркой формы слов, из которых в результате складывались латинские афоризмы.

Присутствующим особенно запомнилась речь «In Ludam Schustrem», которая была обращена к Люде Шустер, не отли-

чавшейся прилежанием, но в последний момент, благодаря незаурядным способностям, сдававшей все зачеты и экзамены: «Quousque tandem abutere, Schuster, patientia nostra!» И далее по тексту первой Катилинарии с соответствующими ситуации изменениями, заканчивая словами: «Decanatus haec intellegit, magister videt, haec tamen vivit!» Действо завершилось коллективным обращением к Николаю Алексеевичу, начинавшимся словами «Pater noster...».

Постановки Плавта (1968/69 и 1969/70 уч. гг.). Николаю Алексеевичу это представление, видимо, понравилось, поскольку на третьем курсе он предложил нам поставить сценки из комедии «Привидение» («Mostellaria») Плавта. К тому времени он уже не вел на нашем курсе занятий по латинскому языку, и наше общение с ним продолжилось уже как с режиссером. Оставались после занятий на кафедре (в 20-й аудитории филфака на Моховой), читали Плавта, распределяли роли, смеялись над предложенными Федоровым латинскими переложениями популярных песен, которые выполняли в постановке роль кантиков. Костюмы были условными, декораций практически не было, могли использоваться какие-нибудь стулья. Тамара Шевелева и я были юношами. Николай Алексеевич уверяет, что я выходила на сцену колесом, хотя сама я этого не помню. Думаю, что такое могло быть на репетиции.

Выступление на вечере классиков прошло вполне успешно, и на следующий год Николай Алексеевич подготовил с нами сценки из «Вакхид» Плавта. Марина Афанасьева и Люда Шустер были вакхидами, как самые артистичные среди нас. (Впоследствии Марина играла у Марка Розовского в студии «Наш дом», а Люда пробовала свои силы в театральном кружке в Горьком, куда после окончания университета уехала по распределению мужа-однокурсника.) Их нарядом были белые простыни, а на головах красовались веночки.

Люба Грацианская и я изображали стариков-отцов. Я привезла из дома бабушкину палочку-клюшку, что и стало отличительной чертой моей роли. Из-за клюшки я потом попала в курьезную ситуацию: когда я везла ее уже после спектакля домой, в переполненной электричке мне уступили место.

Кантики в постановках «Привидения» и «Вакхид». Едва ли не самым забавным в этих постановках были кантики, при сочинении которых Николай Алексеевич проявил немало изобретательности. Сейчас уже трудно точно вспомнить, какие из них использовались в какой комедии Плавта. В памяти сохранились некоторые строки, представляющие собой переложение на латынь известных романсов, песен, арий и исполнявшиеся на их мелодии.

Самый большой успех имел цыганский романс «Очи черные» в первой постановке.

Nigri oculi, nigri cupidi,	Очи черные, очи страстные,
Nigri cupidi et pulcherrimi!	Очи жгучие и прекрасные.
Quantum vos amo,	Как люблю я вас,
Quam vos timeo,	Как боюсь я вас,
Nam aspexi vos omine malo!	Знать, увидел вас Я в недобрый час![1]

Долго еще после этого вечера зрители напевали понравившийся куплет, обсуждая оригинальную передачу словосочетания «в недобрый час» латинским выражением omine malo (буквально: с дурным предзнаменованием).

Звучали и другие романсы, — в частности, старинный русский романс «Не уезжай ты, мой голубчик»:

Noli abire, mi columbe!	Не уезжай ты, мой голубчик!
Nam male est mi sine te.	Печальна жизнь мне без тебя.
Promitte mihi, abiture,	Дай на прощанье обещанье,
Non obliturum te mihi.	Что не забудешь ты меня.
Dic tu mihi, dic tu mihi,	Скажи ты мне, скажи ты мне,
Amare te me, amare te me.	Что любишь меня, что любишь меня.
Dic tu mihi, dic tu mihi,	(*2 раза*)[2].
Amari me a te.	

Припев романса «Дорогой длинною» в латинском переводе выглядел таким образом:

Via longissima	Дорогой длинною,
Et nocte lunea	Да ночкой лунною,
Cum cantilena,	Да с песней той,
Quae nocte volat,	Что вдаль летит звеня,
Cum illa vetere,	Да с той старинною,
Septemhordanea,	Да семиструнною,
Quae noctibus	Что по ночам
Nos saepe vexabat.	Так мучила меня[3].

А ария Кармен из оперы Бизе «Кармен» прозвучала уже на следующий год в исполнении Вакхиды-Марины:

Amor est filius libertatis,	Любовь — дитя, дитя свободы,
Quo nulla res fortior est.	Законов всех она сильней.
Non amas me, sed amo te.	Меня не любишь, но люблю я,
Itaque amorem meum cave!	Так берегись любви моей!
Amor... Amor...	Любовь... Любовь...
Amor... Amor...	Любовь... Любовь...[4]

Песню «В путь» Николай Алексеевич переложил на латинский язык так:

Iter longum nobis tecum	Путь далек у нас с тобою,
Laetius specta, miles.	Веселей, солдат, гляди!
Fertur signum legionis, fertur,	Вьется, вьется знамя полковое,
Nobis praecedunt duces.	Командиры впереди.
Proficiscamur, ...mur, ...mur!	Солдаты, в путь, в путь, в путь...
Atque tuas, amabo,	А для тебя, родная,
Litteras expectabo.	Есть почта полевая.
Vale, tuba vocat.	Прощай, труба зовет.
Miles militatum it.	Солдаты, в поход![5]

Что было потом. Во втором семестре пятого курса мы уже писали дипломные работы, было не до постановок. Но Николай Алексеевич вскоре возобновил работу театра со студентками уже других курсов. Об этом подробнее могут рассказать они сами.

Я же помню, что в 1972 г. была поставлена пьеса «Дульциций» немецкой святой христианской монахини X в. Гросвиты (Хросвиты) Гандерсгеймской, писавшей на латинском языке. Первую постановку этого спектакля на вечере классиков мне увидеть не удалось: я лежала с высокой температурой, больная гриппом, в своей аспирантской комнате в Доме студента МГУ, а в коридорчике нашего «блока» переодевались артистки. Зато мне повезло увидеть их на сцене во время конференции античников социалистических стран «Эйрене» в мае 1976 г. в Ереване. Постановка имела большой успех, труппа получила приглашение в Германию.

Об этих и последующих событиях ярко и увлекательно рассказал сам Николай Алексеевич в своих интервью. Одно из них — «Научить читать, то есть понимать...» (интервью брали Б. Игнатов и Е. Перевезенцева) — было опубликовано к его 80-летию в сборнике «Discipuli Magistro» (М., 2008, с. 576–579; см. также: URL: http://librarius.narod.ru/personae/fedorov_memoir.htm). (К этому интервью единственное уточнение: плавтовских «Вакхид» Николай Алексеевич ставил до «Дульциция» с нашей группой.) Второе интервью было показано на традиционном вечере видеовоспоминаний «Сова Минервы», прошедшем под руководством Н. В. Брагинской 21 января 2015 г. в РГГУ. Накануне с Николаем Алексеевичем о Латинском театре беседовали М. И. Афанасьева, М. С. Касьян и Т. Ф. Теперик, а видеозапись подготовил В. В. Файер. В этих интервью Николай Алексеевич назвал исполнение всех ролей девочками «античным театром наоборот», а истоком «принципа контраста древнего текста и современного оформления», по его словам, послужила «Принцесса Турандот» Вахтангова.

ТАТЬЯНА МИХАЙЛОВА

С Н. А. Федоровым наша группа занималась три года, с третьего по пятый курс. Когда в конце второго курса нам сообщили, что на следующий год он будет вести у нас латинский язык, я очень испугалась. До этого я видела Николая Алексее-

вича только два раза: один раз в университетском коридоре, а второй — случайно в метро. Оба раза я смотрела не него и на всякий случай боялась. Преследовали страшные рассказы, что Николай Алексеевич не просто очень строгий, а еще и вспыльчивый и кидается вещами. Я заранее ощущала себя мишенью. Все лето я чувствовала приближение того страшного момента, когда мое латинское ничтожество будет выявлено и разоблачено со всей суровостью...

А потом три года пролетели как один миг. Николай Алексеевич нестрашный, замечательный, к кому я всегда жду своей очереди, чтобы подойти всюду, где вижу. За спиной три года потрясающих уроков, масса прочитанных текстов. Их оказалось так много, что когда мы для госэкзамена стали составлять список, то он вышел просто неприлично большим. Пришлось даже сократить его.

Любое произведение, которое нам доводилось прочитать с Николаем Алексеевичем, навсегда становилось «тем самым», с особенным привкусом, с набором воспоминаний, часто забавных, с типичными «федоровскими» формулировками. Все конспекты я храню до сих пор. И если кто-то говорит мне, что, например, не любит Вергилия, то я отвечаю: «Вы просто не читали его с Федоровым».

Однако, несмотря на нашу дружбу, Николай Алексеевич всегда оставался достаточно строгим. Хуже всего было разочаровать его. Латинский язык был единственным экзаменом, перед которым я однажды не спала вообще. После этого странички из «Диалога об ораторах» я потом еще долго находила в разных частях своей комнаты, даже под кроватью.

Николай Алексеевич стал для меня образцом преподавательской честности. В трудных, неоднозначных местах, не имеющих одного-единственно верного перевода, он никогда не пытался подкрепить свой авторитет, придумывая искусственные аргументы, а всегда честно говорил: «Здесь я не знаю», чем производил впечатление несравненно большее, чем если бы диктовал нам «как надо».

Кроме этой честности «учебной» Николай Алексеевич впечатлил меня и как образец честности человеческой, жизненной.

Ему не нужно много времени, чтобы после знакомства увидеть насквозь. Всех нас он так раскусил сразу; знал, кто мы такие, что мы собой представляем, наши возможности и особенности характера, поэтому и общался с нами не как с потоком, а с каждым отдельно, индивидуально. Говорил иногда открыто в лицо самую суть. И это ощущение близости остается до сих пор: здесь нет фальши, с Николаем Алексеевичем общаться легко, потому что можно быть самим собой.

После того как мы стали ездить на занятия не в университет, а домой, мы подружились еще больше, по крайней мере хочется верить, что это ощущение не одностороннне. Иногда обсуждали не только латинский, но и разные другие вещи, могли поделиться и своими проблемами. Николай Алексеевич с вниманием выслушивал нас, сопереживал. Один раз в самом начале занятия мне позвонил дедушка и сказал, что у него умерла собака, и Николай Алексеевич сразу без колебаний отпустил меня ехать утешать.

Потрясающе образованный во всех областях, Николай Алексеевич никогда не ругал нас и не стыдил, если мы вдруг не могли узнать цитату, не выражал нам своего презрения, а просто говорил: «Как интересно, что вы этого не знаете. Вы ведь сейчас знаете уже что-то совсем другое».

Когда я устраивалась на одну из работ, среди документов была приложена и дополнительная анкета, посвященная пути в науке и образовании, научным школам и влияниям. Отвечая на вопрос «Кого вы считаете своим учителем?», я написала двух человек, один из них — Николай Алексеевич.

МАРИЯ НИКИФОРОВА

ЛАТИНСКИЕ ШТУДИИ

Российский православный университет, или, как его частенько называли сами студенты, РПУ, в середине «лихих девяностых» был своеобразным оазисом, куда забредали самые разные личности. Юные и взрослые, пылкие, хотящие (и не очень жаждущие) учиться. Читающие «Вечного человека» и

«Властелина колец» вперемежку с «Паламистким синтезом» и Василием Великим. Домашние и очень даже самостоятельные. Студенческая братия в нашем университете (или, на нашем сленге, универе) была замечательно разномастная. Наш историко-филологический (как он изначально замысливался и создавался) факультет не был исключением из общего правила.

Но на нем было то, что всех нас объединяло в одно целое, и этим «цементом», а точнее, «фундаментом» всего была латынь. А если еще точнее — Латынь, Lingua Latina, и ее живое воплощение — Николай Алексеевич Федоров. То, что «Gallia est omnis divisa in partes tres», считалось на нашем факультете непреложной истиной. И эта истина объединяла филологическую братию не меньше, чем стихи Толкиена и группа «Алиса». И это вплетение разделенной на три части Галлии в реальность нашей жизни стало возможным благодаря Николаю Алексеевичу и тем блестящим педагогам, которых он, несмотря на полный хаос в стране и в образовании, собрал на нашем факультете.

Именно Латынь и Греческий стали кошмаром наших бессонных ночей и радостью пускай маленьких, но личных побед. Латинские штудии, которые сначала проходили прямо в еще не отреставрированном храме преподобного Сергия в Высоко-Петровском монастыре, затем в полуподвале «серого дома» в переулке Чернышевского и, наконец, в пространных аудиториях «детсада», всегда шли на одном дыхании. Подобно Зевсу, Николай Алексеевич метал в нас громы и молнии склонений и спряжений, цитировал по памяти Овидия и Цицерона. Но Катулл и Тибулл были для нас седой древностью, а вложить в наши бедовые головы язык было как-то нужно. И тогда Николай Алексеевич придумал очень простой метод — он переводил на латынь рекламные слоганы и цитаты из популярных песен. И их мы запоминали намного лучше крылатых фраз.

Наши отношения с Латынью складывались бурно и были весьма насыщенными — мы от нее уставали, мы ею восторгались, мы ее зубрили и иногда, на какое-то время, махали на нее рукой, а затем, с новым порывом энтузиазма, уходили в нее с головой. Говоря современным языком, Николай Алексеевич

нас «правильно мотивировал» на ее изучение, применяя к каждому из нас «индивидуальный подход». И сейчас, почти 20 лет спустя, я хочу сказать ему огромное спасибо за эти самые латинские штудии.

Post scriptum. Когда мы проходили третье склонение согласного типа, Николай Алексеевич остановился на слове rex и с сожалением отметил, что словом «царь» любят называть собак. Третье склонение было моим любимым, и я тогда подумала, что Рексом собаку называть нельзя. А вот Дуксом очень даже можно. Когда спустя десять лет у нас появился пес, он получил имя Дукс. В честь третьего склонения согласного типа.

Я не стала латинистом. И даже не стала филологом. Но любовь к Латыни осталась до сих пор и продлится всю мою жизнь. И результат латинских штудий Николая Алексеевича каждое утро зовет меня на прогулку. И наверное, это их самый главный итог. По крайней мере, для меня.

МИХАИЛ НИСЕНБАУМ

Николай Алексеевич Федоров — одна из тех университетских персон, которые своей яркостью придают учебному заведению образ истинного храма науки. Стоило его высокой, сутулящейся фигуре с вдохновенной седой шевелюрой пронестись по коридору — и сразу коридор этот делался другим, и любой студент, преподаватель или случайный посетитель ощущал — он в Университете.

Федоровым угощают как фирменным блюдом, как достопримечательностью. На его семинары приходят люди из других групп, с других факультетов, даже из других институтов. Притом что он никогда не вел большой научной работы, кандидатскую защитил очень поздно, редко выступал на конференциях. Но то, как он умеет заразить интересом к языку, к авторам, к самому процессу интерпретации текста, пожалуй, стоит сотен статей в межвузовских сборниках. Потому что наука состоит не из одних только сведений, но и из жажды познания, без которой все сведения теряют ценность.

Федоров — преподаватель, как говорят, от Бога. Вот он сидит за учительским столом. Седая шевелюра источает свет ученой премудрости и в то же время романтической вольности. В руках у него неизменная расческа, которую он то поглаживает пальцами, то постукивает ею по ладони, то проводит пальцем по зубцам. По расческе можно понять, как продвигаются дела с переводом. Иногда расческа трепыхается, как в ознобе, иногда засыпает, иногда пританцовывает. В чем же особенный дар Федорова-педагога? В том, что каждое его занятие — концерт. То есть такое соревнование, в котором рождается музыкальное произведение. Стоит студенту правильно перевести, разгадать хитрую сложноподчиненную конструкцию, Николай Алексеевич так вдохновенно радуется этому переводу, как будто при нем *открыли закон гравитации*.

У Федорова приятно быть хорошим учеником, его реакция не просто поощряет — она затягивает в познание. Такого занятия ждешь, к нему готовишься как к празднику. А как он огорчается! Каким делается удрученным, как унывает, когда с группой приключается приступ нерадивости. Тут же все просыпаются и, чтобы не огорчать Федорова, идут на штурм какого-нибудь цицероновского периода. И не устоять периоду перед таким натиском!

Еще Федоров очень любит проводить параллели с текущей политической обстановкой. Читаем про Клодия — вспоминаем Руцкого или Хасбулатова. Заразительно смеется. И — что очень важно — видит студентов. Замечает их, подмечает какие-то черты в их характере, подсмеивается, а не просто пребывает в ореоле своего статуса, как это случается со многими лекторами. Николая Алексеевича Федорова я помню и люблю.

НИНА ПОДЗЕМСКАЯ

Я поступила на классическое отделение филфака в 1944 г. Нас, классиков, было очень много, кажется 32–33 человека. И среди них всего два представителя мужского пола: вернувшийся с войны Макс Чернявский и Володя Фальский, не попавший в армию из-за болезни. Александр Николаевич Попов, присмотревшись к нам, стал то одну, то другую девочку «отправлять» на

русское отделение. Вскоре на лекциях по античной литературе стал появляться новый юноша, Коля Федоров. Зачарованный неподражаемым пением мифов, доносившихся с кафедры из уст Сергея Ивановича Радцига, он стал колебаться, не перейти ли ему с русского на классическое отделение. Мы необыкновенно обрадовались и стали его уговаривать. В чем и достигли успеха.

Надо сказать, что классическое отделение среди прочих отличалось необыкновенной крикливостью и шумно веселилось по всякому поводу, что всегда вызывало нарекания нашего замдекана Петрова. В 1944 г. университет, так же как жилые дома в Москве, не отапливался, и мы сидели на лекциях в пальто, а разные шапки и шляпки носили не только зимой, но и весной и осенью. Коля, обладающий артистическими способностями, отлично забавлял нас, примеряя наши головные уборы, которые были ему к лицу, в отличие от А. Н. Попова, который вынужден был повязать голову своим шарфом, когда его шапку вместе с другими украли из профессорской. Бедный Александр Николаевич пытался незаметно проскользнуть по длинному коридору филфака, но это ему не удалось.

Во время экзаменационной сессии Коля уже всерьез разыгрывал другой «спектакль». Ему всегда казалось, что он плохо подготовился, и он боялся войти в комнату, где проходил экзамен. Мы говорили: «Колька лезет на стенку». И надо было «снять его со стены», то есть уговорить идти отвечать. Страхи его всегда оказывались напрасными. Он прекрасно сдавал экзамены.

АЛЕКСАНДР ПОДОСИНОВ

НЕСКОЛЬКО ШТРИХОВ К ПОРТРЕТУ УЧИТЕЛЯ

Несколько лет назад на заседании секции «Классическая филология, византийская и новогреческая филология» УМО филологического факультета МГУ Николай Алексеевич Федоров проводил мастер-класс — он читал перед преподавателями древних языков из многих городов России какой-то текст из Тацита (Тита Ливия? Цицерона?). Впервые после сорока лет (я окончил кафедру классической филологии в 1972 г.) я снова

присутствовал на уроке Николая Алексеевича. Это был самый настоящий шок! Я, уже три года как пенсионер, как будто снова оказался на студенческой скамье и снова увидел Николая Алексеевича во всем блеске его педагогического и лингвистического таланта! За эти годы не изменилось ничего — блеск в глазах, восторженное отношение к тексту и его особенностям, сомнения в правильности предложенного перевода, глубочайшее чувство и знание языка, заразительный азарт в постижении смысла текста.

Что еще меня поразило в этом мастер-классе? Во многих моментах интерпретации текста я вдруг с удивлением обнаружил, что уже 40 лет точно так же объясняю то или иное языковое явление! Получалось, что я, уже не помня, как это делал Николай Алексеевич, все 40 лет следовал приемам, унаследованным от своего любимого учителя.

Любимым он стал не сразу. Дело в том, что нас на первый курс набрали 12 человек, сразу предупредив, что к концу первого семестра должно остаться только 6. Главную функцию по «селекции» исполнял Николай Алексеевич. Стоило забыть слово-два из 30—40, выучиваемых к каждому занятию, как Николай Алексеевич переставал тебя спрашивать и ты становился кандидатом на отчисление. Для меня это было бы катастрофой не только потому, что рушилась мечта стать студентом МГУ и получить высшее образование. Невозможно было представить себе возвращение в небольшой городок, откуда я приехал поступать в университет и который был горд, что его выпускник поступил аж в МГУ. Меня ждал позор неудачника и унылое прозябание в единственном месте работы города — на прядильно-ткацком комбинате. Думаю, эта перспектива была мощным стимулом для усердной учебы — я выдержал это испытание и остался на кафедре. И вот когда первый семестр закончился, началась совсем другая жизнь, и перед нами явился совсем другой Николай Алексеевич. Мы так полюбили его и его латынь, он нас так заражал своим энтузиазмом, и мы так старались, что стали первыми и чуть ли не единственными, кого он не бросил после первого курса. а был нашим преподавателем латыни до конца пятого курса.

Конечно, не все было безоблачным в наших отношениях. Несколько раз Николай Алексеевич, оскорбленный, вероятно, нашим не совсем адекватным отношением к занятиям, убегал от нас с уроков, крича, что больше никогда не будет заниматься с нами. Мы, смущенные и пристыженные, бежали вслед за Николаем Алексеевичем и не успокаивались, пока не возвращали его в аудиторию. Думаю, что повышенная эмоциональность учителя по отношению к нашей профессии также способствовала тому, что и мы проникались любовью к древним языкам и занятиям ими. Несмотря на описанные выше инциденты в отношениях с Николаем Алексеевичем, он много раз и много лет спустя признавался, что наша группа была одна из лучших в его практике преподавания.

Николай Алексеевич может быть и строго-серьезным и юмористически-веселым. Помню, с каким юмором он вспоминал о визите на кафедру моей мамы, которая считала своим долгом приехать в Москву, чтобы узнать об успехах своего сына, — прямо как в школе! Я сгорал от стыда, а Николай Алексеевич воспринял поступок моей мамы как трогательное и забавное событие, еще и много лет спустя напоминая мне об этом. Кстати, после беседы с Николаем Алексеевичем у мамы возник настоящий культ Николая Алексеевича, которого она полюбила до конца жизни и постоянно расспрашивала меня о нем.

Учитель всегда остается Учителем. Несколько раз после окончания университета я, столкнувшись с трудным местом в переводе латинского текста и отчаявшись понять его смысл, бежал как к последней инстанции к нему. Три фразы в «Космографии» Равеннского Анонима никак не переводились — латынь автора VII в. н. э. была ужасающей. После долгой совместной мозговой атаки кое-что прояснилось, но не все. Облегчение принес немецкий перевод — там во всех трех местах стояло «фраза непереводима»!

Когда в 1981 г. я писал латинский доклад для конгресса живой латыни в Трире, для перестраховки попросил Николая Алексеевича проверить текст. Это было не напрасно — Николай Алексеевич нашел там два ляпа. В статье, опубликованной поз-

же, есть посвящение Magistro meo Nicolao Fedorov s., которое, конечно, появилось бы и без редакторской помощи Учителя.

Хочу пожелать любимому учителю еще много-много лет нести студентам радость открытия и познания замечательного языка — латыни!

ФЕДОР ПОЛЯКОВ

Дорогой Николай Алексеевич!

Не имея возможности общаться с Вами столько лет, как это происходило бы, вероятно, при другом развитии событий, мне остается вернуться к годам своего ученичества в Вашей аудитории (с 1976-го по 1981-й) и попытаться сказать Вам multum in parvo, что было трудно выразить в нашем марбургском разговоре.

Благодаря Вам мне открылась одна из заветных дверей западноевропейского гуманистического образования. После приезда в Западный Берлин в ноябре 1981 г. в малолюдном семинаре классической филологии Свободного университета под скептическим взглядом всей портретной галереи его бывших профессоров (и представившись Франко Мунари, тогдашнему латинисту) я начал просматривать самых различных авторов. Мне запомнилось мое тогдашнее чувство доступности для меня этого знания. Такому отношению к латинскому тексту как к источнику, поддающемуся расшифровке и эстетическому восприятию, я научился у Вас — и на занятиях, и на Вашем примере.

Потом, оказавшись в 1983 г. аспирантом Райнхольда Меркельбаха в Кельне, я занимался в окружении «юношей бледных со взором горящим» классической филологией в одном из ее германских бастионов, и хотя занимался греческой эпиграфикой, а параллельно и византинистикой, приходилось читать очень и очень много из смежных областей. Помнится, еще в 1974 г. перед заседанием памяти С. И. Соболевского в ИМЛИ мне, школьнику, приведенному папой за ручку в это собрание, М. Н. Цетлин сказал вместо приветствия: «Агафий — прекрасный автор. Но ведь и Клавдиан — прекрасный автор». В Кельне я понял, что Моисей Наумович, собствен-

но, имел в виду. Я познакомился с людьми, пишущими друг другу латинские записки тривиального содержания, произносящими многозвучные речи, составляющими приветствия и дипломы почетных докторов по поручению ректората. Мне довелось учиться у Рудольфа Касселя, написавшего в 1951 г. диссертацию «Quomodo quibus locis apud veteres scriptores Graecos infantes atque parvuli pueri inducantur describantur commemorentur», читавшего, когда приходилось, латинские тексты бегло, как венский обыватель читает в кафе газету. Едва ли кто-нибудь рискнул бы тогда задать ему вопрос, почему его многотомное собрание «Poetae Comici Graeci» выходит на латинском языке, а не по-английски, например. Несколько лекционных курсов я слушал и у латиниста Клеменса Цинтзена, впоследствии президента Академии наук в Майнце, который все мои кельнские годы был для меня добрым гением. Его темы касались рецепции латинской культуры в Европе, это было тоже своеобразное, веселое, как говорила Ахматова, чувство дома. Таким отношением к чтению авторов я обязан Вашей ответственной школе. Слава Богу, у Вас были и до сих пор, как мне известно, остаются ученики, которые в гораздо большей степени, чем я, вносят Ваш импульс в свои профессиональные занятия, но без Вашей школы, Николай Алексеевич, для меня такой путь оказался бы трудом в каменоломне, а не тем духовным пиршеством все еще студенческих времен, которым он в конце концов и обернулся.

Как водится у всех учеников всех эпох, вплоть до сегодняшнего дня, несмотря на эсхатологический Болонский процесс, и у меня среди столь серьезных тем много воспоминаний и о наших встречах и разговорах за пределами аудитории. С Тамарой Теперик мы были гостями Вашей матушки. В неправдоподобном далеке остается наша археологическая практика в Херсонесе и наше крымское путешествие, где сильные эмоции в духе римской поры Овидия, виды Мангупкале и киммерийских ландшафтов перемешивались с Вашим курсорным чтением — конечно, поэтов — в доме отставного майора, посреди всех еще не уничтоженных памятников милетской экспансии. Я запомнил, как дионисийская струя на

разных торжествах понуждала Вас иногда переходить с родного языка на латынь или на французский. Помню, как Вы сказали нашему однокашнику, называвшему основные формы глагола *oriri* и после раздумья произнесшему *orior, ursus sum*: «Правильно, *ursus sum*, “я Миша”».

Но сейчас, когда я пишу эти строки, а пережитое проплывает облаками над крестами видной из моего окна церкви, в которой бывали обитавшие по соседству и Бетховен и Шуберт, вспоминается другой эпизод, почему-то врезавшийся в память уже тогда. Как-то в перерыве мы с Вами стояли у нашей аудитории на десятом этаже, напротив кафедральных дверей, и беседовали. По коридору шел, как мне показалось, старый человек, сутулый, непримечательной наружности. Вы посмотрели на него, смолкли и через некоторое время, когда я полюбопытствовал, почему Вы вдруг замерли, увидев этого пожилого человека, Вы сказали: «Федя, мне не нравится, что Вы называете его пожилым, это секретарь комсомольской организации моих студенческих лет, он мой ровесник». Но мне запомнился, Николай Алексеевич, тот огромный контраст, которому я невольно стал свидетелем: Вы искрились, Вы были вдохновенны — Вы были не его, а нашим современником. За эту искренность и жизненную силу Вашего дара, которым Вы на протяжении многих десятилетий делились со столь многими, примите в радостный день Вашего юбилея также и мою благодарность.

Ваш Федя

ГАЛИНА ПОЛЯКОВА

Дорогой Николай Алексеевич!

Ad multos annos!

С благодарностью вспоминаю, как в 1958 г. Вы были моим оппонентом на защите диплома по «Просительницам» Эсхила. Потом мы с Вами больше часа шли из старого здания на Моховой до метро «Смоленская», углубившись в беседу. Этот разговор живо остался в памяти своей искренностью и общностью

наших тогдашних интересов. Сейчас ко времени прибавилось и расстояние, которое я надеюсь преодолеть этими строками благодарности за Ваше доброе отношение ко мне и моей семье на протяжении стольких лет.

Ваша Галина Полякова

Мюнхен, 1 февраля 2015 г.

АЛЕКСАНДРА НИКИТИНА

К 90-ЛЕТИЮ Н. А. ФЕДОРОВА

Уважаемый Николай Алексеевич!

От лица выпускников 2007 г. филологического факультета Российского православного университета поздравляю Вас с юбилеем — 90-летием со дня рождения.

От всей души хочу выразить Вам свою признательность и уважение за многолетний добросовестный труд. За Вашими плечами богатый опыт научно-педагогической деятельности.

Вы стали наставником и вдохновителем многих молодых ученых в различных областях науки, воспитали не одно поколение учеников и последователей. Ваши работы получили высокую оценку академического сообщества и по праву вошли в сокровищницу отечественной филологии.

Вопреки всем невзгодам Вы многие годы щедро одариваете окружающих теплом и широтой своей души.

Примите пожелания доброго здравия, крепости душевных и телесных сил, благополучия и всего наилучшего.

С глубоким уважением

Александра Никитина и благодарные ученики РПУ.

ГУГУЛИ РЕВАЗИШВИЛИ

Скажу о том, чему сама была свидетель и что заметила, в последние десятилетия часто и тесно общаясь с Николаем Алексеевичем. Он прекрасно разбирается в музыке, живописи, архитектуре, искусстве. Он живо подмечает мельчайшие дета-

ли художественных произведений самых различных жанров и отдаленных эпох, оттого может замечательно комментировать, например, музыкальные выступления, остро и мгновенно подмечает особенности живописной манеры и т. д. При этом он чрезвычайно скромен и оценки свои скорее прячет, чем демонстрирует, впрочем, иногда темперамент заставляет его «выпалить» вслух, и довольно громко, спонтанное замечание — тот, кто успел услышать, всякий раз поражается точности и лаконизму да еще юмору. Мы много раз не могли сдержать смеха от его внезапных афоризмов в залах музеев или концертов.

Общение с ним приносит радость и вызывает постоянную потребность его продолжать — долгие годы общаясь с ним, всегда ощущаю некое постоянное «ненасыщение». Он молод душой. Николай Алексеевич очень помог в нашей изнурительной борьбе за танеевский центр, располагающийся ныне в Чистом переулке, дом 7/9, где провел детские и молодые годы Сергей Иванович Танеев. Без его пристального чтения и прямолинейно высказанных детальных замечаний не вышел ни один документ, направленный нами в высокие инстанции. Он обладает даром — убрать или заменить одно или несколько слов так, что весь текст вдруг «становится на свое место».

Мне думается, очень важная черта личности Н. А. Федорова, что он оказывается не только учителем, но и другом абсолютно для всех поколений учеников. Дом, в котором он живет, постоянно открыт для учеников и полон людей. Эту обстановку во многом создает его жена. Она не только соратница его, но создательница, я бы сказала, его «московского салона». Вспоминаю своих родителей в Тбилиси, помню интеллигенцию старого города, музыкальные, театральные вечера, постоянно проходившие у нас дома. А тут вдруг я увидела то, что в Москве уже почти, на мой взгляд, не сохранилось. Открытый дом, который я назвала этим словом «салонность».

Общение с ним приносит радость, повторю, но не только. Приносит уверенность в собственных силах, желание жить и приносить пользу — Н. А. незаметно как бы подталкивает человека к действию, на которое тот способен и к которому предназначен. Крайне редко в преклонном возрасте случается, что

человек не только проживает, но живет и окружающих заставляет жить. Федоров умеет искренне радоваться, как маленький ребенок. У кого-то что-то случилось хорошее — он радуется. Он со всеми делится, он открыт. От этого Николай Алексеевич не стареет, с годами не проявляется вредность, порой приходящая с возрастом. Нет следа некой злобы, которую очень многие, к сожалению, наживают с годами. Когда родился его внук, с каким искрящимся восторгом — и всем — он об этом рассказывал. Но вместе с тем он и строг и требователен.

А как жадно он читает книги и, если нравится, как охотно делится прочитанным. Ведь в этом возрасте люди, как правило, инертны, устали от жизни, равнодушны.

Важно отметить его тактичность. Ему присуща скрытая деликатность, потому что он боится обидеть. Вот это очень важная черта его личности. Николай Алексеевич может точно сказать, честно, о чем думает, но не «убить» словом. Говорят, эта черта появилась с годами. Ну что ж, значит, он продолжает изменяться. Развивается, пересматривает свои позиции, смягчается с годами, потому что становится более мудрым.

Невозможно не отметить, что в канун 90-летия он появляется в общественных собраниях иногда таким франтом, с бабочкой, в смокинге, можно упасть! Интересуется всем и вся. А вот о себе он почти ничего не рассказывает — от скромности. Это тоже восхищает.

ЕЛЕНА РУБАНОВА

О НИКОЛАЕ АЛЕКСЕЕВИЧЕ ФЕДОРОВЕ

2010 г. Вспоминаю первое впечатление.

На открытии выставки нашего общего знакомого художника, где, как всегда, было много народу, кто-то уходил, кто-то приходил, вдруг пространство озарилось необыкновенно воздушным, одухотворенным до нематериальности лицом, окаймленным белоснежным веером невесомо развевающихся волос. Он смотрел на картины так, будто впечатление от них было жизненно-важным, очень внимательно и чутко. Его со-

провождала энергичная, красивая, тоже пышноволосая, но златокудрая жена, нежно его опекавшая. Эта пара так мне понравилась, что я спросила хозяйку вечера, кто они. Оказалось — ученые-филологи Николай Алексеевич и Екатерина Сергеевна Федоровы. Познакомившись, я робко попросила Николая Алексеевича попозировать и получила согласие.

Первое посещение их дома было приурочено к занятиям Николая Алексеевича со студентами. Мне надо было понаблюдать за портретируемым в действии. И что же! Впечатление, оставшееся от вернисажа, многократно усилилось. Энтузиазм, с которым Николай Алексеевич вел урок, не мог не заражать самых вялых и не втягивать их в интерес (если не любовь) к латыни. А глубокие знания педагога и его влюбленность в предмет вызывали уважение и почтительный трепет.

Однако писать портрет в такой ситуации я не рискнула. Хотелось в спокойствии понаблюдать за натурой, да и утомлять Николая Алексеевича трудными позами я не имела права. Зато в тихом уединении работы я почувствовала значительность этого замечательного человека, его проникновение в те тайны искусства, или науки, куда без таланта не попасть. Отсюда и деликатность, и скромность, и неутолимая жажда познания... А еще — безграничная доброта!

МАРИЯ РЫБАКОВА

MAXIMA HISTORIA

Мы Николая Алексеевича очень любили и очень боялись. Боялись не просто сделать ошибку, а что он может в нас разочароваться, что мы покажемся ему недостаточно способными, недостаточно талантливыми и недостаточно работящими. Очень радовались, если получалось расшифровать фразу, правильно определив подлежащее и сказуемое, и связать члены предложения в логическое и понятное общее целое. Латынь удивительна именно своей логикой, похожей на математическую: приходилось действительно взламывать код, а не припоминать знакомые слова, как бывает обычно с современными языками.

Сначала было так трудно, что казалось: я никогда не смогу понимать эти речи, эти истории, все так и останется абракадаброй (которая для других — не для меня — как по волшебству оказывалась внятной человеческой речью). Но где-то на третьем семестре нашего обучения латыни Николай Алексеевич вдруг начал декламировать элегию Проперция. Он читал по-латыни, читал нарочито медленно, но не переводил, потом стал читать во второй раз. И я с удивлением заметила, что понимаю — понимаю латынь со слуха, понимаю, как, может быть, понимали много сотен лет назад. «Когда возлюбленная борется со мной, сорвавшим с нее платье, мы на самом деле сочиняем «Илиаду». Что бы она ни сделала, что бы она ни сказала, огромнейшая история рождается из ничего».

«А о чем это?» — спросил Николай Алексеевич. Мы молчали. О чем эти стихи? О малом и о большом. О любви, которая похожа на войну. Об «Илиаде», возникающей в спальне возлюбленной. О кораблях, отправляющихся в плавание от смятой постели. О пальцах Кинфии, о ее сне, о ее волосах, о поэзии. «Так о чем это? *Величайшия история рождается из ничего*», — повторил Николай Алексеевич и поглядел на нас с легким разочарованием.

Вдруг стало понятно. «Когда б вы знали, из какого сора / растут стихи, не ведая стыда». Вот как это было: две тысячи лет назад и всего полстолетия назад римский поэт и русский поэт знали, что стихотворение возникает из самых маленьких событий жизни и что эти события, преломляясь через призму слова и метра, разрастаются, преодолевают время и становятся *величайшей историей*.

ОЛЬГА САВЕЛЬЕВА

ОБ УЧИТЕЛЕ

Мне приходилось встречать суждение, вероятно вполне оправданное, что учитель — это тот, кто не просто вел занятия в университете (это преподаватель), а тот, кто связан со своим студентом в научной сфере, кто занимался с ним определенным

материалом, проблемой, темой и осуществлял научное руководство. Николай Алексеевич никогда не был моим научным руководителем, я написала по его указанию только одну небольшую работу на первом курсе, но о ней немного дальше. Однако Николай Алексеевич — учитель, для меня это именно так.

Понимаю, что в этих разрозненных заметках мне не удастся сказать что-то особенное, отличное от других. Ну что же, значит, мне придется повториться и признать свою неоригинальность.

Что отличает, выделяет Николая Алексеевича? Сразу хотелось бы назвать: ум и интеллект, вкус, необыкновенная и неослабевающая любовь к латыни, удивительная поглощенность своей профессией и интерес к людям.

В процессе преподавания латинского языка с Николаем Алексеевичем, на мой взгляд, произошла эволюция, свойственная благородному человеку и умному педагогу: от требовательности, замешанной почти на деспотизме, но, надо признать, на просвещенном деспотизме, к всепонимающему либерализму. В чем же когда-то выражался «деспотизм» Николая Алексеевича? Вне всяких сомнений, слово «деспотизм» применяется здесь условно, совсем не в соответствии с ювеналовской формулой — Sic volo, sic jubeo, sit pro ratione voluntas, а только для наиболее точного обозначения жесточайшей требовательности нашего преподавателя к подготовке по латинскому языку и типу ответа на занятии. Студент должен был отвечать (например, морфологию) точно, быстро, уверенно, без малейшей остановки — и даже короткие паузы не допускались. Размышление приветствовалось при переводе, или, например, в случае определения падежной функции и ее возможного варианта, или в каком-то подобном примере логического подхода при разборе текста. Сказать что-то друг другу на занятии, хотя бы чуть-чуть отвлечься, задуматься не о читаемом тексте — лучше было этого не делать. Экзамен по латинскому языку в группе из четырех человек мог проходить с десяти до шести часов, а в большой группе, по рассказам участников, гораздо дольше, до позднего вечера. Существует апокриф, что одна группа после экзамена у Николая Алексеевича бежала к метро, чтобы успеть

на последний поезд. Часто на экзамене Николай Алексеевич, раскачиваясь на стуле, раскрывал газету «L'Humanité», погружался в нее, но при этом наблюдал, как народ готовится к ответу и не списывает ли невзначай? Народ не списывал, это было исключено. В какой-то момент Николай Алексеевич решал, что, пожалуй, уже хватит готовиться, и вызывал студентку отвечать, хотя времени на подготовку было явно недостаточно. Просьбы еще немного посидеть-подумать почти никогда не давали результата. Хорошо известно, что в случаях особого недовольства Николай Алексеевич мог бросать свои очки, расческу и покидать аудиторию — уходить с занятия.

Николай Алексеевич некоторым образом наблюдал и за частной, вполне детской, жизнью студентов-классиков: с кем разговаривали в перерывах, не курили ли на лестницах, над чем смеялись? Он вполне мог задавать студентам вопросы на эти темы и, надо сказать, получал ответы, пусть и не пространные, но и без заявлений о правах человека на приватность. Если суммировать понимание такого условного «деспотизма», то оно может быть сведено к простому требованию: студент-классик должен быть поглощен классикой и учебой и соответствовать интеллектуальному статусу университетского сообщества. Главное же, что не позволяет всерьез считать все подобные строгости деспотизмом, — это то, что методы нашего педагога диктовались не его произвольными желаниями, а стремлением к общему благу, что, как известно, исключается истинным деспотизмом. Поэтому Валентина Иосифовна Мирошенкова, которая вела у нас занятия по греческому, регулярно выслушивая наши жалобы о том, что «Николай Алексеевич невероятно много задает! Он слишком строг! Так невозможно!», всегда отвечала, что она все понимает, что это тяжело, но правильно. А на наши возгласы «Почему же это правильно?!» у нее было объяснение: латынь нужно учить быстро, чтобы оставалось время для греческого. При этом всегда, с самого начала, с первых простых текстов, студент был и, по-моему, остается для Николая Алексеевича соавтором занятия. Любой вопрос, замечание, сомнение, пусть даже самое нелепое, никогда не отвергались, но обязательно рассматривались.

Правда, был анекдотический случай, когда предложенное сразу же было отвергнуто, и оно того заслуживало. Переводя оду «Donec gratus eram tibi...», студентка произнесла «и никто из юношей не давал тебе рукой по белой шее» (nec quisquam... brachia candidae cervici iuvenis dabat). Мгновенно раздалось федоровское «Выйдите!», и девочка в слезах выбежала. Через некоторое время, после того как все ответили и группа взмолилась о пощаде, Николай Алексеевич не сразу, но смилостивился и согласился спросить студентку еще раз — и дело закончилось достаточно благополучно. Вместе с тем все отлично знают по себе, как Николай Алексеевич умеет (проще сказать: умеет как никто) похвалить по ходу занятия, и его энергичные лаудативные восклицания «Прекрасно! Молодец!» могут необычайно поддержать человека и улучшить его настроение. Это бывает приятно каждому и надолго запоминается, как маленькая удача, но оказывается особенно важным для студентов младших курсов. Недавно я рассказывала Николаю Алексеевичу, как он велел нам на первом курсе писать работы по Корнелию Непоту и дал для перевода тексты из «De viris illustribus». Мне достался Дион. Во время моего рассказа об уже давних временах Николай Алексеевич вздыхал и вроде бы сокрушался: как же это он мог?! Все-таки Непот непростой для первого курса автор! Однако можно было заметить (мы все хорошо знаем его улыбки, гримаски, прищуривания), что одновременно он был доволен своим педагогическим авангардизмом. В свое время мы не знали, что были материалом для важного эксперимента: на нескольких курсах классического отделения опробовалась методика преподавания латыни «на опережение», которая стала основой знаменитого теперь учебника Н. А. Федорова и В. И. Мирошенковой. Возможно, и строгость сугубая нашего преподавателя отчасти объяснялась кроме характера желанием сделать свой эксперимент чистым, проверить, как воспринимается студентами раннее усложнение грамматики и материала, и на практике убедиться в правильности своей системы. Сейчас планка требовательности Николая Алексеевича не стала ниже, он по-прежнему строг, но просто стал реже высказывать свое критическое мнение.

В годы нашей учебы, при достаточно большой дистанции между преподавателем и студентом, была атмосфера непременного контакта, кроме латыни — чтения — перевода — комментария. На занятиях с Николаем Алексеевичем мы часто говорили о книгах, фильмах, новых спектаклях и концертах, что превосходно сочеталось с «поглощенностью учебой и классикой». Запомнился эпизод, когда на вопрос Николая Алексеевича о фильме Стенли Кубрика «Заводной апельсин» мы ничего не смогли сказать — мы просто не видели его. Тогда Николай Алексеевич сказал, что не будет вести занятия с нашей группой, пока мы не посмотрим этот фильм. Мы пошли, с неудовольствием и ворчанием (много занятий!), но пошли и посмотрели. На следующем занятии у Николая Алексеевича был к нам один вопрос: «Этот фильм смешной или грустный?» — «Конечно, грустный», ответ был принят, и занятие пошло своим чередом.

Нужно заметить, что Николай Алексеевич был большим киноманом, постоянно посещал элитарные сеансы и недели зарубежных фильмов. Наверное, можно даже сказать, что важнейшим из искусств для него является кино. Такие слова, как «мы пошли смотреть фильм с неудовольствием», — это не больше чем дань студенческим эмоциям, они не должны искажать главного: наши занятия с Николаем Алексеевичем проходили в виде живого диалога, который касался не только Античности, авторов, текстов и грамматики, но и давал замечательное человеческое общение, новые мысли, впечатления, и ощущение обаяния таких занятий сохраняется на много лет.

Когда заходит речь о Николае Алексеевиче, достаточно только увидеть выражение глаз его теперешних учеников, чтобы понять, что они любят его. Удивительное дело, но именно те студенты, к которым Николай Алексеевич был особенно строг и суров, а многие из них сейчас уже немолодые люди, при встрече сразу задают вопрос: «Как Николай Алексеевич?» и «Привет ему! Обязательно!»

О чем еще нельзя не вспомнить? Что еще нужно добавить к высказанным здесь разрозненным впечатлениям? Когда умерла Зинаида Михайловна, мама Николая Алексеевича, он на следующий день после этого вел занятия в университете. Студенты не

знали о его несчастье, и он ничего не сказал им. Что это было? А это было как раз то, что приводит М. Л. Гаспаров из записей С. И. Соболевского: «Преподавательское дело очень нелегкое. Какая у тебя ни беда, а ты изволь быть спокойным и умным». Это была просто невероятная, кажущаяся невозможной требовательность к себе и чувство долга. Есть много выпускников классического отделения МГУ, которые помнят, что у них не было пропущено ни одного занятия с Николаем Алексеевичем.

На кафедре в Московском университете Николай Алексеевич предпринял много интересных и, что самое ценное, оптимистичных дел: это латинский театр; инициации; кафедральные вечера; замечательные стенды-картоны по истории кафедры — информативные, выполненные со всей тщательностью и большим вкусом. Одну же его роль, чрезвычайно важную и полезную, следует выделить особо. В сегодняшних терминах ее можно обозначить как роль регулятора-модератора. Пользуясь своим обаянием и «искусством обольщения», он привлекал на первый курс классического отделения тех, кто поступил на другие специальности, но, по оценке Николая Алексеевича, вполне мог хорошо успевать на классике. Таким образом, он оказывал неоценимую помощь в решении хронически больного для классики вопроса — вопроса о малом наборе студентов на первый курс. Одновременно никто лучше Николая Алексеевича не мог и удалить с классического отделения заслуживающих этого студентов. Он давал человеку некоторое время проявить себя, но был беспощаден к лености, халтуре, слабым способностям — и при наличии всего перечисленного курс, группа могли быть значительно сокращены, — например, из девяти человек на отделении оставалось четверо.

Николая Алексеевича отличает способность воспринимать молодых людей как коллег, а молодых коллег — как равных себе. Думаю, что с этим согласятся многие преподаватели нашей (и не только нашей) кафедры, которые начинали работать рядом с ним. Вот здесь проявляется его умение похвалить и поддержать человека, но и не без столь же пылкой критики. Я помню его поддержку по себе, и мне легко и приятно говорить об этом, так как льщу себя мыслью, что мы с Николаем Алексеевичем в главном были и остаемся единомышленниками.

Я благодарна Николаю Алексеевичу за тот звонок, когда он упредил меня (чтобы я подготовилась и не испугалась), что мне будет звонить Аза Алибековна с сообщением: меня решили оставить для работы на кафедре (на ставке младшего научного сотрудника). Я подготовилась, но все равно боялась...

Николай Алексеевич спас меня на выпускном экзамене по научному коммунизму (был такой предмет). Я неправильно ответила на вопрос о количестве коммунистических и рабочих партий в мире (назвала нереально большее их число), и в этот момент ведущего экзаменатора вызвали к телефону. Когда же он вернулся и спросил: «Как ответила студентка?» — комиссия из числа филологов, включая Николая Алексеевича как представителя кафедры, подтвердила, что «очень хорошо». В противном случае я бы лишилась возможности поступать в аспирантуру.

То, что хотелось здесь сказать, разумеется, адресуется Николаю Алексеевичу в связи с его прекрасной датой. Но одновременно на втором плане есть мысль и о молодых людях, нынешних студентах Николая Алексеевича, и о тех, кто приближается к занятиям с ним. Может быть, им будет интересно знать что-то о Николае Алексеевиче уже давних лет. Нам всем выпала большая удача заниматься с Николаем Алексеевичем латинским языком, быть его собеседниками и считать себя его учениками. А какое удовольствие он доставляет нам, когда мы видим его! Стройного, элегантного, красивого, неутомимого. Он — наш учитель.

P.S. И спасибо Кате.

МАРИНА СЛАВЯТИНСКАЯ

ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ О НИКОЛАЕ АЛЕКСЕЕВИЧЕ ФЕДОРОВЕ

В 1953 г. я неожиданно для себя (долго рассказывать) поступила на кафедру классической филологии, о которой имела весьма смутные представления. Но мой папа, окончивший классическую гимназию в Чернигове, сказал мне: «Эта гимназия дала мне широту мысли, которая тебе очень пригодится, если потом ты захочешь заниматься историей русского языка и

русской литературы». Так я оказалась в среде седовласых мужчин и женщин... Девочкой я была веселой и живой, а поэтому поначалу каждый день рыдала. Но потом стала различать молодых преподавателей и аспирантов, а среди них часто мелькал худой, черный, нервический аспирант.

Цветы весенние

Наступил день защиты дипломов. Студентов (по теперешним временам) было много: 13 человек. Вся кафедра была «задействована»: кто был научным руководителем, кто оппонентом... И конечно же к оценке дипломов привлекали и аспирантов.

В конце заседания мы решили всем без исключения членам кафедры, включая и аспирантов и наших любимых лаборантов — ими были очаровательная Юлия Ивановна Городкова и Алексей Иванович Бабенышев — подарить цветы. Я и Лариса Клочко ранним утром отправились на Тишинский рынок и накупили гору цветов: розы, левкои, сирень, нарциссы. Мы приехали в университет и в «предбаннике» перед партбюро стали собирать букеты. Аромат от цветов был на весь коридор, и время от времени мимо нас невзначай проходили заседавшие на кафедре преподаватели под предлогом необходимости заглянуть в партбюро.

Наступил момент вручения букетов, и тут наш аспирант, который присутствовал на заседании, замахал руками с возгласом: «А мне за что, а мне за что?» Мы хором объяснили ему, что вручаем букеты всем без исключения присутствующим.

Интересно, повторился ли наш опыт когда-нибудь еще?

Все начинается с детства

После окончания аспирантуры меня приняли как преподавателя на кафедру классической филологии и на первом же заседании назначили профоргом кафедры. Я «прослужила» профоргом десять лет и за это время осознала характер Николая Алексеевича, его взрывно-неровный нрав. Но лакмусовой бумажкой были обожавшие его студенты, а это был

верный знак того, что бури только на поверхности, а внутри души их нет.

Но сколько было письменных заявлений об отказе преподавать на классическом отделении! Одно, по-моему, сохранилось у меня дома.

Боже, какими мы были наивными...

В конце 60-х гг. наш весельчак и балагур (высокого! уровня) — Исай Михайлович Нахов — попал в больницу с подозрением на самое худшее в кишечнике. Когда у его постели еще дома врачи говорили по-латыни (совсем недавно были такие времена!), Исай Михайлович прервал их, сказав: «Карты на стол. Я латинист. Я все понял...»

Но, слава богу, страхи оказались напрасными, диагноз оказался неточным. Но Исай Михайлович после операции оставался в больнице, и мы с Николаем Алексеевичем решили навестить его. В больнице был карантин, передача могла быть очень выборочной (кишечник!). Был март месяц, уже продавали сирень. Я купила ветку белой сирени, письмо написала еще дома, и, прибавив какой-то пустяк, мы попросили передать это в такую-то палату такому-то.

Народу толпилось много, мы стояли под вывеской «Проктологическое отделение» и вслух гадали: «Термин явно греческий, про- “вперед, впереди”, а дальше?» На нас кое-кто косо поглядывал, но мы же классики!

Обрадовавшись, что с Исаем Михайловичем все в порядке, мы пошли в кино на фильм о Марио Ланца, договорившись, что по приходе домой возьмем словари и попытаемся определить значение термина.

Дома все стало ясно. Я звоню Николаю Алексеевичу, он тоже хохочет. Позже Исай Михайлович говорил, что он засушил ветку сирени на счастье и всегда хранил мое письмо.

Пусть через тернии, но все-таки к звездам

В университете как-то неуютно жить без каких-либо ученых званий, ну хотя бы кандидата наук. А Николай Алексеевич

всякий раз, когда речь заходила о нем, безнадежно махал рукой. И однажды я буквально притянула его к окну напротив нашей кафедры и спросила, на какую тему он думает (и даже должен) писать диссертацию. Я в это время была ученым секретарем совета по классической филологии. Николай Алексеевич по своей привычке замахал руками и снова (в который уже раз) стал говорить, что он не ученый, а только преподаватель и никакой диссертации он написать не сможет. Но тут я напомнила ему о важности самоутверждения на факультете, о прибавке к зарплате (что было и есть немаловажно). Николай Алексеевич сдался. Его всячески поддерживал Исай Михайлович, и вот летом 1981 г., при огромном стечении народа, состоялась защита диссертации Н. А. Федорова на тему «Становление эстетической лексики Цицерона». Научным руководителем была А. А. Тахо-Годи, официальными оппонентами выступили Е. В. Федорова и Т. Г. Мальчукова.

Катя

Однажды ко мне на занятия по греческому языку попросилась студентка Катя. Все было бы хорошо, но лицо у нее было грустное-грустное. Я спросила о причине, оказалось, от страшной болезни погибает ее мама, и она остается с бабушкой. На следующий год мамы уже не было.

...И вот я, глазастая, начинаю замечать изменения в поведении Федорова. Валентина Иосифовна внимания не обращает. В какой-то день я сажаю себя дома на стул и говорю себе: «Славятинская, думай» — и додумалась. Хватаю телефонную трубку и звоню Валентине Иосифовне: «Николай Алексеевич женился!» — «Не может быть». — «Вот посмотрите!» А тут вскоре заседание ученого совета, приехали ленинградцы. Николай Алексеевич подходит ко мне, берет мои руки в свои и явно хочет что-то сказать (сбоку за нами с любопытством наблюдает Ю. В. Откупщиков). Тут Валентина Иосифовна подходит, берет его за галстук: «Колька, ты женился?» Я не вслушиваюсь, но через некоторое время подходит ко мне взволнованная Валентина Иосифовна и говорит: «Марина, Вы правы. Кольку надо спасать!» — «Почему?» — «Я его спросила, ты понимаешь, что

могут быть дети? А он залепетал: "Уже..." — "Что — уже? Ребенок?" — "Кажется". Итак, — продолжает Валентина Иосифовна, — мы ее не видели и не знаем. Значит, его кто-то опутал и он скоро окажется на улице без квартиры, но с алиментами...»

Не помню, либо мне кто-то намекнул, либо я что-то вспомнила, но звоню Валентине Иосифовне и говорю: «Кольку спасать не надо. Он в хороших руках!» Вот так это было. Хотите — верьте, хотите — нет.

А я вот что думаю. Девятью годами ранее до этих событий скончалась мама Николая Алексеевича Зинаида Михайловна. И вымолила она у Всевышнего опору и счастье для своего единственного Колюры.

Здоровья, счастья, благоденствия и любви всему семейству Федоровых!

НАТАЛИЯ СТАРОСТИНА

ЛУЧОМ ЛИЦЕЙСКИХ ЯСНЫХ ДНЕЙ...

Как увидели мы Николая Алексеевича (1961 г.) тогдашнего, с седой прядью в волосах, летящего по коридору, так немедленно влюбились в него и стали устилать его путь розам — буквально. А именно: просто норовили с чем-нибудь связать, поздравить и преподнести. Я уж не говорю о проводах до Трубниковского переулка по Герцена (Б. Никитской), через Воровского (Поварскую) к переулку по маршруту 6-го или 39-го автобуса — блаженство!

«Мы» здесь неслучайное: очень ощущали себя единством, друг к другу никакой ревности, никакого соперничества, совершенно в духе ответа лицеистов пушкинского призыва на вопрос: «А кто у вас первый?» — «Здесь все вторые». Хотя, конечно же, и сами, и Николай Алексеевич прекрасно понимали, что первейшая — Люся Науменко (Телейчик — нехитрое «прозвище в ласку ей» от λυσιτελέω), покойная ныне. Но так уж по умолчанию у нас было принято.

Что касается отношения к Николаю Алексеевичу, то это было совершенно институтское «обожание» (еще недавно

Мария Георгиевна Лопатина спросила меня, помню ли я и напишу ли про наше «обожание»), потешавшее наших со- и близкокурсников, членов кафедры, гардеробщиц (слышу голос всеми памятной тети Поли: «Да ушел он, ушел уже»), наших родных, но и более того — нас самих.

Не хочу разбираться в причинах данного психологического казуса, «глядя из года сорокового, как из башни» в тогдашнее, может быть, мои сокурсницы имеют совершенно другое мнение и нисколько со мною не согласны — как говорил в свое время А. И. (инициалы здесь не Солопова, но Солженицына), «запомните их имена»: уже упомянутая Люся Науменко, Галя Петрова, Надя Трубкина, Катя Кучерова, Нина Буланова и я, многогрешная. Кто-то еще присоединялся и отсоединялся на разных курсах, но они держались не отдаленно, но отделенно. И наоборот, Юля Гинзбург, ближайшая моя подруга, учившаяся на английском отделении, а потом переводчица Паскаля и Камю, настолько всегда разделяла нашу около-николае-алексеевическую жизнь, что ее считали на факультете классиком.

В чувство обожания входили почитание и боязнь (в смысле vereor — «утраты расположения»). Прекрасно помню, как толчемся у телеграфного окошечка на почте (угол Воровского и Трубниковского) и выбираем конверт, чтобы туда положить поздравление, написанное от руки (обязательно!) на телеграфном бланке. Просто послать телеграмму — пошло! Воспользоваться почтовыми услугами — скучно! Непременно самим положить в ящик! А выбор конверта! В последнюю минуту заметили, что там портрет Макаренко — не сочтет ли за насмешку — дерзко! Есть воспоминание Бунина, как Чехов при нем собирался к Толстому и объяснял трудность выбора брюк, в которых предстояло пойти. «Надену широкие — подумает: нахал, узкие — подумает: щелкопер». Похоже, правда?

Сам Николай Алексеевич очень умело претворил наши чувства к нему в обожание латинского языка, вплоть до всех акциденций последнего: упражнений на перевод с латинского на русский, с русского на латинский, да и самого учебника — зеленого Попова и Шендяпина. Помнятся и места занятий: «за

занавеской», в крохотной 21-й аудитории, в маленьком угловом закутке в кабинете русского языка с окнами на улицу Герцена. Там читали Тибулла — это уже весна второго курса.

Николай Алексеевич вел занятия все наши пять лет, — кажется, со стороны методической такое сейчас не приветствуется, но, конечно, для нас это был подарок. И как в гимне выпускном Дельвига, «шесть лет (ну пять. — *Н. С.*) промчалось, как мечтанье». Так, о полонении латынью, например: Николаю Алексеевичу удалось освободить нас от поездки «на картошку» — это просто чудо, — и мы месяц все его свободные от других занятий часы латинствовали. Конечно, такое погружение способствовало некоторым успехам, хотя ни у кого из нас не было ни «игрового начала», ни особых интересов, так что свою богатую одаренность в игровом плане Николай Алексеевич упражнял уже с другими — латинский театр, живая разговорная латынь.

А у нас поэтизировалась сугубость сферы латинского упражнения — перевод и комментарий. Мы с Николаем Алексеевичем могли говорить о чем угодно, но внутри именно этого контекста — «латинский язык», позже — «латинский язык и авторы». Такая психологическая замкнутость закончилась (почти) скандалиозно (почти). Как-то Николай Алексеевич вдруг неожиданно ворвался в аудиторию, где мы сдавали Кларе Петровне Полонской римскую литературу, и сел рядом с ней послушать наши ответы. Ни у одной из нас не раскрылись уста, ни одна не поднялась с места. Но и Николай Алексеевич не снизошел к нашим чувствам и отказался уйти. Только могучий разум Клары Петровны позволил выйти из ступора — экзамен перенесли! На следующий день Николай Алексеевич на нем присутствовал, и пришлось показывать свое усредненное невежество при нем — почему-то Клары Петровны мы в этом случае не стеснялись, она ничего другого от нас и не ожидала, и вообще, экзаменатору по должности полагается слушать чушь...

Николай Алексеевич создавал собою тогда для нас целый мир, приоткрытый нам с его стороны лишь немного (чудесная мама Зинаида Михайловна! — всех она знала, — царствие ей Не-

бесное и Вечная память!) — мир романтизированный и нескучный, откуда совершенно не хотелось рваться в веселую студенческую жизнь. А может быть, весь путь пяти лет я возвращаю к первым курсам, тогда сформировалось что-то неизменное: я, к примеру, ведь помню зимний головной убор Николая Алексеевича «пирогом» — шапкой как-то и не назовешь, и шалевый воротник зимнего пальто, а кажется мне, что тогда всегда стояла весна, — и мы всё сидим в зелени университетского двора — «психодрома». Николай Алексеевич, кстати, очень не одобрял моего пристрастия к такому препровождению времени.

У Николая Алексеевича я была первой его дипломницей (тогда строго соблюдалась возрастная иерархия: когда полагалось вести классиков, когда руководить дипломными работами, или, как любил говорить покойный С. И. Радциг, «дипломными сочинениями»). Тема — «Буколика» Вергилия или что-то в этом роде, каждые пять страниц я носила на прочтение руководителю. Николай Алексеевич сначала говорил: «Что это за ужас!» Потом: «Да нет, кажется, не так уж плохо».

Но я сейчас не об этом, диплом был уже отдан на отзыв оппоненту (Азе Алибековне), до самой защиты дня четыре, и я собралась в поездку в Ферапонтов монастырь (а там все те, кто и сейчас мои друзья, и будущий мой муж!) — так Николай Алексеевич отнесся к этому как к недопустимому неприличию — уехать перед защитой! И я не поехала. Он оказался провидцем — автобус загорелся, были и травмы, могла бы не успеть к защите (но жалко по сю пору).

Николай Алексеевич никуда не пропал из моей жизни, а также из жизни многих. Кто-то заметил, что почти при каждой встрече наших друзей, никакого отношения к классикам не имеющих, каким-то образом в разговор непременно вклинивается тема Николая Алексеевича. И особенно забавно это выглядело, когда, можно сказать на перекрестке мировых ветров, в кафе при лондонской Национальной галерее прозвучали слова: «Вы опять о Федорове?»

Он даже допускает меня (horribile dictu!) вести с ним одну группу. Но все это другое, я другая тоже, я даже не верю, что то была я, да и так ли все это было...

ОЛЬГА СМЫКА

ВИЗАНТИЙСКИЙ ПОЭТ МАНУИЛ ФИЛ (1270–1345). ИЗ ПОЭМЫ «О СВОЙСТВАХ ЖИВОТНЫХ» «ОБ ОРЛАХ» (I. 1–80)

Из богатого корпуса сочинений Мануила Фила (34 000 стихов) мы выбрали для поздравительного приношения ко дню рождения Николая Алексеевича Федорова отрывок из самого первого печатного издания поэта. В 1530 г. архиепископ Арсений Монемвасийский (Аристобул Апостолес, 1468–1535) опубликовал в Венеции поэму Фила «О свойствах животных» с посвящением Карлу V, императору Священной Римской империи. Это посвящение покровителю гуманистов стало образцом стиля для следующих публикаций других авторов. Сам факт избрания для первого печатного издания, посвященного императору, в качестве подарка поэмы Фила — свидетельство высокой оценки мастерства поэта.

В свою очередь Фил сочинил свою поэму в 2000 ямбов также в подарок — он преподнес ее сыну и соправителю императора Андроника II, Михаилу IX. Этот молодой государь был известен своей ученостью, любовью к словесности и, кроме того, интересом к естествознанию. Примечательно, что у Фила есть стихотворение о том, как Михаил IX приручил друг другу льва и собаку. Творчество Фила отличало многообразие тем, адресатов, поэтических размеров, его стихи имели широчайшее хождение, их переписывали, заказывали, писали на стенах, преподносили в подарок. Продолжая старинную традицию, свойственную не только византийской придворной поэзии, посвящаем эту первую публикацию перевода посвящения Арсения Монемвасийского и введения и отрывка «Об орлах» Мануила Фила на русский язык дорогому юбиляру, воплощенному гуманисту нашего культурного сообщества.

Перевод выполнен по изданию Ф. Лерса и Фр. Дёбнера: Manuelis Philae versus iambici de proprietate animalium collatis

codicibus / Emendarunt et Latinae verterunt F. S. Lehrs et Fr. Dübner // Poetae Bucolici et Didactici. P., 1848.

Мудрейшего и ученейшего
Кир Мануила Фила
стихи ямбические,
сочиненные для автократора
Михаила Палеолога,
«Об особенностях животных».

Набожнейшему и благочестивейшему государю Карлу
Арсений Монемвасийский архиепископ
желает вечных триумфов над варварами.

В древности, о тишайший государь, Оппиан сочинил поэмы «Галиевтика» (о рыбной ловле) и «Кинегетика» (о псовой охоте) и преподнес их императору Антонину, надеясь снискать его благосклонность и прощение. Государь пришел от этих сочинений в такой восторг, что принял автора, «отца» поэм, с великолепием и щедростью, а их «деда» — отца автора — вернул из изгнания, чтобы показать свою милость к его сыну.

Гораздо позже жил на свете поэт Фил, написавший много прекрасного, в том числе и восхитительные ямбы — ему принадлежит книга «Об особенностях животных», примерно две тысячи ямбов. Он прочел ее перед автократором Михаилом — и так же, как Оппиан, снискал от государя огромную похвалу и щедрую награду.

Однако написанное Оппианом еще до книгопечатания можно было найти во многих местах, а вот сочинение Фила существует, как говорится, в единственном экземпляре и находится у меня. Я собрал его из разрозненных и поврежденных частей, привел их в последовательный порядок, многое переставив и многое убрав, поскольку, как говорится, этот новый Пелий нуждался в новой Медее.

В конце концов я разделил книгу на листы и привел их в стройный порядок, работая с жаром, чтобы придать этому первоначальный вид и чтобы издать это и в напечатанном виде

посвятить твоей царственности. И я, с Божьей помощью, это осуществил и представляю твоему величеству дар полезный и приятный.

Здесь увидишь ты, божественный василевс, как животные, повинуясь общему закону природы, без царских приказаний и постановлений умеют заботиться о собственном спасении и следуют предписанному им самой природой способу существования, как они умеют избегать того, чего им следует избегать, и твердо держаться того, что для них является наилучшим, гораздо лучше нас, украшенных словом, законом и науками.

Ты увидишь, как сильно привязаны к своим родителям аисты, как они разом, словно по приказу, все как один взлетают и приземляются.

Ты увидишь, как вороны приходят друг другу на помощь, когда возникает необходимость отогнать чужаков.

Твое восхищение вызовут журавли, как предусмотрительно готовятся они и ко сну, и к полету.

Ты узнаешь и о преображении шелковичного червя, которое приводит на ум непреложность Воскресения, и ты с еще большим презрением отнесешься к учению нечестивцев, которые его отрицают.

Ты увидишь и коршунов, как они продолжают род без соития, и с негодованием презришь насмехающихся над великой тайной, которые злобно заявляют, что невозможно и противоестественно, чтобы Дева родила Дитя и при этом сохранила девственность, — как об этом поют в гимнах христиане, что они восхваляют и во что веруют, прославляя воплотившегося от Нее Бога нашего.

Твое изумление вызовут и рыбы, и другие создания, живущие в мудрой и стройной упорядоченности, умея благодаря своему естественному чутью предузнавать изменения погоды. Словно по изречению Гиппократа, они исцеляют себя сами, каждый своим снадобьем и средством. Медведь мажет раны фломом, лисица лечится каплями смолы, змея лечит глаза укропом.

И во всех живых существах, будь то животные, птицы, бегающие на ногах, ползучие и плавающие, — ты увидишь то, что дала им природа, их собственные особые свойства.

Я счел, что книга эта будет, как я уже сказал, и очень приятна, и весьма полезна.

Я убежден, что второе издание будет еще более удачным — ведь оно посвящено государю, украсившему свое царствование всем, что было почитаемо всеми предшествующими властителями.

Будь здоров.

Вот пред тобой, владыка, стадо мирное —
Здесь рыбы, птицы, звери и рептилии —
И стол тебе немедля приготовлю я,
Коль разрешишь мне тот же самый промысел,
Что разрешил когда-то достохвальному,
Чтоб угостил на славу сразу двух царей —
И Вер, и Антонин попировали там!
А я — твой пес, ты — мой хозяин сладостный,
И вот я лаю в целях пропитания.
Владыка, лев душою, — покорми же пса!
Охотясь, ты сражаешь толпы варваров!

СТИХИ ОБ ОСОБЕННОСТЯХ ЖИВОТНЫХ

Адам, генарх великий рода нашего,
По заповеди Господа обязан был
Блюсти души пречистое достоинство
И быть владыкой тварей всевозможнейших.
Но он вкусил от дерева познания
И Божий дар попрал в себе немедленно.
Он образ своей власти погубил навек,
И звери тоже всякий стыд утратили,
Как от врага умчались от хозяина
И, закусив удила послушания,
Порвали узы, прежде столь любимые,
И стали жить в местах недосягаемых.
Я, для Тебя сплетя благоволенья сеть,
Сих беглецов привел из чащ и пустошей,

И для Тебя, о Солнце восходящее, —
Как царь Давид сказал о дне творения —
Они должны бежать в загоны слов моих,
Я нитью ритма все свяжу изящною —
Ведь я не упустил летучих сонмы птиц,
И обыскал умом морские пропасти,
И рыб морских словесной сетью выловил —
Всё только для Тебя! Смотри, рассматривай,
О автократор, изучай и радуйся!
Какой подарок поднести достойнее
Владыке, сыну Авзонарха милому,
Твой редкий нрав — особый, выдающийся,
Приятнейший, во всем превосходительный,
Величие души и обхождение —
Воспеть мне слов не хватит человеческих!
Будь то Платон, сказал бы он, наверное,
Зачем же мошкаре тягаться с коршуном?
И если все уста соединились бы
И все красоты речи вместе сплавились —
Всё ж не смогли бы спеть хвалу достойную!
Молчанием сказал бы много большее,
Кто не дерзает петь пустыми звуками.
К тому же как сказать хоть что-то новое?
Ведь это дар натуры многохитростной,
Чьи тайные движенья Тот лишь ведает,
Кто создал всё премудро, промыслительно,
И если это чудо слову свойственно,
То это лишь заслуга нашей древности —
От древних получая побуждения,
Я связываю цепь размера стройностью.
У мудрецов — у греков и у варваров —
Ценителей-творцов сказаний всяческих,
Приврать и не зазорно, и простительно,
Но нам — нельзя! Мы Слову поклоняемся,
Ведь Слово — свет, потемки разгоняющий!

ОБ ОРЛАХ

Орлы, властитель, в вышине бродящие,
В питье — то видно точно — не нуждаются.
О, как я их Создавшим восхищаюся!
Средь птиц нет никого с такой способностью
Спокойно выносить страданий тяготы.
Сей крылократор зорок замечательно —
Из туч способен даже моль заметить он.
Шум крыл его заслышав, даже змей-дракон
От страха мигом в бегство устремляется
И заползает в норы потаенные,
Чтобы орел, догнав, не растерзал его.
Он и на коз, и на гусей охотится,
На зайцев, даже на телят молоденьких.
Своих птенцов, пока не оперившихся,
Он испытует необычным образом,
И суд вершит над ними солнце яркое,
И если есть птенец, кто немигаючи
На солнце прямо смотрит — он в любимчиках,
Он чист от подозрений в чужекровии,
А если кто моргнет — того немедленно
Исторгнут из гнезда, как семя чуждое.
Бывают, говорят, орлы нехищные,
Что мяса не едят, травой питаются,
А хищные к траве и не притронутся,
И только мясом постоянно кормятся,
Летя на сильный тяжкий запах падали.
Остатки пищи стережет он, словно лев,
И отгоняет прочих птиц безжалостно,
Когда клевать его добычу пробуют.
Теряет перья он, как птицы прочие,
И та стрела имеет силу страшную,
Когда она в такой колчан положена,
Где спрятал мастер и перо орлиное.
Живи, царь, как орел, жизнь столь же долгую
И крепни в постоянном обновлении!

АЛЕКСЕЙ СОЛОПОВ

ALEXIUS SCATEBRANUS RUTENUS NICOLAO FEDOROV ALEXII F. MAGISTRO SUO SALUTEM

Vsque a primis in uita Academica diebus illis Septembribus es nobis notus, multique iam anni praeteriere, ex quo primum te in auditorio nostro millesimo quinquagesimo primo uidimus colloquioque tuo frui coepimus. Postea, cum iter difficillimum a primis linguae Latinae elementis per Caesarem Nepotem ad Ciceronem deinceps et Sallustium, mox ad Catullum Tibullum, Vergilium Horatium, ad Tacitum denique et Senecam, quin etiam, Ammianum Marcellinum lustri unius spatio faceremus, quod iter cum rationis studiorum tum animi cultus erat, contigit nobis feliciter propius meliusque te praeceptorem magistrumque optimum nosse.

Poscimur nonnumquam a natu minoribus, ut describamus, quo modo scholae nostrae illae processerint. Id esse facile, dicere solemus: te interrogasse, nos respondisse; te, ut recitaremus, petisse, nos primo recitasse, deinde interpretatos esse; accedere quod nonnumquam etiam exercendi causa ex nostrate sermone Rutenico in Latinum uertisse. Ea a te tum animaduertebantur emendabantur corrigebantur, maxime uero adnotabantur, nulla nimia et superflua erga discipulos indulgentia habita, bono tamen apparatu eruditionis arcessito, in quo uel maximum ualuit pecten tuus sono admirabili quodam et musico praeditus, ad excitandam alumnorum memoriam, immo ad animos eorum consternandos singulariter efficax. Non omnes, fatemur, hoc aequo animo ferre poterant. Sat est memorare, ex quattuordecim classis nostrae alumnis septem tantum, id est dimidiatum numerum, usque ad anni primi finem mense Maio peruenisse. At non multum tales descriptiones conducere, dixerit quispiam, omnesque eodem fere modo scholas Latinas habere. His assentiri inuitus cogor; addendum tamen esse censeo, scholas illas a multorum aliorum scholis, ut multo post, uaria diuersis in urbibus et terris uidentes, intelleximus, immensum quantum differre, sed ita uero, ut partim ab aliis nequaquam exprimi posse uideantur, partim etiam, de imbecillioribus dico, si perperam describantur aut ad imitandum minus recte proponantur, etiam nocere possint.

Nam omnia, quae in scholis agebantur, uiuidissime ante oculos ponebantur: gestu, oculorum nutu, capitis inclinatione, tum pronuntiatu modo uere histrionico nonnumquam inflexo. Quae partim a doctrina eruditione urbanitate iudicio proficiscebantur, partim a felicissimo ingenio et indole summaque arte actore scaenico digna, quae natiuo quodam lepore aspersa erat; quae omnia magister quiuis iuuenis habere non potest imitarique nequit, quamüis uoluerit. Perraro igitur opus esse uidebatur rebus grammaticis explicandis, quae quasi sua sponte quodammodo discebantur; odisti enim illa Orbiliis trita, declinationum exempla et regulas normasque ostendere, mox ex discipulis ea requirere. Sed quod licet Ioui, non licet boui, neque belle nobis uidetur, si omnes nihil omnino in scholis regularum proponant neque ex discipulis interrogent: hoc cauendum nobis uidetur. Quid multa? Spectaculorum fabularumque scaenicarum instar erant scholae nostrae, quibus omnia inesse poterant praeter taedium.

Et tamen fiebat interdum, ut et uerae fabulae a te docerentur. Theatrum enim Latinum quod dicebatur in Academia Moscouiensi apud alumnos nostros, utriusque linguae scilicet, ut omnes scimus, saeculi praeteriti decenniis octauo et nono floruit. Poetarum diuersorum, aetatum uariarum, a Plauto usque ad Rosuitham, ab aliis alumnis alio tempore, te tamen semper prudentissime moderante, fabulae agebantur. Et Plautus quidem non modo apud nostros, uerum etiam apud exteros dabatur: in Germaniae aliquot urbibus et oppidis editus erat, ubique admodum placuit; cuius rei testimonio acta Germanica adhuc scripta exstant diurna. In quo illud peculiare memoratur, omnis partes, etiam uirorum, a puellis esse actas, cum apud Plautum ipsum omnis partes, etiam mulierum, a uiris actas esse constet. Ipsi quidem duo spectacula uidimus, quorum unum Dulcitius erat medio aeuo scriptus, aliud uero (et quod scimus ultimum) Catulli epithalamium in fabulae scaenicae formam redactum, modisque musicis ex usu non tam thymelicorum quam eorum qui cantica uere popularia canunt depromptis et ad rem agendam mira sollertia accommodatis.

Scholae illae nostrae pulcherrimae tam utiles tamque doctrinae uberrimae feraces esse non potuerunt sine arte scientissime et festiuissime a te et Valentina Miroschenkova collega, nobisque item magistra, composita. Quae ars ab anno MCMLXXVI usque permultis exemplaribus hunc in diem editur multisque iam editionibus prodiit.

quarum nobis notissima erat secunda anno MCMLXXXV in medium lucemque prolata. Ex hac arte non tantum alumni Moscouienses, sed multa milia discipulorum nostratium sermonem Latinum primum attigere, linguae Latinae elementis primum imbuti sunt, per hos aditus litterarum Latinarum thesauros sibi aperuere.

Sed et extra auditoria te uidere nobis contigit: ut alumni nostri solent, anno disciplinae tertio exeunte, MCMLXXXV scilicet, Chersonesum Tauricam petiuimus, te expeditionis nostrae magistro. Duorum igitur fere hebdomadum spatio, uere exeunte, aestate ineunte occasionem fortunatissimam habuimus, ut inter antiquorum res manu factas uarias, Graecas et Romanas et barbaras, Museo Chersonesitano propositas inspiciendas, scholas eruditas de antiquitatibus habitas audiendas, locos amoenos quondam cultos, nunc desertos, partim effossos, inuisendos, nonnumquam inter montes arduos ascendendos, inter otii tempore natandum denique et cenandum uidimus te uirum doctum et strenuum, ducem patientem et impigrum, praeceptorem humanissimum, comitem urbanum et iucundum, qui, ut ex ueteribus scimus, pro uehiculo est. Cuius itineris culmen quoddam erat, cum in lingua Latina classis nostrae probatio, quae iis prope diebus designata exspectabatur, in ipso tramine, quo per Minorem Ruteniam Moscouiam redeuntes uehebamur, habita est. Eo tempore deserta Scythica siue potius Sarmatica Ouidii Metamorphoseon uersibus a nobis recitatis personuerunt.

Post rem publicam anno MCMXCI, mense Augusto conuersam ad alia munera uocatus es. Memini te inter Academiae Rutenicae Orthodoxae Ioanneae paucos conditores anno iam MCMXCII, mense Decembri a nobis uisum esse, primum eius Academiae Scholae Philologorum tum Decanum creatum esse atque eximia industria uires suas ad iuuentutem nostratem in ea Academia liberaliter, id est utraque lingua, instituendam contulisse. Non immerito igitur te aliquot Ecclesiae Rutenicae Orthodoxae insignibus ornatum esse scimus.

Praecipuam curam semper in lingua Latina excolenda posuisti, quam sapientissime uiua uoce docendam statuisti. Anno disciplinae nostro quinto ineunte, id est anni MCMLXXXVI autumno, scholas Latinitatis uiuae classi nostrae proposuisti. Quas quamuis obire liberum esset, tamen condiscipulorum pars non contemnenda ma-

gnam ex eis frequentandis utilitatem percepit. Studium et opera tua non modo nostris, sed multis extra Rei Publicae limites habitantibus nota sunt, praesertim uero Academiae Latinitati inter omnes gentes fouendae sociis. Aliquot enim huius Academiae conuentibus affuisti, usque ab anno MCMLXX, qui conuentus in Dacia habitus est. Inter ea tua scripta doctissima et subtilissima, quae in lucem prodierunt, non tantum Rutenico sermone, uelut de aliquot adiectiuis Latinis (unde profluxit postea meae disputationis de pulchri uoce propositum), sed et Latino scripta recensentur; usque ad annum MCMXCIV oratoris apud Moscouienses publici munere te functum esse minime nos fugit. Neque haec duo studia, doctrinam Academicam et Latinitatem recentem uiua uoce tradendam, seorsim et separatim manere siuisti, sed coniungere in uita tua studuisti: mox enim post eundem conuentum pronuntiatum restitutum in usum nostrum inde ab eiusdem anni mense Septembri inducere non dubitasti; quod nunc ita in consuetudinem uenit, ut multis plane necessarium uideatur, tum autem non contemnendae sane erat audaciae.

Te multos discipulorum greges cum in Academia Moscouiensi tum extra eam eruditos habere, primo filio, recentissime nepote auctum esse gaudemus. Tibi a. d. XVI K. Maias, diem tuum natalem nonagesimum, gratulamur et precamur, ut Deo uolente omnibus bonis Eius gaudere quam diutissime pergas, in primis bona ualetudine!

Dabamus Moscouiae a. d. VII Id. Febr. a. MMXV

ТАМАРА ТЕПЕРИК

О НИКОЛАЕ АЛЕКСЕЕВИЧЕ ФЕДОРОВЕ

Когда студенты филологического факультета МГУ, учившиеся в 1970-е гг., неожиданно стали показывать лучшие, чем это было раньше, знания по одному из не самых легких разделов античной литературы — римской комедии, то секрет объяснялся просто — они смотрели замечательные спектакли латинского театра при кафедре классической филологии, в котором участвовали студенты нашего отделения. Казалось бы, здесь не может быть прямой связи, к тому же спектакль шел на

латинском языке, понимание проблематики требовало определенных знаний, и тем не менее произошло чудо, хорошо знакомое каждому лектору: пробудился интерес! Потом эти спектакли были показаны профессионалам высочайшего класса, собравшимся на международном конгрессе в Ереване в 1976 г., среди них были не только владевшие в полной мере латинским языком, но и специалисты по Плавту и Теренцию. Тем не менее успех повторился, превзойдя все ожидания. Спектакли ставились на традиционных посвящениях в студенты, на вечерах встречи выпускников МГУ, в малых и больших аудиториях, в конференц-зале и Доме культуры МГУ, и всегда, и везде они заканчивались под продолжительные овации.

Автору постановки, Николаю Алексеевичу Федорову, в распоряжении которого были не столь большие театральные возможности, удалось передать замечательную vis comica Плавта, заставить зрителя смеяться и на время даже забыть, что перед ним сцена. Хотя со свойственной ему скромностью Николай Алексеевич объяснял этот успех талантом исполнителей, одаренных музыкально (что, конечно, тоже было немаловажно), никто не сомневался, что главным был талант его. Но талант этот заключался не просто в умении строить мизансцену, выбрать на роли наиболее соответствующие типажи, найти заразительную музыку, продумать костюмы, а, кроме того, вместе со студентами прочитать трудный текст в соответствии со сценической задачей. Главным было умение вызвать необычайной силы интерес к самому репетиционному процессу. Этот интерес был и в студенческой аудитории, где тоже царила любовь к предмету изучения. Любовь, исходящая от преподавателя, — именно она и давала эти великолепные всходы. Казалось, ему никогда не было скучно с нами, хотя подчас слышишь жалобы: «Как? В двадцатый раз объяснять то же пятое склонение, тот же accusativus cum infinitivo?» А он преподавал и в сотый, и ему всегда было интересно, потому что, излагая хорошо знакомую тему, он каждый раз преподавал ее по-новому, видя в нас, студентах, прежде всего людей. А видя ЛЮДЕЙ, а не только способности, он мог понять и их способности в других областях, в том числе и в театральной сфере. Он не говорил, что «НУЖ-

НО ТРУДИТЬСЯ», — это было само собой, но самое главное, что это было так ИНТЕРЕСНО! Те, кому было неинтересно (в основном это были не справлявшиеся с программой), уходили. Но зато те, кто оставались, навсегда сохранили к Николаю Алексеевичу чувство самой глубокой благодарности, и не только за полученные знания. Потому что его занятия пробуждали талант каждого, ведь знания давались большими усилиями, это и сформировало привычку к интеллектуальному труду, которая позволяла реализоваться, стать именно тем, кем ты хочешь быть. Кто хотел стать ученым, стал им (неслучайно в группах, которые Николай Алексеевич вел все пять лет, самый большой процент ставших докторами наук), кто захотел уйти в иные области — в творчество, в журналистику, в редактирование и т. д., — тоже сделали это легко.

Правда, при сдаче экзаменов мы не сразу поняли, что «работа в году» для оценки знаний не будет решающей, надо еще показать необходимый результат при чтении незнакомого текста, изложении грамматического вопроса, а главное — в понимании лексики. Но вот одному из нас он поставил «четыре» на годовом экзамене, несмотря на то что работа в году у этого студента была отличной. Вся группа кинулась просить Николая Алексеевича изменить свое решение. «Это Вам надо измениться, а не мне. Работайте лучше, только и всего», — сказал он. Стоит ли говорить о том, какой радостью была заработанная в следующей сессии этим студентом пятерка и какой характер она выковала? Но и все мы получили очень полезный взгляд на жизнь, которая не всегда раздает авансы. Важно, что требовательность Николая Алексеевича к другим проистекала из требовательности прежде всего к себе самому. *Ни одного* занятия в нашей группе не было пропущено им за все пять лет, и даже после смерти матери на следующий день он был в строю. И правда, кто бы мог нам его заменить? Как-то один из нас принес на зачет чужой текст Горация (где сверху был надписан русский перевод). Это была чужая рука и чужой текст, но Николай Алексеевич не стал разбираться. Он не лишил студента зачета, но лишил возможности его сдавать. Может быть, сейчас кто-то бы только порадовался такому легкому исходу, но тогда студент расстроился: ведь его лишили

такого приятного — возможности проявить свои знания, и из-за нелепой оплошности! Так все мы получили еще один урок — серьезно относиться к тому, что делаешь.

Это не означает, что он считал серьезное лицо признаком ума, наоборот, его неподражаемое чувство юмора заставляло многих из нас улыбаться гораздо чаще, чем это обычно бывает на учебных занятиях. Именно поэтому, учась на одном из самых трудных отделений, мы имели вид самых счастливых студентов, и студенты других отделений, которым не случилось учиться у Николая Алексеевича, нам по-хорошему завидовали.

А вот ироническое отношение к тому, что лежит за пределами твоей специальности (что, увы, нередко бывает с редкими профессиями), совершенно не было ему свойственно. Наоборот, интерес к кино, к театру, особенно если это было связано с античной тематикой, всячески поощрялся. Вместе с ним мы смотрели «Эдипа» Пазолини, «Беседы с Сократом» в театре Маяковского, «Аристофана» в театре Гоголя, и каким же наслаждением потом было обсуждать увиденное! Правда, это было уже на старших курсах, и в эти походы отправлялись не все, а, словно в спецкурс, «по выбору».

Но удовольствие было тем слаще, потому что его еще надо было заработать, заслужить. Если хочешь чего-то добиться, делай необходимые усилия — как часто это педагогическое откровение разбивается об ученическое равнодушие... Но в нашем случае этого не было прежде всего потому, что равнодушие ни в какой мере не было свойственно ему, нашему любимому учителю! Идущие прямой дорогой в двоечники только мечтали бы об учительском равнодушии в их отношении, но они отправлялись туда, где не нужны были чрезмерные усилия. Тем же, кто чего-то хотел, Николай Алексеевич помогал как только мог. Хотя с той же скромностью, с какой он говорил о себе как о режиссере, он оценивал свои научные работы, именно с ним прежде обсуждалась предварительная тема диссертации, планы на будущее, содержание той или иной статьи. Ставший позже коллегой тем из нас, кто выбрал педагогическую работу, он оказался незаменимым помощником и советчиком, несмотря на разницу в возрасте, лучше понимавшим накопившиеся проблемы. Любовь,

которой бескорыстно одаряют, имеет обыкновение возвращаться, вот почему первый вопрос в моей переписке с рассеянной по миру классической диаспорой — это всегда вопрос о нем, о нашем любимом и дорогом Учителе, благодаря которому было на практике усвоено: non scholae, sed vitae discimus!

СВЕТЛАНА ТЕР-МИНАСОВА

УЧИТЕЛЬ

«Учитель! Перед именем твоим...»

Мне повезло. Я знаю этого Человека, наверно, дольше всех. Мы встретились в середине прошлого века, а точнее — в сентябре 1956 г. Именно в этом, поворотном для моей судьбы году исполнилась моя мечта: я поступила на романо-германское (в народе «ромгерм») отделение филологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова. В первый же месяц моего пребывания в заветном Храме Науки выяснилось, что мой самый любимый предмет — ЛАТЫНЬ! Само название звучало как музыка: латынь — это всемирная история, это язык Юлия Цезаря, это дисциплина из учебных планов XVIII и XIX вв., это знак хорошего, старинного аристократического образования, это ключ к пониманию очень многих международных слов — обиходных и терминов во всех сферах знания вообще и гуманитарного в особенности и, наконец, латынь — это Николай Алексеевич Федоров, высокий, юный аспирант с кафедры классической филологии (да, чуть не забыла: латынь — это КЛАССИКА!). Скоро мы узнали, что его прозвище Большой Федоров, отличающее нашего Николая Алексеевича от Маленького Федорова, Анатолия Алексеевича, с кафедры зарубежной литературы. Я не знаю, что было первично в моей пламенной любви к латыни: сам предмет (см. выше) или его преподаватель. Я думаю, и то и другое.

Большой Федоров знал и любил свой предмет, мы узнали и полюбили и Николая Алексеевича, и его латынь.

Один маленький эпизод из нашей общей университетской жизни.

В середине первого семестра, а именно по случаю 7 Ноября, главного советского праздника, мы, первокурсники, решили отметить этот день как большие, не какие-то там малявки-школьники, а студенты, и не просто, а СТУДЕНТЫ МГУ, КОТОРЫЕ ЛАТЫНЬ УЧАТ. Соответственно принесли бутылку шампанского (а может быть, и две, не помню точно) с закуской — пончиками из буфета. На перемене выпили шампанского из бумажных стаканчиков — и тут звонок на урок! Мы заметались, спрятали стаканчики, недопитую бутылку заткнули пробкой, поставили ее под парту и поспешно расселись за секунду до прихода Большого Федорова. В середине урока, как раз когда Николай Алексеевич писал что-то на доске, а значит, стоял к нам спиной, раздалось оглушительное ба-бах! — это пробка вылетела из бутылки и ударила в пустой ящик парты. Все вздрогнули и оцепенели от ужаса, особенно когда увидели, что проклятая пробка медленно катится прямо к ногам нашего учителя. Звук прозвучал как выстрел, поэтому бедный Большой Федоров вздрогнул, повернулся к нам и сказал резко: «Кто стрелял? Я вас спрашиваю, кто стрелял?!» Оцепеневший от ужаса народ, естественно, безмолвствовал. В этот самый момент, как в плохой комедии, пробка докатилась до его ног.

Николай Алексеевич неожиданно спокойно сказал: «Продолжим урок» — и повернулся к доске. В конце урока он, глядя в сторону, сказал нам: «Кстати, вы, может быть, не знаете, но распитие спиртных напитков в университете категорически запрещено, за это сразу исключают». И ушел. Время было строгое, несмотря на приближающуюся «оттепель». Мы очень высоко оценили такт Большого Федорова, имевший огромное воспитательное значение: не донес, не ругался и в конце урока предупредил как бы мимоходом.

Браво, Николай Алексеевич! Низкий поклон за этот урок жизни, мой дорогой Учитель!

И Вас, и латынь я Уважаю и Люблю все последующие 59 лет...

Ваша верная и благодарная ученица
Светлана Тер-Минасова

РЕВЕККА ФРУМКИНА

В ТРУБНИКОВСКОМ ПЕРЕУЛКЕ

Интересно, сколько человек выучило латынь благодаря Н. А. Федорову? Не у Федорова, а именно благодаря Федорову? Редкий дар: любить не только то, чему учишь, но и тех, кого учишь. Притом всех вместе — пусть одни внимают тебе по обязанности, а другие — с подлинным интересом; вот эти — способные, а иные — не очень, прилежные вперемежку с лентяями, одаренные вместе с заурядными — все они в данный момент сидят в очередной неказистой аудитории филфака с исцарапанными столами, немытыми окнами, скверными досками и вечно унылым освещением. Любопытно, в каком зале они взаправду поместились бы *все сразу*?

Впрочем, я уверена, что если бы Николай Алексеевич Федоров преподавал не латынь, а, скажем, аграрную историю или каноническое право, результат был бы тот же — тысячи людей сегодня вспомнили бы, как быстро летело время на его занятиях, как укладывался материал в памяти, какие потрясающие подробности оживали и какие невероятные казусы анализировались. И как он дарил своим ученикам всего себя — а не только свои познания.

Уверенность моя особого рода. Я не только никогда не училась у Федорова, но вообще не принадлежу к славной когорте классиков (теперь говорят «*антиковедов*»). Но бывают более важные уроки — уроки жизни. Именно у Федорова я получила их тогда, когда это было мне не просто необходимо, но необходимо *жизненно*, то есть чтобы *жить*. С тех пор прошло более полувека, что, смею думать, позволяет мне и далее обойтись без полного титула Н. А. Федорова и называть его просто по имени.

Итак, в 1949–1950 гг. я училась на первом курсе филфака МГУ. Колю Федорова (он был тогда аспирантом кафедры классической филологии) прислали к нам агитатором. В этом качестве Коля должен был отвечать за «общественное лицо» двух групп испанского отделения. Я смутно помню «политинфор-

мации», которые он время от времени с нами проводил, что в то черное время было особенно непросто сделать без фальши.

В группе Колю любили, а одна из девочек была и на самом деле в него влюблена. Я же всегда была склонна к преобразованию очередных своих безответных увлечений в дружеские отношения, и здесь Коля не был исключением. Не думаю, чтобы мы когда-либо встречались один на один — до поры.

Все изменилось, когда в декабре 1950-го трем девочкам и двоим мальчикам, которых связывала даже не дружба, а *единственная* совместная встреча Нового года, было предъявлено обвинение в «создании контрреволюционной организации, противопоставившей себя комсомолу». (В подробностях этот сюжет изложен в моих мемуарах: «Внутри истории». М.: НЛО, 2002.) При всей ничтожности моего жизненного опыта я все же понимала, что нас ждет. По моим тогдашним представлениям арест был равнозначен смерти.

Несомненно, лучше было умереть, не дожидаясь ареста. Я не видела ни одного человека, который бы вернулся «оттуда». Зато «туда» к этому моменту уже попали многие, в том числе ближайшие друзья нашей семьи. Разгоралось «дело врачей», других еще раньше забрали как членов Еврейского антифашистского комитета. С факультета исчезали яркие преподаватели и сильные студенты.

Всей этой истории, получившей огласку и на других факультетах МГУ, сопутствовал перелом в отношениях с университетскими друзьями. На филфаке принято было здороваться за руку — теперь мне перестали подавать руку. Но еще тяжелее переживалось поведение любимых преподавателей. Те из них, кто прежде звал меня по имени, отныне предпочитали меня просто не замечать. Я перестала спать и существовала как бы по инерции.

Потом обвинение трансформировалось в так называемое «персональное дело» и пошло по комсомольским инстанциям. Однако никто из нас — включая моих родителей — не понял, что такой оборот почти всегда свидетельствовал о том, что госбезопасность потеряла к нам интерес. Так что я продолжала жить под дамокловым мечом, выслушивая в свой адрес все бо-

лее пламенные обвинения со стороны однокашников и комсомольского начальства.

Прохождение разнообразных кругов ада растянулось на год с лишним... Единственным человеком, который поддерживал меня все это ужасное время, был Коля Федоров. Коренной москвич, Коля жил в Трубниковском с тяжело больной мамой. У нее была астма, так что жизнь в семье протекала под постоянной угрозой очередного приступа. До всеобщего увлечения Античностью было еще далеко. Найти заработок на стороне было нереально. Семья перебивалась на мамину пенсию и Колину стипендию.

Сочувствуя мне, Коля несомненно рисковал: в отличие от наших преподавателей, которым с этой стороны ничего не грозило, Коля, как агитатор, отвечал за нашу «идейность».

Я стала бывать в Трубниковском, в типичной старомосковской квартире, где у Коли была отдельная, почти пустая комната с огромным письменным столом, стоявшим углом. Коля зажигал настольную лампу и усаживал меня в кресло напротив стола. Из наших разговоров я помню лишь, что Коля искал какое-то рациональное объяснение случившемуся и стремился узнать, каковы были те «порочные» вкусы и убеждения, в которых нас обвиняли. Он спрашивал меня, читала ли я — раз уж мы были такие романтики, что любили Ростана, — «Голубой цветок» Новалиса. Я не знала, кто такой Новалис...

А не любить Ростана было бы странно: вся Москва тогда спорила, кто был лучшим Сирано — Астангов в театре Вахтангова или Берсенев в театре имени Ленинского комсомола.

Эти разговоры постепенно стали для меня единственной отдушиной — мне не надо было делать вид, что ничего не случилось; не надо было скрывать, что отныне на филфаке я чувствую себя совершенно чужой. (Замечу, что возникшее тогда отчуждение сохранилось на всю жизнь, не случайно потом я не была ни на одной встрече бывших выпускников — чувство всепроникающей фальши меня уже не покидало.) И только сидя в сумерках в кресле напротив Коли, с которым до всего этого мы были лишь знакомы, я могла вынырнуть на поверхность и нормально дышать.

Спустя годы, когда разница в возрасте и положении между нами стерлась, я неоднократно пыталась объяснить Коле, чем я ему обязана. Он забыл, как много месяцев регулярно звонил мне по телефону, начиная разговор словами: «Ну что это у вас за голос?» Что бы я ни говорила, Коля только отмахивался.

Последний раз я наблюдала подобную сцену, когда в 1997 г. он откликнулся на мое настойчивое приглашение и пришел в РГГУ на презентацию моих мемуаров «О нас — наискосок», где упомянутая история была довольно подробно описана. Коля даже выступил, — по-моему, это была заслуга его жены Кати.

Это был все тот же Коля — высокий, худой, те же интонации — некая неокончательность, удивление, чуть капризная скороговорка. Сказал он нечто наподобие: «*И что это Рита про меня напридумала? — ничего я не сделал*».

Коля был и остался нормальным русским интеллигентом.

ЛЮДМИЛА ЧЕРНЕЙКО

ЮБИЛЯРУ

(*Из прошлого в настоящее*)

Николай Алексеевич Федоров!
В этом имени легкость и свет –
в нем анапест гнездо свил. А оторопь
пробирала студенток всех лет,
когда легкой походкой стремительно
рассекал он филфака простор.
В нем латынь обжилась удивительно
и свободна в устах до сих пор.

Седовласою римской античностью
Вы сердца покоряли, умы,
примиряя с унылой обычностью,
от которой страдали все мы.

Как Катулла, Тибулла, Проперция
Вы читали! Внимали мы Вам.
И в поэзии значима терция –
интервал в две ступени к словам.

Звукоряд (vocum ordo звучания)
был надежным в строках и меж строк.
А когда воцарялось молчание,
про себя повторяли урок.

Повторяли за Вами манеры мы,
ироничность копируя, стиль.
Только как повторить непомерное –
интеллект, красоту? Много миль

отделяет меня от античности.
Тот Ваш давний урок — на века.
Обаяние облика, личности
не померкло. Латынь велика,

но ее воплощенье в отечестве
Вы — эпохи необщий портрет.
А в абстрактном земном человечестве
лишь конкретное дарит нам свет.

Январь 2015

МАРГАРИТА ЧЕРНЫШОВА

О НИКОЛАЕ АЛЕКСЕЕВИЧЕ ФЕДОРОВЕ

Встреча

В один из весенних дней открытых дверей на филфаке МГУ я переходила из аудитории и аудиторию, слушая рассказы о будущей жизни студентов разных отделений, и, наконец, на десятом этаже, где до сих пор размещается классическое отделение, оказалась в крошечной комнатушке.

набитой абитуриентами, — здесь об учебе студентов-классиков сначала торжественно вещал Исайя Михайлович Нахов, а потом дошла очередь до Николая Алексеевича Федорова.

И тут началось что-то невообразимое: бросая неистовые взгляды на испуганных слушателей и потрясая при этом развевающимися длинными волнистыми волосами, он обрушивал на застигнутых врасплох детишек шквал эмоций и говорил, говорил... Смысл его речей почти что не имел значения: совершенно зачарованные и уничтоженные сознанием собственного невежества все замерли.

В 1972 г. я поступила на классическое отделение.

Занятия

Если меня спросят, как проходили наши занятия латинским языком с Николаем Алексеевичем, я не смогу это описать, не смогу даже — для облегчения своей задачи — подобрать подходящего сравнения. Это было что-то невообразимое! Вначале мы не просто его боялись — нас охватывал какой-то священный трепет, замешенный на восхищении, при этом — не говорю о других — я весь первый семестр чувствовала себя совершенно раздавленной.

Когда несносная грамматика осталась позади — а Николай Алексеевич отводил на нее тот самый злосчастный первый семестр, — гневный преподаватель смягчился и начались невероятные путешествия в мир римской поэзии, полной любви и страданий, созвучных нашей молодой душе; каждое занятие — открытия.

И тут вдруг мы все, не говоря уже о нашей поэтессе Любе Якушевой, стали переводчиками, писателями и поэтами.

Журнал

На волне охватившего нас воодушевления на втором курсе я придумала издавать рукописный журнал со студенческими творениями «классиков». Первый — и единственный — номер этого журнала, главным редактором которого я

весьма нескромно именовала себя, по счастью, сохранился. В эту затею я втянула двух своих подруг по классическому отделению: Олю Клековкину (в замужестве — Захарову) и Олю Плоткину (в замужестве — Ахтёрову).

Бросая вызов знаменитым переводчикам Катулла, в нашем журнале появился Любин вариант «Miser, Catulle...»:

Катулл, бедняга, брось пустые заботы,
И что погибло, знай, погибло навеки.
Тогда тебе сверкали светлые солнца,
Когда по зову милой часто ходил к ней,
Любя так сильно, как никто не сумеет.
У вас хватало там смешных развлечений,
К которым вы всегда согласно стремились.
Тогда тебе сверкали светлые солнца.
Теперь она не хочет. Но не преследуй
Ее, когда бежит. Живи, не страдая,
Решив в уме, — и сердце сделай упрямым.
    Прощай, девчонка. Стал Катулл уже твердым,
Тебя он звать не станет, зря умоляя.
Но ты страдать начнешь, коль он отвернется,
Злодейка. Что за жизнь тебе остается!
Кто рядом будет? Кто прекрасной увидит?
Кого теперь полюбишь? Чьей назовешься?
Кого кусать ты будешь, в губы целуя?
Но ты, Катулл, крепись и будь непреклонным.

Журнал еще искал название, поэтому на обложке первого номера (это был тонкий школьный альбом для рисования) для обсуждения будущих читателей и авторов на выбор стояло по-русски: «**Малый вестник классического отделения МГУ**», а затем — на латинском и греческом языках:

HOMERI POSTERI («Потомки Гомера»)
ΤΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΑΓΜΑΤΑ («Ученические творения»)
RES STUDIOSORUM («Труды студентов»)
ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ («Твори!»).

Держа в тайне от Николая Алексеевича свой замысел, мы будто нечаянно задавали ему вопросы: как перевести на латинский язык «потомки» и т. д.

Когда я упомянула, что на каждом занятии происходили открытия, — это не преувеличение. Николай Алексеевич не просто читал с нами латинский текст и мы его переводили — наше чтение сопровождалось анализом грамматики и включало элементы критики текста, подразумевавшей обсуждение возможных разночтений и реконструкцию предполагаемых первоначальных форм. Так, благодаря высокому профессионализму наших преподавателей обучение на классическом отделении постепенно формировало научный склад ума студентов, что позволило позже многим выпускникам занять достойное место в серьезной науке.

Потому-то в нашем рукописном журнале, созданном «зелеными» второкурсниками, в обращении, напечатанном красным и черным цветом на пишущей машинке (где, кстати, прозвучало еще одно название — «GESTA CLASSICORUM»), содержался призыв писать, обсуждать, творить — и художественные, и научные труды. Привожу это обращение:

Друзья классики!

Мы просим вашего благосклонного внимания. Любя древних греков, римлян, а также всех, кто сейчас учится и преподает на классическом отделении МГУ, мы решили начать выпуск привилегированного журнала «GESTA CLASSICORUM». Журнал будет иметь прозаический, поэтический, информационный и др. отделы.

Мы хотим дать возможность всем творящим, думающим классикам выносить свои произведения (любые, не только научные) на суд друзей, ибо в последующих номерах смогут выступить и оппоненты. В журнале будут печататься переводы, стихи, рассказы, отрывки из курсовых и семинарских работ, впечатления от виденного и слышанного, новости классического отделения, предложения, пожелания и мечты.

Нам бы хотелось, чтобы в информационный отдел поступали сведения о том, кто чем занимается в данный момент (имеется в виду научная работа студентов), — для создания более

тесных контактов и обмена опытом. Если вы примете участие в издании нашего журнала, то вполне возможно, что, достигнув определенной высоты, журнал будет ходить не только по студенческим рукам, но его станут читать даже профессора и преподаватели.

Со своими произведениями обращаться к главному редактору журнала...

В первом номере было несколько разделов: «Переводы», куда вошли: 1) два перевода одной эпиграммы Марциала — Любы Якушевой и автора этих строк, 2) приведенный выше Любин перевод стихотворения Катулла, и 3) довольно пространный перевод дифирамбов Гераклу и Тесею Бакхилида, который мы получили от Георгия Чистякова.

Второй раздел назывался «Подражания». Здесь находилось написанное Олей Плоткиной стихотворным гекзаметром «Поздравление с днем рождения» (24 строки). И если предыдущие разделы содержали материалы, напечатанные на пишущей машинке, то дальше шла рукописная часть. Олино стихотворение переписано моей рукой. Начиналось оно так:

О пышнокудрая дева! Осьмнадцать кругов и один уж
На колеснице златой совершило великое солнце
И принесло нам тот день, что дарует веселье живущим,
Лучше которого вряд ли отыщется в целой вселенной.
Выйдут на луг быстроногие девы в венках из укропа,
Юноши вслед побегут, чтоб успеть на торжественный праздник...

В третьем разделе — «Сатира, юмор» с подзаголовком «Из цикла “рассказики”», — было помещено анонимное сочинение, автор которого из скромности пожелал остаться неизвестным (о чем сказано в постскриптуме), без сомнения посвященное Николаю Алексеевичу и нашим занятиям латинским языком, — «Три раза в неделю», где в шутливой форме Оля Клековкина (теперь уже можно назвать имя автора) описала вечную боязнь встречи с грозным преподавателем студента, опоздавшего на латинский язык. Приведу яркий отрывок:

«Если когда-нибудь, дорогой читатель, вы увидите растерзанную фигуру студента, нарушающего гармоничный строй движущейся к Университету колонны, который несется, делая гигантские прыжки, странно размахивая руками и задевая сумкой собратьев-студентов, то не сомневайтесь, что перед вами классик, опаздывающий на латынь, в воспаленном мозгу которого с адской быстротой проносятся ужасающие картины своего появления на занятии через 10 минут после его начала.

С трудом сдав в гардероб пальто и, конечно же, забыв при этом номерок, он, этот несчастный студент, перепрыгивая через ступеньки, устремляется к лифту. И тут перед ним вырастают две суровые мрачные личности. Железными, не знающими снисхождения голосами они требуют пропуск, не слушая жалкий лепет задыхающегося бедолаги: “Латынь, латынь...”

<...> Прорвавшись к лифту, несчастный вынужден прервать свой бег и ждать. Двери лифта наконец-то открываются, но нашего студента оттесняют назад. Ему все же удается прорваться, но тут появляется надпись “Перегружено”, и он, не успев опомниться и сообразить, как все произошло, оказывается за пределами лифта.

И тут звенит звонок...»

По ряду причин журнал не имел продолжения.

Но в нашу студенческую жизнь, одним из главных действующих лиц которой был Николай Алексеевич, ворвалась другая стихия — театр.

Театр

Ходили смутные слухи, что когда-то на классическом отделении был свой античный театр, созданный Николаем Алексеевичем. Сейчас уже и не вспомнить, кому принадлежала мысль возродить его силами нашей группы. Кажется, эта идея особенно была по душе Лене Алексеевой (однажды кто-то сказал о ней: «бело-розовый зефир», в самом деле, она была, как говорится, «кровь с молоком», очень веселая и заводная). Лена все время побуждала Николая Алексеевича придумать что-нибудь.

В конце концов репертуар нашего латинского театра оформился. Сначала это была только одна пьеса «Dulcitius»

немецкой монахини и писательницы X в. Гросвиты (Хросвиты) Гандерсгеймской, действие которой происходило во времена знаменитого своими гонениями на христиан римского императора Диоклетиана. Николай Алексеевич по ходу репетиции придумывал жесты, позы, предлагал стихи, музыку к которым подбирала и даже сочиняла Лена Джагацпанян (она была из группы постарше, но как-то сразу очень органично влилась и позже всегда сопровождала нас во время гастролей). Получился самый настоящий мюзикл. Несмотря на высоконравственное содержание пьесы, актеры весь спектакль весело пели и танцевали. Роль Диоклетиана исполняла Наташа Германюк, Дульциция — Люба Якушева (Стародубцева), солдат и сторожей представляли Оля Клековкина (Захарова) и Оля Плоткина (Ахтёрова), трех христианских дев изображали: Агапу — Люся Гринчук, Ирену — Лена Алексеева, а я — Хионию. С этой пьесой мы выступали на филологическом факультете во время «посвящения в студенты». Сохранилась фотография, на которой Миша Бибиков — ныне ученый с мировым именем — «ΟΜΗΡΟΣ» (как гласит табличка на его груди) своим знаменитым басом произносит важное напутствие первокурсникам.

Вторая пьеса, «Бакхиды» по Плавту, была создана нашим режиссером в том же стиле. Состав актеров остался прежним, только мне не посчастливилось: я хотя и начинала репетировать в самом начале, но не смогла принимать участия в этой пьесе.

Наши постановки имели такой успех, что театр пригласили выступить в Армении, в Ереване. Мы, девушки филологического факультета, как известно не избалованные вниманием противоположного пола, в этом городе, к своему удивлению, оказались не просто окруженными неподдельным и непривычным вниманием, но у каждой из нас образовался кружок поклонников, которые ходили за нами по пятам.

Но это было только начало.

Потом нас пригласили выступить в Восточной Германии, в тогдашней ГДР. Это уже были настоящие гастроли.

Наша труппа переезжала из города в город, и везде мы давали спектакли: в Наумбурге, Карл-Маркс-Штадте (теперь это вновь Хемниц), Лейпциге и в других городах. Университетская газета «UZ Karl-Marx-Universität» дважды написала о нас: один раз это была маленькая заметочка «Moskauer Studenten brachten Plautus-Komödie zur Aufführung» (20 мая 1977 г.) с фотографией танцующих канкан, второй раз нашему выступлению была посвящена целая статья «Moskauer Plautus-Musical in der Moritzbastei» (27 мая 1977 г.), где автор (Doz. Dr. habil. J. Werner), похвалив танцевальные и песенные номера, особенно выделил режиссера, ученого-античника, доктора Федорова («ein Sonderlob gebührt dem Regisseur, dem Altertumswissenschaftler Dr. Fjodorow») и пианистку, аспирантку-византинистку (имя Лены Джагацпанян не названо); дальше в статье сообщалось о содержании научных докладов, произнесенных в немецкой аудитории «руководителем актерской труппы» профессором И. М. Наховым, — именно он и организовал эту удивительную поездку. Сохранилась фотография, где на фоне постамента памятнику Гёте и Шиллеру в Веймаре запечатлены: Николай Алексеевич, Исайя Михайлович, Лена Джагацпанян и я.

Вообще есть довольно много фотографий «актрис» нашей группы в костюмах и фрагментов из спектаклей.

Лена Алексеева мечтала о продолжении нашей театральной жизни, побуждала к этому и нас, и Николая Алексеевича, но дальше двух пьес дело не пошло.

Эпилог

Говорят, потом Николай Алексеевич еще ставил спектакли с другими студентами-классиками, но признавал (не знаю, правда ли это), что мы все-таки оказались лучшими.

Из семи девушек нашей группы в Москве остались только мы с Олей Клековкиной (Захаровой): четверо разлетелись по разным странам, Люба Якушева ушла в мир иной.

Когда-то в самом начале нашей учебы на классическом отделении Николай Алексеевич пугал нас, что все мы будем

безработными, намекая на то, что «классики» в современной (тогда — советской) жизни не нужны. Но, по-моему, независимо от того, как сложилась жизнь каждого из нас, никто не пожалел о полученном классическом образовании, которое дало нам мало с чем сравнимое внутреннее богатство, и одна из главных ролей в этой «пьесе» принадлежит, без сомнения, Николаю Алексеевичу.

ГАЛИНА ШЕЛОГУРОВА

О Н. А. Федорове — уникальном педагоге, латинисте-виртуозе, интеллигенте высочайшей пробы — в филологическом сообществе давно уже ходят легенды. За годы учебы на филфаке я их слышала немало, впоследствии к ним добавились новые. Но об этом наверняка есть кому рассказать. О Федорове-начальнике известно явно меньше. Мне посчастливилось оказаться среди тех немногих, кто работал под его началом в РПУ, где он возглавлял (а точнее, вдохновлял) во многом созданный его усилиями историко-филологический (впоследствии редуцированный до филологического) факультет. Понятие «администратор» было не просто неприложимо к стилю работы нашего декана, оно противоречило его человеческой сущности и никак не вязалось с артистизмом его натуры. Он не командовал, а стремился вызвать интерес к делу, абсолютно доверяя в профессиональном плане приглашенному им преподавателю. При этом чувствовалась некая душевная вибрация: а комфортно ли человеку работать в данном месте в данных условиях? Но и спрашивать умел — как с педагогов, так и со студентов: последние при встречах все еще с удовольствием муссируют эмоциональные (но никогда не оскорбительные) разносы, которые устраивал Николай Алексеевич нерадивым. И ни один из них, смею утверждать, не мог бы упрекнуть декана в несправедливости или предвзятости. Атмосфера на факультете была, как сейчас понимаю, уникальная. Н. А. Федоров старался создать некое объединение педагогов и студентов в процессе обретения последними образования, которого

нельзя было получить ни в одном вузе страны. Решение этой задачи обеспечивала не только специально созданная программа на базе гуманитарных и вероучительных дисциплин, но и неформальное общение студентов с преподавателями, в том числе и с самим деканом (который, кстати сказать, прекрасно обходился без собственного кабинета и прочих атрибутов «власти»). Предметом обсуждения в таких случаях могли стать любые явления, события, факты, поскольку Николай Алексеевич никогда не был сугубо кабинетным ученым. Ему было интересно практически все, и услышать его мнение, всегда небанальное, иронично поданное, эмоционально наполненное, стремилось большинство окружающих. В таких беседах, часто перераставших в споры, особенно подкупало неравнодушие участников. Николай Алексеевич, что называется, «заводился», мог по-юношески запальчиво доказывать свою точку зрения, при этом дискуссия велась в лучших традициях риторики. Может быть, такие словесные поединки сослужили добрую службу тем, кто впоследствии избрал своим поприщем науку. А на это ориентировала учеба на факультете, и сам декан давал соответствующую установку. Его личным большим праздником всегда были процедуры защиты дипломов (конечно, речь идет не о халтурщиках, которых поначалу практически не было). Некоторых выпускников оставляли преподавать, то есть действовала подзабытая к тому времени практика создания «школы», осуществления преемственности, подготовки смены. И в этом историко-филологический факультет РПУ тоже был, по-моему, уникален. Если бы возможно было продолжать его развитие по этой модели...

Но даже то, что успел сделать Н. А. Федоров на месте декана и бессменного преподавателя, впечатляет: есть славные имена выпускников, есть плеяда редких специалистов, без которых сложно было бы осуществить проект «Православная энциклопедия», есть просто хорошо образованные люди, окончившие этот факультет. И все они, несомненно, несут в душе благодарность и признательность Николаю Алексеевичу за его бескорыстный и вдохновенный труд.

ЛИНА ЭПШТЕЙН

О КОЛЕ ФЕДОРОВЕ

Дружба — это такое святое, сладостное, прочное и постоянное чувство, что его можно сохранить на всю жизнь, если, конечно, не пытаться просить денег взаймы.

Марк Твен

Господь даровал нам родных, но друзей мы, слава богу, вольны выбирать сами.

Этел Малфорд

В согласии с советом Марка Твена мы с Колей не впутывали денежные расчеты в наши отношения (да и не было никогда этих денег), так что дружеские чувства сохранились до сего дня, то есть более чем на полвека.

Познакомились мы в студенческие годы. Коля учился на третьем этаже здания МГУ на Моховой, а я на втором, где обитали философы и немногочисленные психологи (12 студентов было принято тогда впервые на психологическое отделение). Все страшные послевоенные кампании, начиная с космополитской и заканчивая «делом еврейских врачей-убийц», пришлись на время нашей университетской жизни. Скучать было некогда! На философском факультете время от времени исчезали студенты. Однако большинство учившихся более или менее разделяли оптимистический взгляд на будущее (хотя у многих, в том числе и у меня, были репрессированы отцы или кто-то из родных). Какие-то атрибуты студенческой жизни (дружбы, романы, студенческие вечеринки) сохранялись. При этом главной и непременной обязанностью студентов считалась общественная работа.

Коля занимал важный пост руководителя лекторской группы университета и уговорил меня стать лектором. Я подготовила две лекции и читала их по заявкам в разных местах: в школах, на заводе и однажды даже в Управлении МВД. Коля подчас ездил со мной, контролируя, как мне ка-

залось, качество лекций. В этих поездках мы успевали поговорить обо всем, так что мое отношение к «начальству» стало вполне дружеским. Поэтому я и не удивилась, когда Коля пригласил меня в гости. Тогда они с мамой жили в большой коммунальной квартире дома в Трубниковском переулке. Зинаида Михайловна очень радушно меня принимала. В те годы из-за бронхиальной астмы она практически не выходила из дома. Было приятно увидеть трогательное Колино отношение к матери (он был всегда начеку). Мы могли беседовать, сидя в другой комнате, и ничего явно тревожного не чувствовалось, а Коля вдруг поворачивался в сторону Зинаиды Михайловны: «Мама, что не так?» Я поняла также, что Колины волнения перед экзаменом определяются необходимостью получать повышенную стипендию, чтобы они с мамой могли выживать. И он получал стипендию имени Маяковского на третьем и четвертом курсе и Сталинскую на пятом.

Помню волнения, связанные с выселением из этого дома в 1971 г.: где дадут жилье и какое. Казалось, что все хорошо кончилось. Они получили неплохую двухкомнатную квартиру в Кунцево. Но когда я к ним приехала в жаркий июньский день, пришлось закрыть все окна, потому что частые поезда Белорусской дороги мешали слышать друг друга. Зинаида Михайловна жаловалась мне, что Коля не женится, ей так нужен человек, на которого можно его спокойно оставить. Коля же рассказал, что, познакомившись с любой девушкой, мама говорит ему: «Нет, это совсем не Лина». Как бывший психолог (переучившийся на физико-химика), я говорила Коле, что это бессознательная маскировка страха больного человека, боязни остаться одному. Я же превратилась в «идеал», поскольку, будучи замужем, опасности не представляла. Стало грустно от мысли, что Коле предстоит быть тем, у кого в семье одна только мама.

После ухода Зинаиды Михайловны мы с Галей, другом и бывшей сокурсницей Коли, стали лихорадочно разрабатывать планы его спасения — обмена поближе к нам (на Юго-Запад) и знакомства с надежной девушкой (дамой). Но, со-

бравшись на Колин день рождения, мы узнали от хозяина, что можем расслабиться. У него уже есть Катя и появился сын, названный Алешей. Мы познакомились с Катей в уютной квартире, полученной при обмене, с видом на реку и Белый дом. Старые Колины друзья и Катю и квартиру оценили и приняли в свой круг. С тех пор в этом гостеприимном доме в Колин день рождения всегда собирается очень много народа, среди которого ученицы Николая Алексеевича составляют большинство. Глядя на них и слушая их речи, понимаешь, что встреча с таким Учителем — это их огромная удача. Когда моя внучка участвовала в подготовке юбилея телеканала «Культура» и попросила посоветовать, у кого из моих интеллигентных и красивых знакомых стоит взять интервью, я без сомнения выбрала Колю. Интервью удалось, но в программу сюжет не вошел, к сожалению, по причинам, не зависящим от автора...

В конце моего рассказа о некоторых мелких эпизодах долгой жизни Николая Алексеевича хочу сказать: по-моему, дело, которое он с блеском делал всю жизнь, — самое благородное и нужное в нашей стране. Нести культуру должны светлые, чистые и интеллигентные люди, и когда их станет больше, наше общество возродится.

DE STATU ET STUDIO LATINITATIS IN RUSSIA

Collegae doctissimi!

Meum propositum est paucis verbis vobis de statu et studio Latinitatis in Russia dicere.

Condicio ac usus Linguae Latinae in Russia multum differt ab Europa Occidentali, ubi Latinitatis hereditas propria atque nativa, nullo temporis momento intermissa est, cum Russia diu (usque fere ad saeculum quindecimum), a processu cultus humanitatisque Occidentalis seclusa esset, et tantum aetate Basilii Tertii et Iohannis Terribilis notitia ac usus Linguae Latinae relationibus inter Russiam et Europam ecclesiasticis et publicis institutis nacti essent.

Inter omnes constat animi culturam in Russia mediaevali primo auctoritatem Bysantiae secutam esse, ideoque imprimis confessionalem, immo monasticam proprietatem habuisse, omnem Occidentalem (id est Latinam) influentiam aspernantem. Nihilominus hac auctoritate non obstante litterarum Latinarum studium paulatim initio, dein magis magisque audacius incessanter crescebat, versiones librorum Latinorum, iam non solum theologorum, sed etiam laicorum, ita ut saeculo septimo decimo numerus versionum e Latino sermone fere aequaretur versionibus e Graeco.

Nihil fere notum est de litteris Rossicis ante aetatem Baptismatis Rossiae, et tantum ab hoc tempore (acceptione scilicet fidei christianae more Bysantino) apparere incipiunt versiones e lingua Graeca. Dicimus hic quidem de versionibus, non de operibus originalibus, rarissimis hoc tempore, nam versionibus eorumque qualitate, non operibus originalibus, secundum verba eminentis philologi Rossici Alexeius Sobolevsky, dicentis «in Vetere Rossia progressum animi cultus non operibus originalibus, sed versionibus eorumque proprietatibus determinatum esse».

Primae versiones Latinae ad saeculum quintum decimum pertinent, ad tempus conventus Ferraro-Florentini (1438–1439), inter

quas epistola Pontificis Innocentii Tertii de Conventus decretis. Huic Conventui legati Rossicae ecclesiae interfuerunt (quae res argumento esse potest in Russia hoc tempore iam fuisse homines linguam Latinam bene scientes). Ceterum ipsa conventus decreta, quae Unionem inter ecclesias catholicam et orthodoxam proclamaverant repulsum acerrimum a maiore clericorum parte acceperunt, hostiliter omnia ab Occidente manantia excipientium. Nam, ut notum est, animi cultura in Rossia Mediaevali auctoritatem Bysantinam secutam esse, ideoque imprimis confessionalem, immo monasticam proprietatem habuisse, omnem Occidentalem (id est Latinam) influentiam aspernantem, ut hostilem periculosumque. Nihilominus litterarum Latinarum studium illa auctoritate non obstante paulatim initio, dein magis magisque crescebat. Hoc studium praecipue erat in regione Novigradi, quae propius Occidenti est, ideoque crebriores arctioresque cum Occidentalibus civitatibus relationes habebat. Ad finem saeculi quinti decimi Novigradi, iam Moscoviae adiuncti, circulus quidam oritur interpretum, qui iussu Gennadii, archiepiscopi Novigradiensis (unde nomen huic circulo *Gennadianus* aut *scriptorium Gennadianum*) plurimas versiones librorum theologicorum efficiunt, inter quas principem ac maxime momenti locum plena versio omnium librorum Sacrae Scripturae possidet, quae editio AD 1499 *Biblia Gennadiana* nuncupata est. In hac editione primum aliquot libri Sacrae Scripturae translati sunt, nempe Paralipomenon, Esdrae I–II, Tobias, Iudith, Esther, Machabaeorum I–II, Sapientiae. Notandum est has translationes e Vulgata, id est e sermone Latino factas esse.

Inter interpretes, qui huic circulo interfuere, imprimis memorandus est Demetrius Gerassimov, vir non mediocris ingenii, qui in Europa cognomen Erasmi meruit, doctus in Livonia, ubi linguas Latinam et Germanicam didicit, iuvenis etiam duos annos Romae et Venetiae habitavit, iam sexagenarius legatus Basilii regis Romam ad Pontificem Climentem missus est, ubi sympathiam, immo amorem et admirationem omnium exitavit doctrina sua, sermone eleganti ac hilari, acumine ingenii et iucunde faceteque colloquendi arte. Praeter libros Sacrae Scripturae aliquot alios libros varii argumenti transtulit, inter quos tractatus theologo-philosophicus «Disputatio de Adventu Christi» Nikolai de Lyra (aliter «Probatio de Adventu

Christi»), «Rationale Divinorum officiorum» (cap. 8) G. Durandi. Iam iuvenis «Artem Grammaticam» Donati transtulit, quae postea ad linguam Rossicam (ecclessiastico-slavonicam) ediscendam mutatis exemplis adoptata (Miletius Smotricky) et multos annos in usu scholarum fuit. Inter versiones ab eo factas sunt quoque opera saecuları argumenti, exempli causa liber «De Moluccis insulis», ubi de navigatione Magellani ad eas insulas narrabatur.

Gennadio mortuo Mosquam demigravit, ubi Maximum Graecum adiuvabat in translatione Patrum «Explicationum in Psalterium». Maximus Graecus linguam Rossicam nesciebat, Gerassimov autem — linguam Graecam, itaque Maximus e Graeco sermone textum patristicum in Latinum traducebat, Gerassimov — e Latino in Rossicum.

Seaculo septimo decimo edita sunt dictionaria Latino-Rossica (1642 et 1650). Notissimum est «Lexicon Graeco-Slavono-Latinum» Epiphanii Slavinezky et eiusdem «Lexicon philologicum», quod re vera lexion theologo-philosohicum fuit, aliquo sensu dictionario encyclopaedico simile. Eodem tempore aliquot Artes Grammaticae provenerunt.

Extiterunt et alii interpretes, quorum numerus paulatim augebatur, nomina tamen saepe ignota erant. Ad saeculum septimum decimum numerus translationum ad centum cum dimidio attingit, praecipue e Latino (nec non e Germanico et Polono), et Latinae translationes numero suo Graecis fere aequabantur. Praeter opera theologica libri de medicina, geographia, historia, mathematica etc, «artes» varii generis (medendi, computandi, eloquendi, rei militaris, fortificandi, equitandi etiam cibos coquendi etc) traducebantur, aeque ac descriptiones miraculorum et perigrinationum, fabulae, facetiae, narrationes «animum capientes» quae dicuntur (exempli causa, etiam fine saeculi quinti decimi translata erat «Historia de Vlado Dracula», licet non statim e Latino, sed videlicet e Germano). Translati sunt quoque libri classicorum Antiquorum et Mediae Aevi — «Geographia» Pomponii Melae, nonulla opera Beati Augustini, Alberti Magni, Raimundi Lullii et al. Dicendum est tamen electum librorum ad traducendum erat interdum fortuitus et tumultuarius, non semper traducebantur libri hoc opere digni. Multi interpretes erant homines peregrini, qui non satis bene linguam Rossicam sciebant, ideoque non omnes versiones erant bonae qualitatis.

Eodem saeculo septimo decimo initium capit institutio systematica puerorum iuvenumque et oriuntur litterarum scholae. Ipso initio saeculi (1601) Mosquae in vico, qui Rossice «Nemetzskaja sloboda» appellabatur, ubi solum perigrini habitabant, ludus litterarius instituitur, in quo lingua Latina et Germana docebantur, quam scholam non solum liberi peregrinorum, sed etiam Moskovitarum nativorum frequentabant. Postea aliae scholae ortae sunt, ubi initio solum Graecorum lingua, dein Graecus et Latinus sermo discebantur (A.D. 1634 a pathriarcho Philareto condita), anno 1665 aperta est schola apud monasterium Salvatoris (Spassky monastyr').

Sed profecto maximi momenti res, magnitudo ac significatio cuius exagerari non potest, erat institutio Mosquae (1668) Academiae Slavonis-Graecis-Latinis litteris docendis (Slavjano-Greko-Latinskaja Akademia), ubi pari iure tres linguae et litterae docebantur a magistris ex Ukraina (Collegium Kievense) et Alba Rossia invitatis, qui ipsi in Universitatibus Europae eruditi erant. Sexaginta quinque annis post (AD 1750) in fundamento hac Academia iacto ab alumno eius inclito Mihael Lomonossov auctore Universitas Mosquensis creata est, cuius discipuli praeter Lomonossov, eminentes culturae Rossicae actores erant Trediakovsky, professor eloquentiae Rossicae et Latinae, Cantemirus poeta, Bazenov architectus.

Ab initio saeculi duodevicesimi lingua Latina magis magisque linguam Graecam usu detrudebat et locum eius in scientiis docendis occupabat. Ita omnes professorum lectiones in Universitate Latine gerebantur, aeque ut et omnia instrumenta et acta administrativa, qui mos usque ad initium saeculi undevicesimi mansit.

Hic inter cetera adiciendum est non solum in Academia et Universitate, sed etiam in sholis ecclesiasticis, quae Seminaria appellantur, linguam Latinam in usu docendi fuisse usque ad saeculum undevicesimum, quae res non semper a multis clericis benigne accipiebatur, timentibus ne una cum Latinitate malignam et periculosam auctoritatem Occidentalem in clericorum mentes penetret. Nihilominus studium linguarum Latinarum in his scholis conservatum est, licet ipsa linguarum institutio sermone Rossico fiebat. Et nunc utraque lingua in omnibus Seminariis, Academiis, Universitatibus orthodoxis docetur.

Quod ad educationem saecularem attinet in primo dimidio saeculi duodevicesimi duo gymnasia aperta sunt, alterum apud Academiam Scientiarum Petropoli 1726, alterum — apud Universitatem Mosquensem (1755). Institutio linguae Latinae hic necessaria fuit. In Universitatibus autem duae cathedrae apertae sunt: antiquitatum Graecarum et antiquitatum Latinarum. Haec fuit initium philologiae classicae in Rossia.

Saeculo undevicesimo studium Latinitatis magnum progressum fecit. Multi viri docti, philologiae classicae peritissimi, hoc saeculo et sequenti provenere, inter quos imenentissimos philologos nominare possumus, sicut exempli gratia Theodorum Korsh, non solum philologiae classicae, sed etiam Arabicae et Slavonicae, litterarum terrarum Occidentalium peritissimum, nec non dono poetico ornatum, qui carmina variis linguis, Latinis quidem, splendidissime componere potuerit. Hoc fastigium scientificum posterioribus temporibus (fine saeculi XIX et initio saeculi XX) exceperunt et superaverunt alii viri docti, ut Thaddeus Zelinsky, splendidissimus orator et scriptor, qui libris suis in omni orbi terrarum notissimis humanitatis antiquae auctoritatem ac valorem aeternam immutabilemque celebravit, Michael Pokrovsky et Sergius Sobolevsky multum linguarum scientiam provexerunt. Hoc loco necessarium mihi videtur etiam nostrae aetatis eminentium philologorum, investigatorum culturae antiquitatis, nomina memorare — Sergium Averintzev, Michaelem Gasparov, et Victorem Jarcho.

Dicere possumus huius scientiae *saeculum aureum* saeculo undevicesimo fuisse. Hoc saeculo ineunte confirmatum est publice statutum gymnasiorum, quo statuto Linguae Latinae instituendae tredecim centesimae institutorii temporis tributae sunt, qui numerus postea ad septendecim centesimas auctus est. In gymnasiis autem, ubi utraque lingua docebatur, summa ad triginta centesimas extollebatur. Verum numerus lectionum interdum mutabatur; immo ipsa necessitas ac utilitas linguarum antiquarum docendarum a hominibus variorum stratuum socialium non aequaliter aestimabatur, ex quo fiebat, ut programmata institutionis saepius mutata essent et certamen inter fautores linguarum antiquarum «classicistas» qui dicuntur et earum linguarum adversarios («realistas») nunquam cessavit.

Nihilominus in gymnasiis plerumque Lingua Latina sex aut septem annos per quattor horas in septimana doceri solita est, a secundo, saepius a tertio studii anno. Ad finem studii discipuli legere et interpretari satis difficiliores auctores poterant, nec non vertere textus rossicos in Latinum.

Itaque vigesimo saeculo ineunte institutio Linguarum antiquarum in gymnasiis Russis satis altum fastigium attigit, quod coaequari Europaeo posset (non dicimus de scholis «realibus», ubi institutio Linguae Latinae non docebatur, quae res inter cetera abiturientibus harum scholarum aditum ad Universitates dificillimum fecit).

Saeculo XIX ineunte in Rossia firma ac stricta systema institutionis scholaris componitur, cuius magnam partem disciplina linguarum antiquarum optinebat.

Sed brevi, anno septimo decimo saeculi proximi, haec omnia corruerunt, nam statu rei publicae funditus mutato gymnasia sublata sunt, sicuti et omnes facultates historiae, philosophiae, philologiae docendis, institutio Linguarum antiquarum prorsus interdicta est. Per quindecim fere annos utraque lingua antiqua nusquam doceri potuit exceptis institutis medicis, ubi Lingua Latina necessaria est ad terminologiam anatomicam discendam atque formulas receptorum scribendas.

Solum vicesimi saeculi anno trigesimo tertio institutio scientiarum humanarum — historiae, philologiae, philosophiae, linguarum antiquarum restituta est (sed tantum in scholis superioribus, non in mediis quae dicuntur).

Secundo bello mundano finito annis quinquagesimis ineuntibus conatus redintegrandae in scholis mediis Latinae Linguae docendae susceptus est: liber manualis festinanter editus est, numerus studiosorum philologiae classicae in Univesitatibus auctus, experimentali modo institutio Linguae Latinae in nonnulis scholis inducta, sed mox tam subito, quam incepit, hic conatus prorsus corruit multis contraluctantibus, nec non penuria praeceptorum. Solum temporibus aetatis, quae «reformatio» dicitur (*perestrojka*), id est triginta annis post institutio Linguae Latinae (in nonnulis scholis etiam Graecae) restituta est. Quamquam etiam nunc haec disciplina necessaria non putatur, nec programmata publice con-

firmata habet, nec numerum horarum docendi certum, sed omnia haec plane in directoris gymnasii arbitratu sunt. Quae cum ita sint (non semper nec ubique bene), attamen deorum auxilio iam viginti fere annos lingua Latina in nostris scholis docetur et interdum feliciter. Non necesse est numerum gymnasiorum et collegiorum indicare, ubi Lingua Latina docetur, sed in omnibus maioribus urbibus talia gymnasia sunt. Mosquae exempli causa Lingua Latina in triginta gymnasiis docetur.

Maior pars gymnasiorum solam Linguam Latinam discipulis praebet, quod autem ad linguam Graecam attinet, ea in nonnulis scholis disci potest secundum propriam discipulorum voluntatem. Sunt quoque non pauca gymnasia, ubi lingua Latina non diutius uno anno docetur (duas horas in septimana), sed confitendum est effectum talis doctrinae non magnum esse solere, et huius generis institutionem nihil aliud esse nisi donum, quod «novae consuetudini», quae vocabulo moderno «moda» dicitur, deberi.

Omnia fere gymnasia in studiis linguae Latinae librum manualem a professore A. Podossinov et N. Schaveleva scriptum iam quattuordecim annos in usu habent. Hoc manuale ex novem voluminibus constat, quorum tria priora (eaque principalia), ad tres studii annos destinata, pedetemtim elementa grammaticae Latinae exponunt, textibus institutoriis et exercitationibus varii generis consecuta. Duae aliae partes anthologiam Latinam discipulis decimi et undecimi anni praebent, sexta pars — artem grammaticam, systematico modo expositam, septima pars commentarios ad textus chrestomatiae exhibit, quam sequuntur duo dictionaria: Latino-Russum et Russo-Latinum.

Principale propositum institutionis Linguae Latinae non tantum in grammaticae artis regulis explicandis eisque a discipulis ediscendis consistit, sed multo maiore ex parte in propria humanitatis antiquae natura cognoscenda intelligendaque. Itaque auctores huius libris manualis hunc finem sequentes non solum materiam grammaticam: regulas, paradigmata, exercitationes (quas inter primum locum versiones in sermonem natalem id est Rossicum et vice versa in sermonem Latinum, ut utilissimae, tenent) praebebant, sed etiam explicationes rerum ad cultum humanum et vitam civilem pertinentium, enarrationes rerum gestarum, mores hominum nationumque, etc.

In his lectionibus non solum de rebus moribusque Romanis, sed etiam multo latius — de moribus ac consuetudine totius antiquitatis Graeco-Romanae agitur, qua re necessario fit, ut discentes altiorem notitiam huius civilizationis acquirant eorumque eruditio et animi orbis (sit venia verbi) magis magisque dilatentur et ipsa Linguae Latinae disciplina ut fons et clavis humanitatis Europae accipiatur.

Chrestomatia multum ad eruditionem discentium augendam notitiamque litterarum antiquarum, rerumque gestarum acquirendam praebet. Secunda chrestomatii pars ad usum discipulorum decimi et undecimi anni destinata, fragmenta auctorum antiquorum, nec non Medii Aevi et Aetatis litterarum renascentium continent.

Quod ad rationes Linguae Latinae instituendae attinet, aliquam eius rei impressionem ex iam citato libro manuali accipere possumus, nam liber ille imprimis auctorum experientia personali nititur (professor Podossinov usque ad hodiernum diem Linguam Latinam in uno gymnasio Mosquensi docet), unde prosperae felicesque inventiones ad docendi artem ac peritiam pertinentes proveniunt.

Iam dictum est de gravitate ac utilitate illarum manualis partium, quae Romanorum cultui humano illustrando consecratae, ad intellectum discipulorum excolendum intentae sunt, non solum grammaticae artis scientiam, sed humanitatis Graeco-Latinae comprehensionem praebent. Exercitationes, discipulis propositae, quoque ad ingenii acuminis augendum intentae sunt, cui rei varia aenigmata, vocabula intersecantia (crosswords) quae dicuntur, ioci et similia serviunt.

Non oblitum est ludorum scaenicorum ut efficacissimi lingae instituendae adminiculi. Incredibile dictu est, exempli causa quanta voluptate accepta sit, quantoque successu omnibus ab infantia notissima iucunda et festiva fabula de «Cappula Rubra» acta, transformata et ad conditionem vitae contemporaneae studiosorum singulis locis accomodata. Exemplo «Cappulae Rubrae» aliae fabulae similiter transformatae aguntur («Cattus caligatus», «Novum regis vestimentum» et similia). Omnia haec doctrinam linguae laetiorem iucundioremque faciunt, taedium expellunt, laboriosum opus ad bonum felicemque finem adducendo.

Ad incrementum ac progressum Linguae Latinae instituendae maximi momenti sunt certamina discipulorum, quae Olympiades

nominantur et quotannis apud Universitates Mosquae (Lomonosoviana, Humanistica, Linguistica), Petropoli (Universitas Petropolitana) efficiuntur, coniungentes elementa didactica ac lusoria, «miscendo utilia dulci», quibus intersunt discipuli ex variis urbibus numero saepe ad ducentos

Itaque, ut videre possumus, etiam nostra tempestate in Russia denuo studium Latinitatis paulatim renascitur.

Ad vias rationesque linguam Latinam instituendi perficiendas ac meliores faciendas quotannis conventus praeceptorum Linguae Latinae convocantur, olim in variis urbibus, nunc tantum Mosquae in litterarum facultate Universitatis Mosquensis. In his conventibus methodi rationesque linguae docendae tractantur, orationes et acroases scientificae proponuntur ac disputantur.

Inter varia genera Linguae Latinae docendae primum locum *gymnasium classicum* habuit, tale quod apud nos saeculo undevicesimo fuit, ubi utraque lingua pari iure docebatur. Nunc duo sunt huius generis gymnasia — Petropoli et Mosquae. Praeter linguas antiquas ibi omnes disciplinae, quae in communibus scholis necessariae sunt, docentur et insuper aliae, ad cultum humanitatemque excolendam pertinentes. In gymnasio Petropolitano a professoribus Universitatis condito (quorum multi in eo docent), praeter iam nominatas principale locum mathematica optinet, in gymnasio Mosquensi, quod est apud Museum Graeco-Latinum a doctore philosophiae Schicalin moderatum, — Testamentum Novum aliaeque disciplinae — historia litterarum et artium, rhetorica, philosophia, politologia, historia civilis docentur etc. In gymnasio Petropolitano lingua Latina docetur a sexto studii anno usque ad annum undecimum (5,5; 4,3; 3,3 horas in septimana), lingua Graeca — ab octavo usque ad undecimum (4,4; 3,3 horas per septimanam).

Moderatores gymnasii Petropolitani declarant propositum suum esse, ut discipuli schola abituri in Universitatibus Europae studium philologiae classicae prosequi feliciter possint. Quamquam re vera solum pauci discipulorum huius gymnasii philologiam classicam ut professionem suam elegerunt, tamen omnes discipuli in Institutis et Universitatibus Petropolitanis studium persequi potuerunt.

Principale propositum institutionis Linguae Latinae non tantum in grammaticae artis regulis explicandis eisque a discipulis edis-

cendis consistit, sed nostro quidem iudicio multo maiore ex parte in propria humanitatis antiquae natura cognoscenda intelligendaque. Itaque quaeque lectiones non solum materiam grammaticam: regulas, paradigmata, exercitationes (quas inter primum locum versiones in sermonem natalem id est rossicum, ut utilissimae, tenent), sed etiam imprimis explicationes rerum ad cultum humanum et vitam civilem pertinentium.

Itaque, ut videre possumus, etiam nostra tempestate in Russia denuo studium Latinitatis paulatim renascitur. Annis labentibus studium illud multas vices patiebatur, tempora ut elationis, ita occasus, immo fere interitus novit. Utinam notitiam eius, ut disciplinae humanitatem prae se ferentis, vel parvum gradum ad mutuum inter se consensum, ad veram pacem instituendam facere hominibus auxilium ferat. Possitne haec res fieri necne nescio. Dixi.

Oratio in conventu Academiae latinitatis fovendae.
Italia a. 2007

Выступления на конференции, организованной
Международной Академией Латинистики,
Италия. 2007 г.

СТАНОВЛЕНИЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЙ ЛЕКСИКИ ЦИЦЕРОНА

Введение

Настоящая работа посвящена исследованию процесса становления эстетической лексики Цицерона (106–43 гг. до н. э.). Выбор материала для исследования интересующего нас вопроса объясняется той исключительной ролью, которую сыграл Цицерон в развитии римской литературы и языка. Изучение любого аспекта латинского языка в его классической форме – это прежде всего изучение языка Цицерона. Немаловажную роль играет здесь и то, что его произведения дошли до нас в весьма значительной своей части, составив многотомный корпус, и не об одном другом деятеле Древнего Рима наша современность не осведомлена столь полно, как о Цицероне. Его

ораторские, философские, риторические произведения, его переписка являются бесценным источником для изучения самых разнообразных сторон политической, социальной и культурной истории Рима, с древних времен привлекая внимание исследователей. Научная литература, посвященная Цицерону, поистине неисчерпаема. Уже в 1836 г. она составила материал солидного трехсотстраничного VI тома единственного полного собрания сочинений писателя, изданного Орелли[1]. За истекшие с того времени без малого полтораста лет поток литературы непрерывно возрастал, достигнув особенно внушительных размеров к середине нашего века, когда отмечалось 2000-летие со дня смерти оратора.

Нет, наверное, таких вопросов и проблем истории материальной и духовной культуры Древнего Рима (отчасти и Греции), материал по которым нельзя было бы найти у Цицерона и исследованию которых не была бы посвящена какая-нибудь статья или книга (от политических и философских до астрономических, географических, медицинских и т. п. вопросов)[2].

Наибольшее внимание исследователей привлекают проблемы политической истории Рима конца Республики[3] и философии[4], в меньшей степени – риторики и эстетики[5]. Нет недостатка и в обобщающих работах[6]. Значительное место в литературе о Цицероне принадлежит исследованиям языка и стиля писателя[7]. Подобно тому как для историков Цицерон может представлять интерес либо как исторический источник, либо как самостоятельный и самоценный объект исследования, так и в филологических изысканиях он выступает в аналогичных позициях. Так, получившие в последние десятилетия широкое развитие лексикологические исследования в области латинского языка, в частности монографии, посвященные отдельным семьям слов (к их созданию в свое время призывал еще А. Эрну)[8], в значительной мере, а порой почти исключительно строятся на материале текстов Цицерона: таковы работы Иона, Пеллицера, Монтейля, Мусси, Юса, Морийона и др.[9]

В лексикологических исследованиях важная роль принадлежит специальной, преимущественно социально-политиче-

ской, а также философской и риторической терминологии с обязательным широким привлечением текстов Цицерона[10]. Среди этих работ выделяется фундаментальное исследование политической терминологии в Риме конца республиканского периода, принадлежащее Эллегуарку[11]. Последующие работы на ту же тему (Корпанти[12]) могли лишь внести частные дополнения к результатам, полученным французским исследователем.

Особое место в исследованиях языка Цицерона занимают вопросы об отношении к греческим текстам и греческому языку, о переводах с греческого. Среди последних работ на эту тему выделяются оригинальные, хотя и весьма спорные работы Р. Панселэ[13], в которых он развивает мысль о неприспособленности латинского языка в силу его грамматической структуры (неразвитость предложной системы, в частности, отсутствие предлогов со значением «согласно» и невозможности поэтому адекватной передачи конструкций с κατά, неразвитость системы причастий, слишком «конкретный» характер метаформы и т. п.) к выражению сложных абстрактных философских идей (на материале главным образом перевода платоновского «Тимея»[14]). Продолжают рассматриваться и общие проблемы лексических заимствований[15].

Анализу эстетической лексики Цицерона до сих пор не посвящалось ни одного специального исследования. Однако материал Цицерона, относящийся к этой проблеме, занимает господствующее место в названной выше (см. примеч. 10) книге П. Монтейля о лексике «прекрасного» и «безобразного» в латинском языке. Некоторые термины эстетического ряда рассматриваются в работе А. Мишеля (см. примеч. 6). Книга П. Монтейля, характеризуемая А. Ф. Лосевым как «опыт подготовки терминологического словаря»[16], представляет собой попытку семантической интерпретации класса латинских слов, главным образом прилагательных, выражающих понятия красоты и безобразия, образующих определенную систему, достаточно обозримую и доступную анализу. В то же время сам автор признает известную трудность точного определения границ исследования и определения самого по-

нятия эстетической лексики в силу «открытости» этой системы. Из весьма обширного круга лексем, способных в той или иной мере выражать идею эстетической оценки, Монтейль отбирает семь лексем эстетически положительной семантики (pulcher, lepidus, venustus, elegans, concinnus, formosus, bellus) и три – отрицательной (pravus, turpis, foedus плюс привативные образования: illepidus, invenustus, inelegans, inconcinnus, deformis), детально анализирует их употребление, устанавливая весьма тонкие и многообразные оттенки и различия их семантики. Большое значение имеет его исследование и для изучения собственно цицероновской лексики, хотя привлекаемый им материал не является исчерпывающим, поскольку он не полностью учитывает тексты риторических трактатов. (Индекс Эббота и др. к риторическим сочинениям Цицерона вышел в свет одновременно с книгой Монтейля в 1964 г.)

Монтейля можно упрекнуть в том, что он рассматривает материал весьма значительного периода истории латинского языка от ранних его этапов (Плавт, Энний) до конца II в. н. э. (Апулей, Светоний) как единое и завершенное целое[17], что неизбежно приводит к искажению истинной картины, прежде всего потому, что отсутствует момент изменения семантики, процесс становления и развития термина. Элемент диахронии выступает лишь в привлечении данных этимологии. В определении круга анализируемых лексем и в самом методе их анализа заметен некоторый элемент субъективизма. Монтейль не пользуется понятием «семантического поля», хотя еще за четыре года до его исследования вышла книга чешского филолога О. Духачека[18] о понятийном поле красоты во французском языке, в которой были сформулированы основные принципы семантического анализа лексических систем методом «языковых полей» и сконструировано понятийное «поле красоты» для французского языка (центр, периферия, взаимодействие на периферии с соседними полями).

Монтейль проводит различие между центральными и маргинальными терминами, но при этом не принимает во внимание слова, не принадлежащие к словарю эстетическо-

го суждения, тогда как было бы важно не только вычленение собственно эстетической лексики, но и установление эстетических значений для каждого термина рассматриваемой лексики (в том числе и периферийных)[19], что возможно лишь при использовании метода «поля», как и само установление подобной системы.

Тем не менее в пределах своего метода богато документированное исследование Монтейля приводит к убедительным результатам при анализе отдельных терминов эстетического ряда, оставаясь ценнейшей работой в данной области.

Пользуясь результатами этого исследования, О. Духачек в своей последней работе[20], продолжающей предыдущее исследование, делает попытку построения такого же понятийного поля и для латинского языка[21]. Поскольку для Духачека в этой работе основной целью являются термины красоты во французском языке, он не стремится проследить эволюцию этого поля в латинском языке, предоставляя эту задачу филологу-классику[22], а рассматривает это поле в условно-синхронном плане, в отличие от французского языка, где рассмотрение поля красоты осуществляется им на последовательно (по векам) расположенных синхронных срезах. Подобно Монтейлю, он принимает за единое целое еще более обширный период – вплоть до позднехристианских текстов, что чревато еще бóльшими неточностями, поскольку не учитываются семантические сдвиги, происходящие за чуть ли не тысячелетний период истории языка. Впрочем, Духачек сам признает неизбежность неточностей в работе такого обобщающего характера[23].

Следует заметить, что при всей обширности конструируемого им поля, дающего значительно более полную и стройную картину эстетической лексики по сравнению с тем, как это сделано у Монтейля (хотя ряд терминов остается спорным), оно все же оказывается неполным: так, совершенно необъяснимо отсутствие (как, впрочем, и у Монтейля) лексической группы festivus, festivitas, несмотря на достаточно заметный эстетический компонент в ее семантике. Предлагаемая Духачеком схема структуры понятийного поля красоты: центр, т. е.

термины, в содержании которых идея красоты является четко доминирующей, и четыре основных участка, примыкающих к нему, – «возвышенной красоты», вполне может служить в качестве рабочего инструмента при анализе данной лексики[24].

Любой язык является совокупностью множества индивидуальных языков говорящих и пишущих на нем[25]. Поэтому прежде всего следовало бы изучить именно язык одного индивидуума (писателя). С другой стороны, очевидна неизбежная неполнота словаря любого индивидуума, и, для того чтобы проследить лексическую систему языка в целом, «понимаемую как общий деноминатор всех частных кодов», необходимо, разумеется, изучение всех лексических слоев языка[26]. Однако прежде чем говорить о всей картине языка (или даже о каком-то его периоде), необходимо максимально полное изучение языка каждого из авторов, составляющих язык данной эпохи. Именно поэтому мы считаем возможным и необходимым в данной работе говорить о языке (лексике) одного писателя, тем более что этот писатель наиболее полно представляет язык своей эпохи: «Цицерон – величайший латинский писатель; если он не использовал до конца все возможности своего языка, то кто еще мог это сделать?»[27] Наконец, наше намерение исследовать язык одного автора находит косвенную поддержку и в концепции Г. Маторэ, согласно которой лексику следует изучать, ограничиваясь периодом, составляющим жизнь одного поколения[28].

В нашей работе мы обращаемся к исследованию *эстетической* лексики. Хорошо известно, что античность еще не знала эстетики как особой, дифференцированной от философии области знания. Это, однако, не означает, что не существовало вообще эстетической оценки действительности и средств ее выражения в языке. «Невозможно допустить, чтобы ни античность, ни Средние века, ни Возрождение, ни почти все Новое время не имели никаких эстетических представлений и, в частности, не знали, что такое красота или прекрасное», – пишет А. Ф. Лосев в одной из своих недавних работ[29]. По его словам, такие эстетические представления в «неэстетические» эпохи «отличались иной раз даже гораздо большей насыщенностью

и часто формулировались с весьма большой ясностью, точностью и логической отчетливостью»[30]. Необходимой предпосылкой для изучения эстетических категорий этих эпох, включая, естественно, и способы их выражения, является определенная теоретическая концепция эстетики, позволяющая «устанавливать факты эстетического развития»[31].

Мы придерживаемся понимания эстетики как философской дисциплины, «имеющей своим предметом область выразительных форм любой сферы деятельности (в том числе и художественной), данных как самостоятельная и чувственно-непосредственно воспринимаемая ценность», а эстетического – как «выразительного, представляющего собой диалектическое единство внутреннего и внешнего, выражаемого и выражающего»[32].

Эстетическое отношение к миру, эстетическое сознание возникает и становится возможным лишь тогда, когда человек в процессе производительной деятельности начинает освобождаться от господства непосредственной практической необходимости, от власти физической потребности. Человек, по словам Маркса, в отличие от животного, производящего под властью непосредственной физической потребности, «в истинном смысле только тогда и производит, когда он свободен от нее... человек умеет производить по меркам любого вида, и всюду он умеет прилагать к предмету соответствующую мерку; в силу этого человек формирует материю также и по законам красоты»[33]. Маркс видел объект эстетического отношения в «человеческой чувственной практической деятельности, практике», – и эта же практика выступает как предпосылка эстетического восприятия, эстетического чувства: «Лишь благодаря предметно развернутому богатству человеческого существа развивается, а частью и впервые порождается богатство субъективной человеческой чувственности: музыкальное ухо, чувствующий красоту форм глаз, – короче говоря, такие чувства, которые способны к человеческим наслаждениям и которые утверждают себя как человеческие сущностные силы. Ибо... человеческое чувство, человечность чувств – возникает лишь благодаря наличию

соответствующего предмета, благодаря очеловеченной природе»[34].

Маркс обращает внимание на взаимосвязь понятий «красоты» и «меры» как ее основания, на объективность «законов красоты», выступающих как выражение человеческой сущности, «человеческих сущностных сил», действующих через чувственную сферу. Центральной, основополагающей категорией эстетики остается «красота» или «прекрасное» (в литературе эти термины часто оказываются взаимозаменяемыми; здесь нет необходимости вступать в дискуссию о большей или меньшей правомерности одного из них). Конечно, по мере усложнения и углубления эстетического восприятия и его все более отчетливого вычленения из области других ценностных ориентаций усложняется и сама морфология эстетического за счет появления новых эстетических модификаций, и увеличивается число эстетических категорий. Но категория прекрасного остается определяющей, а в эпоху, когда эстетика еще делала свои первые шаги как наука, прекрасное было основным ее предметом.

Понимание эстетического объекта как определенной ценности включает эстетические отношения в сферу ценностных ориентаций человека, утверждая «аксиологический статус» эстетического. Последнее не означает исключения эстетических отношений из гносеологической области, но лишь подчеркивает их специфический характер. Ценностью в теории ценностей, получившей у нас в последние годы достаточно широкую разработку, принято называть любые предметы, явления и их свойства, которые способны удовлетворять те или иные потребности и интересы человека, говоря вообще – всякий предмет любого интереса, желания, стремления и т. п.[35]

На определенном этапе исторического развития человечества среди многообразных и постепенно возрастающих по мере их удовлетворения потребностей появляется и потребность эстетическая. Маркс говорит об удовлетворении этой потребности как о «наслаждении»[36]. Средства и объекты, удовлетворяющие эту потребность, могут быть определены как *эстетические ценности*.

Установление ценностного отношения субъекта к объекту предполагает оценку, умственный акт, являющийся результатом данного отношения, высказывание о ценности, выступающее как выражение субъективного отношения к ней[37].

В логическом отношении ценности практически отожествляются с понятием блага, добра[38] и оцениваются в соответствующих терминах. Аналогична схема оценок и в собственно эстетической области, где термины «прекрасное», «безобразное» соответствуют терминам «эстетически хорошо» («эстетически ценное»), «эстетически менее ценное» («эстетически плохо»). Употребление в эстетических оценках особых оценочных терминов подчеркивает специфичность области, в которой осуществляется оценка. Но «эстетически хорошо» с точки зрения формальной логики ничем не отличается от общелогической оценки «хорошо»[39].

Структура всякого оценочного высказывания включает (наряду с характером оценки) в качестве своих основных компонентов субъект, предмет и основание оценки. Аналогичная схема применяется в собственно лингвистическом анализе оценочных слов[40]. Эта структура лишний раз подчеркивает субъективно-объективный характер ценностных отношений, являющих единство субъективного и объективного, ибо ценность есть форма проявления отношения между субъектом и объектом[41].

Однако ценностный характер это не единственная специфика эстетического объекта. Его характернейшую, «специфичнейшую» особенность составляет то, что он есть «чувственно непосредственно воспринимаемая ценность». Сама наука эстетика возникает как наука о чувственном познании, что и отразил сам термин «эстетика» (Баумгартен), от греческого αἴσθησις – чувственное восприятие. И если собственно эстетическое восприятие это не только чувственное, но и чувственно-интеллектуальное познание, возникающее лишь на логической ступени познания[42], то тем не менее основу его составляет именно чувственный компонент и уже в ощущении человеку дано ценностное в форме *приятного*[43].

Именно ощущения считает первичным предметом гедонистического оценочного утверждения фон Райт в работе

«Разновидности добра»[44]. Ощущения, по его мнению, лежат в основании значительной группы оценок[45]. Ощущение приятного, в частности, составляет один из первичных компонентов «эстетической» (в ее первоначальном смысле) оценки, ибо эстетическую ценность в этом смысле можно отнести к той разновидности добра, которую фон Райт в той же работе определяет как «гедонистическое добро» («удовольствие»), представляющее то, что человек любит и чем он наслаждается[46], хотя эстетическое в полном смысле слова далеко не исчерпывается только данной разновидностью добра, включая и иные характеристики.

В этом контексте «приятное» выступает как частный признак ценности, в частности эстетической (совпадающей порой в сознании с «полезностью», ср. у Горация: omne tulit punctum qui miscuit utile dulci – p. 343), а гедонистическая оценка – как один из первоэлементов оценки эстетической, постепенно вычленяющейся из области чисто сенсорного, интуитивно-бессознательного восприятия.

Говоря о гедонистической оценке, мы, разумеется, прекрасно понимаем, что далеко не всякое удовольствие, наслаждение является эстетическим в подлинном смысле слова и что эстетическое удовольствие не может отожествляться с удовольствием вообще[47]. Действительно, эстетическое сознание есть качественный скачок от чисто сенсорных ощущений и удовольствий к духовным радостям, «от уровня инстинктивных ориентаций организма в природной среде к уровню специальных ценностных ориентаций»[48]. На этот доступный человеку в силу причастности его к разуму специфически человеческий характер эстетического восприятия указал в свое время сам Цицерон[49].

Эстетическое сознание начинает формироваться тогда, когда человек в процессе практической деятельности начинает осознавать самостоятельную ценность элементов организованности, порядка, ритма и т. п. первоначально как элементов, облегчающих труд и тем самым приносящих ощущение удовольствия, равно как и осознает значение оформленности предмета, усиливающей, интенсифицирующей его функциональность. «Эстетическое сознание формировалось и вычле-

нялось по мере того, как в практической деятельности первобытного человека и в системе его ценностных ориентаций возникала "установка на форму"»[50]. Именно эта «ориентация сознания на структуру, форму» и становится эстетическим отношением к миру[51].

При таком понимании эстетического его оценка должна включать наряду с чисто эмоциональным (гедонистическим) элементом и момент интеллектуальной оценки, а само понятие эстетического приобретает специфически общественное содержание. Не само по себе соотношение форм, не структура сама по себе выступает как эстетическая ценность, но ее отношение к выражаемому ею содержанию, и именно здесь, в этом отношении, категории «приятного» и «неприятного» переходят в новое качество собственно эстетических категорий «прекрасного» и «безобразного», носителем же эстетической ценности выступает уже содержательная форма как мера оформленности, организованности содержания.

Мысль о сущности эстетического восприятия, в основе которого лежит восприятие и оценка формы, структуры как организующего, подчиняющего, овладевающего содержанием начала, имеет важное значение для того анализа эстетической терминологии, который мы предполагаем провести в настоящей работе. Не менее важны для нашего анализа ценностное понимание природы эстетического и трактовка гедонистической ценности и оценки как первоэлементов собственно эстетических категорий.

На важность терминологического анализа категорий эстетики не раз указывалось в трудах А. Ф. Лосева, посвятившего проблеме эстетической терминологии ряд специальных работ[52]. «Всякий научный подход к теории и истории эстетики, – пишет он, – должен в определенной мере основываться на терминологическом анализе»[53]. Он особо подчеркивает специфичность выражения эстетических идей и понятий в различных языках: «...неужели же ни грек, ни римлянин, ни француз, ни русский, несмотря на свое тысячелетнее существование, так-таки и не внесли ровно ничего своего, специфического, национального в это общечеловеческое понятие прекрасно-

го?.. И неужели латинское pulcher так-таки ровно ничем не отличается ни от греческого καλός, ни от русского “прекрасный”?»[54]

Формирование эстетической лексики, как и всякой другой специальной лексики, происходит на материале общенародного языка за счет тех лексем, которые первоначально не имеют специального значения и принадлежат к совершенно иным, чисто практическим областям, называя конкретно-чувственные признаки и свойства явлений. Л. Н. Столович, рассматривая в одной из своих работ семантику основных терминов, выражающих идею прекрасного в различных языках, исходя из этимологии этих терминов, приходит к выводу, что эти термины возникают на пересечении слов и значений, определяющих вещественные свойства предметов и явлений, и слов и значений, «выражающих практическое и эмоциональное, а следовательно, *ценностное* отношение человека к этим предметам и явлениям»[55]. Семантика слов, входящих в понятийное поле прекрасного в разных языках, включает обозначение свойств объектов, действующих на сенсорные впечатления, выражающих идеи яркости, блеска, пестроты, звучания, а также выражения *практического* отношения человека к действительности – идеи здоровья, цельности, удобства, соответствия, равно как и эмоционального отношения – идеи радости, веселья и т. п.[56]

Механизм возникновения эстетического содержания в словах внеэстетической лексики, по справедливому мнению Столовича, состоит в том, что слово отрывается от своего непосредственного значения, «поднимается» над ним и начинает выражать как определенные свойства явлений, так и человеческое отношение, исполненное радостного изумления, иначе говоря, ценностное отношение[57]. Автор подчеркивает, что новые слова, приобретающие эстетическое содержание, закрепляют отношение людей к конкретно-чувственным свойствам вещей и явлений как к *ценностям*. Показателем ценностной природы категории прекрасного считает он и совмещение в ней эстетического и этического, что наблюдается в эстетической лексике многих народов[58].

Высказанные в работе Л. Н. Столовича общие наблюдения над семантической структурой эстетической лексики и вытекающие из этих наблюдений теоретические выводы имеют непосредственное отношение к задачам нашей работы. Семантическая структура понятийного поля «прекрасного» в латинском языке в основном укладывается в намеченную Столовичем схему. Пополнение и формирование собственно эстетической лексики в латинском языке также происходит за счет слов с конкретно-чувственной, чувственно-эмоциональной, практически-жизненной семантикой.

Так, лексико-семантическая группа «гедонистической» лексики dulcis, suavis, iucundus, характеризующая первоначально чувственные (слуховые, звуковые, осязательные, вкусовые) восприятия (даже ощущения), постепенно приобретает эстетически оценочные черты при оценке аудио-визуальных впечатлений, занимая определенное место в общей системе эстетической лексики языка.

Приобретают эстетический смысл члены лексико-семантической группы «интенсивного зрительного впечатления» («сверкания», «блеска», «сияния») splendor – splendidus; candor – candidus; nitor. Со зрительными впечатлениями частично связаны лексемы politus, ex-, per-politus, polire, выражающие наряду с идеей «гладкости», «блеска» также и идею «отделанности», «завершенности», «совершенства», сближающие эту группу с лексикой «совершенности» (perfectus). С тем же зрительным впечатлением связаны и лексемы speciosus, lautus, distinctus, varius – в последних подчеркивается идея пестроты – и, наконец, formosus, дающий уже пример собственно структурной интерпретации идеи «прекрасного».

Идея «огромности» лежит в основе magnificus, magnificentia, в оценочном значении которого пробивается и эстетический оттенок. Группа elegans – elegantia; exquisitus выражает идею «отбора», высокой оценки, обусловленной социокультурными фактами – утонченным и изысканным вкусом образованного человека. Функцию эстетической оценки приобретает идея «праздничности», «радости», заключенная в лексемах festivus – festivitas, а также идея функциональной

пригодности, удобства, соответствия функциональному назначению, присущая aptus. С идеей порядка, организации, приготовления к деятельности связана группа ornare – ornatus – ornamentum, исконно занимающая значительное место в эстетической лексике латинского языка. Идея «стройности», структурной организованности в соединении с идеей «изящества» и «тщательной отделанности» заключена в специальном термине concinnus, concinnitas, приобретающем эстетическое и специально риторическое значение.

Особое место среди средств выражения разнообразных модификаций прекрасного занимают лексемы менее прозрачной семантики venustas – venustus; lepus – lepidus, для которых общей является идея «приятного впечатления, производимого объектом», что сближает их в известной мере с гедонистической лексикой; для лексемы lepos специфичной оказывается также идея «остроумия» и «шутки», развивающаяся в эстетически оценочную. С той же идеей «приятного впечатления» связана и лексема amoenus – amoenitas, у классических авторов (в том числе и у Цицерона) связанная исключительно с характеристикой пейзажа, местности.

Взаимопроникновение эстетического и этического включило в орбиту первого лексику, выражающую идею «подобающего», «соответствующего», в частности лексическую группу decere – decus – decorum; dignitas. В свою очередь, слова преимущественно эстетической семантики обогащаются этическим содержанием и, проникая в этическую область, образуют лексемы сложной этико-эстетической семантики. Такова центральная лексема эстетической лексики в классическую эпоху pulcher – pulchritudo.

Во всем этом лексическом многообразии, где практически любая лексема многозначна и, как правило, первоначально не связана с собственно эстетическим содержанием, приобретаемым ими постепенно и в разной степени, мало-помалу начинает просматриваться определенная система, вырисовываться определенные контуры взаимозависимости и соподчиненности понятий, хотя эта система пока весьма нечетка и неустойчива[59].

Ставя своей задачей показать специфику выражения понятия прекрасного (красоты) и некоторых его модификаций в латинском языке на материале ряда терминов эстетической лексики Цицерона (понимая под последней лексические средства оценки объектов, рассматриваемых как носители эстетической ценности), мы сознательно ограничиваем наш анализ лишь несколькими участками понятийного поля красоты, отдавая себе отчет в том, что полный и исчерпывающий анализ этого поля даже на материале одного автора значительно превосходит масштабы и возможности одной работы.

Понятийное поле красоты в латинском языке достаточно обширно и насчитывает только в классическую эпоху (по подсчету О. Духачека) более ста лексем. Принимая во внимание необходимость при лексическом анализе возможно более полного охвата изучаемой лексики, учета *всех* случаев употребления данного слова в текстах, мы предпочли ограничить круг исследуемых лексем, рассмотрев их в то же время на материале *всего* корпуса сохранившихся сочинений Цицерона, а также близко примыкающего к нему и традиционно включающегося в этот корпус трактата «Ad Herennium».

Мы рассмотрим прежде всего лексемы, принадлежащие (по определению Духачека) к центру поля, – venustus, venustas и dignitas (decus, decorus), объединяющие в нашем анализе как лексическое выражение двух смысловых аспектов стержневой лексемы понятийного поля красоты в латинском языке pulcher – pulchritudo, на которую указывал сам Цицерон[60].

Вторая группа лексем, рассматриваемая нами, принадлежит к периферии поля, и ее анализ дает возможность проследить становление эстетического содержания в лексемах, первоначально не принадлежавших к данному понятийному полю. Мы имеем в виду ряд терминов лексико-семантической группы «удовольствия» и их функционирование в качестве слов, способных нести идею эстетической оценки. По классификации Духачека, это поле «приятной красоты»[61], в лексемах которой идея «красоты» еще не является семантической доминантой, а представляет более или менее отчетливо выраженный коннотационный элемент. В научной литературе эта группа (iucundus,

dulcis, suavis) почти не подвергалась специальному анализу[62], что делает их исследование особенно важным. Нас в первую очередь будет интересовать здесь момент становления, развития и спецификации эстетического компонента в каждой из этих лексем.

Как известно, семантические границы между различными участками поля и даже между отдельными лексемами не являются вполне устойчивыми и отчетливыми, и участки поля могут накладываться друг на друга в силу полисемии слов и их принадлежности одновременно к различным участкам одного и того же или даже разных полей[63]. Так, тесно взаимодействуют между собой поля «удовольствия» и «веселья и радости» (последнее, не принадлежа, собственно, к полю красоты, составляет один из его источников и приходит в соприкосновение с ним)[64]. Некоторые лексемы (например, iucundus, festivus, lepos) могут одновременно принадлежать и к полю «приятной красоты» и к полю «веселья». В нашей работе, исходя из преобладания в лексеме iucundus идеи «удовольствия», мы будем рассматривать ее в основной группе гедонистической лексики вместе с лексемами dulcis, suavis.

В то же время мы рассматриваем *отдельно* лексические группы lepidus, lepos; festivus, festivitas, также объединенные лексемами «удовольствия» и «веселья»[65], но в которых, как нам представляется, последний элемент выражен сильнее, а вместе с тем отчетливо проступает и собственно эстетическое содержание.

Рассматриваемые нами группы лексем представляют лишь часть понятийного поля «красоты» в текстах Цицерона, и потребуется еще ряд исследований, для того чтобы создать полную и адекватную картину этого поля.

Глава I. VENUSTAS, DIGNITAS как две модификации PULCHRITUDO

В центре понятийного поля красоты в латинском языке находится лексическая группа pulcher, pulchritudo, pulchre[66]. Мы располагаем рядом дефиниций этого понятия, принадлежащих Цицерону[67]. Одна из них говорит о существовании двух видов красоты, из которых одному присуща venustas («пре-

лесть»), а другому – dignitas («достоинство») (Off. I.130). Эти же качества принадлежат вообще всем «формам», т. е. зрительно воспринимаемым объектам (Off. I.107)[68].

Указанные тексты свидетельствуют о существовании в эстетическом сознании римлян эпохи Цицерона двух основных модификаций красоты (pulchritudo), понимаемой как наиболее общий термин, выражающий идею красоты[69]. Различие этих двух видов красоты, идущее еще от Платона[70], было «одной из ранних попыток установления эстетических категорий, дифференциации того, что вообще можно назвать красотой»[71]. Такого рода дифференциация явилась результатом развития сознания и культуры общества, отражая достаточно высокий уровень этого развития, вызвавший к жизни потребность в уточнении, усложнении и конкретизации понятия[72].

Venustas и dignitas часто оказываются взаимосвязанными в языке, о чем свидетельствует ряд текстов Цицерона помимо названных выше (De or. I.142.6; III.178.4; Or. 60.2). Эта связь может вызвать некоторое недоумение. Исследователи пытаются иногда найти ей объяснение в специфике религиозных и общественных представлений древних римлян, связывая их с лексикой двух фундаментальных идеологических течений, базирующихся на понятиях Fides и Venus[73]. Как бы ни относиться к этой остающейся труднодоказуемой гипотезе[74], во всяком случае, существует несомненная связь venustas и dignitas, основанная на их причастности к pulchritudo, двумя ипостасями которой они выступают, дифференцированными как проявление мужской (dignitas) и женской (venustas) красоты. А. Ф. Лосев видит в этих терминах «явный языческий оттенок»[75]. Действительно, из этого разделения делаются выводы для практической этики (о пристойном для мужчин облике, одежде и поведении) и вся проблема рассматривается прежде всего в этической плоскости, что, однако, не мешает этим терминам оставаться членами эстетического ряда, двумя семантическими модификациями pulchritudo, которой они обе подчинены с точки зрения их семантической протяженности[76].

В настоящей главе нас будет интересовать семантический объем и специфика обоих этих терминов как двух составляю-

щих общеродового понятия прекрасного (pulchritudo). Но прежде чем перейти к более подробному анализу этих модификаций, что является основной задачей данной главы, необходимо предварительно дать хотя бы сжатый очерк семантической структуры самого термина pulchritudo – pulcher – pulchre.

1

Группа pulchritudo – pulcher – pulchre принадлежит к числу широко распространенных в латинском языке начиная с Плавта и Энния вплоть до поздней Античности, исчезая, однако, бесследно в романских языках. (При этом pulchritudo не встречается у поэтов классического периода в силу своей метрической структуры ∪∪–∪, делающей невозможным использование этой лексемы в дактилическом стихе.)

Лексемы этой группы встречаются у Цицерона:

Цицерон	pulcher	pulchritudo	pulchre
	191	74	29

Для сравнения:

Плавт	32	4	40
Лукреций	6	–	1
Цезарь	2	–	–
Вергилий	12	–	–
Гораций	17	–	3
Катулл	7	–	5

Таким образом, подавляющее большинство употреблений приходится на тексты Цицерона, и именно они могут дать достаточно полную матрицу семантического поля этой группы.

Группа не имеет надежной этимологии[77], как и точно понимаемого основного значения, что отмечается всеми этимологическими словарями[78]. Функционирование этих лексем

в текстах свидетельствует о широкой семантической амплитуде, при этом есть достаточно убедительные доказательства, что эстетическое значение отнюдь не является первичным[79], и это вполне естественно, ибо лексическая группа принадлежит, по-видимому, к весьма древним, возникая в эпоху, когда эстетические представления как таковые еще не выделились из нерасчлененно-утилитарных оценок. Так, приводимое обычно свидетельство Феста: pulcher bos appelatur ad eximiam pinguitudinem perductus[80] – указывает на значение «добротности», «практической пригодности». Словарь Эрну – Мейе склонен видеть здесь отголосок сакрального значения: «лучшее животное, предназначенное в жертву богам»[81], откуда развивается идея «высшей степени совершенства» (функционального), приложимая к любому объекту. Такого рода максимально широкая сочетаемость, по замечанию А. Эрну, неизбежно приводит к семантическому ослаблению, к размыванию семантических границ[82]. Этот «неэстетический» аспект семантики особенно полно раскрывается на уровне наречия pulchre[83] с его максимально свободным употреблением – достаточное число примеров дают здесь тексты Плавта и Теренция.

В текстах Цицерона мы можем встретить и следы сакрального употребления рассматриваемых лексем (особенно в цитатах из Энния[84]) и их значения, уже не связанные непосредственно с культовой лексикой, но и не приобретшие еще эстетического содержания[85]. Ограничение сакрального содержания pulcher исключительно архаическими текстами, представленными цитациями из Энния, свидетельствует о совершившемся семантическом разрыве: собственный текст Цицерона не знает такого аспекта значения.

Значительную группу употреблений pulcher, pulchritudo, pulchre у Цицерона составляют тексты, где эти лексемы определяют материальный, чувственно (зрительно) воспринимаемый объект, одушевленный или неодушевленный (Off. I.14). Ряд дефиниций самого понятия pulchritudo, которые мы встречаем у Цицерона, основываются на отнесенности этого качества именно к такого рода объекту: «*Красотой* называется некая ладная (apta) конфигурация членов тела, сопровождаемая не-

кой приятностью (suavitas) цвета» (T. IV.31). «*Красота* тела волнует взор ладным сочетанием членов и услаждает его именно тем, что все части согласуются друг с другом с некой прелестью (lepos)» (Off. I.98). В тексте Off. I.14 говорится о «согласовании частей» как *основе* красоты буквально воспринимаемых объектов, а качествам lepos и suavitas вышеприведенных дефиниций соответствует venustas, вместе с «согласованием частей» эксплицирующая понятие pulchritudo данного текста[86].

Во всех приведенных текстах вырисовывается концепция pulchritudo, относящая эту категорию к зрительно воспринимаемому объекту[87] и имеющая в своей основе идею *гармонии*, соотнесенности частей, т. е. *структуры* вещей. Специфической функцией этой структуры является воздействие на чувственную сферу человека (movere), в силу наделенности разумом[88], способного к восприятию этой структуры и наслаждению ею. Эта активная функция объекта получает номинации suavitas, lepos, venustas (см. ниже).

Как эстетическая категория, специфическая для материального объекта, рассматривается pulchritudo в тексте Fin. V.47, где она, выступая как самодовлеющая, самоцельная ценность, выражается в *соответствии с природой*, к сохранению или восстановлению которого люди стремятся любой ценой. Основой «красоты» является сохранение «меры и закона природы», всякое отступление от которых есть turpitude («отвратительное»), выражающееся в искажении природного состояния вещи или явления[89]. Сущность же природной, естественной красоты выражается в определенной организации (modus) объекта, т. е. в его структуре, мыслящейся как гармоническая.

Именно структурный момент определяет красоту человеческого тела и облика, где на первом месте оказываются compositio membrum, conformatio liniamentorum, как бы раскрывающие содержание следующих за ними figura и species (N.D. I.47)[90]. Эти два понятия вместе с forma будут не раз выступать в качестве носителей pulchritudo:

а) figura – прекрасными называются геометрические фигуры – конус, цилиндр, пирамида, самой же прекрасной – сфера (так же как и круг) в силу их геометрического совершенства

(N.D. II.47–48). Отметим попутно качество aptum, рассматриваемое здесь (ср.: Т. IV.31; Off. I.98) как основание[91]. «Прекраснейшей» называется figura dei (N.D. I.48).

б) forma – рассматривается как задача и цель мастера «красоты форм» (N.D. II.115), прекраснейшей является «круглая форма», присущая богу (N.D. I.24, мысль повторяется N.D. II.47). Текст N.D. I.24 дает пример полной синонимии formosus и pulcher, одинаково отнесенным к геометрическим фигурам, при этом formosus в такой позиции со своей стороны усиливает *структурное* содержание pulchritudo. Ср. также: N.D. I.76; II.60[92].

в) species – N.D. I.26; II.15; III.5; I.47.

Прекрасным называется corpus «тело» (Off. I.95; I.98; III.10; Т. IV.30–31; II.114; V.46–47; III.75). Текст Ас. post I.19 относит понятие «красоты» к телу в целом, т. е. к завершенной структуре, хотя это же качество может принадлежать и лицу как части тела (N.D. I.80; I.92).

Наиболее отчетливо проявляется структурная концепция pulchritudo в постоянной отнесенности этого качества к мирозданию, космосу, воспринимаемому как некий строгий порядок, гармоническая структура[93]. Красота служит доказательством божественного управления миром и эта красота мыслится как равномерность движения светил и вращения (N.D. II.15). Окружающие pulchritudo термины в этом тексте характеризуют мироздание как «четко разграниченное и прекрасное» (distinctio помимо значения «разделение», «разграничение» имеет и эстетический оттенок – «красота», «украшение», вытекающий из сем «упорядоченности» и «множественности»); «многообразное» (varietas) «многообразие», «пестрота» также может выступать в оценочной функции эстетического плана, «упорядоченное» (ordo). В этом ряду оценок pulchritudo, не обладающее неким конкретным значением, выступает как общее определение красоты, эксплицируемой в терминах, называющих ее конкретное составляющее – структуру и зрелищность (Ср.: Off. I.14). В этом же тексте в одном ряду следуют ornatus, varietas, pulchritudo (N.D. II.17), где первый может сохранять связь со своим этимоном ordinare «приводить в порядок, устраивать». Ср. также в

другом месте (N.D. II.58) мировой разум заботится о том, чтобы в мире были «выдающаяся красота и всяческое украшение» – та же группа pulchritudo et ornatus. Красота мироздания раскрывается в согласованности и гармонии всего мира (N.D. III.18), говорится о внутренней связи (cohaerentia) мира, создаваемой движением Солнца и других светил, представляющих «прекраснейшее зрелище» (N.D. II.155). Ср.: N.D. III.23, где ornatius и constantius аналогично N.D. II.15 называют «зрелищность» и «упорядоченность, мерность движения» в качестве слагающих понятие pulchritudo. Прекраснейшим называется зрелище небесных светил, размеренность и порядок их движения (N.D. II.104). Неоднократно говорится о красоте небесного свода и вселенной (N.D. II.17; T. I.45; N.D. II.97–98; Fr. V.53; Lae. 88; De of. III.179.2). Последний текст отмечен синонимией pulcher и ornatus[94]. Pulcher становится чуть ли не постоянным эпитетом для «мироздания»[95].

Во всех этих случаях очевидна единая концепция прекрасного, сложившаяся еще в греческой философии и получившая развитие в учениях пифагорейцев, Гераклита, Платона, стоиков, в основании которой лежит представление о мире (космосе) как едином и стройном, совершенном организме, гармонической и живой структуре, стержневой идеей которой является идея мерности[96]. Но идея меры (симметрии), гармонии, структуры, пронизывающая всю космологическую модификацию прекрасного, совмещается в представлении Цицерона с более конкретно-чувственным пониманием красоты, выходящим за пределы абстрактно-умозрительного, хотя и эмоционально-гедонистически окрашенного и преобразованного восприятием структуры. В сферу прекрасного включается у него все живое и пестрое разнообразие мира, не только структура, но и цвет, свет, яркость, пестрота и т. д. Такая концепция прекрасного, включающая в это понятие чувственную и прежде всего зрительно воспринимаемую красоту цвета, красок, а не только очертаний, форм, получила широкое распространение в эпоху эллинизма, беря начало в воззрениях стоической школы[97].

У Цицерона мы встречаем не только соответствующую четкую дефиницию красоты, включающей два основных ком-

понента – структуру и цвет (Т. V.31), но и широкое использование ее в оценке действительности. Pulchritudo принадлежит не только структурам, но и вообще предметам материального мира: морю (N.D. II.100), солнцу (N.D. II.95), огню (Т. 35), радуге (N.D. III.51), звездам (Lae. 88), гроздьям винограда (С.М. 53), самим краскам (De or. III.98.4), делающим картины более яркими («цветущими»), т. е. объектам, где в большинстве случаев структурный момент вообще отсутствует, но выдвигаются как предмет эстетической оценки другие факторы – цвет, блеск, сияние, яркость (или совмещение их со структурой), что само по себе содержит материал для формирования эстетически оценочной лексики.

Отнесенность pulcher к такого рода объектам, к которым можно присоединить *зрелище* вообще (spectaculum N.D. II.104; Fam. VIII.4.1; Ver. V.77), может свидетельствовать о расширении значения лексемы до общего средства выражения красоты[98].

Pulcher очень часто определяет человека[99]. Далеко не все эти определения носят эстетический характер: в ряде случаев, как уже было сказано, мы имеем дело скорее с сакральным употреблением лексемы[100]. Когда же речь идет об эстетической оценке, то в красоте человека подчеркивается, наряду с conformatio liniamentorum, цвет и его приятность, являющиеся выражением не только красоты, но и здоровья, которое, по представлениям Цицерона и его источников, неотделимо от красоты (Off. I.95)[101]. В ряде текстов постоянно в тесной связи с красотой оказываются «здоровье и сила»[102]. Эта неразрывная, по словам самого Цицерона, связь указывает, с одной стороны, на специфическую черту эстетических представлений последнего, включающего в понятие прекрасного как обязательный конституирующий момент силу и здоровье[103], поскольку речь идет о красоте человека, а с другой – заставляет вспомнить некоторые древнейшие, еще неэстетические значения лексем (bos pulcher), представляющие комплекс упитанности и силы, что получает номинацию pulchritudo – красота как выражение силы и здоровья. Последнее делает вероятной генетическую связь pulcher и pollere[104].

Среди объектов, способных обладать качеством pulchritudo, большое место занимают произведения искусства – статуи, картины и т.д. Это и знаменитые творения великих художников – Фидия, Поликлета, Мирона, Апеллеса, Протогена, Зевксиса (особенно часто упоминаются Венера Косская – De or. I.23; Or. 5.7; Off. III.10; Диана – Ver. IV.72; Елена – Inv. II.2–3; статуи Мирона –B. 70.5; Минерва – B. 257.3) и множество других произведений (главным образом в речах против Верреса), получающих обычно определение в превосходной степени[105].

Сюда же следует отнести и группу текстов с глаголами результативного значения (facere, pingere, laqueare), имеющими своими объектами произведения искусства и определяемыми наречием pulchre. Во всех этих случаях характеризуется достигнутый и осуществленный результат художнического действия (во всех примерах без исключения part. perf. passivi)[106].

Во всех этих случаях обращает внимание употребление прилагательного и наречия в превосходной степени. Значительное число таких употреблений и их неизменность (ограниченное, правда, всего лишь одним произведением) превращают это употребление в подобие некой устойчивой формулы, в ораторскую амплификацию, что в известной мере ослабляет семантическую нагрузку лексемы[107]. Заметим кстати, что в употреблении pulcher у Цицерона вообще преобладает превосходная степень: из 92 примеров в речах 76 раз употреблен суперлатив, из 78 употреблений в философских трактатах – 55 раз суперлатив, из 11 употреблений в письмах –7 раз суперлатив. Но из 9 примеров в риторических трактатах суперлатив употреблен только 3 раза. Последнее можно объяснить тем, что в данном случае речь может идти о терминологическом употреблении. В то же время в подобном употреблении может сказаться и типичная для Цицерона общеримская склонность к приподнятости и пафосу, выражающаяся, в частности, и в любви к превосходной степени[108].

К названным выше объектам, большинство из которых представляют собой результат художественной практики человека и тем самым могут восприниматься эстетически, закономерно присоединить и лексему urbs как совокупность этих

художественных объектов, что определяет возможность его собственно эстетической характеристики[109].

Текст «О консульских провинциях» демонстрирует именно такое эстетическое употребление лексемы, поскольку pulchritudo urbium выдвигается как фактор, который мог бы послужить Цезарю основанием задержаться в Галлии, противопоставленный реальным oppida inculta Prov. Cons. В понятие pulchritudo оказывается тем самым включенным понятие cultus[110], т. е. результат материальной (строительной, архитектурной, собственно художнической) деятельности – храмы, портики, статуи и прочие обязательные атрибуты античного города (последнее подчеркнуто лексической оппозицией с oppida)[111].

Аналогично оцениваются «стены и порт Сиракуз» (Ver. V.95), однако в этом тексте интересующая нас лексема по крайней мере носит столь же функциональный характер, сколь и эстетический (Prospectus Palatii. dom. 116 locus Ver. V.29d.103[112]), выступающие также как эстетически оцениваемые объекты должны рассматриваться в одной группе со speculatum.

Упомянутые выше тексты связывали понятие pulchritudo с предметами искусства, результатом деятельности художника, мастера. В этой связи представляет интерес интерпретация Цицероном проблемы реализации прекрасного в художественном произведении. В раннем своем трактате «De inventione» он развивает выдвигавшийся еще Сократом[113] принцип невозможности осуществления в реальном единичном объекте (например, человеке) совершенной красоты. Поэтому Зевксис, стремясь создать образ совершенной женской красоты, ищет ее во многих девушках, и эта совершенная красота мыслится как сплав реальных, созданных природой отдельных черт, поскольку природа «не создала ничего совершенного во всех отношениях в отдельном роде» (Inv. II.3). Здесь обращает внимание отожествление pulchritudo с понятием «совершенства» (perfectum), весьма важное для понимания семантики pulchritudo как лексического выражения высшей ступени качества. Однако этот сплав конкретных черт представляется не механическим их соединением, а лишь возможностью реализации идеи красоты, существующей в сознании художника. В [illegible]-

тате «Orator» находит свое выражение это чисто платоновское понимание прекрасного как воплощения идеи красоты; в мыслях художника находится некий изумительный образ красоты, неотрывно глядя на который, он творит свои произведения по ее подобию (species pulchritudinis eximia quaedam – Or. 9–10)[114]. Отсюда делается вывод, что не существуют и не могут существовать абсолютно совершенные художественные творения: «...ни в одном роде нет ничего прекрасного, прекраснее чего невозможно было бы представить» (Or. 8).

Эта идея прекрасного, совершеннейшая красота, не может быть воспринята чувственно, но доступна лишь «мысли и духу» (Or. 8). Красота не в искусстве всегда чувственно воспринимаема, а потому она лишь вторична, и самые совершеннейшие произведения искусства quibus nihil in ullo genere perfectius videmus – статуи Фидия или картины Апеллеса и Протогена, как бы прекрасны они ни были, оказываются ниже того, что служит для них образцом (aliquid perfectum et exellens – Or. 9) и что само по себе недоступно чувственному восприятию. В этих рассуждениях с точки зрения семантики pulchritudo для нас важна отчетливо наблюдаемая в этих текстах синонимия pulchrum с perfectum, excellens, т. е. идея завершенности и высшей (абсолютно) степени качества[115].

Материальный мир не является у Цицерона единственной сферой проявления pulchritudo. Более того, pulchritudo материального мира, оставаясь исходной точкой для рассмотрения проблемы в более широком и общем плане, для Цицерона не является предметом его преимущественного интереса, сосредоточенного в первую очередь на этических проблемах. Произведения, где чаще встречаются рассматриваемые лексемы, относятся к области этики, и эстетический материал служит лишь иллюстрацией для решения проблем этических.

Носителями pulchritudo выступают такие моральные категории, как virtus, honestum, amplitudo animi, а также различные аспекты ментальной деятельности (vera videre, verum cognoscere) и т. д.[116]

«Добродетель» (virtus) выступает как основной носитель pulchritudo в области отвлеченно-нравственных категорий.

Omnis pulchritudo virtutis (T. I.70) вместе с «памятью, изобретательностью, быстротой» служит доказательством божественной силы разума[117]. Этот перечень выступает параллельно к длинному ряду доказательств божественности управления миром, представляющих весь набор аргументов космологической концепции прекрасного, выдвигающих на первый план идеи порядка, мерности, целесообразности, подкрепленные эстетическими оценками с указанием на «блеск», «украшение», и в этом контексте pulchritudo virtutis (ср.: Off. II.37) воспринимается как метафора структурно-мифологической модификации прекрасного. С этой стороны весьма показательна синонимия formosum и pulchrum в письме к Долабелле (Fam. IX.14.4), служащих определением virtus (ср.: N.D. I.24).

Pulchritudo приписывается и еще более абстрактной категории honestus, honestas[118]. В этих употреблениях, дающих оценку этически прекрасного деяния, помимо метафоры из материально-предметной области (N.D. II.47) можно указать и на другие связи с областью эстетических оценок, – в частности, через глагол delectare, включающий это понятие в сферу «удовольствия».

Принадлежность pulchritudo к категории духовной сферы строится на основе метафоры, переносящей конституирующие элементы структурной концепции прекрасного из материально-предметной области в духовную. На это указывает сам Цицерон, говоря, что естественный разум, переходя от зрительно воспринимаемых предметов, в которых он обнаруживает порядок, меру, красоту, в духовную область, «еще больше считает необходимым соблюдать красоту, постоянство, порядок в мыслях и делах» (Off. I.14). Аналогичная мысль высказывается при классификации видов honestum, особый род которого связан с понятием pulchritudo и характеризуется наличием ordo и moderatio (Fin. II.47). Эти последние, раскрывающие первоначально в зрительно воспринимаемом объекте и определяющее его эстетическое значение, выраженное в гендиадисе formarum species et dignitas, переносятся затем в этическую область, где этому понятию соответствует honestas «слов и поступков».

Подобно тому как красота тела производит эстетическое впечатление на зрителя «ладным расположением частей», та-

и «подобающее» вызывает одобрение «порядком, твердостью и умеренностью» всех слов и поступков (Off. I.98). Духовная красота получает дефиницию через сравнение с красотой материальной и в тех же самых терминах – «украшенность и постоянство мнений» (T. V.31).

Приведенные здесь тексты свидетельствуют, что само понятие pulchritudo исконно принадлежит к материально-телесной области и лишь в результате вполне осознанной метафоры включается в духовно-этическую область. Основанием, стержнем метафоры остаются понятия материально-структурного плана. Неоднократно повторяющиеся сравнения этических категорий с материально-телесной pulchritudo, воспринимаемой как гармоническая, завершенная материальная структура, свидетельствуют об исконности и устойчивом характере структурной концепции прекрасного. На этой основе происходит взаимопроникновение некоторых этических понятий в область эстетических характеристик и включение, с другой стороны, pulchritudo в область этическую.

Во всем множестве употреблений pulchritudo практически не встречаются ситуации, в которых лексемы этой группы оценивали бы слово, речь, литературное произведение. Иногда даже говорят, что эти лексемы никогда не определяют у Цицерона произведения словесности[119]. Однако это не совсем так, хотя мы и не найдем среди определяемых этими лексемами слов poema, carmen, fabula и т. п. Действительно, в «Филиппиках» pulcher дважды определяет *речь*. В тексте Phil. III.90 имеется в виду надгробная речь Антония на похоронах Цезаря (ироничность интонации не снимает факта определения лексемой pulcher *ораторской речи*. Аналогично этому определяется ораторская речь в тексте Phil. XII.15. В «Ораторе» Цицерон употребляет выражение pulchre et oratorie dicere (Or. 227.2), тем самым принципиально допуская возможность определения речи лексемой pulcher, а сама эта красота выражается в «прекрасных сентенциях и изысканнейших (lectissima) словах, т. е. в том, что выражает идеи наивысшей ступени качества и отбора[120].

Та же принципиальная возможность определения словесного произведения лексемой pulcher проявилась и в тексте

«Риторики к Гереннию» (H. IV.32.12–14), где при рассмотрении различных «украшений» речи противопоставляются, с одной стороны, festivitas, lepos, и с другой – pulchritudo, dignitas, подкрепленные ampla et pulchra. Этот текст, который будет подробнее рассмотрен позднее, в настоящий момент важен для нас как еще одно свидетельство возможности применения лексем pulcher, pulchritudo в оценке произведения словесности.

Однако остается фактом, что слово, речь, представляющие для Цицерона главный предмет его внимания, его теоретической и практической деятельности, фактически не определяются лексемами данной группы. По-видимому, это связано со слишком прочной и глубокой слитностью этих лексем с оценкой материально-телесного, пластически воспринимаемого объекта, о чем говорилось неоднократно. Допуская перенос термина pulchritudo в область этических оценок и представляя этическое начало как некую мыслительную структуру, Цицерон явно избегает этих лексем в оценке произведений словесности, предпочитая другие термины. Как мы увидим ниже (гл. II и III работы), такими терминами для него будут служить слова, принадлежащие к гедонистической лексике.

2

Вслед за рассмотрением семантической структуры термина pulchritudo мы можем перейти к анализу обеих модификаций этого понятия. Начнем с лексемы venustas, включив в наш анализ связанные с нею в единую семантическую группу прилагательное venustus и наречие venuste, поскольку они выступают на общем с ней семантическом уровне и выражают общую сумму значений. (В нашем изложении мы будем для краткости употреблять термин «лексема» применительно ко всей группе в целом, имея в виду ее семантическое единство.)

Лексема venustas входит, по определению Духачека, в центр понятийного поля красоты[121]. Практически все употребления лексем этой группы принадлежат к эстетической сфере. Лексема не относится к числу распространенных в языке. Так, у Плавта venustas встречается 8 раз (ср.: lepos – 92: venustus –

6 раз; у Теренция venustas – 2, venustus и venuste под одному разу; у Катулла venustas – 1, venustu –7 и venuste – 1 раз). В классический период они не засвидетельствованы и появляются лишь у авторов императорской эпохи (Светоний, Апулей, Геллий). На этом фоне употребление данной группы у Цицерона, представленной 73 примерами (venustas – 45, venustus – 25, venuste – 3), составляют заметное исключение (ср. аналогичную картину с группами festivus и lepos). Следует заметить, что большинство употреблений (venustas – 38, venustus – 15) приходится на риторические и философские трактаты, что может свидетельствовать об интересе Цицерона к лексемам этой группы в связи с определенными сторонами их семантики и попытках их терминологического использования.

Этимология группы на первый взгляд представляется достаточно прозрачной. Еще Цицерон с полным основанием заявлял: «...скорее venustas от Venus, чем Venus от venustas» (N.D. II.69). Трудность заключается в определении первоначального значения Venus, лексемы, представляющей собственно модель среднего рода на -os/-es типа onus, oneris[122]. Для этой основы *venos/venes устанавливается связь с санскритско-ведическим vanas – «желание», засвидетельствованным в сложных образованиях gir-vanas – «любящий песнопения» (эпитет богов) и gaina-vanas – «любящий жертвы», ему соответствует глагол vanati, vanhati – «он желает», от корня *uen – «желать», «любить», широко представленного в различных индоевропейских языках[123]. А. Эрну видит в venus прежде всего выражение точного, конкретного понятия, что естественно для морфологической модели среднего рода, и ставит лексему venus рядом с моделями onus, opus не только по форме, но и по смыслу, сравнивая выражение in venere esse (Plin.) и in opera esse (Caes. B. 9.VII.24.5)[124]. Он достаточно скептически относится к трактовке терминов группы venus как религиозно-магических, получившей развитие в работе Р. Шиллинга[125], подчеркивавшего в лексемах этой группы значение «божественной милости, благосклонности, доброй воли божества» (venus, venia – божественная милость, veneration – испрашивание милости божества, соответственно глагол venerari; venenum – магическое

средство) и толковавшего значение индоевропейского корня uen- e/os как идею «доброй воли божества». Для Шиллинга слова группы Venus выражают понятие магически-религиозных чар, «колдовского очарования», порождающего позднюю, уже на житейско-бытовом, а не религиозно-магическом уровне, идею «женского обаяния, привлекательности»[126]. А. Эрну, допуская в принципе возможность осмысления первобытным сознанием сексуального влечения как магической силы, «очарования», указывает на то, что в словарном составе латинского языка нельзя найти следов такого осмысления[127]. Во всяком случае, функционирование лексемы Venus (часто мн. ч. Veneres) в латинском языке свидетельствует о том, что она способна выражать идею «удовольствия», «приятности», переходящую в определенных контекстных ситуациях в оценку эстетическую[128]. Во всех этих употреблениях, относящихся не только к поздним, но и к ранним (Плавт) авторам, присутствует идея гедонистической (или эстетической) оценки, и нет никакого намека на семантическую связь с Венерой как богиней любви. Можно предположить, что гедонистически-оценочное («приятное»), стоящее на грани эстетического («красивое») значение исконно присуще лексеме Venus, т. е. что эта лексема в одном из своих семантических аспектов принадлежит к гедонистической лексике. На этой основе, вероятнее всего, развивается семантика производных от Venus – venustus и venustas.

Последние представляют два параллельных образования от venus, ибо, как замечает П. Монтейль[129], остается спорным образование venustas от venustus (как это полагает, например, А. Эрну[130]). Venustus образуется от именной основы с помощью суффикса -to- (тип onus – onustus)[131]. Морфема -to- выражает идею «осуществления понятия в объекте»[132]. В латинском языке развивается поссесивное значение («обладающий качеством». ср.: honos – honestus; onus – onustus и т. д.). Таким образом, venustus, собственно, «обладающий качеством, именуемым venus»[133], отсюда «привлекательный, желанный» с дальнейшим развитием этой семы: привлекательный, потому что приятный, красивый и т. д. и тем самым «приятный», «красивый». Venustas – абстрактное выражение такого обладания в соответств

с семантикой данного морфологического типа (-tas), обозначающего качество (наделенность качеством venus).

Уже доцицероновское употребление этих лексем, сравнительно немногочисленное, дает представление об основных семантических параметрах данной группы. Употребления Плавта ограничиваются преимущественно характеристикой человека, его внешности[134] как привлекательных. Единственный пример из Теренция vultu venusto (Andr. 120) также касается характеристики внешности.

Непосредственных связей с Venus (выражение идеи любви) в сохранившихся текстах нет. Единственный пример, допускающий такое толкование, – Cat. 97.6, остальные примеры, приводимые Монтейлем, неубедительны[135].

Особняком стоят несколько употреблений, где venustas выражает идею счастья, удачи[136]. Все остальные употребления связаны с основным значением «приятного», «привлекательного». Это может быть и оценка человека, но и в этом случае (как и всегда) речь идет не о красоте или правильности черт, а об особой «внутренней» привлекательности, некой «квинтэссенции» прекрасного. Таков текст Катулла 86.3, где Квинтия, обладая всеми внешними характеристиками красоты (candida, recta), не может быть названа formosa, потому что она лишена venustas, параллельно которой в тексте является mica salis, где sal – нечто придающее жизнь и очарование красоте. Аналогично значение venustus в конструкции литоты nec invenustum scortillum (Cat. 10.4)[137].

В тексте Cat. 13 venuste noster, в сущности, не поддается определению, однако в тексте 22.2 Суффен оценивается вполне положительно, главным образом как человек не просто приятный, но образованный и утонченный (homo est venustus et dicax et urbanus), значение, подчеркнутое соседством dicax, urbanus (ср. sermo urbanus et venustus – Cic. Dom. 92). Во всяком случае, venustus этого текста вполне сводится к семе «приятности». В обращении к полуострову Сирмий venustus раскрывает способность оценивать объект как «дорогой, милый» для субъекта, что не исключает значения «прекрасный» (красивый), но с определенной коннотацией *личного* отношения субъекта к

оцениваемому объекту (ср. 13). Текст 12.5 venustus (sordida res et invenusta – о краже салфеток) выдвигает на первый план сему «утонченность», «воспитанность», собственно, «некрасиво с точки зрения воспитанного человека», т. е. включает субъективный оценочный момент. У Катулла, таким образом, преобладает гедонистическое («приятный») употребление, причем только применительно к людям (в 12.5 – оценка поступка; обращение к Сирмию – олицетворение) с отчетливым включением социально-культурной оценки.

Интересен единственный пример употребления у Катулла наречия venuste, потому что оно представляет оценку литературного (поэтического) произведения. В шутливом тоне говорит он, что начало поэмы Цецилия о «владычице Диндима» (Великой Матери) действительно настолько прекрасно, что могло бы внушить некой девице «безумную любовь» к автору: ignosco tibi... est enim venuste Magna Caecilio incohata Mater (35.17), т. е. представляет в какой-то мере оценку эстетическую.

Весьма интересен для понимания значения venustus и его отличия от pulcher поздний текст (из Светония), в котором описывается внешность (Nero 51) vultu magis pulchro quam venusto, где в отчетливой антитезе pulcher – venustus проявляется семантическая специфика обеих лексем: pulcher характеризует лишь правильность черт, красоту внешней формы (ср.: Cat. 86.2), venustus – красоту «внутреннюю», точнее – впечатление (живое, эмоциональное), производимое на воспринимающего созерцанием объекта, т. е. то, что ему активно нравится. Близко к этому и значение venustus, определяющее внешность Августа: forma fuit eximia et per omnes aetatis gradus venustissima (Aug. 79). Из всего контекста вытекает, что venustissima forma (в отличие от eximia, характеризующей оценочно forma «внешность» и тем самым превращающей все сочетание в выражение «замечательная красота») определяет впечатление, производимое этой внешностью, выступая в значении «привлекательный» – «приятный».

В текстах Цицерона употребление рассматриваемой [illegible] ограничено сравнительно небольшой группой объектов [illegible] ство, определяемое данной лексемой, может принадлежать [illegible]

а) материальному объекту, одушевленному или неодушевленному;

б) действиям, осуществляемым этим объектом именно как материальным (движение, жест, сценическое представление и т. п.)

в) речи, слову.

I. К первой группе, где характеризуется материальный объект, можно отнести 20 контекстных ситуаций, большинство из которых относится к философским трактатам. Качество venustas может принадлежать любому зрительно воспринимаемому объекту, где venustas стоит в ряду воспринимаемых только человеком эстетических качеств объекта вместе с pulchritudo и convenientia pertium (Off. I.14). Venustas, как и dignitas, присуща вообще «формам» (Off. I.107), и в частности сфере (R.P. I.31). Venustas упоминается вместе и равноправно с pulchritudo среди телесных качеств, неотрывных от *здоровья*[138] (Off. I.95). Оно принадлежит не только формам, но и цвету (N.D. II.145), и это качество в данном тексте оказывается рядом с ordo («порядок») и тем, что Цицерон называет decentia (ср. Off. I.14) (colorum et figurarum venustas). В человеческом теле все направлено на достижение venustas: omnia in hominis figura... ad venustatem apta (I.47). Предметы искусства также могут обладать этим качеством. Таковы signa... eximia venustate (Ver. IV.5); вазы и статуи venusta habentur (Par.38); о статуэтке козочки говорится, что она venuste facta (Ver. II.87); о вилле omni apparatu venustatis ornata – «она полна всяческой прелести и затей» (Fr. V.17).

Venustas присуща не только целому, но и отдельным частям его в противопоставлении целому (Or. 234.9). Части корабля – борта, трюм, нос, корма, реи, паруса, мачты – обладают venustas, так же как и все «части» деревьев, у которых «нет такой части, которая не была бы «прелестна» (venusta, De or. III.180). Это не может быть сказано о глазах человека (Т. 5.46. Ср. «лицо» у Теренция – Andr. 120 и Светония – Nero 51), как и о человеке в целом в его внешнем проявлении mulieres (Or. 78), iuvenes (Cael. 67), homo (Ver. V.142). Практически venustus может определять любой материальный объект (в письме к Аттику – «книжные полки» – Att. IV.8.2–3).

Ряд текстов («Об ораторе», «О природе богов») развивают мысль о соотнесенности и взаимосвязи функционального и эстетического в объекте и подчиненности и зависимости второго от первого. В человеческой фигуре все приспособлено не только к практическому применению, но и имеет в виду красоту (non modo ad usum, sed etiam ad venustatem – N.D. I.47). Venustas, в этом тексте сосуществующая с usus, в более широком контексте служит доказательством всеобъемлющего совершенства мироздания и не является лишь результатом практической целесообразности органов тела. Тем важнее выделенность этой области из практической сферы, противопоставленность ей. Конструкции ad usum, ad venustatem, указывающие на целевую направленность, подчеркивают значение venustas (в оппозиции к usus) не как имманентного качества объекта, а как определения его способности функционировать в определенной области (соответственно в практической и эстетической).

В совершенно аналогичной позиции выступает venustas в известном тексте из трактата «De inventione», где речь идет о художнике Зевксисе, намеревавшемся создать образ идеальной женской красоты (pulchritudo). Употребление ряда синонимических терминов эстетического ряда – pulchritudo, formosus, dignitas, – встречающихся в этом тексте, завершается упоминанием venustas – quaereret ad venustatem (Inv. II.3). В этой позиции venustas, в отличие от перечисленных терминов, характеризующих объективные, конкретные эстетические качества, указывает на *цель* усилий и поисков художника, стремящегося к достижению *эстетического* впечатления, т. е. venustas здесь является не синонимом pulchritudo, а выражением ее эстетически-активной функции, посредником между объективной pulchritudo и воспринимающим субъектом (ср. в этом отношении уже упоминавшееся место у Светония: vultu magis pulchro quam venusto).

Функциональность объекта может полностью определять и обусловливать его эстетическую характеристику. В трактате «De natura deorum» встречаем утверждение, что с утратой полезности (utilitas) части тела теряют свою «прелесть» [illegible] (N.D. I.92). Ранее та же мысль была выражена в более [illegible]

нутой форме в тексте трактата «De oratore», где констатируется совмещение утилитарной и эстетической функции объекта: в большинстве вещей «природа невероятным образом устроила так, что то, что более полезно, то и заключает в себе больше достоинства (dignitas), а часто и прелести (venustas)» (De or. III.178.5). Крыша Капитолия, как и других зданий, создана не ради красоты (venustas), но ради необходимости (necessitas), а уже за полезностью (utilitas) следует достоинство (dignitas) (De or. III.180.8)[139].

Venustas отдельных частей тела обусловлена их целесообразностью, равно как и частей корабля: «...ибо что более необходимо для корабля, чем борта, трюм, нос, корма, реи, паруса, мачты? Однако же они так красивы на вид (hanc habet in specie venustatem), что кажутся созданными не только ради благополучного плавания, но и для удовольствия» (voluptatis causa – De or. III.180.4). То же самое говорится о колоннах, портике, храмах, только теперь в позиции venustas находится dignitas.

Текст о корабле (De or. III.180.4) объединяет понятия venustas и voluptas (в антитезе к salus, necessitas, utilitas) как выражение идеи эстетического удовольствия. Venustas во всех цитированных текстах возникает вместе или в результате «полезности» («необходимости») объекта, являясь функцией его утилитарности, и присуща вещи не самой по себе, а лишь постольку, поскольку она практически функциональна; с исчезновением же полезности исчезает и venustas, которая в рассмотренных контекстных ситуациях выражает эмоциональное удовлетворение от функциональной целесообразности предмета, воспринимаемой как его *красота*[140].

Таким образом, связь качества venustas с объектом носит не субстанциальный, а акцидентальный характер, и в этом характере ее связи с объектом заключается немаловажный момент для понимания семантической специфики рассматриваемой лексемы, выступающей как характеристика не столько объективных качеств предмета, сколько того эмоционального (в данном случае эстетического) воздействия, которое последний производит на воспринимающий субъект.

Этот акцидентальный, а иной раз и чисто субъективный характер семантики venustas отчетливо просматривается в тексте трактата «De natura deorum», где говорится, что недостатки часто могут нравиться и представляться достоинством в глазах любящего. Так, Росций представляется Катуллу «прекраснее бога» (pulcherior deo), несмотря на то что у него «совершенно косые глаза» и, следовательно, объективно он не может быть «прекрасным» (pulcher); но тот считает его прекрасным, потому что именно косоглазие кажется ему «пикантным» (salsum) и привлекательным (venustum) (N.D. I.79), подобно тому как родимое пятно, «портящее тело» (mascula corporis), представляется в глазах любящего украшением его (lumen).

Предикация через глагол videri и объединение с salsum, метафорой некой «изюминки», «сущности» прекрасного (ср. у Катулла: venustas... mica salis 86), одушевляющей мертвую, холодную красоту, еще более усиливают в venustas значение «впечатления», качества, реализующегося только во взаимодействии с воспринимающим субъектом и носящего порой не только субъективный, но и (как в данном случае) иррациональный характер. Синонимом venustum в рассматриваемом тексте является не pulchrum, а iucundum (...etiam vitia saepe iucunda), лексема, также выражающая часто субъективное *впечатление* от субъекта, а не его действительные качества (см. гл. II).

Аналогично значение venustus в определении произведения искусства. Единственный пример, где venustus может рассматриваться как близкий синоним pulchritudo (signa eximia venustate... Ver. IV.5; ср. также: De or. II.82; Par. 38), приходится на 43 текста, в которых произведение искусства оценивается лексемой pulcher (в том числе 11 раз в речах против Верреса). Это может свидетельствовать в пользу предположения о том, что лексема venustas не удовлетворяет Цицерона в функции характеристики *объективной* красоты пластического предмета (статуи, вазы и т. п.).

Этот семантический аспект рассматриваемой лексемы подтверждает и текст «Paradoxa stoicorum»: «...статуи, вазы, картины могут считаться прекрасными (venusta), но лишь как детская забава» (Par. 38). В данной контекстной ситуации venustus синонимично употребленному в этом же тексте fes[illegible]

имеющему значение «нравящийся», «приятный» (эстетически хороший), но при несколько сниженном уровне такой оценки (см. ниже festivus). В свою очередь предикация через haberi адвербиально-консекутивная конструкция ita – ut уже грамматическими средствами подтверждает этот субъективный характер семантики venustus. Такую же интерпретацию допускает и venuste в тексте capella venuste facta (Ver. II.87), что означает: статуэтка козочки, «производящая эстетическое впечатление», хотя в данном случае возможна и синонимия с pulchre.

В аналогичной семантической позиции может выступать venustas и при определении человека. Таков, например, текст из «Оратора», где ораторская речь, лишенная риторических прикрас, сравнивается с женщинами, которым «идет» (decet) именно то, что они не прибегают к украшениям: «...появляется нечто...от чего это (и речь и женщины) становится прекраснее» (venustius 78). Venustus в данном случае (отметим попутно близость употреблений venustus и decet) характеризует опять-таки именно *впечатление*, производимое этой неукрашенностью. В другом тексте юношей привлекает к ним внимание Клодии (vigeant... venustate Cael. 67), и в этой казуальной (venustate) функции проявляется эмоционально-активный аспект семантики данной лексемы (сама красота Целия в тексте обозначается словом candor).

Текст из пятой речи против Верреса (Ver. V.142), соединяющий lepos и venustas, выдвигает в последней на первый план идею «изящного», «утонченного» (ср.: Fr. V.17); к тому же следует принять во внимание и общую саркастически-ироническую тональность фразы, и сознательную каламбурность: ... homo venerius, adfluens omni lepore ac venustate... in aede Veneris... Cupidinem posuit, – подчеркивающую этимологию venustus и тем самым – аспект ее семантики, непосредственно связанной с Венерой и кругом примыкающих идей.

2. Вторую группу образуют тексты, в которых venustus принадлежит не самому объекту, а его проявлению именно как материального объекта в действии (движение, мимика, жест). В такого рода контекстных ситуациях чаще всего характеризуется жест[141]. Здесь, как и в оценке функционально мотивируе-

мого эстетического качества объекта (см. выше), часто совмещаются venustas и dignitas (ср.: dignitas motus – De or. III.31.9).

Venustas характеризует конкретные виды движений, например владение оружием (см.: De or. III.200.5, где речь идет о движениях гладиаторов или атлетов. То же в тексте De or. III.206.3: armorum ad venustatem tractatio). В гладиаторском бою «все, что полезно для битвы, то и прекрасно для глаза» (idem ad aspectum... venustum Or. 228.12). Те же гладиаторы «первые копья бросают так метко, что тем самым достигают и немалой красоты (ut venustati serviant) и сохраняют свои силы» (De or. II.316). В двух последних текстах можно отметить вновь известное уже сопряжение эстетической и функциональной ценности объекта.

Особую группу составляют тексты, где venustus характеризует сценическое искусство. Цезарь, выступая на форуме, проявлял «почти театральную прелесть» (scenica venustate tractavit – De or. III.30). Говоря об ораторе Сульпиции, Цицерон считает нужным подчеркнуть, что его venustas «не является театральной» (B. 203.4). Ораторы предостерегаются в «Риторике к Гереннию» от проявления venustas, «дабы не показаться лицедеями» (H. III.26.4).

Если в последнем (цицероновском) тексте (и отчасти в «Бруте») эта venustas вызывает неодобрение, то в другом случае (De or. III.30) о ней говорится как о положительном качестве ораторов. Текст «Брута» предполагает существование особого вида venustas – ораторского (ad forum), противополагаемого сценическому.

Venustas наряду с dignitas является важнейшей характеристической чертой искусства актера Росция, остающегося, как известно, для Цицерона образцом истинного художника, своего рода актерской параллелью к образу идеального оратора. Говорится о его «выдающемся искусстве и прелести» (venustas – Arch. 17), которыми он заслужил бессмертие. Во всех движениях и жестах оратору необходима venustas Росция (De or. 25[illegible]). В речи «Pro Quintio» говорится, что «оратор, осмелившийся в присутствии Росция сделать хотя бы один жест, должно быть, не имеет никакого стыда, а те, кто вступит с ним в состязание

если у них и было что-то хорошее и приятное (venustum), потеряют его» (Quint. 77). Росций владеет высшей тайной искусства – «подобанием» (decus), делая все только совершенно, только с величайшей красотой (cum summa venustate – De or. I.130.3), так что результатом этого совершенства и красоты и является decus (отметим еще раз совмещение понятий venustus и decus).

Таким образом, venustas есть достояние как сценического, так и ораторского искусства, проявляясь в исполнении речи (actio), т. е. в области, ближе всего соприкасающейся с деятельностью актера. Задачей оратора является исполнение agere cum dignitate et venustate (De or. I.142); non invenustus actor (B. 237) – говорится об ораторе Цензорине. Все примеры с motus и gestus относились к ораторскому искусству, как и сравнения с искусством гладиаторов. Наконец, venustas принадлежит к мимике: H. I.3.12; Or. 60.2, где venustas вновь оказывается вместе с dignitas.

Во всех приведенных текстах venustas в силу самой семантики определяемого объекта (движение, пластика, мимика) оценивает характер *протекания* действия, являясь тем самым его не имманентным, а акцидентным качеством. Это, по существу, тот же зрительно воспринимаемый пластический объект, но его эстетическая ценность заключена не в самой его материальной природе, а в *способе существования*, изменения, перемещения в пространстве, что и характеризуется термином venustas, специализирующимся на оценке эстетического *впечатления*.

Этот семантический оттенок рассматриваемой лексемы подчеркивается и в ее синтагматике: venustas часто выступает в конструкциях, указывающих на ее значение характеристики *проявления* объекта как эстетически воспринимаемого (ср. ниже конструкции с decus)[142].

В свою очередь связь понятий venustas и ars также подтверждает наличие в venustas идеи художественной выразительности. Venustas рассматривается как качество, достижимое прежде всего для искусства, тренировки, т. е. как результат художественного мастерства: «жест, от природы столь изящный

(venustus), что, казалось, это дело искусства» (B. 272.10), только мастер способен обрести его (Arch. 17; ср.: B. 235).

Итак, venustas в текстах Цицерона принадлежит трем искусствам: гладиаторскому, актерскому и ораторскому. Первое есть область чисто пластического выражения (движение), второе – синтез пластики и речи (голос), ораторское же искусство, совпадающее с актерским в «исполнении» (actio), помимо пластики и силы, тембра, выразительности голоса включает и саму *речь*, *слово*, и эта последняя область – искусство речи – оказывается третьей предметной сферой действия и проявления venustas в текстах Цицерона.

3. Эта группа текстов, относящихся почти исключительно к риторическим трактатам, насчитывает 24 контекстных ситуации, в которых venustus определяет либо авторский стиль в целом, либо отдельные элементы этого стиля, некоторые художественные особенности, ораторские приемы и фигуры (exornationes), особенности произношения, манеру рассказа.

Так, стиль Лисия характеризуется как venustissimus (Or. 29). Такое же определение получают «Записки о галльской войне» Цезаря: «...они неубраны, просты и очаровательны (venusti), лишены всяческих риторических прикрас, как одежды» (B. 262.4). В первом случае venustas стиля Лисия сопряжена с тщательной отделкой его речи (politissimus scriptor), во втором она связывается с отсутствием всяческих риторических прикрас, что и рождает метафору «обнаженные»; главное же их достоинство – чистая и краткая ясность, которая называется «наисладчайшей» (nihil... dulcius). Принадлежа простому, лишенному всяческих украшений стилю, venustus в данной контекстной ситуации практически синонимичен dulcis, оценивающему чистоту и краткость аттикизма, и оба термина определяют здесь эстетическое *впечатление*, производимое данным стилистическим явлением.

В этой же связи можно рассматривать и текст об эстетическом впечатлении, производимом «утонченной речью», даже если она «не причесана» (Or. 78). Именно в силу этой «непричесанности» речь становится venusta, подобно [illegible]

которым женщинам, которым идет отсутствие украшений. (В рамках метафоры incompta средства украшения называются calamistri – «щипцы для завивки».) Семантическая специфика venustas данного текста остается такой же, как и в предыдущей. Эстетически действенной может быть краткость изложения сама по себе, и это эстетическое впечатление от нее получает наименование venustus (De or. II.327.9)[143].

Еще более отчетливо этот аспект семантики venustus – оценка эстетического впечатления, производимого объектом, – раскрывается в тексте письма к Волумнию (Fam. VII.32.2), где Цицерон полушутливо возмущается тем, что ему приписываются чужие остроты и, следовательно, не оцениваются по достоинству его собственные. Это, по его словам, происходит потому, что «в городе собрались такие подонки, что нет ничего столь безвкусного (α'κύθηρον), что кому-нибудь не показалось бы прекрасным...» (venustum – Fam. VII.32.2).

Фраза строится на семантическом каламбуре: ἀκύθηρον (от Κυθήρα = Venus), соотносящееся с venustum. Текст подчеркивает субъективно-оценочный характер venustus, при этом оценка всецело зависит не от реальных качеств объекта, а от самого оценивающего субъекта, поэтому самая объективно отвратительная вещь ἀκύθηρον (= invenustum) может быть оценена как venustum.

Venustas может заключаться и в отдельных риторических фигурах (De or. III.199.8; H. IV.19, 24, 63). Во всех случаях venustas сопоставляется с каким-нибудь функциональным качеством. Так, repetitio (повторение) (H. IV.19) имеет multum venustas, но еще более gravitates et acrimoniae – «важности и резкости», а потому может применяться и для «украшения», и для «придания величия». Ratiocinatio (рассуждение) удерживает слушателя в напряжении «как прелестью (venustas) речи, так и ожиданием логических обоснований (H. IV.24). Efficitio (описание внешности) несет как пользу (utilitas), так и удовольствие (venustas), если делается кратко и ясно (H. IV.63.7). Неотрывно сопутствуя функциональной характеристике, проявляющейся в различной форме – от конкретной содержательной черты (серьезность и важность, логический анализ) до «полезности»

вообще, – venustas выполняет роль характеристики его эстетических возможностей[144].

Говоря о характерных признаках, объединяющих в одну группу десять фигур (exornationes), автор трактата отмечает, что употребление слов в необычном контекстном окружении и значении придает речи «некую прелесть» (Н. IV.42), т. е. и в данном случае venustas – выражение эстетической функции объекта, что подчеркивается и синтаксически-адвербиальным употреблением (cum quadam venustate). В трактате «Об ораторе» в каждом из трех видов речи требуется присутствие некоего «украшения прелести» (venustatis color – De or. III.199.8). Этот color может быть и искусственным (fuco illitus – «нагримированный») и *естественным*, органичным (sanguine diffuses – «разлитый в крови»), и именно таким он и должен быть.

Venustas присуща любому роду речи, любому ее стилю при всех их принципиальных отличиях друг от друга, т. е., как мы еще и еще убеждаемся, venustas есть характеристика эстетической функциональности объекта, а не его самого. (Отметим попутно важную для эстетики Цицерона черту – требование *естественности*, органичности эстетических характеристик, отказ от всего нарочитого, неестественного, «нагримированного».)

Несколько раз venustas оценивает ораторские сентенции: употребление шутки, остроты – «приятно» как в серьезных («важных») сентенциях, так и в веселой речи (facetiae – De or. II.262.11). Оценивая собственно не самою шутку, а ее функционирование в различных, даже эмоционально-стилистически противоположных жанрах, venustas несет еще в себе следы чисто гедонистической семантики («приятно», «доставляет удовольствие»), но поскольку предметом оценки является речь, можно и в этом случае говорить об эстетическом содержании такой оценки, равно относящейся и к серьезному и к смешному.

Азианский стиль отличается «сентенциями не столько важными и суровыми, сколько стройными и изящными» (venustae et concinnae – В. 325.7). Тот же вид красноречия отмечен стремлением к «частым и изящным» (venustae) сентенциям

(B. 326.5), среди которых некоторые скорее «изящны и сладостны (venustae dulcesque), чем необходимы и порой полезны» (там же).

Venustus, сопровождаемый в этом тексте concinnus, противопоставляется качеству gravis, severus, necessarius. С одной стороны, это уже известное нам сопоставление утилитарного и эстетического, но в данном случае лексическое окружение venustas выдвигает иной аспект семантики, придавая дополнительное значение «внешней, самоценной приятности», «искусственной красоты», рассчитанной исключительно на внешний эффект и не связанной с содержательной стороной (не выражающей важного и серьезного, т. е. «необходимого» содержания). От такого рода самоцельной и не выражающей сущности вещи «красоты» (venustas) Цицерон предостерегает, призывая не злоупотреблять сходно звучащими, одинаково оканчивающимися или отличающимися друг от друга лишь одним звуком словами: все это получает название: quasi quaesita venustas (Or. 84); quaesita здесь не «изысканная», а «нарочитая», что подвергается следующим за ней elaborata concinnitas – «достигнутая усилиями стройность» и еще более метафорой aucupium delectationis – «охота за эффектом», указывающими на самодовлеющий характер такого рода украшений. (Ср. аналогичное употребление festivus, для которого такой семантический оттенок является одним из основных, тогда как в семантическом спектре venustas рассмотренные выше случаи составляют явное меньшинство.)

Определяя характер протекания действия, venustas может в ряде случаев оценивать рассказ, манеру речи и повествования. В этой группе контекстных ситуаций проявляется, в частности, связь venustas с идеей «шутки», «остроумия». Так, в письме к Требонию Цицерон пишет, что любые шутки, каковы бы они ни были в действительности, в пересказе Требония становятся очаровательными (venustissima – Fam. XV.21.2). Эта оценка оказывается в прямой семантической связи с faceta, принимая роль своеобразного суперлатива последней. Эстетическая оценка вполне может здесь присутствовать, но несомненна и коннотация «забавного», «остроумного»; при этом условии и основанием для высшей эстетической оценки оказывается

личность (талант) рассказчика te narrante. Такое же соотношение между лексемой venustus в превосходной степени и синонимичной с facetum, salsum встречается в тексте «Об ораторе», где речь идет об одной из разновидностей смешного – перехватывании слов противника и обращении против него же (De or. II.255). Называются и оцениваются несколько разновидностей (приемов) комического: «...хорошо известен (прием)... когда мы ждем одного, а говорится другое... а если примешивается еще и двусмысленность, то (шутка) делается остроумнее (fit salsius). Но самое прекрасное... (venustissimum – II.255)». Функция venustus сводится здесь прежде всего к общей оценке превосходства данного рода комического. Объект оценивается в своем роде, т. е. как проявление *комического*, поэтому в venustus данного текста, как и текста, рассмотренного выше, присутствует сема «остроумия», «веселости», усиленная предшествующим ей salsum. Но в то же время сам этот род комического и его конкретные воплощения получают оценку с точки зрения совершенства их реализации, осуществляемой в слове, и эта оценка уже эстетическая, и в salsum наряду с семой «остроумия» обнаруживается и сема эстетически-оценочная, в свою очередь подчеркнутая соседством с venustus и его преимущественно эстетико-оценочной семантикой.

Есть и другие тексты, в которых venustas оказывается сопряженной с терминами, выражающими идеи «остроумия», «шутки» и т. д.: у Красса «выдающаяся сила речи, соединенная с величайшим остроумием и изяществом» (summa venustate et festivitate – De or. I.243.11). В данной контекстной ситуации venustas и festivitas равнозначны перечисленным несколько выше sal, lepos, politissimae sententiae, вносившим в судебное заседание атмосферу оживления и веселья (hilaritas), т. е. несомненно наличие в этих лексемах по крайней мере двух сем: «веселости» (sal, facetiae, частично lepos) и «изящности», «отделки» (politissimae, определяющие facetiae, отчасти тот же lepos). Идея «веселости», выражаемая прежде всего лексемой festivitas, в силу взаимодействия семантических полей (влияние лексического окружения) присуща здесь и лексеме venustas, и наоборот, festivitas включает элемент эстетической оценки.

Такое же совмещение сем «остроумия» и «приятности» обнаруживается в venustas, присущей пословице (proverbium). Об этом говорится в контексте общего рассуждения о комическом, «заключающемся в словах».

К этой категории комического относятся и пословицы (точнее, их употребление в ораторской речи), «поскольку с изменением слов они теряют свою прелесть» – venustatem amittunt. (Перевод venustas словом «прелесть» передает лишь один ее семантический аспект, хотя здесь явственно присутствует и другой оттенок – «остроумие», выявляясь из более широкого контекста. В подлинной ораторской речи subtilis venustas atque urbanitas (утонченная прелесть и изысканность) должны сопровождаться остроумием, шутками (lepos quidam et facetiae, eruditio libero digna), – все это делает ее принадлежностью плана выражения, средством оценки упомянутых в тексте юмора, остроумия и образованности.

Семантическая структура venustas этого текста сложнее, чем в других текстах, ибо включает в оценку эстетических качеств объекта указание на обусловленность его эстетической ценности определенным социально-культурным уровнем, что находит выражение в объединении с urbanitas и в дефиниции subtilis. Аналогична связь этих понятий в тексте Dom. 92: sermo urbanus et venustus... Эти лексемы объединяются и в трактате «Об ораторе»: Антоний замечает, что само по себе остроумие, каково бы оно ни было, еще не заслуживает восхищения, но он не может скрыть восхищения и зависти к Крассу, который, будучи omnium... venustissimus et urbanissimus, в то же время и gravissimus et severissimus (De or. II.228). Структура фразы объединяет facetus et salsus с venustissimus в противопоставлении к gravissimus et severissimus[145], явно свидетельствуя о наличии в venustus семы «остроумия» (ср.: Cat. 22.2: homo est venustus et... urbanus), объединение же с urbanus и суперлатив усиливают оценочный (с включением социокультурной характеристики) момент[146].

Связь venustus с идеей «остроумия» обнаруживается и в тексте из «оратора», где один из видов остроумия (sal) связывается с жанром narrare aliquid venuste, отличающимся от iacere

mittereque ridiculum (Or. 87.4). Понимая facetiae как «остроумие», «веселость», в narrare venuste следует видеть не «изящный (приятный) рассказ», а рассказ веселый, остроумный, проникнутый юмором, при сохранении коннотации «приятного», «привлекательного». (Вообще следует сказать, что очень часто приходится сталкиваться с близостью значений слов, обозначающих «веселость» и «приятность», т. е. лексики «веселья» и гедонистической. Мы увидим это еще отчетливее при анализе лексем iucundus, lepos, festivus.)

Venustas et sal характеризуют остроумное обращение Сцеволы к неумеренному эллинисту Альбуцию во фрагменте из Луцилия (cum multa venustate et omni sale – Fin. I.9). Omnis sal здесь исчерпывает собственно сатирическое содержание речи, и на долю venustas (при их синтаксической однородности) остается (вместе с наречием praeclare) выражение эстетической оценки речи.

3. а. Подобно другим лексемам гедонистической группы, venustus может участвовать в характеристике духовного склада человека (иногда и здесь соседствуя с лексикой «остроумия»), раскрывающегося в общении. Сократа отличает наряду с тонкостью ума, мудростью, красноречием еще и venustas (De or. III.60.4), выступающая как качество *ума*, а не речи. Структура фразы параллельна: Сократ легко превосходил всех: cum prudentia et acumine et venustate et subtilitate tum vero eloquentia, varietate, copia.

В общем контексте противопоставления философии и риторики, о котором идет речь в данном тексте, первые слова каждого ряда prudential – eloquentia являются основными, следующие за ними однородные члены не равноправны им на семантическом уровне; это лишь паратактически выраженные определения основных качеств – ума (мудрости) и красноречия. (Ум проникновенный – acumen, тонкий – subtilis; красноречие разнообразное – varietas, богатое словами – copia.) Venustas оказывается качеством ума и тяготеет скорее не к гедонистической, а к ментальной (юмор, остроумие) лексике. Ср. также Flac. 76, где venustas и facetiae также соединены в оценке человеческой личности. В письме к брату Квинту (...

filius venustissimus – I.3.3) venustus в стандартном употреблении эпистолярного стиля, с характерной для него ослабленной семантикой в обязательно-формульном суперлативе, не выходит за пределы гедонистической семантики.

Итак, мы установили в результате нашего рассмотрения употреблений лексемы venustus в текстах Цицерона, что она способна характеризовать (в зависимости от определяемого объекта: а) *внешние* проявления объекта (характеристики материального объекта); б) *внутреннее* содержание (характеристика духовного склада личности); в) комплекс *внутренне-внешних* характеристик (оценка движения, исполнения речи, где в одном случае может преобладать оценка *внешнего* проявления – гладиаторское искусство, в другом – через это внешнее проявление раскрываться *внутреннее* (этическое) содержание – искусство актера и оратора).

Точно так же, оценивая слово, речь, venustus может иметь в виду чисто внешнее их проявление (звучание) и значительно чаще внутреннее ее содержание и организацию и, в частности, ее *остроумие* и *тонкость.*

Практически всем употреблениям рассмотренной лексемы присуще в той или иной мере выражение эстетической оценки объекта. Мы пытались показать, что специфической чертой такого рода оценки является характеристика не имманентно присущих самому объекту свойств и качеств, а того *впечатления*, которое он в определенных условиях производит на человека, вне зависимости от реального характера этих качеств, т. е. определяет не саму красоту, изящество, стройность и т. п. объекта, а их *способность* производить эстетически приятное впечатление. Говоря на более общем уровне, venustas есть выражение эстетической активности объекта, т. е. специфического качества объекта, способного восприниматься эстетически[147].

Именно в этом лежит основное семантическое различие между лексемами venustas и pulchritudo, которая бозначает, как правило, объективную красоту, т. е. оценивает сам объект как стройный, красивый, гармоничный и т. д. Такой семантический оттенок рассматриваемой лексемы связан прежде всего с тем, что ее эстетическое значение развивается на основе ге-

донистической семантики, тогда как для pulchritudo исконной остается онтологическая характеристика.

Сколь бы ни были сильны семантические отличия venustas от pulchritudo, возможны, однако, ситуации, когда оба термина сближаются, ибо достаточно заметны и черты сходства, ведущие порой к утрате дополнительных дифференциальных признаков и практически к полной синонимии. Не менее сильна для рассматриваемой лексемы конкуренция со стороны других лексем гедонистической группы (suavis и особенно lepos). С последним на эстетической почве у venustas лишь с большим трудом и не всегда успешно устанавливается семантическая граница[148]. В ряде случаев уже не существует возможности установить более или менее реальные, поддающиеся логической формулировке различия значений venustas и lepos (например, при характеристике личности). Этот момент, возможно, сыграл некоторую роль в том, что после Цицерона в течение долгого времени эта лексема вообще не встречается в текстах (классический период) и только в I–II вв. н. э. робко появляется у некоторых авторов, вытесняемая своими конкурентами, и прежде всего pulchritudo, которая берет на себя выражение всех эстетических отношений – как самой эстетической характеристики объекта, так и его эстетической активности.

3

Другим семантическим аспектом pulchritudo является dignitas. Эта лексема, весьма употребительная в латинском языке со времени Цицерона[149], получает преимущественное распространение в этической и социально-политической лексике. И в то же время она обнаруживает связи и с другими лексическими областями, в частности с риторической и эстетической. Именно этот последний аспект и представляет для нас особый интерес.

В своей схеме понятийного поля красоты в латинском языке Духачек, исходя из указанного выше определения Цицерона и очевидной оппозиции данной лексемы с venustas, относит dignitas к центру поля, подчеркивая в то же время ее несколько маргинальное положение среди терминов красоты, поскольку

она гораздо чаще выступает в своем первоначальном смысле и потому что ее частотность в качестве термина красоты относительно мала[150].

Dignitas представляет собой абстрактную модель nominis qualitatis, образованную от прилагательного dignus, в свою очередь восходящего к индоевропейскому корню dec-[151], выражающему идею «приятия» в физическом и моральном смыслах[152] и имеющему первоначальное значение «соответствующий», «должный», «достойный» (чего-либо)[153] с постепенно развивающимся на этой основе оценочным (*положительного* характера) значением в абсолютном значении слова (ср. рус. «достойный человек»), тогда как в обычном употреблении оно безразлично: достойный награды (наказания) (dingus praemio (poena). Наиболее распространенное значение dignitas связано с этим положительным аспектом семантики прилагательного, выступая только с плюсовой характеристикой.

В «Partitiones oratoriae» подчеркивается значение dignitas как выражения человеческого достоинства, как высшей моральной ценности, когда Цицерон говорит о двух категориях людей – необразованных и грубых, ставящих пользу выше нравственности (honestas), и образованных и воспитанных, ставящих выше всего достоинство (...rebus omnium dignitatem anteponat... – Part.or. 90).

Кроме абсолютного употребления значительно чаще dignitas выступает в сочетании с каким-либо словом, указывая на «пригодность», значение, ценность данного объекта. В этом смысле dignitas как положительное свойство может быть присущим любому объекту, а само это качество может быть уточнено и оценено как «большое», «значительное» и т. д.

Dignitas может принадлежать: а) *человеку* или его деятельности, б) *материально-телесному* объекту.

В первом случае речь идет прежде всего о выражении социально-этической ценности субъекта и значения его деятельности, через которую субъект раскрывается как способный быть носителем данного этического комплекса. Наиболее полное и концентрированное выражение *этическое* содержание лексемы находит в специфически формульных сочетаниях со

словами «народ», «государство», «родина», «сенат», «консул». Большинство употреблений лексемы принадлежит к этой семантической линии[154].

Иные коннотационные элементы обнаруживаются в тех контекстных ситуациях, где dignitas принадлежит материально-телесному объекту. Здесь этическое содержание лексемы несколько отступает перед другим, специфическим для тела, аспектом ее семантики. Сюда относятся такие слова, как «тело»[155] и конкретные объекты – «колонна», «портик», «храм», «крыша»[156], а также люди, рассматриваемые в их телесной конкретности[157], и то, что так или иначе связано с проявлением их именно как материального объекта – «движение», «жест»[158], произнесение речи (actio)[159], рассматриваемое как актерское действие – в комплексе речи, движения, жеста, мимики. Именно в этих контекстных ситуациях развивается эстетический аспект семантики dignitas.

Способность dignitas к выражению эстетических характеристик и специфичность этих характеристик находят, по-видимому, объяснение в связи рассматриваемой лексемы с лексемами, *непосредственно* восходящими к корню dec-. Все эти лексемы в той или иной степени закрепляют первоначальное значение «принадлежности», но не в собственно поссессивном, а в имеющем определенную *этическую* окрашенность семантическом варианте «подобания», т. е. внутренне обязательной присущности объекту определенных свойств, качеств как выражения определенных социально-этических характеристик[160].

Основу этой группы составляет глагол decere – «подобать». Цицерон определяет это понятие как то, «что более всего является для каждого собственным» (Off. I.113), т. е. основным содержанием термина мыслится идея максимального *соответствия* сущности и явления, содержания и формы. Последнее находит отражение и в дефинициях этого понятия у поздних грамматиков, видящих сущность «подобающего» в том, что слова соответствуют предметам, что подчеркивает вновь идею функционального соответствия предмета своему назначению[161].

А. Ф. Лосев, говоря о категории меры у Платона, приводит текст из «Политики», где речь идет о существовании особого способа измерения вещи с точки зрения ее назначения или ее сущности и об искусствах, «...которые относятся к (реальной) мерности (вещи), соответственности, удачному попаданию, долженствованию» (Politic. 284e). «В последнем случае, – пишет А. Ф. Лосев, – мера вещи есть идея вещи; ...Другими словами, такая мера есть принцип *эстетический*»[162].

Семантическая структура синонимов decere (aptum esse – подходить, функционально соответствовать (De or. III.210) и convenire – подходить, соответствовать (Off. I.97), в которых особенно сильна идея совпадения, «точного попадания», напоминает о том, что при всей насыщенности этого понятия этическим содержанием оно остается также принадлежностью плана *выражения*, характеризуя прежде всего сам этот момент *совпадения*, *соответствия* сущности и явления в его внешнем *выражении* и давая ему оценку не только в этическом, но и эстетическом аспекте. Этот последний аспект семантики decere предопределяет эстетический потенциал всей лексической группы[163].

С decere связаны существительные decus и decor[164], прилагательное decorus, причастие decens. В текстах Цицерона встречаются главным образом decus (49) и decorus (37), преимущественно в субстантивированной форме, и практически отсутствуют decor и decens (последние две лексемы у других авторов развивают именно эстетический аспект значения)[165].

Decus встречается во всех группах сочинений Цицерона, заметно преобладая в философских трактатах (29); ср. риторические сочинения – 5, письма – 3, речи – 12. Более *тридцати* случаев из *сорока девяти* можно отнести к этической области. Decus постоянно выступает в окружении таких слов, как virtus[166] – добродетель, honestas[167] – нравственность, dignitas[168] – достоинство, laus, gloria[169] – слава.

Обращает на себя внимание, что в синтагматическом отношении decus постоянно выступает как нечто находящееся вне субъекта, являющееся внешним ему: люди рождаются – ad decus (Fin. V.63; Phil. III.36), decus – желают (Phil. VII.14), дают

(R.P. I.64), отнимают (A. I.33), сохраняют (Off. I.133, 141), его лишаются (T. III.18), к нему увлекают (R.P. VI.21), побуждают (Legg. I.62; De or. I.202; Att. XIII.28), его придают (Fam. II.6), иначе говоря, decus мыслится как некий объективный этический идеал (качество или состояние), существующий отдельно от субъекта, идеал, к которому дóлжно стремиться и который может быть достигнут (как и утерян), и этот объективный, внешний субъекту идеальный статус понятия открывает возможность развития в лексеме нового семантического компонента – идеи некоего «знака» добродетели, ее выражения, т. е. идеи потенциально *эстетической*.

В рудиментарной форме мы обнаруживаем ее уже в сочетаниях decus et laus (gloria) и еще более отчетливо – в сочетаниях, ко времени Цицерона ставших уже более формульными, таких, как decus ac lumen (Phil. II.54; XI.14; XI.24), decum et ornamentum (Div. in Caec. 28; Prov.cons. 28; Flacc. 75; De or. I.199.5), splendori ac decori esse (H. IV.22.5).

Та же формула decus et lumen, но лишь расчлененная на две части, повторяется в «Бруте», где особенно отчетливо проявляется почти полная синонимия decus и lumen (а тем самым и ornamentum, учитывая равнозаменяемость двух последних в формуле). Но в lumen («светоч») и еще более в ornamentum («украшение») бесспорно наличие эстетического компонента, что позволяет говорить и о его присутствии в decus[170]. Эта же мысль подтверждается и сочетанием со splendor (H. IV.22.5).

Можно выделить эстетический компонент в decus текста spoliavit virtutem suo decore – «...лишил добродетель ее красоты», где при бесспорно этическом характере всего содержания decus выступает как некая форма выражения virtus, придающая ей внешним образом особую значимость и ценность. То же значение «красоты» содержится и в сочетаниях decus patriae (Flacc. 75), decus triumphi (Prov.cons.8), decus Argolicum[171] (Fin. V.49).

Наконец, в речи против Верреса мы встречаем единственный случай, когда decus (во мн. ч.) обозначает материальный объект (decora atque ornamenta fanorum – Ver. IV.87 – «культовые предметы», «храмовая утварь»), а следующее за ним [illegible]-

menta – «украшения» – подчеркивает его оценочную функцию в этой паратактической конструкции: «прекрасные (достойные богов, подобающие богам) украшения»[172].

Определенный эстетический потенциал, присущий цицероновскому употреблению decus, подчеркивается употреблением деноминативного глагола decorare, лишний раз доказывая справедливость мысли Э. Бенвениста, что деноминативные глаголы способны значительно лучше сохранять первоначальный смысл термина, чем сам этот термин, от которого они произведены[173]. В семантике decorare особенно отчетливо проявляется объективный, внешний субъекту статус термина decus, которого можно удостоиться как награды, как знака доблести и признания ее.

Хорошо видна идея «награды» в текстах из «De oratore» (I.194.3; I.232.6)[174]. В обоих случаях мысль о достойной награде передается глаголом decorare, совмещающем идею «достойного, подобающего воздаяния, награды» с идеей «отличия», «украшения», более заметном в первом тексте, где она подчеркнута словом «блеск» (splendor). Та же идея «украшения», «придания достойной внешности» заключена в текстах B. 265 и T. V.119[175]. Непосредственно об украшении города идет речь в тексте против Верреса: «...украсил (decoravit) город на свои средства замечательными памятниками» (Ver. II.112). Ср. также: Piso 27; Mur. II; Phil. IX.17[176].

Во всех этих употреблениях обнаруживается эстетическое содержание, однако постоянно связанное и опосредованное этическим компонентом.

Взаимосвязь этих двух семантических компонентов прослеживается и в употреблении лексемы decorus, выступающей у Цицерона преимущественно в субстантивированной форме decorum, служащей для передачи на латинском языке одного из фундаментальных понятий стоической этики и эстетики – prepon «подобающее». Из *тридцати семи* употреблений данной лексемы *тридцать три* приходятся на философские трактаты, лишь по два раза она встречается в риторических сочинениях и вообще не употребляется в речах. Это дает основания предположить, что данная лексема

приобретает у Цицерона определенные *терминологические* черты.

В ряде случаев decorus может выражать простую идею *соответствия* одного объекта другому с более или менее четко выраженным оттенком этической оценки. Так, в переводе платоновского «Тимея» «каждая из этих звезд получила соответствующее (подобающее decorus) ей движение» (Tim. 30), decorum sibi передает текст Платона ἑαυτῷ πρέπουσαν (Pl.Tim. 79.4), указывающий не только на функциональное соответствие, но и несущий в себе определенную этическую оценку, способную в более широком контексте платоновской космологической концепции прекрасного превратиться в эстетическую[177].

В текстах (из законов XII таблиц) «да позаботятся о мертвых, которые подобают (decorae) и приятны богу» (Legg. II.20), «белый цвет особенно подобает (decorus) богу» (Legg. II.45). Decorus помимо этически окрашенного функционального значения «подобающий», «приличествующий» включает пока еще слабо выраженный элемент эстетической оценки: белый цвет (во втором тексте) наиболее подобает богу, *поэтому* он должен считаться красивым, ибо он есть форма *выражения* божественной субстанции[178].

В тексте из трактата «De natura deorum» «...мы открываем залежи меди, серебра, золота... приносящие и практическую пользу (ad usum aptus) и дающие украшения (ad ornatum decoras – N.D. II.151) в параллельной структуре ad usum aptas – ad ornatum decoras (определение к venae) антитетической паре ad usum – ad ornatum (практическая польза – украшение) соответствует синонимическая пара aptas – decoras (годные – подходящие), но на выбор синонимов оказывают влияние семантические сферы usus и ornatus, в первом случае aptus, выражающее функциональное соответствие, во втором – decorus, где из контекстного взаимодействия с ornatus проявляется эстетический компонент значения, остающийся невыраженным в переводе[179].

В двух своих поздних произведениях «De officiis» и «Orator» Цицерон использует decorum для перевода на латинский язык греческого πρέπον[180], в первом случае рассматриваемого

этическом плане, а во втором – в эстетическом (точнее, риторическом) плане[181].

Категория decorum выступает как стержневое понятие этико-эстетических воззрений Цицерона. Он рассматривает его в двух планах: на уровне *родовом* и подчиненном ему *конкретно-видовом*. На общеродовом уровне понятие decorum выражает специфически *человеческое*, проявляясь во всех сферах интеллектуальной и эмоциональной деятельности человека, включая *эстетическую* (Off. I.14). Основой этого превосходства является причастность к разуму, оказывающемуся источником и самого понятия decorum (неразрывно связанного с нравственным началом): ...a qua omne honestum decorumque (Off. I.107). Именно причастность к разуму определяет способность нравственного суждения, и только человек воспринимает, «что есть порядок, что есть подобающее (quod decet), в чем мера в поступках и словах» (Off. I.11).

Нравственная категория раскрывается здесь в терминах, характеризующих организацию, структуру материального объекта (ordo, modus), и неслучайно Цицерон здесь не говорит об эстетической способности человека: «...поэтому ни одно другое существо не воспринимает красоту (pulchritudo), прелесть (venustas), гармонию частей» (Off. I.11).

Проекция этого восприятия на этическую сферу, совершаемая тем же природным разумом, рождает метафору «красоты», «порядка» в деятельности и мыслях человека; несоблюдение этих принципов представляется нарушением «подобания»: «...разум старается не поступить в чем-либо неподобающим образом» (ne quid indecore faciat... – Off. I.11). Этически похвальный поступок или мысль квалифицируются как «красота» (pulchritudo), противоположное же действие оценивается наречием indecore, что позволяет сблизить термины decorum и pulchritudo. В проводимом в этом трактате прямом сопоставлении понятий pulchritudo и decorum (Off. I.98) моментом, сближающим оба понятия, оказывается «порядок», «последовательность», «умеренность» в делах и словах (moderatio), т. е. понятия структурные, прилагаемые как к материальным объектам, так и к поступкам и словам людей,

т. е. и к *эстетической* и *этической* областям, при этом первичной остается оценка материального объекта.

Конкретно-видовая модификация «подобающего» также имеет своей основой понятие «меры», и в его дефиниции (Off. I.96) участвуют термины moderatio – «внесение меры», «придание вещи определенного модуса» и temperantia – «придание вещи некоего ритма, размеренности». Эти же термины участвуют и в дефиниции понятия honestas, близкого и порой синонимичного с decus[182].

Во всех этих текстах понятия, принадлежащие к этической сфере, раскрываются в терминах, описывающих материально-структурную организацию вещи, и *этический* объект утверждается в качестве такового через прямую аналогию с объектом *эстетическим*. Все термины, участвующие в его определении, имеют в своей основе фундаментальный принцип античной эстетики – принцип *меры*, проходящий через всю историю античной эстетической мысли от Гесиода до Плотина, составляющий существеннейший момент эстетических воззрений пифагорейцев, Гераклита, Демокрита, Платона, Аристотеля и стоиков[183] (да и приводимые здесь цицероновские дефиниции представляют собой перевод греческих текстов стоических авторов)[184].

При этом для всей Античности характерно совмещение *онтологического* и *этико-эстетического* понимания термина «меры», и отожествление добра и красоты «мыслится... структурно упорядоченным»[185], что и находит соответствующее отражение в терминологии. Decorum раскрывается через сопоставление с pulchritudo, получая дефиницию, сформулированную в однородных с нею терминах, носящих четко выраженный структурный характер, и, оставаясь принадлежностью этической сферы, в то же время включается в сферу выражения, т. е. в область собственно *эстетическую*[186].

Особенно отчетливо внешне-выразительный характер термина decorum, связывающего в едином этико-эстетическом комплексе понятия «достойного», «красивого» и «целесообразного», подчеркивается в тексте «De officiis» (I.126), говорящем о проявлении «подобающего» во всех поступках, словах, в дви-

жении и позах, выражающемся в formositas – красоте структурной, определяемой организацией формы материального объекта, к которой примыкает тесно связанное с ней понятие «порядка», и в ornatus ad actionem aptus, понятие, заключающее в себе как идею внешней выразительности формы, так и идею целесообразности, функциональности, соответствия своему назначению[187].

Этот внешний, «выразительный», ориентированный прежде всего на форму семантический характер лексемы определяет ее достаточно мощный эстетический потенциал, весьма активно реализуемый в языке авторов, близких по времени к эпохе Цицерона[188].

Полностью принадлежит к эстетической и даже собственно художественной области та модификация понятия «подобания», которую Цицерон рассматривает как иллюстрацию к философско-этическому пониманию этого термина («то подобание (decorum), которому следуют поэты» – Off. I.97). Оно мыслится как соответствие речи, поведения, внешнего облика персонажа его характеру, т. е. как соответствие содержания выражающей его форме, определяемой характером этого содержания[189]. Вообще, *соответствие сущности и явления* представляется (помимо понятия меры и порядка) одной из определяющих сторон «подобающего».

Принцип «подобания» является центральным понятием всей эстетической теории Цицерона. Он составляет, по его словам, основу всякого художественного творчества и в то же время главную его трудность, распространяясь как на мысли, так и на лексическое выражение и вообще на любую сторону речи, равно как и жизненной практики (Off. 71.7–8)[190]. Подобание рассматривается как важнейший момент художественного мастерства: актер Росций, в котором Цицерон видит идеального художника, исполняет все только совершенно (perfecte), только с величайшим обаянием (summa cum venustate), только так, что все это становится подобающим (ut deceat) и всех волнует и услаждает (De or. I.130.3). Decere представляется *результатом* совершенного и художественно впечатляющего исполнения, обобщающим

эти два фундаментальных компонента (завершенность и эстетическая выразительность) художественности в высшей этико-эстетической оценке «подобания», в свою очередь обусловливающей эмоционально-художественное воздействие (здесь – актерской игры).

Мысль о «подобании» как о высшей форме выражения художественного совершенства повторяется и в «De natura deorum». Здесь появляется созданный, очевидно, самим Цицероном и более у него не встречающийся термин decentia, которым он пользуется для перевода греческого термина εὐπρέπεια[191]. «...Красоту (venustas) и порядок и, так сказать, благопристойность (decentia) красок и форм оценивает зрение...» (N.D. II.145). О необычности термина свидетельствует вводное предложение «так сказать» (ut ita dicam), но само его употребление, уже после того как названы venustas и ordo, термины, определяющие основные эстетические параметры (краски и формы) зрительно воспринимаемых объектов, являющихся предметом изобразительных искусств, равно как и *движения* человеческого тела (танец, актерская игра, ораторский жест), указывает на потребность в обобщающем термине, синтезирующем оценки отдельных эстетических качеств объекта. И показательно прежде всего к этической области, что приносит в осуществляемую этим термином номинацию прекрасного дополнительный семантический компонент оценки этической значимости, ценности, воплощающейся в понятии «подобания» (decere)[192].

Наречие[193] decore, при всей редкости его употребления у Цицерона, также иллюстрирует отмеченное в других лексемах группы совмещение этического и эстетического компонентов. Определяющим для него остается этический компонент, но в ряде случаев более или менее отчетливо проявляет себя и эстетическая сторона. В требовании говорить ad rerum dignitatem apte et quasi decore (De or. I.144.4) идея функционального соответствия, выраженная наречием apte, совмещается с эстетической оценкой результата такого соответствия. В quasi decore ощущается специфичность употребления decore, неуверенность в самом термине[194], не находящемся (в отличие от apte

в синтаксической связи с dignitas rerum, а выступающим *самостоятельно и оценочно* (ср. выше decentia), объединяя этический и эстетический компоненты.

То же совмещение функционального и эстетического моментов в decore определяет уместность и приятность дактилического ритма в начале периода (De or. III.183). Ощутимо наличие эстетического компонента и в тексте об актерах, которые «боятся выглядеть недостойно» (Off. I.129), где «недостойность», в то же время и «некрасивость», подчеркнута семантикой глагола чувственного восприятия aspici. Эстетический компонент можно обнаружить и в цитируемом в трактате «De inventione» (I.120) тексте: species... formata decore – «красиво изваянная статуя»[195].

Таким образом, лексемы данной группы (хотя и в разной степени) оказываются способными к выражению *эстетической* идеи и совмещают ее с идеей этической (также представленной в разной степени). О. Духачек в упоминавшейся уже не раз классификации латинской эстетической лексики относит лексемы данной группы к так называемому «полю искусственной красоты», т. е. красоты, являющейся результатом целенаправленных усилий, «устроения»[196].

Этот момент, несомненно, важен для понимания семантических особенностей рассматриваемых лексем, и особенно decorum, decere, семантической доминантой которых является идея *соответствия* природы объекта и внешнего облика, который он представляет.

Но при этом не менее важным представляется тесная связь decorum с областью социально-этических характеристик (ср., например, связь понятий decorum и honestum[197]). В принципе «подобания» находит воплощение единство этического и эстетического, «блага» и «прекрасного», и эстетика Цицерона определяет себя как этически детерминированная. Единство моральных и эстетических требований, обусловленность последних первыми – центральный пункт этой эстетики. Нет нужды напоминать, что в этих принципах отражалось специфическое римское мировоззрение с его приматом «утилитарно-социальных требований»[198].

Семантическая специфика dignitas в ее этико-эстетическом аспекте целиком определяется принадлежностью лексемы в этом плане к лексической группе decere как в этимологическом, так и собственно семантическом отношениях[199]. Как и другие лексемы данной группы, dignitas способна характеризовать внешне выразительные качества объекта. Перечисляя в «De inventione» телесные блага, «существующие от природы», Цицерон называет valetudo, dignitas, vires, velocitas (Inv. II.177.6). В трактате «Ad Herennium» весь этот ряд приводится в обратном порядке (Н. III.10.12). Давая развернутую характеристику этим «благам», автор «Ad Herennium» на первое место ставит dignitas atque forma[200], противопоставляя это качество остальным. Выступающая в одном ряду с физическими характеристиками тела («силы, здоровье, подвижность») dignitas в то же время составляет особую, отличную от них разновидность телесных благ. Значение ее уточняется объединением с forma в цельную группу dignitas atque forma. А несколько ниже в том же тексте на месте dignitas встречаем просто forma (Н. III.14.21).

Таким образом, в данном случае dignitas связывается с выражением каких-то внешних, зрительно воспринимаемых качеств тела, и в общем положительном контексте этого перечисления сочетания dignitas atque forma может рассматриваться как паратактический вариант к formae dignitas. Последняя синтагма оказывается в текстах Цицерона вполне устойчивым сочетанием, неоднократно повторяясь в его трактатах: «...его медлительность в мыслях и речи скрывала красота» (formae dignitas, B. 235); «...если мы считаем, что следует избегать уродства и физических недостатков самих по себе (pravitas imminutioque corporis), то почему же мы не считаем столь же необходимым стремиться к красоте (formae dignitas) ради нее самой (Fin. V.47); «...красота (formae dignitas) должна поддерживаться здоровым цветом...» (Off. I.130). Ср. в «Ad Herennium»: «Красота (formae dignitas) увядает из-за болезни или от старости» (Н. IV.37.30).

Переводя во всех приведенных случаях сочетание formae dignitas словом «красота», мы исходим из того, что даже [illegible] forma совершенно необязательно имеет здесь значение [illegible]

ты», а всего лишь «внешнего облика», то в сочетании с dignitas, выражающей идею добротности предмета, ею определяемого (ср. абсолютное значение dingus), она в данных контекстных ситуациях приобретает такое значение. Это становится особенно ясным при более подробном рассмотрении текста, приведенного выше. Цитированной фразе предшествует вопрос: «...почему же не считается правильным стремиться к красоте (pulchritudo) ради нее самой?» (Fin. V.47). И далее следует наш текст, где только что названную pulchritudo замещает formae dignitas, выступающая в оппозиции к pravitas imminutioque corporis, также принадлежащим к понятиям эстетического ряда (выражение безобразного). Эта же оппозиция прекрасного и безобразного повторяется в следующей фразе, где эти категории выражены в синонимичных первым терминах pulchritudo и turpitudo, а повторение глаголов «стремиться» и «избегать» еще отчетливее подчеркивает эту синонимию: «...если мы избегаем безобразия (turpitudo) в позе и движениях тела, почему же мы не стремимся к красоте (pulchritudo)?» (Fin. V.47).

То же сочетание выступает синонимом pulchritudo и в другом месте этого трактата (Fin. II.47), эксплицируя pulchritudo предыдущей фразы и объединением со species подчеркивая зрительно воспринимаемый, материально-телесный характер ее субъекта. Поэтому вполне естественно в приводимом и в этом трактате (уже упоминавшемся здесь) перечне «телесных благ» место, занимаемое в других текстах dignitas, принадлежит в этом случае pulchritudo: «...в самом же теле многое следует предпочесть наслаждению, например силы, здоровье, подвижность, красоту...» (Fin. II.114). Ср. также: Fin. IV.35; V.18; Ac.fr. 19[201], что, как нам кажется, еще раз подчеркивает синонимию в данных случаях dignitas и pulchritudo, иными словами — наличие у лексемы dignitas в данных контекстных ситуациях *эстетического* содержания.

Выразительные возможности dignitas играют, видимо, важную роль в функционировании этой лексемы в качестве термина риторики. Применяясь к характеристике *стиля* речи, dignitas обозначает все элементы, способствующие «украшению» речи (Inv. I.9; B. 239; B. 250; Or. 56). Наиболее отчетливо

этот аспект dignitas раскрывается в «Ad Herennium», где дается такого рода определение этому термину: Dignitas est quae reddit ornatam orationem, varietate distinguens (H. IV.18.25) – «Достойность есть то, что делает речь украшенной, пестро расцвечивая ее». Ср.: De or. I.144; II.320; III.153. Козерэ прямо ставит знак равенства между dignitas и ornatus orationis[202]. При этом красота, обозначаемая этой лексемой, является результатом *соответствия* избранного рода «украшений» и *жанра* речи, т. е. связана с кругом идей «подобания» (decorum). Ср.: H. IV.16; IV.65; Or. 70)[203].

Внешне-выразительный аспект семантики dignitas подчеркивает в своей работе и Эллегуарк, называя dignitas проявлением virtus, выражающей собственно моральные качества индивидуума, обозначением *впечатления*, которое virtus производит на окружающих, или «социальной ипостасью virtus»[204]. Точно так же этот исследователь называет dignitas *формой*, в которой выступает и понятие auctoritas[205], принадлежащее к той же лексической области[206]. Внешне-выразительный характер dignitas усиливается частым объединением ее с такими словами, как species и splendor[207].

С бесспорно эстетическим аспектом значения dignitas мы встречаемся в «De inventione», в рассказе о создании художником Зевксисом изображения Юноны для храма Зевса в Кротоне (Inv. II.1–2). Зевксис намеревается создать образ «выдающейся женской красоты» (muliebris formae pulchritudo) и просит для этого показать ему «прекрасных (formosae) девушек». Кротонцы отвели его в палестру и показали ему «юношей, наделенных великой красотой» (magna praeditos dignitate) и сказали, что, глядя на них, он может догадаться, какой красоты (quae dignitate) их сестры. В том же тексте несколько выше говорится, что кротонцы вообще некогда намного превосходили всех физической силой и красотой (viribus et dignitatibus antisteterunt).

В последнем случае dignitates можно было бы понять и просто как «физические достоинства». Однако определенная выделенность от vires (ср. также рассмотренный выше ряд «телесных благ», где dignitas четко отделялась от vires как выр[illegible] эстетической характеристики) заставляет видеть и в [illegible]

случае в dignitas характеристику внешности. А все контекстное окружение, где помимо уже названных встречаем pulchritudo (выдающимся знатоком которой является Зевксис), а также venustas, обозначающую цель (которую поставил перед собой художник), дает основание понимать эту характеристику как *эстетическую*.

Тот же семантический аспект dignitas проявляется и в текстах из «De oratore». Так, говоря о происхождении метафоры и развитии ее эстетической функции, Цицерон сравнивает ее с одеждой, которая была создана для защиты от холода и только позднее приобрела значение украшения: «...а потом стала употребляться и для достойного украшения тела» – ad ornatum corporis et dignitatem (De or. III.156.6). Эстетическое содержание dignitas в этом тексте, подчеркнутое антитезой утилитарности («для защиты от холода»), усиливается соединением с ornatus. Но теперь это не только украшение, но одновременно и указание на социально-этическую функцию одежды – выражение соответствующего *достоинства* ее обладателя. В таком употреблении лексемы можно наблюдать характерное для ее семантики слияние этического и эстетического моментов, составляющее ее специфику.

Еще отчетливее эта специфика проявляется в другом тексте того же трактата, где речь идет о развитии эстетического содержания объекта и о соотношении в нем утилитарного и эстетического моментов. Высказывается мысль, что сама природа устроила так, что то, что наиболее полезно, «обладает и наибольшим достоинством, а часто – и прелестью» (plurimam... haberent vel dignitatis vel saepe etiam venustatis – III.178). Здесь, как и в предыдущем тексте в антитезе утилитарности (utilitas), dignitas объединяется с лексемой отчетливо эстетической семантики venustas, хотя часто и достаточно определенно указывает и на их различие. В этой группе основная эстетическая нагрузка приходится на долю venustas, вовлекающей в свою семантическую сферу и dignitas, обладающую к тому же, как нам известно, и собственным эстетическим потенциалом, но сохраняющую и свое исконное этическое содержание.

В следующей за этим фразе, развивающей мысль приведенной выше, dignitas лишена поддержки со стороны venus-

tas и принимает на себя целиком всю эстетическую нагрузку: колонны, поддерживающие храмы и портики, заключают «столько же пользы, сколько и достоинства» (non plus utilitas quam dignitatis – De or. III.180). В отчетливой антитезе функционального назначения колонн как несущих конструкций храма и портиков (utilitas) качеству, получающему наименование dignitas, последнее раскрывается уже в полной мере как *эстетическое* (совмещающее и этический и эстетический компоненты с определенным преобладанием второго).

Взаимодействие двух указанных компонентов столь же очевидно и в следующем за этим тексте: «... за полезностью (utilitas) храмовой крыши последовала ее красота (dignitas), так что, даже если поместить Капитолий на небе, где дождя быть не может, он все равно не имел бы никакой красоты без крыши (dignitas)» (De or. III.180.11–13).

Качество, называемое dignitas, есть результат полезности, функциональной целесообразности двускатной крыши, так что последняя становится обязательным элементом храма вне зависимости уже от своего чисто утилитарного назначения, приобретая новую, *эстетическую* функцию, ибо «без крыши храм не имел бы никакой красоты». Но эта красота обозначена словом dignitas и является результатом соответствия *функционального* назначения и его формы. Dignitas этого текста в еще большей степени, чем в рассмотренных выше текстах об одежде и колоннах, несет в себе оттенок этической оценки: без такой крыши храм выглядел бы недостойно, «неприлично», а следовательно – некрасиво. Обязательность крыши, ее функциональная целесообразность создает и ее этико-эстетическую функцию, выражаемую лексемой dignitas, совмещающей, как уже было сказано, оба этих семантических компонента.

Аналогичное употребление dignitas можно наблюдать и в «Ad Herennium» (H. IV.60.24), где все внешние элементы облика кифареда, выступающего перед публикой, – великолепно-торжественное одеяние, осанка и походка – служат выражением его «достоинства» (dignitas), подчеркивают значительность и важность его роли и, будучи обязательными в этой, по существу этической функции, создают в то же время и эстетиче-

скую функцию лексемы, подкрепляемую лексическим окружением (слова со значением внешней выразительности – forma, species).

Можно привести еще в интересующем нас плане упоминавшиеся выше (в связи с анализом venustas) определения «движения» и «исполнения», поскольку в этих случаях они характеризуют объект как чувственно-воспринимаемый. Ораторское выступление Помпея «отличалось величайшим достоинством жестов» (summa dignitate – B. 239.13). Благодаря достоинству жестов (dignitas motus) все, что говорит Марцелл, «становится выразительным и ярким» (fit speciosum et illustre – 250.3). Сульпиций отличается «величайшим достоинством жестов» (summa dignitate motus – De off. 31.9).

Во всех приведенных случаях dignitas, характеризуя *зрительное* впечатление от жестов и осанки оратора, может рассматриваться как *эстетически* оценочное слово (последний момент усилен в тексте B. 250 сочетанием со словами внешне-выразительной семантики: dignitas обусловливает эстетические качества speciosum, illustre речи Марцелла), что не исключает, разумеется, и этический аспект.

Еще более показателен текст из трактата «Orator»: «Ведь благодаря красоте (достоинству, dignitas) исполнения даже не очень красноречивые люди стяжали ораторскую славу, а множество красноречивых ораторов из-за безобразного (deformitas) исполнения считались не умеющими говорить» (Or. 56.2). В этом тексте противопоставлены dignitas actionis и deformitas agendi, и эта оппозиция (при бесспорности эстетического характера семантики deformitas (ср. praevitas imminutioque corporis в рассмотренном выше тексте Fin. V.47) раскрывает соответствующий аспект и самой dignitas, также не исключающий, а в данном случае и не предполагающий наличие эстетического аспекта – «достойность», «значительность» (аналогично рассмотренным выше текстам о кифареде и крыше Капитолия).

Dignitas actionis рассматривается как обязательное качество оратора, наряду со способностью говорить prudenter, composite, ornate, memoriter (De or. I.64). Точно так же в другом месте трактата: «произносить с достоинством и преле-

стью» (agere cum dignitate et venustate – De or. I.142). Ср.: De or. III.178.4; Off. 60[208].

Семантическая специфика dignitas достаточно четко проявляется и в тексте 32 главы IV книги «Ad Herennium», где dignitas объединяется с pulchritudo в противопоставлении festivitas, concinnitas как выражение этически важного и значимого содержания, определяющего подлинно прекрасное (pulchritudo), противостоящего внешне выразительной, но лишенной этической глубины красивости. Именно этическая наполненность, способность выразить в их неразрывном единстве *этико-эстетические* оценки объекта составляют специфику dignitas как термина эстетического ряда.

Для цицероновской концепции прекрасного показательной оказывается достаточно последовательно проводимая антитеза двух сторон красоты, двух ее проявлений, одним из которых оказывается dignitas с ее этической наполненностью, а на противоположном полюсе располагаются такие понятия, как festivitas, как в только что упомянутом тексте, и прежде всего (в собственно цицероновском тексте) venustas. Как мы помним, противопоставляя эти понятия, Цицерон называет dignitas мужским качеством, а venustas – женским (Off. I.130). Не следует в этой метафоре видеть единственный ключ к пониманию данных терминов, как невозможно и пренебречь ею. Мы могли убедиться, что в текстах Цицерона venustas далеко не всегда имеет значение женской красоты, свободно применяясь и к неодушевленным объектам (храм, корабль и т. п.) или выступая в совершенно однородных позициях с dignitas (как, например, в определении крыши Капитолия, см. выше[209]).

Социальная характеристика, положенная в основу метафоры, заставляет предположить известное неравенство двух ипостасей pulchritudo: мужское содержание dignitas ставит эту лексему (как эстетический термин) на более высокую по сравнению с venustas ступень, относя ее к более серьезному, этически значимому содержанию. Одновременно и в чисто эстетическом плане можно говорить о большей строгости, сдержанности, скупости выражаемого ею качества, что в еще больше

степени свидетельствует о национально-исторической специфике этого термина, связанного в первую очередь с выражением представления о римском «муже» (vir) в социально-историческом аспекте понятия, т. е. римского гражданина[210]. Вспомним здесь о принадлежности этого термина к семантической сфере decorum.

Наоборот, venustas, оказываясь в силу заданной схемы в более низком положении как выражение женского начала, скорее ориентирована на внешнее, на форму, включая идею «изящества», «женственности» и т. п.

При сопоставлении уровней эстетических оценок перевес в значительности содержания, «важности» оказывается на стороне dignitas, в venustas же может иногда выдвигаться на первый план идея внешней, самоцельной, а иной раз и искусственной красоты. Последнее встречает осуждение, хотя для venustas такое содержание находится на самой дальней периферии ее семантического поля, основным же содержанием лексемы остается идея *эстетической активности* объекта, доступная ей в силу лежащей в ее основе семантики «приятного», «желаемого» и, возможно, «магического», связывающего ее в дальнейшем с богиней Венерой (такая связь, как известно, осознавалась – N.D. II.69).

В своей последней работе об эстетике Цицерона французский исследователь Демулье высказывает не лишенное вероятности предположение, что Цицерон определяет venustas как специфически женское качество, лишь для того чтобы возможно яснее подчеркнуть этой оппозицией различие между естественной, конкретной красотой и красотой, которая, независимо от внутренних качеств, является лишь результатом соответствия, вытекающего из принципа decorum, между природой объекта и его внешним обликом[211], подчеркивая тем самым *социально-этическую* окрашенность эстетической оценки, осуществляемой данной лексемой.

В более общем плане можно было бы говорить, что в устанавливаемой Цицероном дифференциации общей, всеобъемлющей категории прекрасного pulchritudo на две подчиненные категории venustas и dignitas намечается понимание

прекрасного (художественно совершенного в приложении к искусству) как *единства* выразительного и содержательного моментов.

Что же касается судьбы самой dignitas как термина эстетического ряда, то в конечном счете она не закрепляется в данной семантической сфере, где употребление ее остается все же более или менее окказиональным[212], хотя и наблюдается в текстах Цицерона практически во все периоды его деятельности. Оказываясь иногда в роли прямого синонима pulchritudo, она в конце концов не выдерживает конкуренции с этой давно упрочившейся в эстетической сфере лексемой, проявляющей к тому же способность прекрасно выражать те семантические оттенки, которые только и оправдывали включение dignitas в новый тематический круг. В то же время слишком сильная отягощенность другими семантическими компонентами (существенно важными и сами по себе) продолжала удерживать ее в области социально-этических характеристик.

Глава II. Гедонистическая лексика как один из исходных пунктов формирования эстетической терминологии в текстах Цицерона

Специфическим моментом всякого эстетического восприятия, реализующим его как таковое, является «удовольствие», испытываемое субъектом при восприятии объекта, выступающего как носитель эстетической ценности. На эту сторону эстетического восприятия обращал внимание Маркс[213]. В этом плане эстетическая ценность может рассматриваться как ценность гедонистическая по своей природе, и соответственно гедонистическая оценка включается в эстетическую, составляя один из ее первоэлементов. Поэтому вполне естественно, рассматривая тему становления эстетической лексики какого-то автора, обратиться к анализу лексем, составляющих тематическую группу «удовольствие».

В текстах Цицерона эту лексико-семантическую группу составляют три лексемы: 1) dulcis – dulciter – dulcedo (dulcitudo); 2) suavis – suaviter – suavitas; 3) iucundus – iucunde – iucunditas

Примыкающая к ним группа gratus (в пассивном смысле) – gratia в текстах Цицерона лишена всякого эстетического значения и поэтому не будет здесь рассматриваться[214].

Все названные лексемы относятся О. Духачеком в его классификации к так называемому «полю приятной красоты»[215]. Все они (мы будем рассматривать эти лексемы одновременно на всех трех уровнях – прилагательного (основного члена группы), существительного и наречия, – называя их для краткости по основному члену группы) принадлежат к числу широко употребляемых в латинском языке и, в частности, в языке Цицерона[216].

Suavis и dulcis достаточно тесно связаны с непосредственными сенсорными ощущениями, вступая порой в конкурентные отношения друг с другом. Dulcis обычно сопоставляется с греческим glykys, glykeros, основой которого служит dlucu- (сама форма – результат ассимиляции). Словарь Эрну – Мейе называет эту гипотезу недоказуемой (non verifiable)[217]. На связь dulcis и γλυκύς указывали еще древние лексикографы[218].

Suavis представляет собой древнее прилагательное на -u- (снскр. svaduh, svadui, греч. hadys, ион.-атт. hēdys) с тем же корнем, что и у глагола suadere (в древнем значении «доставляю удовольствие» (delecto), обнаруживающемся в hadomai, беот. hēdomē, гомер. handanō – «я нравлюсь»), и сопоставляется с греч. hadys, hēdys[219].

В своем значении и употреблении обе лексемы достаточно близки друг другу, порой взаимозаменяемы, и весьма затруднительно провести точные семантические границы между ними. Такое разграничение может оказаться более или менее результативным лишь в границах словоупотребления того или иного автора, но за этими пределами едва ли возможно. Так, А. Эрну показал, что в текстах Вергилия значение suavis носит более конкретный, связанный с непосредственным сенсорным восприятием характер, в отличие от dulcis, обладающего в текстах Вергилия более широким полем значения с преобладанием оценок общего плана, вытекающих из метафорического употребления слова[220].

Но едва ли достаточно пяти примеров, где suavis действительно прилагается исключительно к сенсорным ощущениям[221],

чтобы делать выводы о значении данной лексемы. Dulcis, по наблюдения Эрну, обладает более общим смысловым характером, употребляясь как в абстрактном, так и в конкретном смыслах – как в физическом, так и в моральном[222]. Однако уже у Горация suavis и dulcis употребляются безразлично[223]. Что же касается употребления данных лексем у Цицерона, то дело здесь обстоит скорее противоположным образом, хотя строго говорить можно не столько о действительно четком семантическом разграничении, сколько лишь об определенной тенденции.

Семантические поля обеих лексем сравнительно равновелики и состоят из более или менее близких понятийных групп, среди которых можно выделить следующие:

а) непосредственно чувственное восприятие или ощущение; удовольствие как результат сенсорного восприятия;

б) человек и человеческие отношения (симпатия, любовь, дружба); сюда же включаются и характеристики некоторых абстрактных понятий, связанных с человеческой деятельностью;

в) речь; произведение словесного творчества; стиль.

Текстов, дающих примеры характеристики непосредственного чувственного восприятия объекта – зрительного, слухового, вкусового, обонятельного – сравнительно немного: в группе suavis – 29, в группе dulcis – 21 (в процентном отношении dulcis превосходит suavis). Однако, рассматривая конкретно виды этого восприятия, мы обнаружим известные различия.

В группе suavis зрительные восприятия выступают как объект оценки четыре раза; это общая характеристика наслаждения, доставляемого зрительными образами, получающего в пересказе текста Эпикура наименование suavis motiones – «сладостные ощущения, получаемые зрением от созерцания форм»[224], это *цвет* здорового тела (T. V.46), это вилла (Qu. III.I.3) и diaphaseis (Att. II.32) – просветы, просеки в посадках деревьев (речь идет о парадисе Кира).

В группе dulcis характеристика зрительного впечатления вообще не представлена, как и обонятельного, представленного в группе dulcis тремя примерами: запах (C. 59; Ver. III.23), благовония (De or. III.99)[225]. Собственно вкусовое восприятие представлено в обеих группах: в группе suavis – 9 раз, в груп-

пе dulcis – 15 раз (в процентном отношении dulcis еще значительнее превосходит suavis). Из этих 15 случаев 5 раз dulcis определяет мед (Fr. V.89; Fin. I.30, III.34; C. 31; Or. 39.8), 4 раза выступает в оппозиции к amarum – «горькое»[226]. Вкусовое восприятие характеризует dulce в текстах Ac. II.21 (hoc est dulce) и De or. III.99. Последний текст дает дополнительные доказательства присущего dulcis значения «сладкого вкуса»: «Мало того, вкус, это самое податливое на удовольствие (voluptarius) из всех наших чувств, да и более всех остальных чувств любящее приятное (dulcitudo), как быстро отвергает и отбрасывает то, что очень сладко (quod valde dulce). Кто может продолжительное время есть сладкую пищу (dulcis) и пить сладкое питье?» (De or. III.99). В пределах этого текста dulcis оборачивается к нам двумя различными сторонами своего лексического значения: на уровне существительного dulcitudo раскрывается метафорически-обобщающее значение «приятность» («прочие чувства» подчеркивают метафоричность dulcitudo), но на уровне прилагательного раскрывается (так же как и в сочетании с mel) другая семантическая сторона лексемы – обозначение собственно сладкого[227].

Suavis никогда не определяет собственно сладкую субстанцию (как mel), не выступает в оппозиции к противоположному вкусовому ощущению (amarum), не выступает в абсолютном употреблении. В текстах Цицерона он определяет пищу вообще (cibus) (Fin. II.25; Phil. II.115; T. V.66), вино (Lae. 67), рыбу (Fin. II.25; N.D. II.160), плоды земли (T. V.99), грибы, овощи (Fin. VII.26.2). Все указанные тексты подтверждают справедливость семантического различия между suavis и dulcis, сформулированного в свое время еще Исидором Севильским: «Dulce может быть то же самое, что и suave, но suave не обязательно то, что dulce; ведь dulce мы говорим о меде, а suave называем кислое вино, которое вовсе не dulce» («Differentiae verborum. Appendix», n. 189). Очевидно, что значение «сладкого», являющееся специфическим и, вероятно, первичным для dulcis, нехарактерно для suavis, передающего скорее общее значение «приятного» (для пищи «вкусного»)[228], сближаясь в этом плане с iucundus (ср.: panis iucundus – T. V.97).

Обе лексемы участвуют также в характеристике звуковых восприятий и их эмоциональной оценке. Suavis, однако, практически ограничен в этой функции единственным словом – vox[229].

Одно из важнейших достоинств голоса – «быть приятным» (suavis, Off. I.133). В «Ораторе» vox уже не голос, а *звучащее слово* (epos); «стремление добиться больше приятности (suavitas) в произнесенных словах» (Or. 58.2); концы слов должны сочетаться с началом предыдущих как можно теснее и звучать как можно приятнее (quam suavissime); расположение слов служит «важности слов или приятности» (suavitati) (Or. 182.5). В этом же тексте встречаем iucundum в обобщающем смысле: quod voce iucundum est, где iucundum оказывается синонимичным suavitas. В тексте (Fin.V.39.13) синонимичными оказываются suavitas и dulcedo, последнее передает гомеровское meligeron – сладкозвучный (о голосах Сирен).

Во всех перечисленных случаях suavis оценивает звучание собственного голоса или слова («Оратор»). Сочетание со suavis, suavitas определения голоса в ряде примеров как громкого, мощного (magna, magnitudo – B. 203; De or. III.213; B. 235; plenus voce – De or. I.132), по-видимому, исключает понимание значения suavis как «сладкий», «сладостный», ограничивая его менее экспрессивным «приятный». Более того, в «Ораторе», рассуждая о suavis perfecta suavitas голоса, Цицерон противопоставляет ей vox dulcis et clara Эсхина, являющийся в этом тексте *логически* объектом глагола obicere – «ставить в упрек», где качество dulcis оборачивается своей отрицательной стороной, сохраняя при этом свой конкретно-чувственный характер – «сладкий» (Or. 57.9). Однако такая отрицательная трактовка dulcis при определении звуковых восприятий составляет исключение у Цицерона (ср. упоминавшуюся выше синонимию dulcedo и suavitas vocum – Fin. V.49).

Разнообразнее и денотативный спектр dulcis: из шести случаев употребления в этой (определение звука) функции dulcis дважды определяет голос, и, кроме того, еще звук (Off. I.133; R.P. VI.181), пение (De or. II.34), пение птиц (H. IV.29. 12 [illegible] небесных сфер называется tantus et tam dulcis sonus (R.P. [illegible] 18); количественное определение tantus выступает здесь также

как оценочное; ритмически организованная ораторская речь столь же «сладостна», что и пение (cantus – De or. II.34).

Если для suavis собственно вкусовые ощущения едва ли являются первичными, то в dulcis и этимология и употребление свидетельствуют о первичности именно вкусового восприятия и значения «сладкого» в частности. Следовательно, всякое отнесение dulcis к какой-то иной сфере чувственного восприятия, помимо собственно вкусовой, является *метафорой*. Этот метафорический характер употребления придает ему бóльшую *экспрессивность*, делает выражаемое им качество более интенсивным и отчетливым.

Естественно, что характеристика вкусовых и обонятельных ощущений, оставаясь целиком в пределах чисто сенсорного восприятия и выражая лишь физиологическое удовольствие, доставляемое приятным вкусом и запахом, далека от какого бы то ни было эстетического содержания. Но уже при переходе к слуховым и зрительным впечатлениям оценка удовольствия, вызываемого такого рода объектом (т. е. воспринимаемым аудиовизуально) может обладать эстетической природой.

В сущности, уже любое удовольствие, доставляемое аудиовизуальным путем, может рассматриваться как эстетическое, и это качество становится тем сильнее, чем сильнее развивается интеллектуально-оценочный момент. Так, в приведенном выше тексте из «Оратора» оценочная характеристика пения (perfecta varietas) указанием на совершенность этого разнообразия (т. е. на результат целенаправленных усилий и умения), именно поэтому получающего оценку suavis, придает этой оценке эстетическое значение.

Обращает внимание очевидная неравномерность в отношении к визуальным и аудиальным восприятиям. Как уже говорилось, dulcis вообще не связан со зрительными восприятиями, suavis же дает четыре примера. Таким образом, в одной из основных сфер эстетического восприятия – в восприятии пластических форм – обе лексемы в текстах Цицерона играют ничтожную роль, ограничиваясь указанием на «приятность» цвета здорового тела (T. V.43.31), виллы (Qu. III.1.3) и,

что особенно важно, характеризуя впечатление, производимое *эстетически* воспринимаемым пластическим объектом (единственный пример – Т. III.41).

Характеристика аудиального восприятия, представленная, как уже было сказано, девятнадцатью примерами, т. е. в пять раз превосходящая предыдущую, содержит, по-видимому, больше возможностей для различия эстетической оценки, выражаемой рассматриваемыми лексемами.

Второй понятийной сферой, выступающей в качестве объекта оценки со стороны dulcis, suavis, является *человек* и *человеческие отношения* и состояния. В этой функции обе лексемы представлены во всех группах сочинений Цицерона, но заметно преобладают в письмах (suavis 43, dulcis 9). Dulcis определяет *детей* (Quir. 2), дочь (Fam. XIV.7, 1, 3), сына (Qu. I.33), брата (Leg. III.25; Att. V.1, 3.17), отца (Plan. 31), друзей (Or. 34.2; Lae. 22; Lae. 90; Dam. XVI.21; Att. VI.29), т. е. самых близких и дорогих человеку людей. Точно таким же образом обстоит дело и с непредметными понятиями.

Здесь наряду с такими общечеловеческими ценностями, как родина, свобода, мир, истина, появляются ценности, особенно близкие именно римскому сознанию: победа, слава, честь, практический ум, долг, старинное патриархальное земледелие и уже окрашенный новыми философскими веяниями «просвещенный досуг» – занятия философией, чтение, литературная деятельность[230].

Дважды объектом определения dulcis становится сама жизнь dulcedo vevendi (B. I.168 и в сравнении Fam. XIV.7.1.3); iucundus определяет ее 18 раз.

Во всех этих случаях метафора dulcis подчеркивает интенсивность отношения к объекту оценки, усиливает эмоционально-экспрессивный ее характер. Эта экспрессивность достигается, в частности, соединением в одной синтагме (определяемое – определение) абстрактного понятия (определяемое) и чувственно-конкретного качества (определение). Из трех рассматриваемых лексем dulcis, обладая наибольшей конкретностью, «чувственностью» своей семантики, чаще других определяет имена абстрактного характера (26 раз)[231].

Объектом определения для dulcis является не только сам человек и его характер, но и взаимные отношения людей между собой: amicitia (Lae. 66), amor (Fam. II.I.1.7; Fam. XVI.26.2; Att. XV.13). Объектом оценки является не столько сам amor, сколько его субъект – друг; таким же косвенным объектом оценки является и лицо, чье сообщение (Fam. XVI.26) или письма (Att. XV.13) оцениваются данной лексемой. То же самое в тексте письма Аттика (Att. XVI.3.6.8), где dulcis salus, «сладостное приветствие», передаваемое Аттиком Цицерону от его дочери, есть оценка не приветствия, а человека, его приславшего, и отношения к адресату.

Очень отчетливо раскрывается эта интенсивность оценки, присущая dulcis применительно к наиболее интимно-дружеским отношениям, к духовному общению, в тексте письма (Fam. IX.24.3), где Цицерон высказывает известную мысль о более глубоком смысле латинского понятия convivium сравнительно с греческим symposion (ср.: С. 45) – дружеское общение и душевное отдохновение за дружеской беседой, ведущейся на пиру in conviviis dulcissimis. Определение convivium через dulcis относится прежде всего к самому общению (communitas vitae, simul vivitur) «с людьми порядочными, приятными и любящими тебя», что составляет существенный момент жизненного идеала beate vivendi.

Другая лексема, выступающая в роли определения в основном к тем же понятийным группам suavis, более многочисленна. Она также характеризует *человека*, свойства его личности и человеческие отношения. Человек выступает в качестве объекта определения этой лексемой 53 раза (из них 43 раза в письмах, главным образом в традиционных обращениях, и тем самым в какой-то мере десемантизировано. Отношения между людьми определяются 23 раза (из них 21 раз в письмах). Сюда же следует присоединить 20 случаев определения *письма* (в письмах), являющихся, по существу, также определением человека и его личности.

На письма приходится более 80 случаев употребления данной лексемы, где она выступает преимущественно в превосходной степени (прилагательное и наречие), представляя собой

прежде всего определенную форму вежливости и учтивости по отношению к адресату, и тем самым не вполне показательна с точки зрения ее семантики.

Рассматривая функционирование suavis в качестве оценки человека, мы можем заметить более свободную сочетаемость с объектом оценки. Если dulcis употребляется только по отношению к наиболее близким субъекту оценки людям, то suavis наряду с такими же объектами (дети, сын, брат)[232] может определять *любого* человека[233] (31). Так же часто определяет suavis человеческое общение (симпатию) людей друг к другу, включая такие понятия, как речь, беседа, письмо, мысль[234].

Во всех этих весьма многочисленных (более 40 примеров) и достаточно стандартных контекстных ситуациях, относящихся только к письмам, отчетливо прослеживается один семантический компонент лексемы – «душевно приятный», «доставляющий радость и удовольствие своим душевным расположением» (или пассивно, о человеке – «приятный»). Определение таких объектов, как письмо, беседа, лексемой suavis не есть оценка их стилистических, литературных достоинств и качеств, но – оценка их *содержания*, точнее, душевного настроя и личности автора или собеседника. Не случайно столь часто это подчеркивается лексически – словами mores или ingenium, выступающими как объекты его определения.

Следует попутно заметить, что качество, выражаемое лексемой suavis, рассматривается почти всегда как объективно присущее предмету, существующее в нем, а не только возникающее в сознании говорящего (воспринимаемого субъекта). Если iucundus, как мы увидим ниже, почти всегда сопровождается дательным непрямого объекта и часто предицируется через глагол videri, то suavis в аналогичных контекстных ситуациях не связан ни с глаголом videri, ни с дательным непрямого объекта.

Характеризуя психологическое состояние удовлетворенности, suavis оказывается в положении абсолютного синонима iucundus в одном и том же тексте (Fin. II.105): «воспоминание о прошедших тяготах» (memoria praeteritorum laborum) определяется то одной, то другой лексемами без какого бы то ни было

различия в значении. Ниже, при анализе лексемы iucundus, мы сможем убедиться в почти полном совпадении значений этих лексем при характеристике психологического состояния субъекта.

Ценностное значение, определяющее выбор, предпочтение субъектом того или иного объекта, имеет suavis в тексте (Inv. II.22.3), в котором он обозначает сравнительную ценность «денег», «жизни брата или друга» и «исполнения долга» (officium). К этому ценностному значению присоединяется и исконно гедонистическое в оценке «сельской жизни» (suavissime vita S.R. 18).

Самостоятельную группу образуют несколько контекстных ситуаций, где suavis, выступая в роли предикатива, характеризует общее психофизическое состояние субъекта. Это несколько раз встречающееся упоминание о парадоксальном тезисе Эпикура относительно мудреца, испытывающего блаженство даже во чреве фаларидова быка, т. е. при величайших физических страданиях. Состояние определяется лексемой suavis[235].

Выражая идею положительной оценки психологического состояния субъекта, suavis может оказаться практически абсолютно синонимичным bonus, как в тексте Fin. II.11[236]. Аналогичен смысл suavis в тексте N.D. III.72[237]. Ср. также: T. V.75. Эмоциональный характер этой оценки раскрывается в том же тексте (T. II.17–18), где suavis эксплицируется через глагол laetari в возражениях против крайности формулы Эпикура, исконность же гедонистически-чувственной семантики suavis проявляется в антитетически употребленном здесь же amarum[238], что свидетельствует об определенном экспрессивном характере лексемы.

Тот же эмоциональный характер присутствует и в трех текстах, где suavis определяет *жизнь*: haec suavissima lux (S.R. 63), vitae suavitas (T. I.93), suavitas verni temporis (C. 70). В первых двух случаях лексема выражает прежде всего идею радости, счастья самой жизни, бытия (lux – сияние солнца, жизнь), и здесь особенно сильно ощущается экспрессивно-оценочный момент в его семантике. Suavitas verni temporis во многом еще связана с исходной чувственностью семантики этого оценоч-

ного слова (вспомним определение через suavis зрительных и обонятельных впечатлений), и этот чувственный момент вполне присутствует здесь – аромат цветов, их яркая пестрота; но семантическое содержание лексемы в данной ситуации не исчерпывается чисто чувственной характеристикой, а отражает сложный комплекс ощущений, называемых весной, включающий и радость бытия (как в первых двух названных текстах), и, в сущности, эстетическую оценку действительности, вырастающую на основе непосредственных чувственных ощущений.

Данный текст являет собой *единственный* пример *эстетической* оценки, осуществляемой suavis в отношении зрительно воспринимаемого образа действительности (если не считать color suavis – T. V.46 – о человеческом лице и общего утверждения о возможности эстетического восприятия пластических форм – T. III.41).

К двум рассмотренным здесь лексическим группам примыкает iucundus. Этимология его неясна. По этому поводу словарь Эрну – Мейе высказывается весьма пессимистически: «без этимологии» (с. 592). Однако несомненна связь iucundus и iuvare (арх. iovare) – «доставлять удовольствие» (особенно в безличном iuvat), развивающим далее значение «быть полезным», «помогать». На эту связь указывал еще сам Цицерон, производя iucundus от iuvare (Fin. II.14) и связывая iucunditas с характеристикой чувственного восприятия (quae sensum movet iucunditas – «удовольствие (приятность), которое воздействует на какое-нибудь чувство» (там же). В то же время последующее семантическое развитие глагола iuvare свидетельствует о более сложной семантической структуре iucundus, включающей наряду с компонентом «удовольствия», «приятности» еще и рационально-утилитарный компонент «полезности», заметно охлаждающий эмоциональную сторону лексемы.

С другой стороны, едва ли случайным было сближение в народной этимологии iucundus и iocus[239], приводившее к дублетным формам iucundus, свидетельствующее, что в iucundus, по-видимому, всегда ощущался еще один семантический компонент – «веселости», «радости», отчетливо выделенный, в частности, в словаре Форчеллини, опиравшегося в [illegible]

определении на упомянутое место из Цицерона: по его словам, iucundum есть все то, что воздействует на чувства или ум (quod sensum aut animum movet et iuvat...), и особенно то, что противостоит печали и рождает веселье и радость[240].

Этот семантический компонент iucundus становится особенно ясным из текста письма Цицерона к Луккею (Fam. V.15.1), где Цицерон пишет, что любовь Луккея к нему приятна и желанна: «...я бы даже сказал, радостна (iucundus), если бы не утратил навеки это слово». В данной контекстной ситуации iucundus, выступая в одном ряду с gratus и optatus как синонимами «приятного», в то же время выделяется среди них именно наличием чисто эмоционального компонента «радости», утраченной Цицероном со смертью дочери Туллии.

В настоящей работе мы не рассматриваем группу gratus, широко представленную в текстах Цицерона, но приобретающую эстетическое значение несколько позднее, лишь начиная с Горация[241]. Однако сопоставление его с iucundus, с которым он довольно часто выступает вместе, иногда – как почти неразличимый синоним, а иногда (как в только что упомянутом тексте) – в противопоставлении, может помочь установлению специфических сторон семантики последнего. Марий Низолий в «Цицероновском лексиконе» устанавливает общее различие в их семантике (дословно повторяемое в словаре Форчеллини), показывая, что эти прилагательные отличаются по степени и объему выражаемого понятия: gratus – это «то, что пригодно», а iucundus еще и то, «что доставляет удовольствие»; «всякое iucundum есть gratum, но не наоборот[242], т. е. подчеркивает в iucundus семантический компонент «удовольствия», придающий ему эмоционально-экспрессивный характер, отрицая его в лексеме gratus. К. Мусси, посвятивший сопоставлению gratus и iucundus специальную работу[243], видит основу их семантического развития в их происхождении: уже известная этимология iucundus (связь с iuvare), что же касается gratus, то здесь речь идет о старинном прилагательном пассивного смысла на -to: «принимаемое с благодарностью», «хорошо принимаемое», даже в том случае, если принимаемый объект сам по себе не доставляет удовольствия[244].

Семантическая функция моделей на -cundus сводится, по определению Э. Бенвениста, к обозначению постоянного предрасположения, способности или склонности (постоянно реализуемой) к действию или состоянию (например, facundus характеризует человека, способного легко и свободно говорить). Аналогично обстоит дело с iucundus, обозначающим, собственно, «то, что способно доставлять радость»[245].

Исходя из такого понимания семантики iucundus и признания в нем ведущего семантического компонента «доставляющий радость», можно в ряде случаев достаточно частого сочетания gratus и iucundus обнаружить не их обычную синонимию (проявляющуюся в процессе аккумуляции синонимов, приводящем к ослаблению и даже исчезновению их смысловых различий, что является неизбежным результатом copia dicendi), а достаточно отчетливое смысловое противопоставление. Так, в письме к Аттику: ...ista veritas etiamsi iucunda non est mihi tamen grata est – «хотя в этой истине и нет ничего радостного, она мне все же приятна (я принимаю ее с благодарностью)». То же в ряде писем к друзьям: «...чьи услуги часто бывали для меня приятнее (iucundiora) (т. е. совершались в более благоприятных обстоятельствах), но никогда я не был более благодарен за них» (nunquam gratiora – Fam. IV.6.1); «все это мне приятно» (iucunda), а за последнее (щедрость к автору письма) я еще и благодарен (hoc extremum etiam gratus – Fam. I.3.1) (ср. также: Fam. XIII.18.2); два текста представляют заключительные, своего рода формульные фразы рекомендательных писем с просьбой оказать помощь и содействие «подателям»: tibi profecto iucundum, mihi certe etiam gratum (Fam. XIII.13; ср.: Fam. XIII.23.2).

При, казалось бы, полном тождестве gratum и iucundum расстановка смысловых акцентов достаточно ясна: gratum оценивает состояние автора – рекомендателя – «я буду благодарен», iucundum – состояние адресата – «оказать просимую услугу тебе будет приятно, и ты не будешь в этом раскаиваться». Рассмотренные выше контекстные ситуации достаточно убедительно подтверждают наличие в лексеме iucundus [illegible]тического компонента «веселости», «радостного удовлетворения», придающего ему более эффективный характер [illegible]

нии с gratus) и делающего его семантическую структуру более емкой, создавая определенный смысловой потенциал, способствующий постепенному вхождению этой лексемы в сферу *эстетической* лексики и возможности ее функционирования в качестве оценки содержательных моментов художественного (словесного) произведения.

Подобно suavis и dulcis, iucundus может оценивать чувственное восприятие во всех его видах. Оценка воспринимаемого объекта лексемой iucundus является результатом не только чистого сенсорного восприятия, но и активной деятельности духа (animus): «всякое приятное ощущение хотя и воспринимается чувствами тела, однако же соотносится с душой» (T. V.95), что весьма важно для понимания семантики iucundus, включающей наряду с сенсорными и моменты интеллектуальные.

В трактате «О природе богов» iucundus определяет и вкусовые, и обонятельные, и зрительные впечатления: «...этих плодов приятен (iucundus) не только вкус и запах, но и вид» (N.D. II.158). В этом тексте раскрываются одновременно как способность iucundus оценивать физиологически приятное, так и эстетические качества объекта, когда речь идет об оценке зрительного восприятия.

В ряде текстов iucundus характеризует лишь вкусовые ощущения: «так много столь разнообразного и столь приятного (iucunda) рождает по своей доброте природа» (N.D. II.131); «тогда ты поймешь, что вкус (приятность – iucunditas) пищи определяется голодом, а не сытостью» (T. V.100); здесь же приводятся слова Тимофея: «...ваш обед и на следующий день доставляет удовольствие» (iucundae sunt – T. V.100) – в данном тексте речь может идти и обо всей обстановке пира. В том же тексте Птолемею «показалось, что нет ничего вкуснее» (iucundius – T. V.97) – речь идет о грубом хлебе. Дарий «сказал, что никогда не пил ничего вкуснее (iucundius)» (там же) – речь идет о грязной и отвратительной воде, которую пьет Дарий, испытывая сильную жажду. То же в письме к Аттику: «и есть, и пьет, и с удовольствием (iucunde) (Att. XIII.52.1).

В приведенных выше текстах iucundus является не объективно присущим пище качеством, а лишь оценкой, давае-

мой субъектом, качествам объекта, существующим «для него» (субъекта), что подчеркивается в тексте предикацией videri (T. V.97) и дательным непрямого объекта. Здесь раскрывается определенная семантическая особенность лексемы iucundus, обозначающей не столько объективное качество, присущее вещи (как dulcis – хотя его субъективное восприятие может быть другим), сколько способность объекта удовлетворить ту или иную потребность субъекта, т. е. его (объекта) функциональную ценность, воспринимаемую и оцениваемую эмоционально.

Единственный раз определяется конкретное звуковое восприятие: quod voce iucundum est (Or. 182.2), где vox – вообще звуковой облик ораторской речи, ее звучание, и iucundum, характеризующее восприятие этого звучания, в данной контекстной ситуации имеет уже собственно *эстетическое* значение.

В нескольких текстах iucundus определяет и зрительные впечатления. В письме к Аттику встречается единственный случай, когда iucundus определяет конкретный материальный объект (принципиальная возможность такой ситуации намечена в тексте N.D. II.158, где говорится о iucundus aspectus плодов). Другой текст: «...я полагал, что эти садики мне больше понравятся (iucundiores fore) и окажутся дешевле» (Att. IX.9.4.19). В данной контекстной ситуации значение iucundus вполне могло бы укладываться в рамки значения amoenus, но поскольку речь здесь идет об имени, эта оценка более сложна, включая наряду с возможным оттенком эстетического суждения также идею «удобного расположения», может быть «плодородности» и т. п., т. е., как говорилось выше, указывает на функциональную ценность объекта для автора (дат. непр. объекта). Аналогично agri iucundi et fertile (Legg.agr. II.40); agri spes et iucunditas (Legg.agr. II.79), где лексическое окружение выдвигает в iucundus на первый план утилитарно-функциональный, а не эстетический аспект семантики[246].

В трех текстах в качестве объекта определения iucundus выступает spectaculum (Ver. V.66; Att. II.21.4; Fam. VIII [illegible]). В речи против Варреса это зрелище закованных в цепи [illegible] (iucundissimum spectaculum), в письме к Аттику – зрелище [illegible]

литического краха ученика Цицерона (spectaculum uni Crasso iucundum) сравнивается с обезображенными (deformata) произведениями Апеллеса и Протогена. Здесь iucundus объективно (учитывая позицию автора оценки) имеет противоположное собственному значение – «неприятное, тягостное» зрелище, но доставляющее удовольствие Крассу. Сравнение с совершенным произведением искусства и метафора самого человека как картины, созданной художником – Цицероном, указывает на эстетическую потенцию лексемы, т. е. способность к оценке произведения искусства, но на поверхностном уровне на первый план выступает компонент «злорадного удовольствия» от противоположного – обезображенного шедевра (крах политического противника), т. е. опять-таки оценка функциональной ценности объекта (как и в речи против Варреса). Наконец, в словах Целия, предсказывающего жестокую политическую борьбу в Риме,– «великое и забавное (magnum et iucundum) зрелище готовила тебе судьба» – iucundus, определяя spectaculum, имеет в виду не форму, не выражение, а сущность явления, содержание его, в данном случае – «интересный», «занимательный».

К рассмотренным текстам близок текст с ludus (Phil. IV.11): «...ни одно зрелище не было для него приятнее (iucundior), чем кровь, чем убийство, чем избиение граждан в его присутствии». В этом тексте ludus сохраняет отчетливую связь с ludus gladiatorius через следующие за ним caedes и пр.; и iucundus определяет и его, и всю группу, которая с ним сопоставляется – «кровавое убийство, резня» именно как объект чувственного (зрительного) восприятия, доставляющий Антонию, по существу, эстетическое удовольствие.

Как и в двух рассмотренных выше лексических группах, первое место среди объектов группы iucundus занимает сам человек, его личность, его деятельность, те состояния и отношения, в которых он оказывается. Более 50 раз iucundus определяет человека (при этом 27 раз в письмах, где он, уступая suavis (43), значительно превосходит dulcis (9). Поскольку в письмах iucundus подобно suavis выступает главным образом в обращениях, представляющих формульные выражения вежливости,

достаточно будет лишь указать соответствующие места, не рассматривая их более подробно[247].

Человек может ощущать себя приятным другому (С. 25; С. 26; R.P. III.18; De or. I.269; II.304; Off. I.113). Человек, выступающий в качестве объекта оценки со стороны iucundus, обладает этим качеством не объективно, а в глазах другого, являющегося фактическим субъектом этой оценки, в плане же грамматическом – непрямым объектом в дательном падеже[248].

Iucundus характеризует и близких (детей, брата – Cael. 79; Prov.con. 65; Font. 47) и просто человека (Cluent. 202). Все приведенные примеры (число их можно было бы умножить), даже в случае когда отсутствует дательный падеж непрямого объекта, определяют через iucundus не объективные качества вещи, предмета, а их отношение к субъекту оценки, их ценность (привлекательность) для него. Во множестве контекстных ситуаций iucundus оценивает отношения между людьми, т. е., по существу, дает оценку одному человеку в его отношении («приятии») к субъекту оценки. В этой группе объектов оценки можно назвать litterae, epistulae (в письмах), где соответствующая оценка, формально относящаяся к этим словам, фактически выносится личности адресата и его отношению к автору письма[249].

Iucundus оценивает различные проявления духовного общения людей[250].

В трактате «De amicitia» приводятся слова Архита Таренского, что наслаждение от созерцания высшей красоты мироздания было бы неполным, если бы человек не имел возможности поделиться с кем-нибудь своим восхищением (...insuavem illam admirationem ei fore, quae iucundissima... – Lae. 88). Здесь необходимо отметить абсолютную синонимию лексемы iucundus и suavis, в одинаковой мере оценивающих душевное удовлетворение, радость, приносимую созерцанием эстетически ценностного объекта, обусловленной, однако, не только эстетическими свойствами объекта, но и социальным характером восприятия. Suavis и iucundus, таким образом, характеризуют восприятие, состояние воспринимаемого субъекта, тогда как эстетические качества воспринимаемого объекта определяются здесь лексемой pulcher (Lae. 88).

Значительное место занимает характеристика того или иного состояния человека, физического или духовного, рассматриваемого как удовлетворяющее человека и приносящее ему радость. Это может быть возрастное состояние[251], психологическое[252], нравственное[253], социально-экономическое[254], семейное[255], физическое[256], психофизическое[257], наконец, само существование человека (жизнь) – 11 текстов – vita, 18 текстов – vivere, spiritus caeli (Cat. I.15) и конкретный способ существования и деятельности[258].

Нет необходимости перечислять все объекты, определяемые лексемой iucundus, – это могут быть различные абстрактные понятия (honos populi – Ver. V.37; honos viri – Cluen. 12; laus – Fam. XV.6; veritas – Att. III.24.2) и различного рода факты и события, воспринимаемые как источник приятного, радостного ощущения и удовлетворения для субъекта, действия и мысли (opinio – Qu. I.1; ...Balbum Romam venturum – Qu. I.12.4) и т. п. Но среди этих объектов почти не встречаются конкретные материальные предметы, а лишь по преимуществу различные отношения и состояния, в которых оказываются люди в их взаимоотношениях (именно так оценивается и сам человек – как психологически приятный субъекту оценки). Во всей этой разнообразной массе объектов оценке подвергаются не конкретные свойства данного объекта (под этим мы понимаем и действия, и ситуации, и абстрактные понятия, и конкретные примеры), а характер его воздействия на субъект, т. е. характер восприятия субъектом данной реальности.

Таким образом, семантическая сфера iucundus прежде всего эмоционально-психологическая, а не область материального, это оценка не столько объективных качеств предмета, сколько его субъективного восприятия. Мы уже говорили, что этот субъективный характер семантики iucundus находит отражение в его синтагматических отношениях: подавляющее большинство его употреблений (на уровне прилагательного) связано с дательным падежом непрямого объекта (в философских трактатах 62 случая, т. е. половина всех употреблений, в письмах процент еще выше, но в риторических трактатах значительно ниже).

Можно проследить некоторые семантические оттенки, определяющие различия значений трех рассмотренных лексем, на материале одной группы контекстных ситуаций, ограниченной предикацией идеи «удовольствия» voluptas, конституирующей идеи всей тематической группы гедонистической лексики.

Понятие «наслаждения» (voluptas), являющееся центральным не только в области непосредственно-сенсорного, физиологического, но и эстетического восприятия, теснейшим образом связано с понятиями, выражаемыми лексемами dulcis, suavis, iucundus. Все эти лексемы участвуют, конкурируя между собой, в определении этого понятия, а иногда практически объединяются с ним (De or. III.25–26).

Такое объединение оказывается возможным на основе определенных представлений о природе чувственного восприятия и удовольствия. В тексте из V книги «Тускуланских бесед» рассматривается эта проблема и говорится, что «удовольствие» (iucunditas), воспринимаемое зрением, не имеет никакого отношения к самим глазам, так как удовольствие от того, что мы едим, обоняем, осязаем, слышим, находится именно там, где мы это ощущаем, со зрением же все обстоит совершенно иначе: «ум (animus) воспринимает то, что мы видим» (T. V.III).

Iucunditas этого текста есть способность органов чувств ощущать прекрасное, есть непосредственное чувственное *восприятие* (perceptio), тогда как voluptas есть источник этого ощущения, совпадающий, впрочем, во всех видах чувственного восприятия (за исключением зрительного) с самим этим ощущением, что и определяет, как мы увидим в дальнейшем, отношение понятий voluptas и его определений iucundus, suavis. dulcis. Зрительное восприятие здесь принципиально противопоставлено всем остальным его видам, т. е. чисто сенсорным восприятиям, как более сложное, опосредованное умственной (animus) деятельностью, оценивающей данные чувственного восприятия. По существу, здесь противопоставляется элементарно-физиологическое и собственно *эстетическое* восприятие, где чувственность подвергается интеллектуальной оценке.

Подробно рассматривается проблема voluptas в трактате «О границах добра и зла». Основная роль в определении понятия

«удовольствия» принадлежит лексической группе iucundus (9 случаев из 14). Voluptas (ἡδονή) определяется как «приятное движение в ощущении» (iucundus motus in sensu – Fin. II.75), «приятное движение, приносящее *радость* чувствам» (iucundus motus quo sensus hilarentur – Fin. II.8), «приятное ощущение, воздействующее на какое-то чувство» (ea, quae sensum aliquem movet iucunditas – Fin. II.14). Здесь iucunditas = voluptas и сама воздействует на чувство (sensus), а не является их «способностью».

Чувство (sensus), воспринимая удовольствие (voluptas), «...приходит в движение и наполняется неким приятным ощущением» (iucunditas) (Fin. II.7).

К iucundus в функции характеристики чувственного удовольствия присоединяется suavis, нигде, однако, не выступая в качестве самостоятельного определения, а ограничиваясь лишь сопровождающей, уточняющей ролью (Ср.: De or. III.25–26, где они синонимичны). Iucundus motus voluptatis (Fin. I.39) возникает в теле, «когда наслаждение как бы раздражает чувства и разливается и распространяется по ним с приятным ощущением (cum suavitate).

Наслаждение приводит в движение (волнует) саму природу «некой сладостью» (suavitate aliqua) и «с неким ощущением приятности (cum iucundate quadam) воспринимается чувствами» (Fin. I.37). «Наслаждение – это сладостное ощущение приятности в теле» (commotio suavis iucunditatis – Fin. II.13), которой в духовной сфере соответствует «радость» (laetitia in animo). Наслаждение существует, когда воспринимается та приятность (iucunditas), которая приводит в движение какое-нибудь чувство» (Fin. II.14). Здесь iucunditas оказывается в той же роли, в которой несколько выше находилась laetitia: hanc quoque iucunditatem transfer in animum (Fin. II.14), т. е. iucunditas доступна не только телу, но и духу.

Конкурентом iucundus в этой функции является лексическая группа dulcis. В абсолютно синонимической позиции встречаем ее в тексте: «...когда мы едим то, что приносит чувствам сладостное ощущение (dulcis motus), тогда наслаждение активно (in motu – Fin. II.10). «Наслаждение (voluptas)... приводит в движение чувство прежде всего ощущением сладост-

ности (dulcedo) (Fin. II.39). «В величайшем наслаждении все чувства, как бы пронизанные сладостью (dulcedine), приходят в движение» (Fin. II.114). Активное (in motu) наслаждение квалифицируется как dulcis (Fin. II.16); само понятие «приятного» (iucundum) эксплицируется как «сладость в теле и порождаемая ею радость» (dulcedo corporis ex eave nata laetitia – Fin. II.1; ср.: Fin. II.13.14)[259].

Дважды dulcis выступает в сочетании: в одном случае – с iucundus: sensus dulciter et iucunde movetur (voluptate) (Fin. II.18) – «(от наслаждения) чувство испытывает сладостное и приятное ощущение»; в другом – со suavis, определяя уже упомянутое активное наслаждение: «...ведь он так называет эти приятные и едва ли не сладостные наслаждения» (suaves et quasi dulces voluptates – Fin. II.30).

Последний текст требует особого внимания, поскольку он сопоставляет в, казалось бы, абсолютно синонимичной позиции suavis и dulcis, которые можно было бы рассматривать как обычную аккумуляцию синонимов, если бы в этом сопоставлении не выступало в то же время достаточно отчетливо определенное различие в их семантике[260]. Слово quasi, лексически уточняющее dulcis, явно указывает на осознанно метафорический характер его употребления, раскрывает чувственно-конкретный аспект его значения, ту конкретность dulcis, которую это quasi и должно снять, приблизив к suavis, рассматриваемому в данном случае как естественное и нормальное определение к voluptas. Таким образом, все три лексемы, участвующие в характеристике voluptas, указывают на характер воздействия внешней среды на чувственные ощущения, вызывающего специфическую реакцию (motus) в теле, которая квалифицируется как iucundus, suavis, dulcis. По существу, во всех рассмотренных случаях речь идет о чисто физиологической трактовке voluptas. Ее проекция в психическую сферу есть laetitia (gaudium), хотя, как мы видели, возможен и термин iucunditas (Fin. II.14), но не dulcedo и не suavitas. (В данном случае, очевидно, играет определенную роль тот исконно присущий iucundus семантический компонент «веселости», который позволяет этой лексеме войти в круг интеллектуальной лексики.)

Как можно заметить, самостоятельную роль в определении voluptas играют iucundus, dulcis, лишь однажды встречаясь вместе (dulciter et iucunde movetur). Suavis в этой функции встречается реже двух остальных (iucundus 8 раз, dulcis – 7, suavis – 4), к тому же ни разу не выступая самостоятельно, а лишь вместе с первым или вторым, при этом взаимодействие dulcis и suavis, как было отмечено, выявляет более конкретно-чувственный характер dulcis. Эта связь с конкретно-чувственной сферой делает dulcis более экспрессивным, эмоционально насыщенным словом. Отмеченный выше семантический компонент «веселости» в iucundus и функционирование этой лексемы в синонимичной позиции с laetitia, усиливающее ее «интеллектуальное» содержание, способствуют более отвлеченному, обобщающему и менее экспрессивному (в сравнении с dulcis) ее характеру. Таким образом, в dulciter et iucunde объединяются обе стороны voluptas – и непосредственно-чувственная, эмоциональная (dulciter), и интеллектуально-опосредованная (iucunde), реализующаяся в laetitia.

Выступая трижды с iucundus, suavis, по-видимому, должен обладать каким-то семантическим отличием от первого, раскрывать какую-то другую сторону voluptas. Как уже говорилось, suavis достаточно прочно связан с областью чувственных восприятий, однако он лишен (в текстах Цицерона) той конкретности, а следовательно, и экспрессивности, которой обладает dulcis. В функции же выражения общей идеи «приятности» он имеет более сильного конкурента в iucundus. Оказываясь (единственный раз) в сочетании с dulcis (Fin. II.30), он выступает в позиции, занимаемой iucundus в тексте dulciter et iucunde (Fin. II.18), выражая общую идею «приятности», «удовольствия»; выступая же в сочетании iucundus, он выдвигает на первый план компонент «непосредственной чувственности», эмоционально усиливающей общую идею, выражаемую iucundus.

Среди тематических групп, составляющих предмет оценки рассматриваемых лексем, наиболее значительное место принадлежит группе «*речь*, словесное произведение, стиль» (dulcis

21, suavis 51, iucundus (главным образом в риторических трактатах) 31).

Эти три лексемы оказываются одним из наиболее распространенных лексических средств *эстетической* оценки произведений *словесного* творчества, *речи* (как устной, так и письменной). Не следует забывать, что для Античности всякая речь, в том числе и поэтическая (не говоря уж об ораторской), – это прежде всего речь устная, звучашее слово, подчиняющееся законам ритмической и музыкальной организации материала. Поэтому нет ничего удивительного в том, что именно лексические единицы, служащие для оценки *звуковых* впечатлений, берут на себя и функцию эстетической оценки речи, и словесного произведения как результат художественной деятельности.

Вспомним при этом, что центральная лексема эстетического ряда в латинском языке pulcher в текстах Цицерона *практически не определяет словесное произведение, речевую деятельность* человека. С другой стороны, как было сказано выше, и рассматриваемые нами в настоящий момент лексемы чрезвычайно редко участвуют в оценке материально-конкретных, чувственно (преимущественно зрительно) воспринимаемых объектов.

Отнесенность dulcis к сфере характеристики человеческой личности и человеческого общения как выражения духовной близости людей и его тесная связь с чувственно-эмоциональной областью делают вполне естественным включение этой лексемы в лексический круг, связанный с выражением понятий речи и слова. (Активными и мощными конкурентами dulcis в этой области оказываются suavis и iucundus.) Основная масса примеров относится к риторическим трактатам (15 примеров), в философских трактатах – 4 примера и один – в письмах; в речах в этом употреблении dulcis не встречается.

О Сократе говорится dulcis и facetus (Off. I.108). В окружении facetus («остроумный») и festive sermonis («весело, интересно говорящий») dulcis определяет не столько черты характера, сколько оценивает какую-то сторону его речи, его стиля, приобретая не столько психологическое, сколько *эстетическое* содержание. Но если этот пример может показаться недоста-

точно убедительным, то тексты о Геродоте (Fr. V.25), Деметрии Фалерском (Off. I.3) и, наконец, о поэтах, которых не только читают, но и заучивают наизусть, потому что они – dulces (T. II.27), представляют несомненно эстетическую оценку словесного произведения, точнее, писательского или ораторского *стиля*.

Аналогичен ряд текстов из риторических трактатов: Менелай изображен Гомером, «говорящим хоть и сладостно, но мало» (dulcem quidem, sed pauca loquentem), Карбона называют оратором «и пылким, и весьма сладостным (valde dulcem) и остроумным» (B. 105.6). «Кто сладостнее Феофраста?» (dulcior – B. 121.3), Л. Меммий – «оратор искусный и сладостный в словах» (verbisque dulcis – B. 247.8). (В последнем случае следует попутно отметить лимитационное употребление verbis, ограничивающее сферу оценки dulcis лишь словесным выражением.) Речь Лелия дважды (B. 83.5; 295.10) названа dulcis, Ксенофонт «сладостнее» Калисфена (De or. II.58; ср.: Off. I.3 о Деметрии), «сладостнее меда» – речь Нестора (C. 31) и Ксенофонта (Or. 32.8), эпидиктическая речь софистов – dulce genus orationis (Off. 42.5), никакое пение не может превзойти в «сладости» ритмически организованную речь (De or. II.34). История написана сыном Сципиона Старшего «в высшей степени сладостно» (B. 77.7), а в самом историческом жанре «наиболее сладостным» признается «чистая и прозрачная краткость» (B. 262.10). Наконец, dulcis вместе с venustus определяет «сентенции», которыми увлекается в своей ораторской практике Гортензий (B. 326.7), противопоставление (равно как и объединение с venustus) заставляет видеть в dulcis качество, связанное в первую очередь с *внешней* формой речи, которая, впрочем, может и обладать самостоятельной ценностью.

Таким образом, оценка, даваемая лексемой dulcis произведению словесности, авторскому стилю и вообще *речи*, может рассматриваться как *эстетическая* по существу. Использование dulcis в данной функции осознается Цицероном как метафорическое (ducta a ceteris sensibus – De or. III.161), и эта метафоричность придает лексеме особую выразительность. Оценивая речь, dulcis характеризует преимущественно

ее внешне-звуковую сторону, что находит объяснение в происхождении самой этой метафоры, поскольку dulcis еще на ранней, собственно чувственной степени восприятия определяет *звук*, звучащий голос.

Эстетические потенции suavis, подобно лексеме dulcis, раскрываются лишь в литературно-критическом контексте, лишь в характеристике *слова*, *речи* как художественного произведения словесности.

В некоторых контекстных ситуациях не всегда легко провести четкую границу между характеристикой личности и характеристикой речи, осуществляемой лексемами suavis, dulcis. Так, о Цезаре говорится, что он был образцом гуманности, остроумия, приятности, обаяния (specimen... himanitatis, salis, suavitatis, leporis... – T. V.55). В этом ряду suavitas, употребленная абсолютно, может указывать и на черту характера, личности – «обходительность, приятность», и на черту ораторского стиля (в данном случае более широкий контекст не дает возможности сделать бесспорный вывод, тем более что и остальные три члена этого ряда допускают различное толкование)[261].

Suavis достаточно часто характеризуют речь и словесное произведение (45 примеров). Большинство из этих употреблений приходится на риторические трактаты, и лишь шесть примеров дают философские трактаты, в речах же в этом значении suavis вообще не встречается. Единственный раз встречающаяся в письмах оценка, данная через эту лексему *книге*, может рассматриваться в известной мере как оценка эстетическая[262]. Остальные же употребления этой лексемы в письмах оценивают не письмо, с которым она формально согласована, а *личность* его автора.

Suavis может характеризовать ораторскую речь, ее эстетическое воздействие: Феофраст... муж сладостный (suavis) речью (X.I.33), Платон отличается «исключительной сладостью (singulari suavitate) речи» (D. I.78), Нестору не были нужны физические силы, для его «сладости» (речи) (C. 31). Suavitas означает некое качество, присущее самой поэтической речи, именно ка- речи художественной (quae poetarum vocibus fusa suavitas. N. D. I.42), т. е. характеризует эстетические качества произведе-

В другом тексте того же трактата о поэте Симониде говорится, что он «не только сладостный, но и... ученый и мудрый» (N.D. I.60). В таком противопоставлении suavis – doctus sapiensque можно видеть противопоставление формально-выразительной и содержательной сторон поэтического произведения, в котором suavis, как и в предыдущем тексте, характеризует «художественность», эстетическую ценность этого произведения.

Общее значение «эстетической оценки» можно видеть и в тексте из III книги «De oratore», где речь идет о восприятии удовольствия, доставляемого аудиальными или визуальными впечатлениями, т. е., по существу, об эстетическом восприятии мира (в том числе и искусства): среди бесчисленных наслаждений, приносящих удовольствие зрению и другим чувствам, «трудно бывает судить, какое из них наиболее приятно» (difficile iuducium excellentis maxime suavitatis – De or. III.25–26). Suavitas в данной контекстной ситуации (синонимичная, кстати, здесь с iucundus[263]), приобретая эстетическое значение, близка к обозначению понятия «красоты».

Как общеэстетическая оценка suavis может трактоваться и в определении совершенного оратора: suavis et ornatus (De or. III.103). Такое же определение получают Аристотель, Феофраст, Карнеад (De or. I.49): in dicendo suaves et ornati... Если ornatus характеризует речь как отвечающую всем стандартам риторики, использующую все приемы ораторской техники[264], то suavis в этом сочетании оценивает результат этой техники, художественное впечатление, т. е. «эстетически ценное». Аналогично содержание этой лексемы и в тексте II книги того же трактата: «...Я буду просить тебя, чтобы ты поделился хотя бы частью твоего (ораторского) совершенства» (suavitatis – II.16).

В речи совершенного оратора соединяются различные стилистические характеристики – так, Крассу одновременно присущи «словесность» (suavitas), «мощь» (vis) и «богатство словесных средств» (copia dicendi) (De or. III.82). Точно так же в красноречии Перикла соединяются те же suavitas et vis dicendi (B. 44), хотя эти качества (vis и suavitas) могут существовать и независимо друг от друга как отдельные доминирующие черты стиля: vis Улисса и suavitas Нестора (B. 40.4). Подобным же

образом находятся в оппозиции друг к другу suavis и gravis в характеристике ораторского стиля Деметрия Фалерского, где семантика suavis подчеркнута следующей concinnitas – стройность, гармоничность, «сладкозвучие» (И. П. Стрельникова). При этом весьма важно замечание, свидетельствующее о различных видах «suavitas»: suavitas Деметрия определяется как такая, «что вливалась в души, а не сокрушала их» (B. 38.2, 3; Ср.: Off. I.3 – dulcis). Это определение предполагает возможность сосуществования suavitas с энергией (vis) возвышенного стиля[265], и тем самым suavitas является не принадлежностью какого-то одного стиля[266], а *общеэстетической* характеристики речи.

Действительно, в определении ораторского стиля suavis и gravis чаще не противопоставляются, а объединяются в единую сложную оценку. Так, Филипп называется оратором suavis, gravis, facetus (B. 186.6); Платон занимает первое место и приятностью (suavitas) речи, и ее важностью (gravitas) (Or. 62.6); только «сладостная и важная (gravis) речь» смогла убедить людей отказаться от насилия и подчиниться праву; в украшениях речи заключено много «приятности и важности» (suavitatis et gravitatis) (Inv. II.49.8); расположение слов в речи подчинено требованиям «приятности или важности» (Or.18.5); украшение и четкое распределение материала «и очень приятно, и крайне необходимо» (Inv. I.50.3); несколько раз определяют suavis и gravis ораторские сентенции (Or. 150.6; 168.10).

В этой устойчивой группе gravis ориентирован прежде всего на оценку содержательного момента (важность, убедительность мысли), тогда как suavis касается формы ее выражения (приятность, эстетическая выразительность). В отношении сентенции дело обстоит аналогичным образом, имея в виду, что сентенция представляет собой своеобразную микроречь со своей внутренней организацией, эстетическая оценка которой осуществляется рассматриваемой лексемой[267].

В «Ораторе» дважды suavitas упоминается как цель возникновения метафоры (suavitatis causa) (Or. 92.8; 211.7). В оппозиции suavitas – inopia достаточно отчетливо раскрывается значение первого ее члена: если inopia указывает на [illegible]-

ональность метафоры, то suavitas в данной контекстной ситуации – это художественная выразительность, красота, т. е. эстетическое качество речи[268] (ср. в «De oratore» в аналогичной позиции iucunditas delectatioque – De or. III.155).

Для понимания некоторых семантических особенностей suavitas и, в частности, ее отличия от dulcis имеет важное значение уточнение понятия suavitas (suavitas требуется от совершенного оратора), приводимое в III книге «De oratore». Эта «приятность» должна быть austera et solida, а не dulcis atque decocta – De or. III.103). Прежде всего, мы видим, что сама suavitas может быть dulcis, и уже одно это соединение двух весьма близких по значению слов в одну группу dulcis suavitas свидетельствует об их действительном семантическом различии. Мы лишний раз убеждаемся в конкретно-чувственной семантике dulcis– «сладкий» (в данной контекстной ситуации – «приторный») и обобщающем характере suavis – «производящий приятное впечатление», «эстетически хороший». Для того чтобы suavitas оставалась на уровне положительных эстетических характеристик, она не должна быть «приторной», а обладать качеством, имеющим значение терпко-кислого (вкуса, например, вина), или темного (цвета), или острого (запаха), или переносно – «жесткий», «строгий» и т. п. Это слово подчеркивает здесь в лексическом плане конкретно-чувственное значение dulcis, в оппозиции к которому оно выступает. Эта метафора, строящаяся на вкусовых ощущениях, дополняется другой, источником которой служит консистенция: solida – decocta. Decoctus – «разваренный», «рыхлый», «вялый», в антитезе к solidus – плотный, крепкий, объединяющийся с dulcis в характеристике отрицательного варианта suavitas, усиливает в последней собственно компонент «сладости» («приторности»). Определяемая же как «терпкая» и «плотная», suavitas, наоборот, благодаря семантике этих определений утрачивает конкретно-чувственный элемент, развивая взамен более общее значение «приятности», выступающей в данном случае в функции положительной эстетической оценки речи. (При этом весьма отчетлива связь терминологии теоретической риторики с конкретно-чувственной основой, ее первоначальной образностью[269]).

Эта дифференциация значений suavitas (ср., по существу, аналогичное деление В. 38.2) приводит к различию употреблений лексемы на уровнях *общеэстетической* оценки (см. выше) и *конкретно-стилевой* характеристики. Когда достижение одной из трех основных целей оратора – «услаждать» (delectare) предоставляется «приятности» (suavitatis... delectare – Or. 69.4), термин может быть понят как общеэстетический (художественная сторона речи). Но в этом же тексте Цицерон связывает понятие delectare со «средним» стилем (modicum in delectando – Or. 60) и качество suavitas относит к этому «среднему» роду красноречия (Hoc in genere... suavitatis... est vel plurimam – Or. 91; ...plerumque est in hac orationis forma suavitatis – Or. 92; medius suavis videri – Or. 99)[270]. Именно к этому роду относится красноречие Деметрия (В. 38), таково и ораторское искусство Исократа, чья «сладостность» (suavitas, De or. III.28) противопоставляется остроумию Гиперида, «звучности» Эсхина, «мощи» Демосфера и т. д., т. е. выступает как частная индивидуальная особенность стиля.

Как определенная стилевая черта выступает suavitas и при характеристике стиля Гая Юлия Страбона, оказываясь в ряду с festivitas, facetiae, urbanitas, lepos (В. 177.4). Это лексическое окружение подчеркивает в данной лексеме семантический компонент «изящества», «приятности», «легкости», заставляя видеть в ней один из аккумулирующих общую идею «остроумия», «веселья» синонимов, не столько отличающийся в смысловом отношении, сколько лексически усиливающий общую идею. С выражением идеи шутки и юмора связан suavis и в тексте «De oratore» (II.216), где он принадлежит словам iocus и facetiae, точно передавая мысль Аристотеля ἀνάγκη καὶ τὰ γελοῖα ἡδέα εἶναι (Rhet. I.11), и может рассматриваться как общегедонистическая оценка, приближающаяся к эстетической[271].

Весьма активна роль suavis в характеристике собственно звуковой, акустической стороны речи, произношения звуков и слов, при этом не столько в музыкальном (как dulcis), сколько в орфоэпическом смысле.

Противопоставляя грубому крестьянскому произношению, представляющемуся некоторым «старинным и [illegible]

чистоту (subtilitas) литературного произношения и даже звучания, Красс квалифицирует такое произношение словом suavitas. Это качество отличает чисто аттическое или чисто римское произношение, о котором говорится: non tam bene quam suaviter (De or. III.43). Однако «чрезмерная древность произношения не обладает той приятностью (suavitas), которой мы добиваемся» (B. 287.17).

Произношение звуков речи, освещенное привычкой, приносит удовольствие, наслаждение слуху (Or. 160). Эта способность речи доставлять *наслаждение* слуху называется suavitas, которая признается более важной, чем грамматическая правильность (Or.157.21) (ср.: Or.157.24; Or.15.8 dulce).

Suavis характеризует и произношение отдельных звуков, suavitas appellandarum litterarum (B. 133.6), манеру произношения suavitas pronuntiationis (H. III.21), модуляции голоса и клаузулы (De or. III.227; III.181.5). В последнем случае эта оценка находится в общем контексте рассуждения о взаимоотношении полезного и приятного, и важно, что эта эстетическая сторона получает номинацию suavitas и lepos (De or. III.181.2), берущих таким образом на себя функцию общеэстетической оценки («красота»), а более широкий контекст (De or. III.178) ставит suavitas в синонимическую позицию с venustas, выступающей в той же функции, но применительно к *зрительно* воспринимаемым образам (in specie venustas), тогда как suavitas выражает то же качество применительно к *слову*, *речи*. В той же функции общеэстетической оценки выступает suavitas и во всех рассмотренных выше текстах.

Определяя в двух текстах (De or. III.225, 227) разнообразие и движение голоса, придающие ему «приятность», suavitas, хотя и связанная с чисто акустической стороной речи, являясь результатом определенного звучания и модуляций голоса, сохраняет все же и более широкое значение общеэстетической оценки ораторской речи. Противоположное же качество (отсутствие благозвучности) называется insuavis (Or. 158).

Итак, мы сможем установить, что применительно к *словесному* (ораторскому, поэтическому) произведению suavitas выступает в двух семантических вариантах:

1. Как выражение специфических черт определенного («среднего») стиля ораторской речи (иногда манеры речи), т. е. в риторико-техническом смысле. В этом употреблении сильнее ощущается связь с первоначальной конкретно-чувственной семантикой лексемы. Как правило, она служит для передачи термина греческой риторики – ἡδύς.

2. Как выражение общеэстетической идеи «прекрасного» – «прекрасно», «эстетически ценно». Последнее употребление оказывается преобладающим.

Серьезным соперником лексем suavis и dulcis в определении слова и речи, в частности ораторской, оказывается лексическая группа iucundus. При этом если первые в оценке литературного произведения идут от своей чувственной основы, то iucundus в силу своей семантической специфики опирается прежде всего на характеристику внутреннего, содержательного момента. В этой функции мы встречаем iucundus главным образом в риторических трактатах, где он, впрочем, употребляется относительно реже, чем в других группах сочинений (42).

Iucunditas характеризует манеру речи: ...cuius... in dicendi tanta iucunditas... fuit... (Har.resp. 41); ...orationem... neque eloquentia(m), (neque) iucunditate fuisse maiore (Sest. 107).

Последний текст требует более внимательного рассмотрения. Конъектуральное чтение не дает возможности принять окончательное суждение, но при чтении eloquentia мы должны признать семантическую оппозицию eloquentia – iucunditas и в таком случае, понимая eloquentia как «риторическое совершенство речи», признать в iucunditas семантический компонент «увлекательности», «занимательности» повествования (который еще будет отмечен в других случаях), т. е. считать, что основной акцент оценки, даваемой этой лексемой, делается на *содержании* речи. При чтении eloquentiam, которая в таком случае есть обобщение к oratio, iucunditas здесь выступает как их *общеэстетическая*, комплексная оценка – «прекрасная речь».

В пользу первого понимания свидетельствует и текст из третьей речи против Верреса: говоря, что предшествующая часть речи доставляла удовольствие самим разнообразием событий и неслыханностью преступлений. Цицерон пред-

упреждает, что следующая часть его речи (о заготовке хлеба) представит меньше интереса в изложении и «разнообразия» (Ver. III.10). Iucunditas конца фразы соответствует delectatio ее начала, а они обе являются результатом varietas (rerum) – т. е. удовольствие (delectatio), доставляемое ораторской речью (in agendo), обусловлено не столько приемами риторики, что, казалось бы, подсказывает выражение in agendo, а содержанием речи, ее фактологической стороной (разнообразием событий и фактов), и iucunditas данного текста имеет значение «увлекательность», «интересность», т. е. удовольствие, обусловленное содержанием речи.

Приводимые оратором в речи примеры из истории и литературы «имеют весьма большое значение для доказательства и интересны для слушателя» (plurimam solent et auctoritatis haberi ad probandum, et iucunditatis ad audiendum, Ver. III.209). Хотя auctoritas и iucunditas противопоставлены здесь как план содержания и план выражения (ad audiendum), это не означает, что iucunditas характеризует здесь лишь внешнюю (звуковую, музыкальную) сторону речи. Более широкий контекст (упоминание о древних памятниках и текстах) скорее свидетельствует в пользу уже встречавшегося ранее понимания iucunditas как «интересности», «занимательности» или, во всяком случае, не противоречит ему. Но в любом случае iucunditas данного текста следует рассматривать как слово *эстетического* значения.

Для понимания некоторых особенностей семантики iucundus представляет интерес текст письма Цицерона историку Луккею с просьбой написать сочинение о его консульстве. Приведем значительный отрывок, ибо в данном случае необходим достаточно широкий контекст: «Наши несчастья доставят твоему сочинению величайшее разнообразие, полное какого-то наслаждения (voluptas), которое с величайшей силой смогло бы приковать к чтению человеческие умы, если книга будет написана таким писателем, как ты. Ведь ничто в такой мере не годится для того, чтобы доставить удовольствие (delectatio), как перемены обстоятельств и превратности судьбы, которые, хотя отнюдь и не были желательными в нашей деятельности, при чтении окажутся занимательными (iucundae), ибо есть какое-

то удовольствие (delectatio) в воспоминании о прошедшем уже горе, когда тебе уже ничто не грозит» (Fam. V.12.4).

Казалось бы, iucundus в данной контекстной ситуации получает собственно психологическую интерпретацию (ср. iucundi acti labores – Fin. II.105; iucunda memoria praeteritorum laborum – там же), однако дальнейший текст, в котором речь идет уже не о Цицероне, а о читателе, не испытавшем лично всех этих превратностей, может в известной мере свидетельствовать и о возможности эстетической интерпретации данной лексемы: «А остальным, которые не знали никаких тягот, при виде чужих несчастий, хотя они и не испытывают никакого горя, само страдание приятно (iucunda – Fam. V.12.5). Определение iucunda, даваемое «состраданию», «жалости», вводит нас в область психологии эстетического восприятия, восприятия художественного произведения. Iucunda misericordia заставляет вспомнить об Аристотелевом ἔλεος καὶ φόβος, «сострадании и страхе» как основе трагического катарсиса. Ср. страдания умирающего Эпаминонда, описание его героической смерти доставляет каждому наслаждение, сопряженное с чувством сострадания[272].

Впечатление, производимое рассказом о событиях тягостных и неприятных самих по себе, характеризуется словом iucundus, ибо они своим разнообразием (varietas, дважды упоминаемая в том тексте, – ср.: Ver. III.10, где varietas оказывается важнейшим фактором, определяющим эстетическую ценность повествования, заключающем в себе «некий источник удовольствия») доставляет читателю наслаждение (delectatio). При этом как существенный фактор, обусловливающий наслаждение, побуждающее человека к чтению этого повествования, выступает мастерство писателя (te scriptore – abl. abs. в условно-казуальном значении). Поэтому iucundus настоящего текста, синонимичное delectatio, наряду с семантическим компонентом «удовлетворения» (морально-психологического) содержит, по существу, и компонент эстетической оценки (с точки зрения содержания) – «увлекательный», «интересный». Цицерон особо подчеркивает то художественное впечатление, интерес и радостное удовольствие, которое вызывает у читателя повествование о судьбе героя, испытывающего различные превратности судьбы

противопоставляемое им однообразию аналитического повествования, т. е., говоря современным языком, «остросюжетное повествование»: «...а разнообразные превратности судьбы выдающегося мужа часто вызывают восхищение, ожидание, радость, страдание, надежду, страх; если же они завершаются еще и поучительным финалом, тогда дух наш переполняется сладчайшим наслаждением от чтения» (iucundissima lectionis voluptate – Fam. V.12.5–6)[273]. Iucundus определяет здесь (как и в «De finibus...») понятие voluptas, но теперь это voluptas legendi, наслаждение, доставляемое чтением, художественным повествованием, оказывающим на читателя эстетическое впечатление через тот ряд эмоций, которые были выше перечислены, т. е. voluptas legendi есть эстетическое наслаждение, а тем самым iucundus, оценивающий это наслаждение, включается в круг эстетической лексики. Знаменательно и то, что в данном случае iucundissima voluptas является уже достоянием не corpus (как и в «De finibus...»), а в animus, т. е. это уже не непосредственное чувственное наслаждение, а опосредованное духовной сферой, т. е., иначе говоря, опять-таки эстетическое.

Этот же оттенок значения дает и текст из De or. II.326.7, видящий главное достоинство повествования, рассказа в «занимательности», «интересности»: «...то самое достоинство, которое является самым главным в повествовании – быть интересным (iucunda) и как можно лучше способствующим убеждению».

Поскольку в данном случае объектом оценки iucundus является повествование (narratio), а не речь вообще, семантика оценочного слова iucundus неизбежно несколько меняется, выдвигая на первый план те элементы своего значения, которые способны дать оценку именно рассказу, изложению хода событий[274]. Качество iucunditas применительно к рассказу не сводится к характеристике звучания речи и набора риторических фигур или к несколько неопределенному качеству «приятности», доставляемой речью. Ее оценочность направлена на ход повествования.

В письме к Луккею (Fam.V.12) iucundissima voluptas legendi – эстетическое наслаждение, вызываемое чтением, есть результат не риторической отделки речи, а повествования о превратностях

судьбы выдающегося мужа, которое вызывает беспрерывную смену разнообразных настроений читателя – надежды, страха, радости, ожидания, восхищения и т. д., т. е., как уже было сказано, понятие iucundissima применительно к повествованию есть понятие «занимательности», «интересности» и распространяется на сюжетную сторону произведения. Это же самое качество повествования в трактате «De inventione» (I.27) получает наименование festivitas, которое складывается из разнообразных событий (rerum varietas), неожиданных поворотов судьбы, смены душевных состояний, различных характеров и радостного финала (iucundus exitus rerum) (То же самое: Н. I.13.16)[275].

В обоих текстах то же понятие «занимательности» передается термином festivitas, основной семой которого является (как и в iucundus) «веселость», «праздничность», легко переходящая и на понятие «внимательности» («доставляющее удовлетворение уму»), воспринимаемое не чувственно, а интеллектуально; iucundus же в этом тексте оценивает лишь финал событий (доставляющий удовлетворение уму (душе)») и на этот раз воспринимается не чувственно, а интеллектуально, однако теперь источником его является не смена событий, не ход повествования, а результат, завершение этих событий, и следовательно, iucundus в данной контекстной ситуации имеет отнюдь не эстетическое, а скорее этическое значение (ср.: exitus notabilis – Fam. 12.5–6).

Интересен текст из II книги «De oratore», который мы приведем здесь, несмотря на его пространность, для того чтобы дать представление о том широком контексте, в котором iucundus реализует эстетические потенции своей семантики: «...в самой способности к слову столько привлекательного, что ничто не может быть приятнее (iucundius) для человеческого слуха или ума. В самом деле, какое пение слаще (dulcior) размеренной речи? какие стихи складнее (aptius) по художественному расположению слов? какой актер, подражающий правде, сравнится с оратором (iucundior), защищающим ее? а что утонченнее (subtilius), чем обилие острых мыслей? что восхитительнее (admirabilius), чем блеск слов, освещающий дело?» (перевод Ф. А. Петровского; De or. II.33.7-34.6).

Способность к слову или, лучше, сама речь (facultas dicendi) заключает в себе качество oblectatio – «услаждение», являющееся, судя по данному тексту, синонимом понятия iucunditas. И это качество (oblectatio, iucunditas) воспринимается не только чувственно (auribus), но и умственно, духовно (mentibus), носителем же этого качества, обладающего способностью эстетического воздействия, является речь, и, как становится ясно из дальнейшего текста, речь ораторская, художественно организованная.

Следующий далее ряд сравнений раскрывает различные аспекты этой нерасчлененной эстетической характеристики. Ораторская речь уподобляется пению и стиху. В первом случае имеется в виду чисто музыкальный, внешний, мелодический момент, что и находит выражение в наиболее экспрессивном, связанном, как известно, с непосредственным чувственным восприятием эпитетом dulcis, примененным теперь к напевности ритмически организованной речи (moderata oratio). Во втором (carmen) подчеркивается момент сознательной и искусной организации речи – artificiosa verbum conclusio, что влечет за собой более рациональный эпитет – aptus, характеризующий структуру объекта и апеллирующий не только к эмоциям, но и к интеллекту.

Второй ряд сравнений приводит нас, по существу, к столкновению «ars – natura»: актер «воспроизводит правду», подражает ей, оратор же берет на себя защиту подлинной правды. И действия актера (подражание правде), и действия оратора (защита подлинной правды) оцениваются словом iucundus, рассматриваясь тем самым в одной плоскости (в данном случае, учитывая все лексическое окружение, в *эстетической*), спор же «ars – natura» решается в пользу последней. Следующие за этим эпитеты subtilitas, admirabilius также носят оценочный (по существу, эстетический) характер.

С той же dicendi facultas (как явствует из контекста, не «способности к речи», а самой речи) в первой книге «De oratore» (I.218.5) говорится, что она не должна быть «тощей и неодетой», но «должна быть приятно разубрана и расцвечена самыми разнообразными предметами» (aspersa atque distincta

multorum rerum iucunda quadam varietate; пер. Ф. А. Петровского). Фактически определение iucundus относится в этом тексте не только к своему формальному определяемому varietas, но к самой ораторской речи, которая становится эстетически ценной благодаря «пестроте и разнообразию различных вещей» (собственных приемов, риторических фигур и т. п.).

Как высшую познавательную и эстетическую ценность рассматривает Цицерон ораторскую речь в другом месте первой книги «Об ораторе»: «Есть ли что-либо столь же приятное и для познания, и для слуха (auditu), чем речь, отделанная и украшенная мудрыми мыслями и вескими словами (quid tam iucundum...)?» (De or. I.31.4). Iucundus, определяющий oratio, благодаря лимитационному употреблению cognitu, auditu раскрывает две стороны своего значения (как в тексте De or. II.33.8), обращенную к содержанию (cognitu – приятно потому, что дает знания, т. е. интересно) и обращенную к форме (auditu – приятно потому, что красиво, звучно и т. п.). Условием признания за речью такой оценки является с точки зрения формы «отделанность», «отполированность» (polita), а с точки зрения содержания – «мудрость мысли» (sapientes sententiae), «важные слова» (gravia verba). Что касается последних, то «важный», «серьезный» включает не только чисто содержательный момент, но и момент выражения «достойно выраженный», т. е. приближающийся к эстетическому, усиленный некоторой игрой значений ornatus, в котором наряду с чисто функциональным – «снабженность чем-то», пробивается и дополнительный оценочный (эстетический) компонент «украшений», становящийся еще заметнее в соседстве с polita. Единство содержательного и формального (эстетического) компонентов лексемы раскрывается во всей симметричной структуре фразы, основу которой составляет лимитационная группа cognitu, auditu:

oratio *iucunda*	I ряд (содержания) cognitu; sententiis sapientibus *ornata*
	II ряд (выражения) auditu; gravibus verbis *polita*

При этом и в ornata I ряда, и в gravia verba II ряда совмещаются как содержательный, так и эстетический компоненты.

Та же мысль о единстве эмоционального и интеллектуального компонентов, составляющих семантическую структуру iucundus, реализующуюся в оценке ораторской речи, выражена более кратко в другом месте трактата, где оратором называется тот, «кто умеет употреблять слова, приятные (iucunda) для слуха, и высказывать доказательные мысли» (De or. I.213.5). Эта же формула повторяется и во второй книге: iucundiorem et probabiliorem oratorem (De or. 153.5). Подлинный оратор способен говорить о своем предмете cum gravitate et iucunditate (De or. I.57.5). Этот комплекс gravitas et iucunditas противополагается «тощей и бескровной речи», и, поскольку объект речи (ее содержание) оговаривается особо (eadem), в данном случае gravitas может быть отнесена к плану *выражения* наравне с iucunditas, характеризуя вместе с ней *форму* речи и в то же время несколько *ограничивая* и *сужая* семантическое содержание лексемы в данной контекстной ситуации, оставляя за собой преимущественную связь с содержанием и предоставляя iucunditas оценку скорее чисто звуковой, ритмической стороны речи. Этот же комплекс gravitas et iucunditas vocum в тексте Or. 182.2 существует как выражение двух аспектов эстетической характеристики слова. В том же тексте iucundus оценивает речь прежде всего с внешне-акустической стороны quod voce iucundum est, как и в тексте De or. I.213.

С чисто акустической стороны оценивает iucundus ритмическую ораторскую речь и ее части – клаузулы (Or. 215.5; 177.7). Исократ обращается к ритмизованной речи iucunditatis causa (Or. 174.2), ибо ритм способен доставить слушателям удовольствие. Таким образом, эстетическое воздействие речи (iucunditas) в данных текстах представляется как результат ритмически организованной речи (numerosa oratio). Именно ритм создает красоту речи: «Есть два средства придать речи красоту: приятность слов и приятность ритмов (verborum numerorumque iucunditas). Слова как будто представляют материал, а ритм – его отделку» (Or. 185.2; пер. М. Л. Гаспарова).

Iucunditas присуща как *словам* (т. е. комплексу значения и звуковой оболочки), так и *ритму* (чисто звуковой стороне речи), при этом основная эстетическая нагрузка ложится именно на него, поскольку он рассматривается как отделка (expolitio) речи. Но слушатели обращают внимание прежде всего на слова и мысли, считая их интересными (iucunda) для себя» (Or. 197.7), не замечая ритма. В этом тексте iucundus, определяя verba et sententiae, выдвигает на первый план семантический компонент «интересности», но вся структура фразы относит его, по существу, и к numerus, о котором идет речь в этом тексте, тем самым вводя в действие смысловой компонент «приятности», связанный в данном случае уже с характеристикой собственно звуковой формы речи.

В рассмотренном выше тексте различные объекты заставляли проявляться различные стороны семантического содержания (ментальный и чувственный) лексемы. Оценка, даваемая речи лексемой iucundus, может быть и более сложной. Речь Катулла называется iucunda, и это ее качество проявляется в аудиальном восприятии: «...доводилось ли *ушам нашим слышать* что-нибудь приятнее» (iucundius – De or. III.29.2). Но теперь эта «приятность» отнюдь не сводится к внешне-акустическим характеристикам, а раскрывается через качества pura et gravis, из которых первое предполагает «истинно латинскую речь» (latine loqui в фонетическом, интонационном, лексическом планах), а второе складывается из «исключительного достоинства» (singularis dignitas – качества этико-эстетические; см. главу I), сочетающегося с humanitas ac lepos – качествами интеллектуально-эстетическими, характеризующими как личность говорящего, так и его речь (ср., например, lepos как обязательное качество идеального оратора – Dec. I.213.5), и тем самым само выступающее как эстетическая характеристика объекта.

Таким образом, семантический объем iucundus в данном случае оказывается достаточно широким, включая наряду с широко понимаемыми аудиальными характеристиками речи также и эстетико-содержательные (этические, интеллектуальные и эстетические оценки), и iucundus, в сущности, определяет уже не какое-то конкретное качество речи, а способность

всех этих конкретных качеств, суммируемых в нем, производить эстетически приятное воздействие на объект восприятия, т. е. выступает в качестве *эстетически-оценочного* слова. Таково же содержание этого термина и в тексте, говорящем об обусловленности возникновения метафоры необходимостью (De or. III.153.3) и о ее эстетической природе, которая, в свою очередь, предопределила ее дальнейшее развитие и существование. Эта эстетическая природа метафоры получает наименование iucunditas delectatioque (там же; ср.: Or. 92.8; 211.7).

Выше уже говорилось об употреблении iucundus для характеристики человеческой личности. В то же время мы уже отмечали, говоря о лексеме suavis, трудность проведения четкой границы между характеристикой личности и ее речи, стиля как проекции личности. В такого рода контекстных ситуациях iucunditas оказывается в тесной связи с понятием humanitas. Так, iucunditas как личностная черта Красса рассматривается как производная его humanitas, соединяясь, в свою очередь, с lepos (De or. I.27). Та же связь в другом месте, где sermo facetus – остроумная речь, беседа характеризуется как iucundus (в позиции суперлатива) и более всего свойственная «человечности» (quid magis proprium himanitatis – De or. I.32.8). Беседа, речь имеет в тексте еще одно качество – nulla in re rudis. Это второе качество касается как содержания, так и формы этой беседы (речи), ее выражения в слове (весь текст трактует о речи, благодаря которой человек превосходит остальные живые существа), и humanitas данного отрывка может иметь свое первоначальное значение: «свойственное, присущее человеку». Как «специфически человеческое» понимается речь, отличающаяся а) остроумием, веселостью; б) всесторонней отделкой и «осведомленностью». Эта же речь называется и «самой приятной». Иными словами, если humanitas дает ей оценку со стороны содержательной, то iucundus с его семантическими компонентами «веселости» и «приятности» оценивает ее как в общегедонистическом, так и в собственно эстетическом планах.

В первом же тексте (De or. I.27), где humanitas имеет более узкое и позднее значение «духовной культуры», «образованно-

сти и воспитанности», iucunditas, подкрепляемая примыкающей к ней лексемой lepos, выступает как обозначение определенной черты интеллектуально-психологического склада личности – «веселость», «остроумие», «приятность в общении».

Связь идей «веселости» и «приятного эстетического впечатления» подтверждает и текст De or. II.223.5, где iucundus оценивает остроумие, шутку.

Но, пожалуй, наиболее полное и глубокое понимание эстетического содержания рассматриваемой лексемы в текстах Цицерона демонстрирует текст из третьей книги «De oratore», где раскрывается сущность двух важнейших, кардинальнейших требований, предъявляемых оратору, требований, венчающих искусство красноречия, – говорить ornate и apte. Осуществление этих требований необходимо для того, чтобы речь «была как можно приятнее (iucundius) и как можно сильнее действовала на чувства слушателей» (De or. III.91). Внешняя выразительность, «украшенность» всем арсеналом средств риторической науки (ornate dicere) и «подобание», «соответственность» – т. е. соответствие обстоятельствам и стоящим перед речью целям, внутренняя организованность, логичность материала, соответствующий набор выразительных средств (apte dicere) – все это и делает речь «приятной» (iucunda), т. е. художественно совершенной, что и определяет ее воздействие на эмоциональную сферу человека.

Иными словами, iucundus в данной контекстной ситуации становится термином, выражающим *наивысшую* степень *эстетической* оценки применительно к *словесному* произведению.

Анализ функционирования iucundus в текстах Цицерона свидетельствует о его частичном совпадении с семантическими сферами suavis и dulcis, связанном с их общей отнесенностью к группе гедонистической лексики и выражению идеи удовольствия в различных ее проявлениях. При этом отмечалось, что качество, выражаемое данной лексемой (прежде всего в ее гедонистическом употреблении), рассматривается как результат субъективной оценки говорящего. Основной сферой оценки, осуществляемой рассматриваемой лексемой, является не предметный мир, а мир челове-

ческих *отношений*. Как и в двух рассмотренных ранее лексемах, эстетические потенции iucundus реализуются прежде всего применительно к оценке *словесного* произведения. Но именно здесь раскрывается и существенное отличие iucundus от этих лексем, заключающееся в наличии в его семантической структуре помимо чисто сенсорных, еще и интеллектуально-чувственных компонентов, выражающихся, в частности, в идее «веселости», «шутки», предопределяющих возможность оценки данной лексемой не только формально-выразительных, но и собственно содержательных моментов текста – «интересность», «занимательность».

LEPOS и FESTIVITAS
в системе эстетической лексики Цицерона

В отдельную группу мы выделяем слова, генетически принадлежащие к гедонистической лексике, но в семантической структуре которых значительное место занимает компонент «веселости», «остроумия» и т. п., оказывающий определенное влияние на их функционирование в пределах эстетической лексики. К этой группе мы относим лексемы lepos – lepidus и festivus – festivitas. Идея «шутки», «остроумия», «веселости» была в той или иной степени присуща и рассмотренным выше лексемам iucundus и venustas, свидетельствуя о наличие устойчивых связей между семантическими полями «веселья», «удовольствия» и в конечном счете «красоты» (эстетической оценочной лексики), однако в лексемах, о которых речь будет идти в настоящей главе, эти идеи представляют не просто коннотационный элемент, а в ряде употреблений выступают в качестве семантической доминанты, чем и определяется их отдельное рассмотрение.

Если группа lepos обычно рассматривается как принадлежащая к эстетически-оценочной лексике (О. Духачек относит ее к центру понятийного поля красоты[276], предполагая даже, что эта лексема является не только исконной в этом поле, но и чуть ли не древнейшей в нем, становящейся во времена классики архаизмом и вытесняемой со своих позиций pulchritudo[277]), то группа festivus вообще никогда не рассматривалась с точки зре-

ния ее эстетического потенциала, оставаясь лишь достоянием лексики «веселости» или «удовольствия»[278].

Обе лексические группы принадлежат к сравнительно малоупотребительным в латинском языке, практически не встречаясь в текстах классического периода. Тексты Цицерона представляют основной материал для анализа функционирования обеих лексических групп, не являясь в то же время первыми свидетельствами их употребления. Мы считали в данном случае необходимым привлечь к анализу и те сравнительно немногочисленные свидетельства, которые предоставляют нам авторы доцицероновской эпохи и ее современники, что дает возможность яснее представить тот семантический фон, на котором развертывается цицероновское употребление данных лексем.

Группа lepos – lepidus – lepide представлена в языке различных авторов крайне неравномерно. Наибольшее число употреблений (190) дают тексты Плавта. А у писателей классического периода она либо вовсе не встречается (Вергилий), либо засвидетельствована единичными случаями (Гораций – 1 lepos, 1 lepidus). Очень редки лексемы этой группы и у писателей императорской эпохи.

Цицерон представляет заметное исключение: в его текстах эти лексемы встречаются 56 раз (44 lepos, 6 lepidus, 6 lepide). Кроме него лексемы этой группы встречаются у его современников – Лукреция (12) и Катулла (11), из поздних авторов – у Апулея (19), А. Геллия.

Происхождение данной корневой группы в латинском языке остается неясным, и ее лексемы не имеют соответствий в других языках[279]. Наиболее убедительной представляется этимология Э. Бенвениста[280], возводящего lepos к корню *wel- со значением «желания» (ср. velle). С помощью суффикса -p этот корень образует две основы:

1) *wel-p (ср. греч (ϝ)elpō, (ϝ)elpis), чередующееся с *wol-p, откуда латинское volup(e), затем voluptas;

2) *wle-p, редуцированная форма которой lep- послужила базой для образования lepos, lepidus (аналогично nitidus от nitor, tepidus от tepor).

Эта этимология, связывающая генетически lepos с центральной лексемой гедонистической группы voluptas, не противоречит и семантической характеристике данной группы, в основе которой (практически во всех употреблениях) лежит идея «удовольствия»[281].

При относительной редкости и неравномерности ее распространения у разных авторов обращает на себя внимание и неравномерность употребления внутри самой группы на уровне частей речи:

	lepos	lepidos	lepide
Плавт	6	92	92
Лукреций	11	1	–
Цицерон	44	6	6
Катулл	4	7+2	1
Апулей	13	4	2

Из этой таблицы видно, что авторы, сравнительно широко употреблявшие существительное lepos, почти не употребляют прилагательное lepidus, и наоборот (Плавт, отчасти Катулл). Материал слишком недостаточен для каких-то далеко идущих выводов, однако все же напрашивается предположение об известном различии стилистико-семантических сфер существительного и прилагательного: lepos в большинстве случаев представляется понятием более отвлеченным, принадлежащим в первую очередь к литературной речи (тексты философского и специально-риторического характера)[282], тогда как lepidus выступает в контексте разговорной речи. То же относится и к наречию lepide.

Таким образом, нам предстоит рассматривать в основном лексему lepos, поскольку две другие лексемы группы практически отсутствуют в текстах Цицерона. Однако для понимания ее семантики важно также познакомиться и с семантическим кругом lepidus – lepide, хотя здесь необходимо учитывать отмеченную выше стилистическую (а тем самым и семантическую)

дифференциацию этих лексем на уровнях существительного и прилагательного.

Чаще всего лексемы lepidus – lepide употребляются у Плавта (по 92 раза). Именно в этих текстах наиболее полно проявляются особенности семантики данных лексем. Lepidus у Плавта определяет практически неограниченный круг объектов, одушевленных и неодушевленных, абстрактных и конкретно-материальных. На 92 употребления приходится 41 определяемое. В качестве определяемого lepidus выступают: божество[283], человек (и его репутация)[284], место[285], время[286], действие и его результат[287], объекты, вызывающие активные сенсорные ощущения[288], внешний облик зрительно воспринимаемых объектов[289], а также конкретные объекты[290]; нравственный склад личности[291].

Можно заметить преобладание одушевленных объектов[292], характеризуемых как со стороны внешности (преимущественно женщины), так и их душевно-психологического склада. Во всех употреблениях лексемы достаточно отчетливо просматривается идея «удовольствия», приятного впечатления, производимого определяемым объектом. Эта идея сравнительно слабо конкретизирована. На этой нивелировке семантики несомненно сказывается влияние ситуации разговорной речи с ее свободным семантическим движением, допускающим определение одной и той же лексемой самых разнообразных объектов и их свойств. В подобных контекстных ситуациях lepidus принадлежит, по существу, к *гедонистической* лексике. Однако в том случае, когда lepidus определяет какой-то *материально-телесный* объект (в том числе и человека, оцениваемого со стороны его внешних качеств (mulier, femina, puer) и, в частности, при указании на его облик (forma, species) лексема приобретает *эстетическое* содержание (mulier lepida (forma lepida) – красивая женщина).

Столь же широкие и свободные контекстные связи характерны и для наречия lepide: в 92 случаях употребления этого наречия в комедиях Плавта оно служит определением для 60 глаголов. Но и в этом множестве можно выделить некоторые преобладающие тематические группы. Таковы, например, гла-

голы со значением «принимать» (гостя), где присутствует сема «любезности», «дружелюбия», «роскоши, богатства», «радости» и т. п., т. е. прежде всего связанные с идеей удовольствия, доставляемого таким обращением. Глагол accipere в названном значении встречается семь раз – самая большая употребительность среди всех 60 глаголов, определяемых этим наречием, большинство из которых употребляется по одному разу.

Значительную группу составляют результативные глаголы со значением «завершения действия»[293], где lepide характеризует удачность, умелость исполнения действия, выражая чувство удовольствия от его удачного результата и обладая наиболее общей оценочной семантикой – «хорошо», «удачно», т. е. фактически синонимично bene – optime (ср.: Poen. 666).

К этому употреблению lepide, носящему наиболее обобщенный характер, можно присоединить и более конкретные употребления, среди которых выделяется группа глаголов со значением «обмануть», «провести», «перехитрить»[294]; здесь помимо семы «удачности» (общего одобрения) присутствует и оценка «мастерства» такого розыгрыша или обмана, восхищения этим умением (а не просто удовольствия), и такая оценка, даваемая своего рода «искусству», приближается к *эстетическому* суждению[295].

Lepide у Плавта обнаруживает и определенную связь с ментальным содержанием в контекстах оценки остроумия, выдумки и т. п. – может выступать в одном ряду и однородно с facete, laute Mil. 1161, 907; astute Most. 271; определяя in mentem venire, ludificare и т. д. Отчетлива и связь с глаголами речи[296], где, однако, на первом плане также находится идея «удачности», «точного попадания», иногда «остроумия», т. е. значение лексемы здесь, по существу, ближе к ментальной, чем к эстетической области. Специфически эстетическое содержание приобретает lepide лишь при определении глаголов «эстетической» семантики типа ornare[297] (где lepide выступает вместе с concinne, также употребленном в эстетическом значении).

На фоне употребления прилагательного и наречия разительно выделяется редкость употребления существительного: lepos встречается всего шесть раз (при этом два раза в обращении: mi lepos!) (Cas. 235, Cur. 98a).

Lepos присущ *сообщению*[298], *любви*[299], *комедии*[300]. В первом случае lepos несет в себе идею «приятности», «удовлетворения», связанную не столько с формой рассказа (сообщения), сколько с его содержанием («приятно узнать, что...») и, таким образом, принадлежит семантическому полю «удовольствия». Объединение с sal во втором случае (Cas. 218) делает пример более сложным: расширенный контекст (Cas. 217–223) – прославление любви стариком Лисидамом и сравнение ее с «самыми прекрасными вещами» (217) и кулинарными приправами – оставляет lepos в семантическом круге «удовольствия», придавая sal оттенок его первоначального, буквального значения – «соль, острота» и вычленяя в ней сему «острого удовольствия», т. е. сближая скорее с гедонистической[301], а не ментальной («юмор», «острота», «шутка») семантической сферой, к которой эта лексема чаще всего принадлежит в ее метафорическом употреблении. Интересно употребление прилагательного lepidus в следующих за этими строках: любовь превращает горькую желчь в мед, а человека из мрачного (tristis) делает мягким (lenis) и приятным (lepidus). В данной контекстной ситуации lepidus (как и lenis) характеризует черты человека, воспринимаемые окружающими, его проявление по отношению к ним. Несколькими строками ниже lepidus определяет unguentum («благовоние») в том же значении характеристики объекта как приятного для окружающих. Текст из пролога к «Азинарии» значительно расширяет семантику lepos, выводя его за пределы чисто гедонистического употребления. Вместе с ludus (в рукописи чтение lepidus lusus) lepos приобретает определенное эстетическое значение, характеризуя комедию как способную доставить зрителям удовольствие своим весельем, занимательностью (lusus), умелым, забавным, приятным представлением (lepos), и это удовольствие может рассматриваться как эстетическое; при этом lepos в данном случае относится не столько к стилистической, сколько к содержательной стороне комедии.

Таким образом, мы обнаруживаем у Плавта уже сложившимся семантический круг данной лексической группы с преобладанием (на всех уровнях) еще слабо дифференцированного общего значения одобрения оцениваемого объекта или дей-

ствия как доставляющих удовольствие, приятных для субъекта оценки.

У Плавта же намечаются и некоторые важнейшие сферы функционирования лексем рассматриваемой группы: оценка человека, его личности (психологический склад), связь с выражением идеи остроумия и веселья, способность к эстетической оценке применительно к материально-телесным объектам или действию, связанному с формированием такого рода объекта, воспринимаемого как эстетически функциональный.

У современников Цицерона Лукреция и Катулла лексемы рассматриваемой группы встречаются лишь 25 раз (Лукреций – 12, Катулл – 13). При этом резко сокращается употребление прилагательного у Лукреция, у Катулла наблюдается небольшое преобладание прилагательного, но только в полиметрах и дистихах, в «ученых» стихах ни одна из лексем не встречается.

У обоих авторов встречаются употребления lepos во множественном числе в значении объективно, вне субъекта существующего самостоятельного явления (Лукреций – 3 примера, Катулл – 1)[302]. Перечисляя великих людей, Лукреций называет рядом с поэтами и философами repertores doctrinarum atque leporum (III.1036). Контекст позволяет понимать lepores здесь либо как вообще «приятное» (все, что доставляет удовольствие, в отличие от чисто утилитарного назначения doctrinae), либо как «произведение искусства, художественное творение – статуи, музыка и т. п.; последнее вполне возможно, поскольку в следующих стихах называются поэты (Гомер) и философы (Демокрит, Эпикур), и если рассматривать ст. 1036 как обобщение следующих за ним и конкретизирующих его стихов, то в хиастической структуре получается doctrinae – философские учения, lepores – поэтические произведения, хотя бесспорных аргументов в пользу такого толкования все же нет. Присутствующая здесь сема «удовольствия», «приятности» обнаруживается и в тексте IV.1033: medio de fonte leporum surgit amari aliquid, где она подтверждается антитезой lepores – amarum «приятное» – «неприятное» (горькое): «из самого источника удовольствий возникает что-то горькое». Наконец, то же гедонистическое

содержание присутствует и в тексте III.1066, где лето приносит «плоды и различные удовольствия» (lepores). В lepores этого текста можно предположить возможность эстетического содержания: lepos в антитезе к утилитарному – плоды.

В тексте Катулла (12.8) Азиний Поллион называется puer dissertus leporum ac facetiaram («мальчик, сведущий в удовольствиях и остроумии»). Соединение через ac в единую группу lepores ac facetiae (в функции gen. relationis) выдвигает в lepores наряду с неизменно присутствующей семой «удовольствия» еще и сему «остроумия», «утонченности вкуса»: lepores – «приятная, изящная и остроумная вещь». Эту синтагму можно рассматривать как паратактический вариант lepores facetiaram или lepidae facetiae. Понятию lepores ac facetiae противопоставлена res sordida, invenusta (как salsum и insulsum), что лишний раз подчеркивает идеи «изящества», «остроумия» как целиком в группе, так и в обоих ее членах. Это отчетливое сближение семантики lepos со сферой «забавного», «веселого» проявляется в тексте 16.7, где sal et lepos выступают как принадлежность стихов, оценивая в данной контекстной ситуации *содержание* стихов – игривость, остроумие и т. п. (ср. такое же сочетание у Плавта – Cas. 218). Иными словами, можно говорить о переходе (в сочетаниях lepos с sal, ludus, facetiae) от оценки чисто гедонистической и интеллектуально-гедонистической, которую мы можем рассматривать как определенную ступень эстетического суждения.

Но в аналогичном сочетании lepos facetiaeque (50.7–8) lepos, сохраняя связь с идеей «веселости», «остроумия», характеризует *личность* Лициния Кальва, раскрывающуюся через его остроумие (facetiae), но нетождественную ему, – и это не просто остроумие, юмор, но некое обаяние, прелесть личности, реализующаяся в складе ума и характера, талантливости, изящной веселости и т. п. и таким образом в данной контекстной ситуации эстетическая оценка вновь отступает перед оценкой гедонистической.

В тексте 36.17 прилагательное lepidus определяет «обет», т. е., в сущности, «*мысль*» (non inlepidum neque invenustum): отметим, кстати, синонимию lepidum – venustum. И хотя lepidus

усилен через venustus, однако характеристика эта в зависимости от семантики определяемого становится не только собственно эстетической, но и включает элемент интеллектуальной оценки (остроумие обета), т. е. сближает эти лексемы с семантикой ментальности. Аналогично этому употреблению наречие lepide в том же тексте (36.10): iocose lepide vovere, где семантический компонент «остроумия», «веселья», выявляющийся в lepide данного текста, лексически подчеркнут и подтвержден iocose.

В большинстве употреблений lepos в текстах Лукреция эта лексема обозначает некое качество объекта (присущее или придаваемое ему (ср.: Catul. 16.7), побуждающее к выбору этого объекта. При этом в пяти случаях из семи (IV.9 повторяет I.934) lepos связан со *зрительным* восприятием. Во вступлении к поэме (I.14) lepos воплощает всю красоту и радость наступающей весны, и это ощущение представлено, прежде всего, в зрительных образах яркого солнечного света, голубизны неба и моря, пестрой яркости цветов. В пятой книге lepos принадлежит зрелищу возделанных горных склонов, ухоженных и обработанных садов, усиленных плодами (V.1376)[303]. Речь идет о красоте пейзажа, к восхищению которой присоединяется и некое чувство удовлетворения при виде обработанной, богато плодоносящей земли. В другом месте это красота павлинов, называемая «смеющейся», а их стаи – золотыми[304] (II.502). Гладкая, блестящая поверхность золота и серебра тоже обладает качеством lepos (V.1259)[305], как и освещенный солнцем цветной тент над театром (IV.82)[306].

Во всех рассмотренных случаях достаточно отчетливо вычленяется компонент эстетической оценки, связанной с восприятием *внешней* стороны объекта, иначе говоря, удовольствие, доставляемое созерцанием такого объекта, является уже *эстетическим*.

У Катулла lepos никогда не относится к зрительно воспринимаемому объекту, но lepidus в текстах 6.2; 78.1; 10.3, при всем разговорно-фамильярном, сниженном характере контекста, по сути, содержит эстетическую оценку объекта, воспринимаемого зрительно. В тексте 78.1 эстетический оттенок значения lepidus, отнесенного к coniunx, filius, подчеркивает-

ся параллельным bello puero и bella puella, подобно тому как в 10.3 non inlepidum (scortillum) подчеркивается примыкающим nec invenustum, а в 6.2 inlepidae (deliciae) соединяется с inelegantes, равнозначным invenustum текста 10.3. В тексте 6.2 к понятию красоты присоединяется идея здоровья, вычленяемая из антитезы к nescioquid febriculosi. Эстетический компонент в lepidus указанных текстов появляется из взаимодействия с bellus, venustus, elegans, определяющих здесь внешний облик предмета.

У обоих авторов лексемы данной группы могут относиться и к *речи*, *слову*, в частности к речи поэтической. Во вступлении к поэме Лукреций просит Венеру даровать его словам «вечную прелесть» (lepos – I.28). Трудному, «темному» предмету поэтическая форма придает «мусическую прелесть» musaeo contingens cuncta lepore (I.934, строка повторяется IV.9). Lepos этих текстов несет прежде всего эстетическую нагрузку, выражая понятие художественной формы и эстетических качеств слова и вообще поэтической речи.

Единственный случай употребления прилагательного lepidus также связан у него с характеристикой поэтической речи (в данном случае звуковой ее стороны) (I.643–644)[307]. Lepidus sonus здесь – это не только природное благозвучие, но сознательное придание его слову (на что указывает fucata), художественная отделка стиха. Эстетический характер употребления lepidus в данном случае подчеркивается наречием belle (belle tangere auris).

Эта же лексема определяет слово (стих) и у Катулла. В тексте 6.17: volo te tuos amores ad caelum lepido vocare versu – характеристика, осуществляемая lepidus, может рассматриваться как эстетическая: не снижено, как у Плавта – «милый», «приятный», а «прекрасный», т. е. «художественно совершенный», «эстетически ценный»), т. е. близко к употреблению lepos у Лукреция. Но в стихотворении, открывающем сборник, cui dono lepidum meum libellum (I.1) контекстная ситуация не дает возможности с полной уверенностью говорить об эстетическом характере употребления лексемы, а учитывая диминутив определяемого libellum и nugae как ее содержание, можно предположить несколько

сниженный характер употребления, смыкающийся со свободно-разговорным («милый», «симпатичный» и т. д.)[308].

Таким образом, если у Плавта в целом преобладающим оставалось собственно гедонистическое значение лексем рассматриваемой группы, у Катулла и Лукреция они демонстрируют более широкие семантические возможности, активно сближаясь со сферой эстетических оценок (особенно у Лукреция) и развивая значения, связанные с интеллектуальной деятельностью человека («остроумие»), и проявление его личности; намечается и связь с собственно художественной областью, с оценкой поэтической речи.

Обращаясь к лексической группе lepos – lepidus – lepide, Цицерон не вносит ничего принципиально нового в семантический круг, наметившийся у его предшественников и современников. Однако акценты в употреблении этих лексем оказываются значительно сдвинутыми как в семантической области, так и в самом выборе моделей, ибо у него (как и у Лукреция), бесспорно, преобладает существительное (lepos). В семантическом отношении на первый план отчетливо выдвигается намечавшаяся уже у Плавта и Катулла связь с идеями «остроумия» и «веселья». Только в двух случаях из 44 lepos связан со зрительным восприятием, тогда как у Лукреция преобладает именно эта ситуация. Прежде всего, это известная дефиниция телесной красоты (pulchritudo), производящей на зрителя эстетическое впечатление тем, что «все части сходятся между собой с некой прелестью» (cum quodam lepore – Off. I.98). Семантика lepos в этом тексте достаточно прозрачна – lepos выступает здесь как реализация того эстетического потенциала, который заключен в гармонии частей, воспринимаемой субъектом как источник эстетического наслаждения.

Основой для формирования такого значения остается гедонистическая сема «удовольствия», «приятности», развивающаяся до уровня эстетической оценки. Становится ясным, что lepos в таком понимании не есть сама красота, а ее эмоциональное воздействие на субъект (точнее – способность такого воздействия) и в то же время – его (субъекта) восприятие этого воздействия (= эстетическое наслаждение). В этой позиции le-

pos максимально близок к venustas (см.) с той, пожалуй, разницей, что последняя скорее принадлежит воспринимаемому объекту, тогда как lepos теснее связан с воспринимающим субъектом, хотя это различие не всегда ощущается (см. примеч. 148).

Здесь следует попутно отметить одну любопытную особенность употребления lepos: последний очень часто выступает в соединении с неопределенным местоимением, как в данном тексте: cum quodam lepore (ср. аналогичные сочетания: H. IV. 35.1; A. II.16; De or. I.17; I.159.6; I.213.8; II.98.5; III.67.11; III.181.2), т. е., по-видимому, природа этого понятия, его точные семантические границы и содержание остаются не вполне ясными для самих говорящих, скорее ощущающих, чувствующих его значение, чем отчетливо его осознающих.

Второй случай отнесенности к зрительно воспринимаемому объекту находим в письмах (Fem. VII.I.2), где lepos определяет зрелище (ludi). Рассказывая об играх, которые он посчитал неудачными, Цицерон говорит, что в них «не было даже той доли занимательности (lepos), которая бывает обычно даже в посредственных играх»[309], поясняя, что пышность и богатство их уничтожили всякое удовольствие (веселье) (hilaritas) и потому не могли доставить никакого наслаждения (delectatio) человеку образованному (homo politus), хотя и вызвали восхищение толпы.

В рамках этой контекстной ситуации lepos может рассматриваться как то, что доставляет удовольствие (delectatio), отличное от admiratio popularis именно тем, что оно доступно лишь образованному, обладающему вкусом, способному к такой оценке человеку, для которого важны не грубая пышность и богатство, а нечто иное, что создает у него «веселое удовольствие»» (hilaritas) и что в данной контекстной ситуации, принимая во внимание культурно-образовательный уровень оценивающего субъекта (politus), может быть квалифицировано как *эстетическое* качество объекта.

Игры могут доставить удовольствие, если они обладают качеством, называемым lepos. Хорошие игры обладают им в полном объеме (поэтому они и «хорошие»), посредственные –

лишь частично (id leporis), а эти, «плохие», вообще лишены его, хотя они и могут вызвать восхищение толпы, необразованной и неспособной понимать подлинную (здесь – эстетическую) ценность, т. е. lepos здесь фактически совпадает с lepos рассмотренного выше текста «Об обязанностях». Таким образом, мы можем отметить, что в контекстных ситуациях, где lepos принадлежит зрительно воспринимаемому объекту, эта лексема включается в эстетический ряд, обозначая эстетический потенциал объекта, его способность к эстетическому воздействию, т. е. эстетическую природу объекта.

Точно так же проявляет себя lepos и в характеристике тех или иных формально-выразительных средств ораторской речи. Так, в некоторых риторических фигурах (совпадение падежных окончаний, совпадение окончаний слов, игра слов парономасия) заключается «прелесть и изящество» (lepos et festivitas – H. IV.32.10–11), повторение начального слова во фразе «обладает какой-то прелестью» (quidam lepos – H. IV.35.1), повторение слов «обладает в некоторых случаях мощью» (vis), в других – прелестью (lepos) (De or. III.206.4). Lepos может быть присущ «выбору и расположению слов» (...leporis causa – B. 140.10), при этом формально-выразительное значение lepos в данном случае подчеркнуто антитезой с pondus «вес», «значительность». Присущ lepos и всему pictum et expolitum genus orationis (так называемому «умеренному роду» красноречия), который характеризуется тем, что в нем «собираются все красоты сентенций» (omnes... lepores – Or. 96.3). Lepores (ср. у Катулла и Лукреция) в силу семантики «слов и сентенций» преобразует свое исконно гедонистическое значение в эстетическое («красоты»), и этот аспект семантики лексемы подчеркнут характеристикой самого рода красноречия: expolitum – отделанный, pictum – пестрый, разукрашенный. Во всех этих случаях lepos характеризует определенные качества речи, способные производить на слушателя приятное впечатление от самого склада речи, ее звучания, ритма и т. п., которое мы можем рассматривать как эстетическое (ср. общие характеристики речи (Off. I.134), где lepos присущ sermo; ср. также lepos dicendi –A. II.16; De or. II.98.5; III.67.11).

Этот момент, связанный и обусловленный не столько содержательной, сколько формально-выразительной стороной речи, находит подтверждение в отнесенности lepos к actio, произнесению речи. В тексте из «Брута»: in hac (oratione) enim satis erat copiae, in illa (actione) autem leporis parum (B. 240.9) – противопоставлены oratio и actio, copia и lepos. Последний закреплен за характеристикой исполнительской, внешне выразительной (актерской) стороны выступления оратора, тогда как copia характеризует речь с *содержательной* точки зрения. В этом противопоставлении эстетическое содержание lepos раскрывается достаточно убедительно.

Таково же содержание этой лексемы в тексте, предшествующем рассмотренному (B. 238.6), где lepos характеризует голос, жесты и все исполнение (actio), т. е. внешне-выразительную, актерскую сторону речи. В трактате «Об ораторе» обладание голосом и приятным исполнением (voce et actione et lepore) рассматривается как обязательное качество оратора (De or. I.213.8). В этой паратактической синтагме lepos, очевидно, относится и к vox и к actio, и единственный среди названных лексем обладающий способностью к оценке вещи, вновь выдвигает на первый план эстетический аспект своей семантики.

В этом отношении интересен текст из трактата «Об ораторе», говорящий, что на устах Перикла, по словам древних комиков, «жила прелесть» (leporem habitare – De or. III.138.7). В «Бруте» та же самая цитата (на этот раз с ссылкой на Евполида) переведена иначе, и говорится уже не о lepos, а о Сваде, богине убеждения (Suada Peitō B. 59). Такая замена лексемы lepos именем богини Свады (воплощавшей всю силу красноречия – Suadae medullae) или, точнее, возможность перевода Peitō лексемой lepos (трактат «Об ораторе» написан в 55 г., «Брут» в 46 г. до н. э.) свидетельствует о том, что в семантике последней очень силен оценочный момент, который может рассматриваться как эстетический, в данном случае распространяющийся как на форму, так и на содержание, т. е. lepos может выступать как термин эстетического суждения, очень близкий по своему содержанию к эстетически-оценочному lepos у Лукреция. Частично близок к этому пониманию lepos в тексте трактата

«О государстве», где говорится, что Платон обладает «сократической прелестью и тонкостью речи» (lepos... – Socraticus R.P. I.16). Соединение lepos и subtilitas через -que свидетельствует об их тесном единстве, относя тем самым lepos Socraticus к речи (sermo), где он не только достояние ее содержательной стороны, но и внешне-выразительной и, следовательно, выступает в эстетически-оценочной функции.

Большинство употреблений lepos у Цицерона так или иначе связано с человеком и его речью, рассматриваемой прежде всего как средство характеристики личности, ее интеллектуально-психологического склада, и значительно реже как самостоятельный объект оценки (последние случаи были только что рассмотрены выше). Характеристики личности без специального указания на речь встречаются достаточно редко (N.D. II.74; Prov.cons. 29); в последнем тексте[311] humanitas et lepos обозначают черты национального (не индивидуального) характера галлов, которые могли бы удержать Цезаря в Галлии; им противопоставлен реальный характер галлов immanitas. Humanitas et lepos в данном случае могут обозначать культуру, и, что важно для понимания lepos, в нем можно видеть значение «привлекательности», «приветливости», «добродушия» (Fam. VII.I.5; Att. IV.15.2). В этих случаях отмечается наличие (или отсутствие) у человека некоего притягательного качества, называемого lepos, семантика которого целиком связана с гедонистической сферой («приятность в общении», ср. lepidus у Плавта, lepos у Катулла), однако при этом включающая оценку интеллектуально-духовных качеств человека. Практически же явно преобладает (36 случаев) характеристика личности, осуществляемая через характеристику речи и неразрывно с ней слитая.

Наиболее значительное место принадлежит здесь группе текстов (16), где lepos объединяется со словами, выражающими идею «остроумия», «веселости», «шутки» (facetiae, sal, iocari)[312]. Чаще других с термином lepos оказывается связан термин facetiae (facetum)[313] – девять примеров. Lepos quidam et facetiae – обязательный элемент образцовой речи (De or. I.17.8), где они объединяются с качествами subtilitas, venustas, urbanitas. Оратор (Сцевола) привлекает на свою сторону присяжных sale...

et lepore et politissimus facetiis (De or. I.243.3). Красс побеждает Брута hoc lepore atque his facetiis (De or. II.225.1), и вообще, в судебном процессе можно многого добиться lepore et facetiis (De or. II.219.2). Такое объединение в устойчивую группу лексем lepos et facetiae, являющееся, возможно, даже не столько индивидуально-авторским, сколько общеязыковым употреблением (ср. Катулл), должно свидетельствовать об их семантической близости в силу известного принципа компонентного анализа, согласно которому если два слова регулярно встречаются вместе, то хотя бы один из семантических компонентов одного слова окажется компонентом другого[314].

Постоянное участие лексемы lepos в сочетаниях со словами, имеющими значение «остроумия», «шутки», говорит о наличии в самом lepos этого семантического компонента, в ряде случаев становящегося преобладающим, что иногда приводит к пониманию этой лексемы как номинации юмора вообще[315]. Такая семантика lepos хорошо видна в тексте из «De oratore», где речь идет о различии между смешным, заключающимся в словах, и смешным, заключающимся в самой ситуации: «...ибо то, что остается смешным (facetum), какими бы словами об этом ни сказать, заключается в самом предмете, если же с изменением слов теряется острота (sal), то вся прелесть (остроумие? lepos) заключается в словах» (De or. II.252.10). В этом тексте sal и lepos практически синонимичны, facetum – «остроумие», «комическое», но sal – сущность и квинтэссенция комического («соль» в русском употреблении не абсолютно синонимична «шутке», «смешному»), и lepos, находящийся в этом тексте в аналогичной позиции, также не абсолютно совмещается с facetum, но, включая в себя целиком объем понятия sal («соль», сущность смешного), содержит, кроме того, момент *оценки* этого «смешного», идущий от семы «приятности», «удовольствия», и эта оценка может рассматриваться как эстетическая.

В очень близких семантических позициях находятся lepos, sal (sales), facetiae, festivitas в известном письме Цицерона к Л. Папирию Пету (Fam. IX.15.2.8.13), рассматривающемся нами в связи с анализом семантики лексемы festivitas. Модель sales (мн. ч.) семантически отлична от sal. Множественное чис-

ло придает значение обобщения, это «шутки», «остроты» как своеобразный жанр и veteres atque urbani sales – старинные, исконно римские шутки (urbanus здесь употреблен оценочно) включают в себя (с учетом определений) еще и указание на *стиль* (veteres, urbani). Употребление facetiae абсолютно синонимично sales. Забвение этого жанра, этого стиля, нашествие иностранного элемента привело к полному исчезновению старинного lepos'а, и только сам Папирий Пет являет собой образ исконного древнего юмора (остроумия – festivitas). Если sales и facetiae данного текста суть прежде всего номинация жанра в его стилистическом своеобразии (древний, исконно римский), то lepos и практически синонимичная с ним festivitas выступают здесь как художественная реализация этого социокультурного (исторически, национально, жанрово детерминированного) феномена и, сохраняя содержательный аспект («юмор», «остроумие») значения лексемы sales, facetiae, несут в себе и *оценочный* («приятный», «доставляющий удовольствие»), т. е. lepos и festivitas означают ту манеру, стиль шутки, остроумия, в которой соединяются и определенный тип мышления, определенные представления о смешном, и в то же время – манера говорить, выбирать и произносить слова так, как это делали в старину, и vetus lepos, таким образом, не просто «старинный юмор», но юмор приятный, доставляющий удовольствие, радость, в отличие от facetum, facetiae, характеризующий собственно содержательный момент, безо всякой оценки – т. е. «остроумие».

В том же смысле «юмора» употребляется lepos и во второй книге «Об ораторе», где речь идет о двух родах этого качества (De or. II.220.8). То, что lepos употреблен именно в смысле «юмора», подтверждается другим текстом из той же книги, где речь идет о том же самом предмете, но называются «два рода смешного» (ridicula – De or. II.243.1, ср.: duo genera facetiaram – De or. II.240.1), а первый род, названный в одном случае perpetuitas sermonis, называется теперь perpetuae facetiae (ср. perpetua festivitas, De or. II.219.3), т. е. в данном случае lepos оказывается практически полным синонимом ridiculum и facetiae. Занимая среднее место между sal и facetiae в тексте De or. I.243.3, lepos в

этом ряду семантически однородных членов и сам должен обладать аналогичной семантикой.

Но объединение с лексемами, выражающими идею «остроумия» и «шутки», необязательно меняет семантику самого lepos. Можно говорить о том, что в такой группе (lepos et facetiae) имеет место паратактическая конструкция семантически неоднородных членов, в которой lepos дает *оценку* этим «шуткам» и «остроумию», характеризуя их как «приятные», «изящные» и пр. Более того, в нескольких случаях мы встречаем уже не паратактическое, а гипотактическое сочетание данных лексем lepos facetiaram (De or. I.159.6; B. 143.8). Но невозможно представить обратного сочетания. Следовательно, lepos и facetiae при всей близости их значений, наблюдаемой в ряде случаев, по существу, неоднородны: facetiae могут обладать качеством lepos, но не наоборот. Иначе говоря, lepos, в отличие от facetiae, может обладать оценочным значением, facetiae же – только предметным. Если facetiae – «шутки», «остроумие», то lepos не столько само остроумие (хотя иногда он вплотную подходит к этому значению), сколько его оценка – «приятность», «изящество» (шутки), т. е. при дальнейшей подстановке – «приятное, изящное остроумие» и т. п., т. е. эстетическая оценка. Что и требовалось доказать.

Взаимодействие и связь семантических компонентов «веселости» и «шутки», с одной стороны, и «приятности», с другой, проявляется и в соединении лексем lepos и iocari. Так, советуя в зависимости от предмета речи избирать соответствующий стиль, Цицерон предлагает, говоря о вещах серьезных (seriae res), прибегать к строгому стилю (severitas), о шутливых же (res iocosae) – к тому, что он называет lepos (Off. I.134). Противопоставление severitas – lepos – это противопоставление стилистического плана, противопоставление манеры (стиля) речи – серьезной строгости и (по оппозиции понятий, вытекающей из оппозиции res seriae – res iocosae) приятной, легкой веселости. В этой оппозиции достаточно определенно включается основной семантический компонент в lepos, в данном употреблении – компонент «веселости», а не просто «приятности», «изящества», хотя этот последний отнюдь не исключается

Второй пример, где lepos связан с глаголом iocari, дает текст (De or. I.27.5), в котором производится характеристика Красса: «в этом человеке было столько приветливости (iucunditas) и столько прелести в его шутках (lepos)». Здесь lepos находится в синонимической позиции с iucunditas. Их объединяет как сема «приятности», так и сема «веселости», присущие обеим лексемам, и противопоставление их по отнесенности к оцениваемому объекту носит скорее стилистический, чем семантический характер. Iucunditas характеризует здесь интеллектуально-психологический склад личности и характер ее поведения. Эта функция достаточно знакома и лексеме lepos, и потому вполне возможна подстановка lepos in homine без какой-либо ощутимой (по крайней мере, современным читателям) разницы в значении (ср.: R.P. II.1; Fam. VII.1). Lepos оценивает остроумие, шутки Красса, характер его юмора, но не равен им, ибо, как в ряде рассмотренных выше случаев, включает помимо семы «веселости» еще и оценочный момент «приятности» и т. п., тем самым соприкасаясь с эстетической сферой значений. И в этом случае не исключена принципиальная возможность подстановки: iucunditas in iocando, т. е. возможна взаимозаменяемость этих лексем. В то же время обе они противопоставлены trisitia sermonis, и эта оппозиция подчеркивает еще раз в первых двух лексемах идею «веселости», «радостности».

Помимо слов, выражающих идею «веселости» и «шутки», постоянными спутниками lepos оказываются suavitas, urbanitas, humanitas – понятия, связанные с оценками как собственно гедонистической (suavitas), так и социокультурной (urbanitas, humanitas), носящими неизменно позитивный характер. В оценке ораторского мастерства Г. Цезаря соседствуют festivitas, facetiae, urbanitas, suavitas (B. 177.4), в которых он превосходит всех остальных ораторов. Все эти качества противопоставлены типу vehemens orator, аналогично противопоставление двух ораторских стилей: contentio (бурного, патетического) и lepos (мягкого, спокойно-юмористического) (De or. II.230.8; ср.: severitas и lepos – Off. I.134).

Suavitas сопровождает lepos и в тексте, где речь идет о соотношении функционального и эстетического моментов в речи,

о том, что за пользой и необходимостью следует «некая приятность и прелесть» (suavitas quaedam et lepos, De or. III.181.2). В этой контекстной ситуации suavitas, выступающая в эстетически оценочном значении, снимает у lepos всякое значение «юмора», сохраняя за ним лишь аналогичное ее собственному, т. е. эстетическое. В характеристике Г. Юлия Цезаря Страбона в «Тускуланских беседах» lepos тоже находится в окружении sal, suavitas, humanitas: in quo mihi videtur specimen fuisse humanitatis, salis, suavitatis, leporis (T. V.55; ср.: B. 177). Вне зависимости от того, будем ли мы понимать этот текст как характеризующий личность оратора или его речь (последнее вероятнее), содержательный момент («остроумие») исчерпан термином sal (так же как и в тексте B. 177.4, где содержательный момент выражен через facetiae), а следующая за ним suavitas дает уже характеристику эстетически-оценочного типа. Тем отчетливее в тесно примыкающем к ней lepos выдвигается гедонистический («приятность») аспект его семантики (если же имеется в виду, как было сказано, речь, то и эстетический).

Соседство с лексемой urbanitas активизирует в lepos оба его основных компонента: ментальный («остроумие») и оценочно-эстетический («изящество»). В тексте De or. I.159.6 urbanitas рассматривается как источник lepos facetiarum[316], в тексте B. 143.8 urbanitas формально однородная с facetiae, здесь (в паратактической конструкции) является квалификацией этих шуток (facetiae) как «тонких», «изящных», тем самым усиливая эстетический аспект lepos (facetiarum et urbanitatis oratorius... lepos). Subtilis venustas и urbanitas соединяются с lepos в тексте De or. I.17.9, так же как и в тексте B. 177.4 (urbanitas).

В лексическое окружение lepos входит также и humanitas (пять примеров). Уже в рассмотренном выше тексте (De or. I.27.5) iucunditas и lepos составляют единую систему с humanitas[317]. В данной контекстной ситуации humanitas характеризует Красса как человека, способного отрешиться от тяжких и мрачных размышлений (De or. I.26) и проявить себя любезным и веселым хозяином, т. е. оценивает его истинно человеческие качества (способность к общению); iucunditas и lepos in iocando суть реализации этой humanitas в данной ситуации (необходи-

мость уничтожить мрачное настроение, вызванное предшествующей беседой), т. е. способность быть веселым и приятным для окружающих.

В трех текстах lepos и humanitas объединены в группу, представляющую определенное смысловое единство. Сократ в своем ироническом притворстве далеко превзошел всех lepore et humanitate (De or. II.270.5); в любом положении, в любой момент жизни подобает человеку lepos humanitasque (там же, 271.9); в речи Катулла, называемой gravis («важной»), с ее исключительным достоинством соединялись humanitas ac lepos (De or. III.29.6); наконец, Цезарь и его речь являются образцом himanitatis, salis, suavitatis, leporis (T. V.55). В этом соединении lepos обретает новый оттенок своей семантики. Как бы узкоспециально мы ни понимали значение humanitas в данных контекстных ситуациях («вежливость», «тонкость», «культура», «образованность»), мы не можем игнорировать исконную морфолого-семантическую характеристику лексемы – «человечность», «специфически человеческое» – humanitas. С другой стороны, lepos этих ситуаций также допускает неоднозначную интерпретацию, поскольку здесь практически невозможно сказать, преобладает ли ментальный («юмор») или эстетико-гедонистический («приятность») компонент. В тексте De or. III.29.6 речь Катулла рассматривается как эстетически совершенная (quid iucundius accidit), в ней lepos и humanitas соединяются с «исключительным достоинством», образуя качество gravis. В этом тексте lepos и humanitas органически совмещаются с обычно несовместимой с первым (tamen) dignitas, и в этом единстве реализуется эстетическое совершенство речи. Характеризуя стиль речи, ее внешне-выразительную сторону, lepos этого текста осуществляет эстетическую оценку ее.

Единство lepos и humanitas имеет важнейшее значение в жизни, и нет в ней такого момента, которому бы не подобало (decet) это единство. Именно этими качествами превосходит Сократ, воплощение человеческой мудрости и достоинства, всех остальных людей. Соединение с humanitas углубляет содержание lepos, раскрывая его глубинный смысл как выраже-

ния подлинно человеческих качеств – приятности в общении и веселого и радостного ума. Оценивая человеческую личность и ее духовные проявления, lepos обозначает сумму тех качеств, которые оказываются приятными в социальном общении, доставляют его участникам интеллектуальное и эстетическое наслаждение обходительностью и веселостью, т. е. lepos характеризует человеческую личность в ее наиболее специфических проявлениях как «общественного животного», в тех качествах, которые и составляют содержание humanitas.

В сравнении с употреблением существительного употребление прилагательного (6) и наречия (6) крайне незначительно. Почти все они не выходят за рамки стиля разговорной речи (половина употреблений приходится на письма). В двух случаях (Catil. II.23; Att. VI.I.25) можно (с учетом разговорно-бытового и иронического характера текста) говорить об эстетическом (в какой-то мере) или, во всяком случае, гедонистическом содержании lepidus, поскольку, например, в тексте Catil. II.23 оценивается и внешность людей (iuvenes tam lepidi). Употребление в письме к брату Квинту (III.4.3.3) lepidum amicum Sallustium принадлежит также к специфическим формулам разговорной речи (ср. у Плавта: lepidum te). В двух случаях текст испорчен (Att. IV.17.2; VII.3.4–5).

Наречие во всех случаях в свободной стилистике разговорной речи передает идею «удачного исполнения», «совершенства» и т. п. Nunc fit lepide ekchysis radiorum (Att. II.3.2.9) – об устройстве окон в доме (...dies lepide descriptos et apte... – Att. XVI.5.4), сопровождающее apte подчеркивает идею «удачного исполнения» (quam lepide se furari putat! – Ver. III.3; ср. употребление lepide у Плавта).

Не одно употребление прилагательного представляет несомненный интерес для нас. Речь идет о тексте из 32-й главы IV книги трактата «Риторика к Гереннию», рассматривающемся нами в связи с анализом лексемы festivus. В этом тексте lepos et festivitas противостоят dignitas и pulchritudo, а ниже lepida, concinna – ampla и pulchra. Это, пожалуй, единственный случай, где lepos и lepidus находятся на одном и том же семантическом уровне. Антитеза pulchritude – lepos, pulchra – lepida

отчетливо раскрывает семантическую специфику lepos, lepidus. Очевидно противопоставление двух ступеней эстетической оценки, двух уровней прекрасного. Если pulchritudo (dignitas, ampla) есть высшая форма красоты, эстетически наполненной (dignitas), возвышенной (ampla), то тем самым lepos, lepidus, противостоя в понятийном отношении этим терминам, становится выражением красоты менее ценной, менее значительной, нежели pulchritudo, т. е. собственно внешней (и даже нарочитой concinna), лишенной того этического наполнения, которое присуще pulchritudo. Первоначальная, чисто гедонистическая семантика лексемы получает здесь определенную эстетическую интерпретацию, определяя второстепенность ее места в системе эстетической терминологии Цицерона. Впрочем, такая трактовка данного термина как общеэстетического имеет место только в «Риторике к Гереннию», в собственно же цицероновских сочинениях lepos выполняет свою роль, функционально ограниченную, как одно из лексических средств характеристики:

а) эстетической ценности объекта;

б) выражения идеи «остроумия и веселости» (с коннотацией эстетической оценки), составляя одно из звеньев того ряда эстетических терминов, который формируется в текстах Цицерона на материале гедонистической лексики.

2

Лексема festivus, festive, festivitas, вообще не встречающаяся у авторов классического периода, за исключением Цицерона, у которого она представлена достаточно ощутимо, занимает в его эстетической лексике относительно скромное место: festivus встречается 14 раз, festivitas – 15, festive – 8.

Основным словом данной группы является прилагательное festivus, производное от прилагательного festus – первоначально термина сакральной лексики, обозначавшего дни религиозных празднеств (dies festus). Для этого слова на италийской почве используется корень *fes-,*fas-, выражающий идею религиозного действия[318] – тот же самый, что и в близком по

значению слове feriae < *fesiae («отдых, прекращение работы в честь богов»)[319].

Таким образом, festus имеет значение «относящийся к празднику», закрепленное в dies festus, где festus – относительное прилагательное («день, в который совершается празднество»). Отсюда легко развивается значение качественного прилагательного «праздничный, веселый, приятный» (первоначально «тот, кто празднует»)[320]. Модель festivus встречается преимущественно в архаической и постклассической латыни[321], хотя и здесь насчитывается сравнительно небольшое число употреблений (исключение составляет собственно христианская латынь с множеством употреблений этой лексемы, но уже в совершенно новом, специфическом значении «святость», собственно «духовное веселье»).

В употреблении festivus наблюдается достаточно четко намеченная семантическая дифференциация: относительное прилагательное «относящийся к празднику» и вырастающее из него качественное, оценочное значение «праздничный, веселый, приятный» (так же как в festus). В первом значении festivus встречается у Плавта (in festivo loco = in theatro – Mil. gl. 83) и в схолиях к Теренцию[322], но и в этих случаях ощутим иной семантический компонент – веселости, радостности и т. п. Все остальные случаи употребления festivus фиксируют именно оценочное значение слова, постепенно развивающееся в эстетически-оценочное. Глоссарии для этого употребления дают греческие asteios (urbanus – «городской, изящный, тонкий, забавный»; horaios – «цветущий», glaphyros – «изящный, отделанный, гладкий»)[323]. Образованное от festivus существительное festivitas до Цицерона встречается только дважды – у Плавта и Теренция. Глоссарии толкуют его как heortasmos «праздничность»; phaidrotēs – «веселость, радостность, яркость»; glaphyrotēs – «изящество, отделанность»; asteiotēs – «тонкость, изящество, остроумие». Первоначальное значение данного слова «праздничный день»[324]. В этом смысле оно встречается только у Плавта: «Iuppiter... offers mihi... festivitatem, ferias» (Captivi 770) – «Юпитер, ты посылаешь мне... праздничный день, празднества». Однако и [illegible]

достаточно отчетливо проявляется семантический момент «веселости, радости».

Значение «праздника» (в чисто христианском смысле – см. выше) возрождается только в текстах собственно христианских авторов, широко пользующихся данной лексемой[325]. В остальных сравнительно немногочисленных случаях употребления festivitas в дохристианской латыни фиксируется лишь переносное значение. Именно в таком расширительном значении festivitas встречается у Теренция: «...mei patris festivitatem, facilitatem» (Eunuchus 1048), где festivitas, согласно Донату, есть laetitia – «веселость». При этом очень важно замечание того же Доната: «Festivitas in dictis est, facilitas in animo». Festivitas недвусмысленно связано с понятием речи, раскрывающей в данном случае такие черты психологического склада личности, как facilitas – «доброта, открытость, приветливость характера»[326]. Наоборот, в ряде поздних текстов festivitas обозначает явно внешние черты объекта, например, у Светония (Caligula, 7 – «миловидность, привлекательность», puer insigni festivitate – о Гае, старшем брате Калигулы)[327].

Сравнительно невелик круг объектов, определяемый лексемой festivus: он ограничивается в основном тем, что относится непосредственно к человеку (с преобладанием ментально-речевого аспекта).

Употребление наречия festive подтверждает эту тенденцию. Тяготея чаще всего к разговорному стилю речи, festive может, подобно pulchre, lepide, определять любое действие, но большинство его употреблений связано с понятием речи[328].

В сочинениях Цицерона festivus, как уже было сказано, употребляется 14 раз, из них в восьми случаях определяет человека[329], в трех случаях – речь[330], в двух – действия и один раз – художественное произведение (картину и статую)[331]. Во всех случаях, когда festivus оценивает человека, оно, по-видимому, не несет никакого эстетического содержания, а лишь характеризует определенный психический склад личности – «веселость, остроумие». В литературе обращалось внимание на употребление этого прилагательного у Цицерона лишь в наиболее разговорно-фамильярных пассажах[332]. Так, значение «остро-

умия» и «веселости» несомненно в тексте из «De oratore»: «Когда Кв. Опимий... пользовавшийся в молодости дурной репутацией, сказал однажды Эгилию, человеку остроумному (festivo homini)...» Значение «остроумный» вытекает из следующего далее ответа Эгилия. То же значение «веселости, забавности» обнаруживается и в другом тексте: «...подобно шуту, веселящему гостей (...festivum acroama...), он на их глазах заставил выламывать мозаику» (Ver. IV.49), хотя festivum здесь не столько «веселый» и уж совсем не «остроумный», сколько «веселящий, забавляющий», поскольку это является профессиональным качеством acroama – шутника, балагура, здесь же просто шута, обязанность которого – развлечение гостей. Семантический компонент «веселости» сохраняется, но с субъекта переносится на его деятельность. В то же время характер денотата, как и всего контекста, придает данному слову оттенок пренебрежительности, сохраняющейся и в другом тексте той же речи (Ver. IV.162). Совсем иной оттенок значения festivus обнаруживает в тексте: «...ведь он... сын знаменитого философа Федра... к тому же человек тонкий» (festivus) (Phil. V.13). Этот контекст свидетельствует об общем положительном характере значения festivus, а следующее предложение («...так, что очень легко может найти общий язык с Курием...») предполагает помимо идеи «приятности» качества духовного и интеллектуального плана, позволяющие афинянину Лисиаду общаться с римлянином Курием как с равным, что приблизительно и передано словом «тонкий».

В трех случаях festivus определяет речь человека. В «De officiis» Цицерон, говоря о различии людских характеров, называет Сократа «dulcem... festivique sermonis» (I.108), т. е. «приятным и остроумным», а речь его определяет как festivus sermo, противопоставляя ему Пифагора и Перикла, которые достигли величайшего уважения и авторитета sine ulla hilaritate, и сопоставляя его с Г. Гелием, обладающим multa hilaritas. Тем самым festivus sermo раскрывает качества характера, называемые facetus et dulcis – «остроумный и приятный», являясь выражением hilaritas – веселого, радостного, ясного состояния духа. Следовательно, festivus в данном контексте примыкает к рассматривае-

ным выше случаям употребления, где он выступал в качестве определения характера человека, включая идею «остроумия, веселой оживленности, приятности» и ироничности (что практически невозможно передать одним словом). Таким образом, при совмещении основных семантических линий этой лексемы перевес здесь остается на стороне ментального аспекта.

С совершенно другим семантическим аспектом этого прилагательного мы встречаемся в двух текстах, где festivus определяет поэтическое произведение: «А тот, о ком я говорю, прекрасно знает не только философию, но и другие науки, которыми, как известно, пренебрегают пифагорейцы; более того, он создает такое стройное, такое изысканное произведение – ita festivum, ita concinnum, ita elegans (poema), что невозможно представить себе ничего более изящного (argutius)» (Piso 70). В «De oratore» festivus стоит в ряду атрибутов poesis или oratio – поэтической или ораторской речи (т. е. в обоих случаях художественной): concinna, distincta, ornata (III.100.4), подобно тому как в цитированном выше тексте оно объединялось с concinnum и elegans, обобщаемым в argutum.

Эти прилагательные дают (в различных аспектах) эстетическую оценку речи. Concinnus – термин эстетической, в частности литературно-критической, лексики[333], слово широкого и сложного значения, выражающее в применении к ораторскому и поэтическому стилю идею «внутренней гармонии, стройности», проявляющейся как в отдельных словах, в ритмическом параллелизме и расположении слов во фразе, так и в общем ритме и строе речи. Особенно отчетливо и полно эта сумма значений выражается в concinnitas – слове, впервые появляющемся в цицероновскую эпоху и выступающем иногда (Н. IV) в качестве одного из средств общей оценки произведения как художественного. Distinctus передает идею четкости и правильности построения речи и в то же время ее украшенности, отделанности; та же идея украшенности, художественной обработки заключена в ornatus.

Elegans, как и concinnus, получает распространение главным образом как термин литературной, в частности риторической, критики. Его основная идея – идея «исключительности,

отобранности», осуществляемых утонченным вкусом знатока-ценителя, на этой основе развиваются значения «изящности, утонченности».[334]

Наконец, прилагательное argutus, обобщающее concinnus, elegans, festivus данного текста,– слово очень широкого и достаточно пестрого значения. Его основным зерном является идея «яркости, выразительности, блеска», на основе которой развиваются эстетические аспекты значения: «изящный, приятный, выразительный, остроумный, меткий». В этом ряду определений, каждое из которых несет в себе ту или иную эстетическую идею, festivus, утрачивая уже известный нам семантический компонент «веселости», получает новое, специфически эстетическое значение. Трудность состоит в его более точном и конкретном определении. Однако его значительно проясняет фраза, непосредственно примыкающая к рассматриваемому тексту: «Quare “bene” et “praeclare” quamvis saepe nobis dicatur, “belle” et “festive” nimium saepe nolo» (De or. III.101.2) – «А поэтому пусть нам повторяют сколько угодно “прекрасно” и “великолепно”, но я не хочу слишком часто слышать “мило” и “прелестно”». Здесь belle и festive четко противостоят bene и praeclare. Belle, bellus – уменьшительное от bene, bonus – в текстах Цицерона практически еще не приобрели эстетического значения[335]. Рассматриваемый здесь текст едва ли не единственный, где belle выражает эстетическую идею[336], подкрепленную в этом значении словом festive, которое противостоит praeclare первой пары. Значение последнего достаточно ясно – «прекрасно, замечательно» (с четко выраженным этическим оттенком «общественно важно, достойно»).

В то же время антитеза bene – belle – это антитеза не столько этического и эстетического («хорошо, нравственно, достойно» и «красиво, эстетически хорошо»), сколько двух степеней самого bene: bene – «действительно хорошо, достойно» и belle – «неплохо, мило», т. е. belle выступает здесь лишь в роли обыкновенного диминутива к bene. Такой характер антитезы помогает точнее понять значение festive в симметричной паре praeclare – festive, где festive представляет, несомненно, слово эстетического ряда, но оценивается со стороны своего этиче-

ского наполнения и именно в силу недостаточного этического содержания оказывается эстетически неполноценным. Belle et festive передают красоту внешнюю, лишенную подлинного этического содержания, красоту не истинную, природную, а сделанную, искусственную, обращенную к одному лишь чувственному восприятию и поэтому остро пресыщающую слушателя, ибо в эстетическом суждении, по мысли Цицерона, важнейшую роль играет не столько чувственный, сколько интеллектуальный момент: «...не только слухом, но в значительно большей степени суждением ума распознаются загримированные пороки (infucata vitia)» (De or. III.100.5)[337].

Возвращаясь к festivus в приведенных выше текстах, где контекст придал ему эстетическое значение (имея при этом в виду преобладающее употребление его в качестве определения человека и его речи со значением «приятный, веселый»), а также принимая во внимание значение festive в упомянутом тексте, можно определить значение festive как «производящий эстетически приятное впечатление, доставляющий удовольствие (благодаря своей отделке)», т. е. говорить о нем как о слове, принадлежащем первоначально к гедонистической лексике, но в силу контекстуальной обусловленности переходящем в эстетическую сферу.

Аналогично употребление festivus в тексте, где его определяемым становятся произведения искусства (картины, статуи): «Nonne igitur sunt illa festiva?» (Par. 38) – «Разве все это не приятно (красиво, доставляет удовольствие)?» В ответе в абсолютно синонимичной позиции появляется venustus: «Sint, sed ita venusta habeantur...» Оба слова указывают на то эстетическое впечатление, которое эти произведения вызывают у зрителя, а не характеризуют собственно их красоту. Для venustus такого рода употребление (т. е. характеристика эстетической активности, эстетической функциональности объекта) составляет основу его семантики. Festivus в данном случае выступает как его лексический конкурент. Отчетливой остается и связь с гедонистической лексикой, поскольку в данной контекстной ситуации festivus, как и venustus, включает также семантический компонент «удовольствия, приятности». Таким образом, festivus остается у Ци-

церона на границе гедонистической и собственно эстетической лексики, тяготея к последней в ряде контекстных ситуаций.

Эти эстетические потенции получают известное развитие в festivitas, которое в риторических трактатах встречается 14 раз, в письмах (IX.15.2) – один раз. Ни в речах, ни в философских сочинениях, как и у других римских писателей (кроме Плавта и Теренция до Цицерона и Геллия и Апулея после него), это слово не встречается. Ограничение его употребления определенной тематической сферой у Цицерона может, по-видимому, свидетельствовать о специфическом характере значения, приближающегося к терминологическому.

У Теренция festivitas характеризует речь как приятную, добродушную (см. выше), у Плавта оно сохраняет первоначальное значение «праздничности» (Captivi 770). Это слово употребляется относительно широко (шесть раз) в «Ad Herennium» – произведении, тесно примыкающем к цицероновскому корпусу и традиционно рассматриваемом в составе его сочинений, а также в раннем риторическом трактате самого Цицерона «De inventione» (дважды). Остальные шесть случаев приходятся на поздние ораторские трактаты («Orator» и «Brutus» – по одному разу, «De oratore» – четыре раза). В «Ad Herennium» festivitas характеризует преимущественно тот эстетический эффект, который производят на слушателя различные художественные приемы речи и риторические фигуры: repetitio, conversio, complexio, traductio: «...всем этим четырем видам украшений присуща приятность (festivitas), которую легче воспринять слухом, чем выразить словами» (H. IV.21.12). Аналогично значение festivitas применительно к синекдохе, которая, по словам автора, применяется festivitatis causa – «ради приятности» (H. IV.45.11), и к риторической фигуре dijunctio: «...ad festivitatem dijunctio est apposita» – «...применяется ради приятности». Продолжение этой фразы – «quare rarius utemur ne satietatem pariat» (IV.38) – «а потому станем пореже применять ее, дабы не вызвать пресыщения» – сближает значение festivitas со значением в «De oratore», где подчеркивается некий нарочитый, внешний характер этой художественности, ее искусственность, неистинность, и в то же время необходимость соблюдения меры (nimis saepe nolo

с целью избежать пресыщения. То же значение это слово имеет и применительно к фигуре simplificatio: «Это украшение несет в себе весьма много прелести (festivitas), а иногда и достоинства (dignitas)» (H. IV.67.33).

Особенно важна и интересна для понимания специфики значения festivitas 32-я глава IV книги «Ad Herennium». Говоря о трех видах риторических фигур, «украшений» речи – similiter cadens, similiter desinens, adnominatio – «совпадения падежных окончаний, совпадения окончаний слов, игра слов (парономасия)», носящих явно нарочитый, искусственный характер, «потому что всего этого, по-видимому, нельзя достичь без отделки, без приложения усилий, а такого рода старания, похоже, имеют в виду не столько истину, сколько удовольствие» (H. IV.32), – автор трактата советует как можно реже прибегать к такого рода приемам. В противном случае речь оратора «теряет убедительность, важность и серьезность», подрывается авторитет оратора, более того, подобная речь наносит ему оскорбление, «ибо этим фигурам присущи прелесть и изящество, но в них нет ни достоинства, ни красоты»: «propterea quod est in his lepos et festivitas, non dignitas neque pulchritudo» (H. IV.32.10–11). Далее автор поясняет: «...то, что величественно и прекрасно, может нравиться долго, а милое и изящное быстро пресыщает весьма придирчивый слух наш» – «quae sunt ampla atque pulchra diu placere possunt, quae lepida et concinna cito satietate afficiunt... sensum...» (H. IV.32.11–14). Здесь мы встречаемся с четырьмя терминами эстетического ряда: lepos, pulchritudo, concinnitas, festivitas, – выступающими как в сопоставлении, так и в оппозиции друг к другу. Lepos et festivitas, связанные с понятиями lepida и concinna, объединены в их оппозиции к dignitas et pulchritudo, объединенным в свою очередь с понятиями ampla atque pulchra:

lepos et festivitasdignitas et pulchritudo
lepida et concinnaampla atque pulchra

В этом четком построении lepos et lepida и pulchritudo et pulcher, объединенные по корневому признаку, способствуют более четкому пониманию смыслового единства групп festivitas et concinna, dignitas et ampla и их противопоставления друг

другу. Festivitas объединяется с concinna; в этом тексте они, по сути, синонимичны (так же как ampla et dignitas).

Выше говорилось об основных семантических параметрах этой лексемы, важнейшими компонентами которой наряду с идеей стройности и гармоничности, всегда выступающей как результат сознательно направленных усилий, является также идея «искусственности, сделанности», с одной стороны, и идея «приятного эстетического впечатления» – с другой. Синонимичность рассматриваемых лексем находит подтверждение в приведенных выше текстах из речи против Пизона и «De oratore». Сюда же следует отнести текст из «De inventione» – трактата, очень близкого к «Ad Herennium»: «Exordium sententiarum et gravitatis plurimum debet habere et omnino omnia, quae pertinent ad dignitatem in se continere... splendoris et festivitatis et concinnitudinis minimum, propterea quod ex his suspicio quaedam adprobationis atque artificiosae diligentiae nascitur, quae maxime orationi fidem, oratori adimit auctoritatem» – «Вступление к сентенции должно нести в себе много важности и вообще содержать в себе все, что входит в понятие достоинства... и как можно меньше содержать блеска, украшений и (искусственной) стройности, потому что они порождают известное подозрение в искусственной отделанности, а это в высшей степени подрывает доверие к речи и лишает оратора авторитета» (I.25.34–37). В этом тексте festivitas вновь объединяются с concinnitudo (последняя модель встречается только здесь), к которой присоединяется splendor – «блеск, сверкание».

В этом лексическом окружении festivitas выражает, очевидно, какие-то сходные идеи «внешней отделанности, эффектной украшенности», поскольку все эти качества являются признаками искусственно организованной, нарочито отделанной речи – artificiosae diligentiae, а последняя, становясь самоцелью, наносит ущерб авторитету оратора. В данных текстах четко прослеживается антитеза группы festivitas, concinnus группе gravitas, dignitas – «важность, достоинство» (H. IV.45.11; 67.33). Dignitas в последнем тексте объясняется тем, что данная фигура «позволяет самому слушателю без слов оратора кое о чем догадываться», т. е. несет в себе определенное содержание, предполагающее работу мысли. В тексте «De inventione»

gravitas, dignitas объединяет выражение некой этически важной идеи, что противопоставляет их concinnus и другим, выступающим как обозначения некоего эстетического впечатления, обусловленного, однако, чисто формальными моментами, что неизбежно приводит к снижению их эстетического значения. Текст 32-й главы IV книги «Ad Herennium» объединяет термины dignitas, pulchritudo в оппозиции к понятиям concinnus, festivitas, делая тем самым гораздо более отчетливой и рельефной семантическую специфику последних. Достаточно хорошо известна основная семантическая характеристика лексемы pulchritudo, выражающей идею красоты, прекрасного, прежде всего как гармонию частей, как результат их взаимодействия, определенной структуры. Казалось бы, лексема concinnitas, которой также присущ семантический компонент стройности частей и их гармонии, должна бы быть очень близка и pulchritudo, однако именно в данном тексте становится понятным принципиальное отличие этих лексем.

Объединение понятий dignitas и pulchritudo придает последнему особую эстетическую значимость и включает его в область «великого, возвышенного» (ampla), тогда как у concinnus соседство с lepos, lepidus, эстетическими терминами более низкого ранга, выдвигает на первый план идею «внешней приятности, красивости», когда эта «стройность», составляющая семантическую основу данной лексемы, превращается в самоцель. Тем самым concinnus, festivitas исключаются из области pulchritudo, «прекрасного», ибо не причастны к dignitas – «достоинству», этически наполненному содержанию.

Таким образом, лексема festivitas противостоит dignitas как понятие формы, фактически лишенной серьезного содержания (понятие, которому сам автор трактата не может дать четкой дефиниции, ограничиваясь ссылкой на данные чувственного восприятия – H. IV.21.12), понятию подлинно серьезного, этически важного, значимого содержания, определяющего собой «прекрасное» (pulchritudo). Тем самым festivitas определяет свою семантическую сферу как выражение искусственной, несодержательной «красивости» и вместе с concinnitas обозначает результат сознательных усилий искусства, а не истинно природное каче-

ство, принадлежа, таким образом, к области «украшения», «развлечения», а не выражения сущностных сторон бытия.

В поздних риторических трактатах («Brutus», «Orator», «De oratore») встречаются сравнительно немногочисленные примеры употребления этой лексемы, причем в достаточно четко определенном значении, выводимом из ее лексического окружения (таких слов, как facetiae, lepos, venustas). Facetiae – «шутки, остроумие, остроты» получают в festivitas, по существу, синоним. Так, речь Красса, изобилующая шутками (faceta... et urbana innumerabilia), не имеет себе равной по юмору и веселости: «...nec... umquam fuit oratio, lepore et festivitate conditior...» (De or. II.227). Точно так же festivitas синонимично facetiae и в другом месте той же книги: «...cum duo genera sint facetiarum... in illo genere perpetuae festivitatis...» (218) – «так как существует два рода шуток... то в первом, строящемся на общем веселом настроении...» (пер. Ф. А. Петровского).

В единую группу объединяются facetiae et festivitas в тексте: «Веселостью и остроумием (festivitate et facetiis) Г. Юлий, сын Лукия, превзошел всех своих сверстников» (B. 177). Синонимия с facetiae или объединение с этой лексемой (так же как с lepos, venustas) в однородные группы[338] достаточно убедительно подчеркивает в festivitas сему «веселости, остроумия», объединение же с venustas и отчасти с lepos придает этой «веселости» приятный, обаятельный, изящный характер. Весьма интересный пример синонимии festivitas и facetiae находим в письме Цицерона к Л. Папирию Пету. Приведем весь относящийся сюда текст, несмотря на его обширность, ибо только на основе всего контекста становится ясной семантическая специфика интересующей нас лексемы. Цицерон говорит о старинном, исконно римском остроумии, воплощающемся для него в Папирии Пете, единственном его носителе в современном Риме: «К этому (личному обаянию Пета) присоединяются остроты (sales), не аттические, но еще более острые, чем аттические. древние, исконно римские, тонкие остроты. А я (думай об этом как хочешь) невероятно обожаю остроумие (facetiae), особенно наше, тем более что вижу его в Лации, где его совершенно забыли еще с тех пор, как в город нахлынула иностранщина.

а теперь вся эта разгуливающая в штанах трансальпийская публика, так что невозможно заметить даже следа старинного юмора (lepos). Поэтому при виде тебя мне кажется, что я вижу всех Граниев, всех Лукилиев, ей-богу, всех Крассов вместе с Лелиями. Умереть мне на месте, если я знаю кого-нибудь, кроме тебя, в ком можно было бы найти образ нашего старинного, исконного остроумия (festivitas)» (Fam. IX.15.2).

В этом тексте festivitas оказывается в синонимическом ряду, образованном словами sales, lepos, facetiae. Семантически ключевыми здесь являются sales, facetiae при бесспорности их значений – «шутки, остроты». В этом окружении lepos (в консекутивной конструкции) и festivitas, обобщающее весь текст, синонимичны sales и facetiae, при этом festivitas помимо основного (в данном случае) семантического компонента «веселости, остроумия» несет в себе и определенный момент эстетической оценки такого рода речи, ее остроумия и тонкости, контекстуально определяемой предшествующим перечислением лучших мастеров старинного латинского красноречия. Тем самым, в отличие от sales et facetiae в данном ряду, festivitas примыкает, подобно lepos, к эстетической лексике.

Единственный случай употребления данной лексемы в «Ораторе» возвращает нас к известному значению «эстетического впечатления», при сохранении идеи «внешней, искусственной, оторванной от содержания красоты», подчеркиваемой глаголом abuti: «Горгий,.. по его собственным словам, слишком злоупотреблял его (ритмического рода речи) красотами (festivitatibus)» (Or. 176) (пер. М. Гаспарова).

В трактатах «De oratore», «Ad Herennium», «De inventione» festivitas выступает еще в одном значении, развивающемся на основе семы «веселости, радостности», присущей не только прилагательному, но и существительному. Во всех трех случаях речь идет о характеристике определенного рода повествования, который связан с изображением действующих лиц и их непосредственным участием в действии (Н. I.8.23). В «De oratore»: «Sed et festivitatem habet narratio, distincta presonis et interpuncta sermonibus» (II.328.3) – «Но рассказ выигрывает в

живости, когда распределен между лицами и перемежается их разговорами» (пер. Ф. А. Петровского).

В «Ad Herennium» festivitas sermonis выступает как *одно из качеств* такого рода повествования наряду с «разнообразием характеров, важностью, добротой, надеждой, страхом, подозрением, тоской, притворством, состраданием, пестротой событий, переменой судьбы, неожиданным счастьем, внезапной радостью, счастливой развязкой событий» (Н. I.88.24–29).

В этом перечне, в котором нетрудно угадать краткую схему собственно художественного, «литературного» повествования, реализовавшегося не только в определенном типе ораторской речи, но и в собственно литературных жанрах, таких как бытовая комедия или роман, festivitas sermonis является, по-видимому, лишь качеством речи, манерой, стилем повествования, складывающегося из всех перечисленных элементов. В этом смысле данная модель аналогична употреблению в приведенном выше тексте из «De oratore», где festivitas также характеризует стилистический аспект речи. Но в трактате «De inventione» это место, почти дословно совпадающее с приведенным выше из «Ad Herennium», имеет одно весьма существенное изменение: «Hoc in genere narrationis multa debet inesse festivitas, *confecta ex* rerum varietate, animorum dissimilitudine, gravitate, lenitate, spe...» (Inv. I.27–28). Далее следует то же, что и в «Ad Herennium»: «Этому роду повествования должна быть присуща большая занимательность, создающаяся пестротой событий, несхожестью характеров» и т. д.

Очевидно, что в данном случае festivitas не есть уже только стилистическое качество, характеристика языка, но общее определение понятия «занимательности» повествования, «интересности», «увлекательности». Наряду с семой «приятности, удовольствия», присущей значительному числу употреблений данной лексемы, исходной в этом случае является также сема «веселости», содержащая в себе имплицитно «интеллектуальный» компонент, характеризующий уже не внешне-формальную, чувственно воспринимаемую сторону эстетического объекта, но и собственно содержательную. У Цицерона эта чрезвычайно интересная попытка расши-

рительного понимания festivitas осталась единственной и не получила продолжения. Только у Апулея вновь встречается аналогичное употребление данного слова: «...lepidae fabulae festivitate nos avocavit» – «...развлек нас интересной историей» (Met. I.20.65).

В целом в употреблении лексемы festivus, festivitas у Цицерона можно установить два основных ряда значений. Первый ряд связан с выражением идеи «приятности, удовольствия», доставленного человеку искусной, тщательной обработкой, отделкой вещи, идеи, возникающей в понятийной сфере «удовольствия» (отражаемой собственно гедонистической лексикой) и развивающейся в идею эстетического плана. В этом употреблении рассматриваемая лексема примыкает к кругу значений лексемы concinnus, concinnitas, выступая иногда как ее синоним. При этом довольно часто внешняя отделанность противопоставляется содержательному моменту, выражаемому терминами gravitas, dignitas, а в эстетическом плане – подлинной, этически наполненной красоте – pulchritudo. Данный ряд значений наиболее характерен для ранних риторических трактатов – «De inventione» и «Ad Herennium».

Второй ряд значений относится к выражению идеи «веселости, шутки», даже «остроумия», где festivitas сближается с семантической сферой лексемы facetus, facetiae, дополняя их значение или выступая даже в качестве их синонима. В этом значении прилагательное обычно не выражает эстетической идеи (хотя само по себе комическое и относится к категориям эстетики), а характеризует лишь определенный психический склад личности. На уровне же существительного из той же семы «веселости» развивается эстетический компонент, переходящий, однако, в новое качество. Именно с этим вторым рядом значений связана наметившаяся в трактате «De inventione» идея «занимательности, интересности, живости изложения», также представляющая идею эстетическую.

Как мы могли убедиться, лексема festivus, festivitas в текстах Цицерона обладает достаточно специфическим содержанием. Это содержание не столько технико-риторическое (хотя данная лексема встречается преимущественно в риторических

трактатах), сколько эстетическое, относящееся, по большей части, к словесному творчеству, а еще шире – к интеллектуально-психическому складу личности, выражающемуся в слове. Но в этих пределах обнаруживается пестрота значений, известная нечеткость, расплывчатость семантических границ. Недостаточная определенность семантики, постоянное скрещение с семантическими сферами других лексем, способных служить синонимами данного слова, отсутствие собственной строго ограниченной семантической сферы приводит к сравнительно редкому его употреблению, сопровождающемуся некоторым сужением семантического круга.

В том, что эта лексема так и не смогла прочно войти в систему эстетической лексики и была вытеснена синонимичными словами, обладавшими бóльшим эстетическим потенциалом, немалую роль, по-видимому, должно было сыграть первоначальное его значение «праздничность» в буквальном, а не переносном смысле. В классическую эпоху данное слово не смогло укрепиться как термин эстетической лексики именно потому, что еще слишком сильным должно было быть исконное, чисто реальное значение. Христианская латынь, широко используя это слово, восстанавливает именно его реальное (в данном случае сакральное) значение, переосмыслив его в новом, чисто христианском употреблении вплоть до значения «святость, святой». Этот чисто бытийный, онтологический характер лексемы не мог не предопределить конечную неудачу ее робких попыток проникнуть в круг эстетической лексики. Только такой мастер стиля, как Цицерон, пытался сделать это достаточно широко, но в конце концов и его усилия, по существу, оказываются (за немногими исключениями) безрезультатными. Однако это не уменьшает интереса к судьбе столь редкого в классической латыни слова.

Заключение

Подводя итог сказанному, можно отметить разнообразие лексем, привлекаемых Цицероном в качестве средств эстетической оценки действительности. Поиски нужного слова, наи-

более точно выражающего оттенки понятия, заставляют его обращаться к различным пластам лексики, находящимся в более или менее близком соседстве с понятийным полем красоты, способствуя тем самым его обогащению. Цицерон не хочет создавать искусственные образования, предпочитая использовать материал реального общенародного языка, превращая в термины слова бытовой лексики, придавая им новое качество философской лексики.

Центральный термин эстетической лексики латинского языка pulcher в текстах Цицерона связан преимущественно с характеристикой внешних, пластических форм. В основании цицероновской концепции pulchritudo лежит идея меры, гармонии частей, т. е. структуры вещи.

Широкое употребление термина pulchritudo применительно к сфере духовной деятельности строится на основе метафоры, переносящей структурную концепцию прекрасного из материально-предметной области в область этических характеристик. На этой же основе происходит включение в эстетическую область некоторых этических терминов (decorum, dignitas).

Тесная связь pulchritudo с областью характеристики пластических форм приводит к тому, что этот термин практически не применяется Цицероном для оценки *слова*, *литературного произведения*, составляющих предмет главного его интереса. В оценке произведений словесности он предпочитает другие термины, главное место среди которых принадлежит лексике, генетически связанной с выражением идеи «удовольствия».

Лексемы этой большой тематической группы в текстах Цицерона постепенно развивают эстетический компонент значения. Решающим моментом является здесь лексическая *сочетаемость*: эстетический компонент в лексемах гедонистической группы развивается лишь в оценке *речи*, *словесного* произведения, оставаясь в остальных случаях на уровне собственно гедонистической оценки.

Лексемы, развивающие эстетически-оценочное значение на основе своей чувственной семантики (dulcis, suavis), оказываются связанными главным образом с характеристикой

внешне-акустической стороны речи и общего впечатления от стиля как «приятного». В некоторых случаях это значение может рассматриваться как выражение общеэстетической положительной оценки объекта (suavis). В лексемах, семантическая структура которых включает элемент ментальной оценки, выражающийся в наличии семы «веселости», «остроумия», создается предпосылка для более сложной эстетической оценки *содержания* словесного произведения и, в частности, характера повествования (iucundus, festivitas).

Анализ показал наличие достаточно прочной и устойчивой связи между понятийными полями «удовольствия», «веселья» и «красоты». Этот вопрос требует дальнейшего специального исследования, в котором эти понятийные группы были бы всесторонне рассмотрены в их взаимодействии друг с другом.

Рассматривая семантическую структуру общеродового термина pulchritudo и двух его модификаций – venustas и dignitas, из которых первая представляет собой характеристику эстетической оценки объекта, а вторая – содержательный (этический) аспект прекрасного, мы пришли к выводу, что в своих теоретических взглядах на прекрасное (в тех пределах, как это раскрывается на материале лексического анализа) Цицерон высказывает идею *единства* формы и содержания как *основы* прекрасного (художественно совершенного), подчеркивая при этом *примат содержания*, понимаемого как выражение *этически* значимого и важного. Та же идея о примате этического содержания раскрывается в отчетливой оппозиции этически наполненной, возвышенной красоты (pulchritudo) красоте внешней, формальной, искусственной (в нашем анализе festivitas, отчасти venustas). В этом же противопоставлении раскрывается и другая черта эстетики Цицерона – требование *естественности*, утверждение красоты как красоты природной, выражающейся в соразмерности, функциональности и (применительно к красоте человека) здоровье.

Эстетика Цицерона раскрывается как этически детерминированная, отражающая некоторые специфические черты римского мировоззрения (элемент функционально-утилитарного подхода, этическая и социальная значимость эстетиче-

ского объекта, естественность красоты). Будучи определенным этапом римско-эллинистической эстетики, эстетика Цицерона представляет тем самым и новый шаг в истории эстетической мысли.

Не все усилия Цицерона по созданию эстетической терминологии увенчались в конечном счете успехом. Многое, введенное им в философский обиход, осталось достоянием только языка самого писателя и не было принято другими поколениями. Но это не снимает вопроса о важности изучения этих попыток, ибо становление каждого нового понятия и слов, его обозначающих, имеет глубокие последствия в дальнейшем развитии культуры, что и определяет необходимость тщательного исследования истоков соответствующей терминологии.

[1] M. Tullii Ciceronis Opera quae supersunt omnia ex recensione Orelli/ Ed. altera emendatior. *Curav. J. C.* Orellins et J. G. Beiterus. Zürich, 1845–1861, V. I–VIII. За этой библиографией последовала книга: *Beschamps P.* Essai bibliographique sur Cicéron. P.: Patier, 1863.

[2] См. об этом подробную библиографию в работе: *Laurand L.* Cicéron.Vie et oeuvres. P.: Les Belles Lettres, 1933–1938. P. 372–500. В 1950–60-е годы появилось несколько обзоров литературы о Цицероне: *Boyancé P.* Travaux recents sur Cicéron. 1939–1958 (Actes du Congres de l'Association Guillome Budé. P., 1960. P. 254–291); *Allen W. Jr.* A Survey of selected Ciceronian Bibliography 1939–1954 // Classical Weekly. 1953–54. 47. P. 129–139; *Smethurst S. E.* Ciceros Rhetorical and Philosophical Works. A bibliographical Survey // Classical Weekly. 1957. 51. P. 1–5, 32–40, 58; 1964–1965. P. 36, 61; 1967. P. 125. *Rowland E. J.* Classical World. 1965. 60. P. 51, 101; *Römisch E.* Einige neuere Literatur zu Cicero // Gymnasium 62, 1955. P. 381–387; см. также библиографию в кн.: Cicero, ein Mensch seiner Zeit./ Hrsg. Badke G. v., Berlin, 1968. Обзор основной литературы по Цицерону вплоть до 70-х гг. см. в книге: *Viansino G.* Introdusione critica alia letteratura latina. Salerno, 1975. P. 222–275. Исчерпывающую библиографию, включая статьи в периодических изданиях, см.: L'Anneé philologique/ Ed. J. Ernste et J. Marouzeau.

[3] В научной литературе о Цицероне политическая сторона его деятельности привлекала, пожалуй, всегда наибольшее внимание. Научное изучение Цицерона (речь сейчас идет о политической и философской сторонах его деятельности, а не об его ораторском стиле) начинается еще в прошлом веке работами Моммзена и Друманна, отмеченными весьма критическим и негативным отношением к нему (*Моммзен Т.* История Рима. Т. III. М., 1941; *Drumann W.* Geschichte Roms in seinem Übergange

von der republikanischen zur monarchischen Verfassung oder Pompeius, Caesar, Cicero und ihre Zeitgenossen. 2-e Aufl. 1-6 Bd. Berlin; Leipzig: Bornträger, 1899–1929. О Цицероне см: T. V. C. 203–708; T. VI. C. 1–604, 679–692). Тенденция современных исследований характеризуется стремлением, опираясь на достижения исторической науки о Древнем Риме, пересмотреть традиционный, слишком «литературный» образ оратора (см.: *Nicolet Cl. et Michel A.*, Cicéron. P., 1960). В советской науке ведущая роль в изучении социально-политических (отчасти и философских) сторон деятельности Цицерона принадлежит трудам С. Л. Утченко, и в частности его книге «Цицерон и его время» (М., Мысль, 1973), дающей марксистско-ленинскую интерпретацию личности Цицерона и его роли в истории Рима. Среди зарубежных работ до сих пор не утратили своего значения работы: *Ciaceri E.* Cicerone e i suoi tempi. 2 Vol. Milano; Roma; Napoii, 1941; две обширные, переизданные в 60-е годы, биографии Цицерона: *Peterson T.* Cicero: A Biography. N.Y., 1963, включающую наряду с подробным изложением фактов также и обзор произведений писателя (гл. XII. P. 366–433 — риторические трактаты; гл. XVI. P. 537–592 — философские сочинения; автор подчеркивает оригинальность Цицерона, P. 580–592); *Gelzer M.* Cicero. Ein biographischer Versuch. Wiesbaden: Steiner. 1969; см. также: *Syme R.* Roman revolution. Oxford, 1939. P. 135–148, 149–161; *Smith R. E.* Cicero. The Statesman. Cambridge, 1966; *Seel O.* Cicero. Wort. Staat. Welt. Stutgart: E. Klatt Verlag, 1953; *Stocton D.* Cicero. A political Biography. Oxford, 1971; *Maffii M.* Cicéron et son drame politique. P.: Fayard, 1961 (об отношениях с Цезарем, Помпеем, Крассом); *Bellinconi M.* Cicerone politico nell'ultimo anno di vita. Brescia, 1974. В массе зарубежных работ о Цицероне немало сочинений (преимущественно американских авторов), грубо модернизирующих и искажающих облик римского писателя. К числу таких сочинений относятся книги: *Cowell F. R.* Cicero and the Roman Republic. N. Y., 1956; *Haskell H. J.* This was Cicero. N.Y., 1942; *Wilkin R. W.* Eternal Lawyer. A Legal Biography of Cicero. N.Y., 1947 (см.: Boyencé. P. 256; *Утченко С. Л.* Цицерон и его время, С. 383. Подробнее см.: *Штаерман Е. М.* Цицерон и Цезарь в послевоенной буржуазной литературе // ВДИ. 1950. № 3. С. 152–160). Критическое отношение встретила и книга Ж. Каркопино (*Carcopino J.* Les secrets de la correspondence de Cicéron. P., 1947) за тенденциозность и своеобразную модернизацию (Пиганьоль, Балсдон, Буаянсэ, Дуглас), заметивший, что «из всего, что было написано о Цицероне, работа Каркопино отличается наибольшей идиосинкразией и предубеждением» (*Утченко С. Л.* Цит. соч. С. 334; *Douglas A. E.* Cicero. Oxford, 1960. P. 21). В самое последнее время в новой литературе пробудился интерес не только к политическим, но и социально-экономическим проблемам, связанным с деятельностью Цицерона, о чем свидетельствует сборник трудов, выпущенный недавно сотрудниками университета в Безансоне (Pour une analyse du système esclavagiste: le fonctionnement du texte cicéronien. Annales litteraires de l'Universite Besançon, 187. P.: Belles Lettres, 1976. P. 352), где помещены, в частности

статьи: *Clavel-Lévêque M.* Les rapports et la esclavagiste dans l'idéologie et la pratique de Ciceron; *Daubigney A.* La propriété esclavagiste chez Cicéron и др. В русле этого преимущественного интереса к политической стороне деятельности Цицерона находится и то особое внимание, которое уделяется прежде всего политическим трактатам, в первую очередь «De republica», несколько меньше — «De legibus» (*Буаянсэ.* Цит. соч. С. 273). Здесь следует назвать книгу К. Бюхнера (*Büchner K.* Studien zur Römischen Literatur. Bd. 2. Cicero. Weisbaden, 1962), в которой собраны его работы, опубликованные в периодических изданиях, и в частности статья: «Die beste Verfassung» (S. 25–116), представляющая детальный филологический анализ главным образом первой, в меньшей степени второй и третьей книг «De republica» и наряду с установлением источников (главным образом Аристотель) подчеркивающая специфически римский характер мысли Цицерона (речь Сципиона), статья «Der Tyrann und sein Gegenbild in Ciceron Staat» (S. 116–148) и др. Назовем еще: *Meyer H. D.* Cicero und das Reich. Köln, 1957; *Heuß A.* Ciceros Theorie von Römischen Staat. Göttingen, 1976 (о «De legibus» и «De officiis»); *Gigon O.* Studien su Ciceros De Republica (S. 208–355) // Gigon O. Die antike Philosophie als Maßstab und Realität. Zürich; München, 1977.

[4] Для исследований по философии Цицерона за последние полвека характерна тенденция подчеркнуть самостоятельную ценность философских сочинений, столь долго отрицавшуюся в период так называемого Quellenforschung, когда Цицерон рассматривался только как источник для истории греческой философии, помогающий восстановить не дошедшие до нас сочинения греческих философов, главным образом эпохи эллинизма. Шмекель, Гирцель, Хейнеман, Рейнхарт и многие другие видели в произведениях Цицерона лишь материал для изучения греческой философии периода Средней Стои. Как заметил Буаянсэ, «их целью, что касается Цицерона, было насколько возможно вообще устранить его» (*Boyancé P.* Les méthodes de l'Histoire. Cicéron et son oeuvre philosophique // REL. 1936. 14. P. 288). Но еще Виламовиц под конец жизни признал в своей последней работе значение Цицерона (*Wilamowitz-Moellendorf U. v.* Der Glaube der Hellenen. 2 Bd. Berlin, 1931–1932). Опровергая Моммзена, он показывает ценность философских работ Цицерона (II, 425–442), подчеркивая при этом их оригинальный, чисто римский характер. Говоря о греческой риторике и философии, Цицерон оставался римлянином, даже более чем Гораций и Вергилий (II, 438). Направление Quellenforschung было подвергнуто критике в статье Буаянсэ (см. выше), подчеркивавшего, что цицероновская мысль обладала такой степенью независимости и самостоятельности, которую невозможно не оценить (S. 309). В другой своей статье — «Les preuves stoiciennes de l'existence des dieux d'après Cicéron». Hermes, 1962 — он настаивает на необходимости прежде всего изучать собственное развитие цицероновской мысли, его собственные взгляды по тем или иным философским вопросам, а не взгляды Зенона, Хрисиппа или Посидония (см.: Ibid. P. 45–46), ср. также:

Douglas A. E. Cicero... P. 28–30. Последний даже указывает на возникшую противоположную опасность излишней переоценки оригинальности Цицерона (Ibid. P. 29). В более общем плане отношение Цицерона ко всей совокупности греческой культуры, сложность и противоречивость этого отношения, в котором, однако, преобладают патриотические мотивы, рассматриваются в статье И. М. Нахова «Цицерон и греческая культура» (см.: Цицерон, М.: МГУ, 1959. С. 72–104), отчетливо выделяющей мысль об «оригинальности и римской самобытности» (с. 96) писателя. См. также: *Trouard M. A.* Cicero's attitude towards the Greeks. Chicago, 1942; *Gigon O.* Cicero und die griechische Philosophie. S. 162—207. Из работ последнего времени, посвященных проблемам философии Цицерона, следует назвать книги: *Büchner K.* Cicero, Bestand und Wandel seiner geistigen Welt. Heidelberg, 1964. S. 542; *Süss W.* Cicero. Eine Einführung in seine philosophischen Schriften (mit Ausschluß der staatsphilosophischen Werke). Wiesbaden, 1966. S. 177; *Hunt H. A. K.* The humanism of Cicero, Melbourne, 1954. P. 221. С. Л. Утченко, оговаривая «неприемлемость их методологических установок» (речь идет о Бюхнере и Зюссе, но может быть с полным правом отнесено и к Ханту), в то же время признает добросовестное отношение к подбору материала и широкую эрудицию авторов, что дает ему возможность неоднократно обращаться к этим исследованиям. (см.: *Утченко,* 1973. С. 385). Книга Ханта представляет попытку показать весь цикл философских работ Цицерона как единую, цельную, продуманную систему философского образования римлянина. Несмотря на существенные замечания, касающиеся главным образом традиционного взгляда на Цицерона как на редактора греческих сочинений, книга вызвала в основном сочувственные отклики специалистов (*Bouglas.* Цит. соч. P. 33; *Rambaud* // REL. 1955. 33. P. 390–394). Буаянсэ называет книгу «оригинальной, изящной, несколько дискуссионной» (Travaux recents. P. 201).

[5] Риторические трактаты, по замечанию Буаянсэ (Ibid. P. 268), в 50–60-е гг. привлекали наименьшее внимание исследователей. Если это в какой-то мере справедливо по отношению к указанному периоду (хотя в это же время появились работы самого Буаянсэ, Кларке, Сольмсена, Мак-Кендрика и др.), то в целом за последние полвека риторика Цицерона не была обойдена вниманием исследователей, особенно в 60-х гг. К середине 30-х гг. относится известная работа: *Schulte H. K.* Orator. Untersuchungen über das ciceronianische Bildungsideal. Frankfurt a. M., 1935. S. 147. Той же теме посвящена книга: *Barwick K.* Das rednerische Bildungsideal Ciceros. Berlin: Akademie Verlag, 1963. См. также: *Дератани Н. Ф.* К вопросу об исторической обусловленности образа оратора у Цицерона // Цицерон. М.: МГУ, 1959. С. 55–71; *Гаспаров М. Л.* Цицерон и античная риторика // Цицерон. Три трактата об ораторском искусстве. М.: Наука, 1972. С. 7–73. Особое место в изучении Цицерона и его риторической теории принадлежит работам А. Мишеля и прежде всего его капитальной работе: *Michel A.* Les rapports de la rhétorique et de la philosophie dans l'oevre de Cicéron // Recherches sur les fondements phi-

losophiques de l'årt de persuader. P.: PUF, 1960. P. 752. См. также: Le «Dialogue des orateurs» de Tacite et la philosophie de Cicéron. P., 1962; Rhétorique et philosophie dans les Tusculanes // REL. 1961. 39. P. 158–171; Rhétorique, philosophie et esthétique générale. De Cicéron a Eupolinus // REL. 1973. 51. P. 302–326. В своей докторской диссертации А. Мишель ставит задачей показать единство и целостность ораторских произведений и вообще всего творчества и всей деятельности Цицерона прежде всего на философском уровне. Прекрасное владение греческой философией, широкий охват материала позволяют автору создать интересную и богатую картину взаимодействия риторической и философской традиций в произведениях Цицерона. В книге подробно анализируются произведения Цицерона, углубленно и всесторонне рассматриваются основные риторико-эстетические категории (pulchrum, aptum, decorum) в их философском аспекте. Критики упрекали Мишеля в чрезмерном увлечении сопоставлениями с греческими источниками, выражая сомнение в ценности некоторых сопоставлений такого рода, поскольку известная близость тех или иных положений необязательно означает непосредственное заимствование и несколько фраз из Цицерона не всегда достаточны для установления источника (Testard // REL. 1963. 40. P. 277–281). Несмотря на эти недостатки, к которым можно было бы присоединить и излишнюю риторичность, «литературность» авторского изложения, эта книга остается одной из фундаментальных работ, на которых строится в наше время изучение риторики Цицерона, да и вообще философско-эстетических аспектов его творчества. Проблемы взаимоотношения риторики и философии рассматриваются и в работе К. Бюхнера: Cicero, Grundzüge seines Wesens. Studien z. Röm, Lit. (Bd. 2, Wiesbaden, 1962. S. 1–25). Сопоставлению текстов речей Цицерона с текстами греческих авторов Антифона, Андокида, Исея, Лисия, Исократа, Эсхина, Гиперида, Дейнарха, Ликурга и особенно Демосфена (с. 66–194), убедительно доказывающему стилистическую независимость Цицерона от его греческих источников, посвящена книга: *Weische A.* Ciceros Nachahmung der attischen Redner. Heidelberg, 1972. S. 203. Немало работ посвящено технико-риторическим проблемам, например обширное исследование ораторского ритма: *Primmer A.* Cicero numerosus. Studien zum antiken Prosarhythmus. Wien, 1968. Весь второй том книги Лорана (*Laurand L.* Études sur le style des discours de Cicéron. P., 1938–1940) посвящен ораторскому ритму. О количестве работ, написанных на эту тему, может свидетельствовать обширная библиография работ о клаузулах, составленная тем же Лораном. Из работ об отдельных произведениях Цицерона назовем подробный риторико-стилистический комментарий к речи «В защиту Архия», предваряемый вступительной статьей о риторике Цицерона, его стиле и сопровождаемый кратким, но весьма содержательным комментарием: *Gotoff H. C.* Cicero's elegant Style. An analysis of Pro Archia. Univ. of Illinois Press. Chicago; London, 1979. P. 272. Собственно эстетические проблемы (в сравнении с вопросами риторики и стиля)

затрагивлись в научной литературе относительно редко. Эстетические воззрения Цицерона рассматриваются в исследовании К. Свободы (*Svoboda K.* Les idées esthétiques de Cicéron // Acta Sessionis Ciceronianae 3–5 Dec. 1957. Varsoviae habitae. Warzawa, 1960. P. 109–120), представляющем достаточно полный и тщательно документированный обзор (сводку) взглядов Цицерона по проблемам эстетики с настойчивым желанием установить греческий источник для каждого высказывания Цицерона, так что в результате перед читателем является весьма пестрая мозаика взглядов, а сам Цицерон предстает несамостоятельным мыслителем, переводчиком, неспособным даже обнаружить противоречия в своих источниках («Суждения Цицерона о физической красоте меняются в зависимости от источника, которому он следует». – Там же. С. 111). Несмотря на это, работа Свободы сохраняет значение добротного свода эстетических высказываний Цицерона. Теоретическое осмысление эстетики Цицерона мы находим в трудах А. Ф. Лосева, в частности в разделах «Истории античной эстетики», посвященных ему (*Лосев А.Ф.* История античной эстетики. Т. V: Ранний эллинизм. М.: Искусство, 1979. С. 477–492, 729–739), где Цицерон рассматривается и как теоретик риторической науки, и как философ, формулирующий теоретические принципы эстетики. А. Ф. Лосев раскрывает философские основы эстетики Цицерона, которые он видит в принципах стоического платонизма (с. 492) в духе Посидония и еще более конкретно — Антиоха Аскалонского, соединявшем в своем учении элементы платонизма, стоицизма и аристотелизма (см.: Там же. С. 477, 488–489). «Цицерон намечает такую концепцию художественной формы, которая есть вполне закономерный сплав платонизма и аристотелизма на общей стоической основе» (Там же. С. 490) (Во взглядах на отношение к Антиоху Аскалонскому он вполне сходится с А. Мишелем.) Неоднократно подчеркивает А. Ф. Лосев стремление Цицерона к «римской интерпретации греческой философии» (Там же. С. 730, 731), отмечая у него «глубокую интуицию своеобразия римского мира». Он показывает принципиальную новизну ряда эстетических положений Цицерона, приходя к выводу, что его эстетика явилась новым этапом в развитии эстетики раннего эллинизма. Одной из последних работ в этой области явилась книга: *Desmouliez A.* Cicéron et son goût. Essai sur une definition esthétique romaine à la fin de la Républque. Bruxelles, 1976. P. 637. Автор этого обширного исследования, не претендуя на безусловную оригинальность, ставит более скромную задачу — попытки синтеза или по крайней мере упорядочения разнообразных взглядов на эстетику Цицерона, сложившихся в современной науке. Он стремится проследить эволюцию эстетических представлений писателя, «его явственного и литературного вкуса» на широком культурно-историческом фоне, рассматривая теоретические взгляды и практическую ораторскую деятельность Цицерона в контексте его эпохи, учитывая многообразные эстетические теории, [illegible]ющие в это время, и полемику, ведущуюся вокруг них (аттикизм [illegible]

низм), влияние эллинистической философии и риторики, практику римского Форума и т. п. (77–120). В то же время автор в своем анализе принимает во внимание и личностные качества оратора, его образование (77–120), черты характера, психологический склад личности (121–216), философские взгляды и т. п., что делает его исследование более многосторонним и убедительным. Важным моментом работы представляется стремление автора раскрыть национально-историческое своеобразие философско-эстетических представлений Цицерона и подчеркнуть этическую окрашенность его эстетики (217–316). Не желая вступать на путь эстетических спекуляций и общих рассуждений, автор предпочитает остаться в тесном контакте с текстом, строя свои обобщения лишь на основе фактов. Терминологический анализ текста приводит к достаточно плодотворным результатам. Ниже мы коснемся подробнее некоторых терминологических наблюдений автора (decorum, dignitas).

[6] Помимо двух больших биографических работ Петерсона и Гельцера (см. примеч. 3) укажем не потерявшую еще значение книгу Л. Лорана, очень богатую фактическим материалом (см. примеч. 3), А. Е. Дугласа (см. примеч. 4) и небольшую, популярную, но весьма содержательную книгу: *Nicolet Cl. et Michel A.* Cicéron (P., 1960). Значению Цицерона для мировой культуры посвящена помимо знаменитой работы Ф. Ф. Зелинского (*Zielinski F.* Cicéro in Wandel der Jahrhunderte. Leipag: Berlin, 1906) вышедшая сравнительно недавно книга: *Weil B.* 2000 Jahre Cicéro W. Classen Verlag. Zurich, 1962. S. 443, характеризующаяся, впрочем, немалой дозой спекулятивной модернизации личности Цицерона и связанной с ним проблематики (особенно откровенно выраженной во введении, написанном в форме писем, которыми обмениваются автор книги и Цицерон).

[7] Обширная библиография работ, специально посвященных изучению языка и стиля Цицерона с конца прошлого века и до 30-х гг. нашего века, приводится в книге Л. Лорана (см. примеч. 5), на с. 405–406 дается список имен авторов, чьи работы по данным проблемам упоминаются в книге. Изучение языка и стиля Цицерона начинается еще в эпоху Ренессанса, одновременно с первыми изданиями текстов писателя. Нет ни возможности, ни необходимости перечислять здесь все эти труды: эпоха (что касается стиля латинской речи) проходит под знаком Цицерона. Некоторые из этих трудов до сих пор не утратили своего значения. Таков, например, знаменитый «Лексикон» Мария Низолия (1535), выдержавший множество переизданий, лучшим из которых является лондонское трехтомное издание 1820 г., воспроизводящее издание начала XVIII в. итальянского филолога Фаччьолатти: Lexicon Ciceronianum Marii Nisolii ex recensione Alexandri Scoti nunc crebris locis refectum et inculcatum... iuxta editionem Jacopi Facciolati. Londini, 1820. По мнению Л. Лорана (Cicéron... P. 379), этот Лексикон дает лучшее представление о цицероновском употреблении, чем современный многотомный «Лексикон» Мэргэ.

Следует упомянуть также более позднюю (XVIII в.) работу, послужившую источником множества современных комментариев к Цицерону (*Laurand L.* Cicéron... P. 380): J. Augusti Ernesti Clavis Ciceroniana sive Indices rerum et verborum philologico-critici in opera Ciceronis; accedunt Graeca Ciceronis necessariis observationibus illustrata. Ed. quarta auctior et emendatior. Halae, impens. Orphanotrophei, 1777 (Ed. prin. Lipsiae, 1757). Не утратили своего значения и два общих исследования языка и стиля Цицерона: *Lebreton J.* Études sur la langue et la grammaire de Cicéron, P., 1901; *Laurand L.* Études sur le style des discours de Cicéron. P., 1930–1940.

[8] *Ernout A.* Mémorial des Études Latines // Revue des Études Latines. 1943. P. 35.

[9] *Yon A.* Ratio et les mots de la famille de reor. P., 1933. P. 290; 2 ed., 1939 (о Цицероне Index locorum. P. 285–286) – книга, положившая начало большой серии аналогичных исследований: *Monteil P.* Beau et laid en latin. Étude de vocabulaire. P., 1964. P. 373; *Moussy Cl.* Gratia et sa famille. P., 1966. P. 501; *Pellicer A.* Natura, Étude sémantique et historique du mot latin. P.: PUF, 1966. P. 525. Последний замечает: «...произведения Цицерона и Лукреция могли бы одни доставить материал для исследования, к которому последующие смогли бы добавить лишь самые незначительные детали; и, даже ограничиваясь Цицероном, можно было бы без труда составить полный каталог употреблений natura: все конструкции, где можно встретить этот термин, представлены у него; более того, он употребляет natura с такой тонкостью и смелостью, которые никогда не смогут повторить его потомки...» (P. 142). Назовем еще: *Hus A.* Docere et les mots de la famille de docere. Étude sémantique latine. P.: PUF, 1965. P. 409; *Morillon P.* Sentire, sensus, sententia. Recherche sur le vocabulaire de la vie intellectuelle, affective et physiologique en latin. Univ. de Lille, 1974. P. 557.

[10] *Causeret Ch.* Étude sur la langue de la rhétorique et de la critique littéraire dans Cicéron. P., 1886; *Liscu M. O.* Étude sur la langue de la philosophie morale chez Cicéron. P., 1930; *Heinze R.* Auctoritas // Hermes. 1925. 60. S. 348–366; Id. Fides // Hermes. 1929. 64. S. 146–166; *Dumézil G.* Maiestas et Gravitas // Revue de Phiologie. 1952. 26. P. 7–28; *Wagenvoort M. H.* Roman Dynamism. Studies in ancient Roman thought, language and custom. Oxford. 1947 (ch. IV. Gravitas – Maiestas); *Frank E.* De vocis urbanitas apud Ciceronem vi atque usu. Berlin, 1932; Ranage E. S. Urbanitas. Cicero and Quintilian American Journal of Philologie. 1963. 84. P. 390–414; *Balsdon J. P.* Auctoritas. dignitas, otium // The Classical Quarterly. 1960. 10. P. 43–50 и др. Проблемы освоения греческой терминологии исследуются в работах Т. К. Фомин[illegible] «Философская терминология Цицерона (на основе анализа трактата «De finibus bonorum et malorum») (дисс.) (М., 1958), где вопросы термино[illegible] рассматриваются «в связи с теми общими языковедческими про[illegible]ми, которые затрагивает Цицерон, — это вопросы о нео[illegible] о заимствованных словах, о переводах термина» (с. 9), а та[illegible] *[illegible]tung H. J.* Ciceros Methode bei der Überzetsung griechischer ph[illegible] Termini. Hamburg, 1970, в которой исследуются важне[illegible]

теории познания (с. 26–112), термины теории ценностей (с. 113–180) и способы их передачи на латинский язык Цицерона.

[11] *Hellegouarc'h J.* Le vocabulaire Latin des relations et des partis politiques sous la republique. P., 1963. P. 601, где рассматриваются такие термины, как fides (23–40), amicitia (1–90, 142–150), nobilitas (242–294), humanitas (267–271), gravitas (279–223), auctoritas (295–300), maiestas (314–320), dignitas (306–420).

[12] *Korpanty J.* Studia nad łacińską terminologią polityczno-socjalną okresu republiki rzymskiej. Wroclaw; Warzawa; Krakow; Gdansk, 1976. S. 136.

[13] *Poncelet R.* Cicéron, traducteur de Platon. L'expression de la pensée complexe en latin classique. P., 1953 (в действительности 1957); Precision et intensité dans la prose latine // REL. 1948. 26. P. 134–156; Sur la forme cicéronienne du latin de pensée, influences grecques et solutions latines //Actes du Congrés de l'Association. G. Budé. P., 1960. P. 307–308.

[14] Сложная, порой парадоксальная, остро полемичная и «слишком односторонняя» (*Douglas*... P. 34) книга Понселэ вызвала весьма противоречивые оценки в научной литературе (см.: *Boyancé*. Les travaux... P. 203). Помимо одностороннего подхода критика отмечала, что автор не учитывает в полной мере трудностей вообще всякого перевода с одного языка на другой, равно как и позиции самого Цицерона, создававшего не абстрактный философский стиль, а стиль, стремящийся в максимальной степени избегать технических терминов, представлявшихся ему излишними, стиль доступный и понятный (ср. ту же мысль относительно риторической терминологии у Козэрэ (*Causeret*. P. 13). Проблеме перевода посвящена и кн.: *Müller H.* Ciceros Prosaübersetzugen. Beiträge sur Kenntniss der ciceronischen Sprache. Marburg, 1964. S. 154.

[15] Более общие проблемы лексических заимствований у Цицерона составляют предмет исследования финского ученого П. Оксала: *Oksala P.* Die griechischen Lehnwörter in den Prosaschriften Ciceros, Helsinki, 1953. S. 176. Оксала ставит своей задачей рассмотреть проблему лексических заимствований, влияния языка более высокой культуры на развитие латинского языка. Цицерон представляется ему наиболее подходящим материалом для этого (с. 7–8). Тщательное исследование, проделанное финским ученым, с практически исчерпывающим привлечением материала, классификацией типов заимствованных слов, рассмотрением частотности заимствований по группам произведений (жанрам) приводит, однако, к малопоказательным результатам: дифференциация оказывается выраженной весьма слабо (речи — 0,2, письма — 0,2, риторические трактаты — 0,3, философские трактаты — 0,3). А. Марузо видит причину этой неудачи в ошибочной методологии исследования и, в частности, в отсутствии четкого ответа на вопрос, что считать заимствованием. Он вполне справедливо сомневается, что в эпоху Цицерона ряд слов, анализируемых Оксалой, воспринимались говорящими как заимствованные, ибо в субъективном смысле слова заимствованием является слово, воспринимаемое как иностранное

(см.: *Marouzeau ...* // REL. 1954. 32. P. 347). Нечеткость методологических установок приводит исследователя к выводам, малопоказательным с точки зрения характеристики индивидуального стиля и языка писателя.

[16] *Лосев А. Ф.* История античной эстетики: В V Т. Т. V: Ранний эллинизм. М.: Искусство, 1979. С. 483.

[17] *Perrot J.* [Рец. на книгу Монтейя] // REL. 1966. 39. P. 537.

[18] *Duchaček O.* Le champ conceptuel de la Beauté en français. Praha, 1960. P. 215.

[19] *Perrot J.* Op.cit. P. 539.

[20] *Duchaček O.* L'evolution de l'articulation linguistique du domaine esthétique du latin aux français contemporain. Brno, 1978. P. 260.

[21] *Duchaček O.* 1978. P. 9–51.

[22] Ibid. P. 9.

[23] Ibid. P. 8.

[24] Ibid. P. 9.

[25] Ibid. P. 7; *Poncelet.* Cicéron traducteur... P. 33.

[26] *Duchaček O.* 1978. P. 7–8.

[27] *Poncelet.* Cicéron traducteur... P. 33.

[28] *Matoré G.* La Méthode de lexicologie. Domaine français. P., 1953. Духачек (*Duchaček O.* 1960. P. 17) считает такую постановку вопроса спорной.

[29] *Лосев А. Ф.* Две необходимые предпосылки для построения истории эстетики до возникновения эстетики в качестве самостоятельной дисциплины // Эстетика и жизнь. М., 1979. С. 221–238.

[30] Там же. С. 221.

[31] Там же. С. 222, 225.

[32] *Лосев А. Ф.* Эстетика // Философская энциклопедия. М., 1970. Т. 5. С. 570.

[33] *Маркс К., Энгельс Ф.* Из ранних произведений. М., 1956. С. 566.

[34] Там же. С. 593–594.

[35] *Тугаринов В. П.* Теория ценностей в марксизме. Л., 1968. С. 10, 13.

[36] *Маркс К.* Теория прибавочной стоимости // Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Изд. 2-е. М., 1962. Т. 26. Ч. 1. С. 414.

[37] *Тугаринов В. П.* Теория ценностей... С. 13; *Ивин А. А.* Основания логики оценок. М., 1970. С. 12; *Столович Л. Н.* Ценностная природа категории прекрасного // Проблема ценности в философии. М.; Л., 1966. С. 79.

[38] *Тугаринов В. П.* Теория ценностей... С. 9; *Он же.* Красота как ценность // Философские науки. 1963. № 4. С. 59. *Ивин А. А.* Цит. соч. С. 11–25.

[39] *Ивин А. А.* Цит. соч. С. 25.

[40] Там же. С. 21; *Вольф Е. М.* Семантика и грамматика прилагательного. М., 1977.

[41] *Дробницкий О.* Некоторые аспекты проблемы ценностей // Проблема ценности в философии. М.; Л., 1966. С. 33.

[42] *Столович Л. Н.* Предмет эстетики. М., 1961. С. 67.

[43] *Тугаринов В. П.* Теория ценностей в марксизме... С. 41.

[44] *Ивин А. А.* Цит. соч. С. 23.

[45] Там же. С. 31.

[46] Там же. С. 63.

[47] *Каган М. С.* Лекции по марксистско-ленинской эстетике. М., 1971. С. 78.

[48] Там же. С. 80.

[49] Cicero. De officiis. I.14.

[50] *Каган М. С.* Цит. соч. С. 93.

[51] Там же. С. 93.

[52] *Лосев А. Ф.* Эстетическая терминология ранней греческой культуры // Уч. зап. Моск. гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина. Т. 83. 1954; *Он же.* Эстетическая терминология Платона // Из истории эстетической мысли древности и Средневековья. М., 1961.

[53] *Лосев А. Ф., Шестаков А. П.* История эстетических категорий. М., 1965. С. 12.

[54] *Лосев А. Ф.* Эстетическая терминология ранней греческой литературы. С. 50.

[55] *Столович Л. Н.* Ценностная природа категории прекрасного. С. 74.

[56] Там же. С. 74.

[57] Там же. С. 77.

[58] Там же. С. 77–79.

[59] Исследование лексики как системы представляет большие трудности. В науке о языке за последние полвека с небольшим сложился метод исследования лексики с помощью так называемого языкового поля, впервые предложенный Г. Ипсеном, употребившим в лингвистическом смысле термин «семантическое поле» (ein Bedeutungsfeld): *Ipsen G.* Der alte Orient und die Indogemanen // Stand und Aufgaben der Sprachwissenschaft. Heidelberg, 1924). Его идеи были восприняты Порцигом (см.: *Porsig W.* Aischylos. Leipsig: Wiegand, 1926. S. 55–565; *Porsig W.* Das Wunder der Sprache. Bern, 1950. S. 71–74) и И. Триром, заменившим термин Bedeutungsfeld термином Sprachliches Feld: *Trier J.* Der deutsche Wortschatz in Bezirke des Verstandes. Die Geschichte eines sprachlichen Feldes. Heidelberg, 1931; *Он же.* Die Worte des Wissens. Mitteilingen des Universitätsbundes. Marburg, 1931. P. 31–40; *Он же.* Die Idee der Klugheit in ihrer sprachlichen Entfaltung // Zeitschrift für deutsche Bildung, 1932. S. 625–635; Он же. Sprachlicher Feld // Zeitschrift für deutsche Bildung. 1932. 38. S. 417–427); *Он же.* Das sprachliche Feld // Neue Jahrbücher für Wissenchaft und Jugendbildung. 1934. 10. S. 428–449.

Среди многочисленных концепций языкового поля Духачек признает наиболее приемлемой концепцию Ипсена, модифицированную Триром, определяющим поле как «объединение всех слов, принадлежащих к одной и той же мыслительной сфере» (*Duchaček O.* 1960. P. 19). В то же время Духачек настойчиво подчеркивает (в отличие от Ипсена-Трира) невозможность точно фиксировать границы разных понятийных полей

и классифицировать всю лексику без лакун и перекрещивания полей на их стыках (см.: Там же. С. 19). Для Духачека понятийное поле включает все слова, относящиеся к определенному концепту, независимо от того, является ли он семантической доминантой или лишь одним из коннотационных элементов.

[60] *Cicero.* De officiis. I. 107; I. 130.

[61] *Duchaček O.* 1978. P. 9, 36–39; *Duchaček O.* 1960. P. 158.

[62] Группа suavis – dulcis кратко рассматривается в работе А. Эрну: *Ernout A.* Le vocabulaire poétique... // Philologica II. P., 1957; Iucundus в работе: *Moussy C.* Gratus et iucundus // REL. 1964. 62. P. 369–400.

[63] *Duchaček O.* 1960. P. 19.

[64] *Duchaček O.* 1978. P. 43.

[65] Духачек относит lepos – lepidus к центру поля, более того, он высказывает предложение, что lepos относится к древнейшим наименованиям красоты в латинском языке, указывая при этом на постоянную смену в этой функции lepos – pulchritudo – bellus (см.: *Duchaček O.* 1978. P. 19, 50). В то же время несомненна связь между лексемами lepos и venustas (см.: *Monteil P.* 1964. P. 345–346).

[66] *Duchaček O.* 1978. P. 10. Параллельное образование pulchritas, засвидетельствованное у Цецилия (Nonius II. 665), представляет единичный случай.

[67] T. IV.31; Off. I.18; Off. I.130.

[68] Cum autem pulchritudinis duo genera sint, quorum in altero venustas est, in altero dignitas, venustatem muliebrem ducere debemus, dignitatem virilem. (Off. I.130) ...in formis aliis dignitatem inesse, aliis venustatem... (Off. I.107).

[69] Употребляя термин «модификация», мы следуем пониманию его А. Ф. Лосевым как обозначения «разных типов, разных качеств и разных степеней прекрасного», выражающих его с различных сторон, т. е. «вообще всякой разновидности прекрасного» (*Лосев А. Ф.* История античной эстетики. М. Т. 2. С. 298).

[70] Платон утверждает, что «величественное и побуждающее к мужеству имеет мужской облик, склоняющееся же к благопристойности и скромности более родственно женщинам» («Законы», VII.802e). Лосев А. Ф. подчеркивает эстетический характер этого противопоставления, выступающего и в более общей оппозиции стилей «энергичного» и «мягкого» (см: *Лосев А. Ф.* История античной эстетики. С. 405–407).

[71] *Татаркевич В.* Античная эстетика. М.: Искусство, 1977. С. 197.

[72] *Duchaček O.* 1978. P. 43.

[73] Эллегуарк (*Hellegouarc'h.* Le vocabulaire... P. 394; *Он же.* Dignitas et la notion de convenance... // REL. 1961. 30. P. 40–47), ссылаясь на исследование Р. Шиллинга (*Schilling R.* La religion romaine de Venus dès les origines jusqu'au temps d'Auguste. P., 1954. P. 442), выдвинувшего теорию об этих двух системах, обладающих присущим каждой из них [illegible]

котором отразился определенный склад представлений, предполагает, что эти системы не ограничиваются религиозной сферой, но проявляются и в других идеологических областях, в частности в эстетических взглядах, и считает возможным таким образом объяснить представляющуюся на первый взгляд темной связь venustas – dignitas.

74 *Hellegouarc'h*. Dignitas... // REL. 1961. P. 47.

75 *Лосев А. Ф.* История античной эстетики. Т. 5. С. 480.

76 *Duchaček O.* 1978. P. 20, 46.

77 *Ernout A.* Le vocabulaire poétique... // Philologica II. P., 1957. P. 80. Часто в нем видят заимствование греческое или этрусское (Stolz–Leumann. Lateinische Grammatik. 5 Aufl., München. S. 131; ср.: *Monteil P.* P. 72, n. 2). Сближение с греческим может объяснить придыхание в pulcher. Ср.: Dictionnaire étymologique de la langue latine par A. Ernout et A. Meillet. 4 éd. P., 1959. S. v. pulcher. Напротив, словарь Вальде – Хоффмана не находит основания видеть здесь какое-либо заимствование: Walde A., *Hoffmann J. B.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I, Heidelborg, 1938. S. v. pulcher. Бреаль и Штольц сближают с polire (polikro-s < pol-kro-s), Хейнце — с pollere. (см.: *Monteil P.* ... P. 72–73). Монтей присоединяется к последней этимологии (р. 105). Вальде (622) связывает с греческим («темный», затем «пестрый»). Та же этимология см.: Grandsaignes d'Hauterive Dictionnaire des racines des langues européennes. P., 1948. P. 156.

78 Walde – Hoffmann. LEW S. v.; Ernout-Meillet... «без этимологии».

79 П. Монтей (*Monteil P.* Beau et Laid en Latin. Étude de vocabulaire. P.: Klincksieck, 1964. P. 74) намечает два ряда значения для pulcher — эстетический и сакральный. В своем анализе из десяти выделяемых им групп значений половину он так или иначе связывает со вторым рядом.

80 Sexti Pompei Festi De verborum significatione. Lipsiae, 1913. P. 274–280.

81 *Ernout A., Meillet A...* S.v. pulcher.

82 *Ernout A.* La vocabulaire poétique. P. 81.

83 *Monteil P.* 1964. P. 108.

84 Таковы longe pulcherrima praepes ... avis (D. I.108). Ср.: An. 91— о благоприятном птицегадании; вещие птицы садятся praepetibus pulchrisque locis (D. I.108; An. 94). Прилагательное сакрального смысла praepes — «счастливый, знаменующий добро» — соединяется с pulcher в устойчивую группу, как и в pulchro... praepete portu (An. 488). В рассказе о сне Илия называется pulcher homo (D. I.40; An. 80) (Илию похищает бог в образе человека). Аналогично pulcher называется Ромул в рассказе о птицегадании (D. I.107; An. 80). А. Эрну отмечает в этих текстах «моральное, более того, религиозное значение» прилагательного (*Ernout A.* Le vocabulaire poétique. P. 80).

85 У того же Энния встречается сочетание naves pulchrae (An. 144). Ничто не мешает видеть здесь укращающий эпитет, обычный для эпической поэмы, с присущим такому употреблению ослаблением

семантики (*Ernout A.* Le vocabulaire poétique. P. 81), и аналогичное употребление у Цицерона: classis (Ver. VIII.186, V.91), navis (Ver. V.44), myoparo (Ver. I.87), cybaea (Ver. V.44) свидетельствует скорее о древнем общеположительном значении, оценивающем «наибольшее соответствие своему функциональному назначению» — флот, корабль, челнок, наилучшим образом служащие своему назначению. Ср.: Monteil P.o.c. § 6 главы «Pulcher»: «...выражение идеи максимального развития качества». Мы не раз встретимся у Цицерона с идеей обусловленности эстетического функциональным, представляющейся результатом уже далеко зашедшей дифференциации этих областей и в то же время сохраняющейся в глубине сознания идеи их былого синкретизма. Близко по значению к названным выше и определение лексемой pulcher таких вещей, как ager (Leg.agr. II.76, II.43), fundus (Leg.agr. II.30), possessio (Leg.agr.), praedium (Sull. 56.8; S. Rosc. 43).

[86] ...et corporis est quaedam apta figura membrorum cum coloris quadam suavitate eaque dicitur pulchritudo... (T.XV.31); ...ut enim pulchritudo corporis apta compositione membrorum movet oculos et delectat hoc ipso, quod inter se omnes partes cum quodam lepore consentiunt... (Off. I.98); ...eorum ipsorum, quae aspectu sentiuntur, nullum aliud animal pulchritudinem, venustatem, convenientiam partium sentit (Off. I.14).

[87] Духачек (*Duchaček O.* 1978. С. 8) подчеркивает, что эстетическая сфера ограничивается областями зрения и слуха, и эестетическая оценка относится к реальностям, воспринимаемым этими чувствами.

[88] *Cicero.* De officiis. I. 14.

[89] Pravitas imminutioque corporis (Fin. V.47); prava, debilitata, imminuta (Ibid. V.46); ср.: *Monteil P.* P. 343.

[90] ...quae compositio membrorum, quae conformatio liniamentorum, quae figura, quae species humana potest esse pulcherior? (N.D. I.47).

[91] Об отношении aptum и pulchrum см.: *Michel A.* P. 298–311. Он рассматривает pulchrum как выражение самодовлеющей, абсолютной красоты, тогда как aptum есть красота обусловленная; pulchrum – красота целого, aptum – красота детали (P. 360). Категория aptum должна рассматриваться в связи с категорией decorum (P. 310). Мишель отмечает влияние цицероновской концепции прекрасного и, в частности, отношений понятий pulchrum и aptum у Августина: речь идет о несохранившемся сочинении «De pulchro et apto», которое Августин излагает в «Исповеди» (*Augustinus A.* Confessiones. IV.13.20): ...in ipsis corporibus aliud esse quasi totum et ideo pulchrum, aliud autem ideo deceret, quoniam apte accomodaretur alicui, sicut pars corporis ad universum suum... et pulchrum quod per se ipsum, aptum autem quod ad aliquid accomodatum deceret (Conf. IV.15.24). Ср.: Cic. T. IV.37; Off. I.14.; *Testard M.* Saint Augustin et Cicéron. Vol. I, P., 1958. P. 49–66. Оба автора указывают на сходство терминологии Августина с терминологией Цицерона.

[92] ...quod ea forma neget ullam pulchriorem esse Plato. At vel cylindri... videtur esse formosior... (N.D. 24). Ср.: Платон. Timaeus, 33. Аналогично

Пифагор: «Из фигур он считал прекраснейшим среди объемных — шар, а среди плоских — круг» (Диоген Лаэртский VIII. 35, рус. пер.).

[93] Лебретон понимает термин pulchritudo у Цицерона как перевод греческого κόσμος. (*Lebreton J.* Études sur langue et la grammaire de Cicéron. P., 1901. P. 68.)

[94] ...tantum pulchritudinem, ut nulla species ne cogitari quidem possit ornatior... (De or. III.179.2).

[95] D. II.148; N.D. II.58; N.D. III.18; Ti. 4; Lae. 88. pulcher. Ti. 6, 7, 12, 13; N.D. II.18, 76, 87, 155; III.21, 23, 26.

[96] *Лосев А. Ф.* История античной эстетики. Т. 1, 5 (см. ранее и далее). С. 480–486; Т. 2. С. 370–405, 607–620, 665–677. *Лосев А. Ф., Шестаков В. П.* История эстетических категорий. С. 13–17, 36–60. А. Мишель видит истоки космологической концепции pulchrum у Цицерона во взглядах Зенона, Клеанфа, Аристотеля, Средней Стои (*Michel A.* Les rapports... P. 301).

[97] *Татаркевич В.* Античная эстетика. С. 186–187.

[98] Ср.: *Monteil P.* 1964. P. 105.

[99] N.D. I.77(2); I.79.(2); D. I.40; I.107; D. I.52; T. I.96; V.30; V.62; Off. I.144; III.95(2); Inv. II.3; Ver. I.64; Sest. 134; Mur. 26; Fam. III.75.

[100] D. I.40, 107, 52. Последний пример (D. I.52) спорен, и pulcher в нем может пониматься уже в эстетическом смысле. В тексте «Critiae pulchro» (T. I.96) мы имеем дело с переводом с греческого: κριτίᾳ τῷ καλῷ Xen. I.56, — где καλός — обычная форма вежливости у афинян. Тексты Sest. 134, Mur. 26 представляют разговорно-иронические употребления, где содержание лексемы скорее общеоценочное, что не мешает ей в других случаях обладать эстетическим значением. Точно так же и при определении других одушевленных объектов (avis — D. I.108, pecus — D. I.44) pulcher совмещает сакральное и эстетическое значения, а в случае taurus (N.D. I.70) эстетическое содержание преобладает.

[101] ...venustas et pulchritudo corporis secerni non potest a valetudine... (Off. I.95). Venustas et pulchritudo образуют здесь гендиадис, где venustas подчеркивает эстетическую сторону pulchritudo (обаяние красоты).

[102] Fin. IV.35; V.18; V.47; Leg. I.55; T. V.30; Off. I.95; III.25. Нельзя согласиться с П. Монтейлем, заявляющим, что в этих контекстных ситуациях pulchritudo не имеет эстетического значения, а выражает «прекрасное состояние тела, наслаждающегося всеми своими возможностями». Выделенность от vires и valetudo, физических квалификаций тела, в особое качество со своей особой номинацией придает pulchritudo значение, которое в данном случае может быть понято как эстетическое.

[103] Ср. роль здоровья и красоты в эстетике Платона: *Лосев А. Ф.* История античной эстетики. Т. 2. С. 433–440; *Michel A.* Les rapports... P. 300–309, 321.

[104] *Monteil P.* 1964. P. 108.

[105] Signum (Ver. I.46; 49; 61 (2); IV.4; 36; 89; 110; 119; V.184). Simulacrum (Ver. IV.94; 98; V.184; Or. 8.6–7; Inv. II.1.9. Imago H. III.37.5). Himera —

статуя, символизирующая город в образе женщины (Ver. II.87); статуэтки вакханок (Fam. VII.23, 2, 11); vasa (Ver. IV.62; 63); crater (Ver. IV.131); candelabrum (Ver. IV.64); monile (Ver. IV.32); gemma (Ver. IV.65); mensa (Ver. IV.37); stragulum (T. V.61); caput (Ver. IV.128) (текст испорчен); valvae (Ver. IV.124), служащие для «украшения» храма; Os Gorgonis 9Ver. IV.124), изображенный на этих дверях (определение pulcher, прилагаемое к лику Горгоны, оценивает мастерство исполнения).

[106] Ver. I.49; IV.29, 84, 110, 128, 123; I.33.

[107] Ver. II.41 (2); III. 88; IV.69, 119, 115, 117; I.55, V.184, 127, 67, 99.

[108] *Лосев А. Ф.* Римско-эллинистическая эстетика. М.: МГУ, 1979. С. 30.

109 Помимо перечисленных выше N.D. III.21; R.P. III.43; Catil. II.19; 29; III.1; T. V.57; Flacc. 62; Ver. IV.120; Leg.agr. II.91; 95; Prov.cons. 29.

[110] Ср. у Цезаря: Cultus atque humanitas (Caes. B.G.I.1), где humanitas соот-ветствует lepos в тексте Цицерона.

[111] Но в определении classis лексемой pulcher речь может идти только о функциональности.

[112] Но не Div. 107—108, где определение носит сакральный характер.

[113] Xenophontis. Memorabilia. III.10.1. Parrhasius.

[114] А. Ф. Лосев отмечает, что этот текст «впервые в истории эстетики вызывает на первый план понятие cogitata specie мысленного образа, созерцаемого художником в глубине собственного духа», указывая на «вполне эллинистический корень учения Цицерона» (*Лосев А. Ф.* История античной эстетики. С. 487), выражающего идею, «имеющую в дальнейшем всемирно-историческое значение» (с. 490).

[115] Ср.: *Monteil P.* o.c., глава «Pulcher».

[116] Далеко не все употребления связаны с собственно эстетическим аспектом значения. Значительное место занимают контекстные ситуации, в которых качество pulchrum есть лишь усиленный вариант bonum, эквивалентный его элативу. Таковы оценки результата ментальной деятельности человека: cognoscere, comprendere, percipere (A. II.62); verum (Fin. I.3), excellere in cupiditate cognitionis et scientiae (Off. I.18); quaestio (N.D. I.1), рассматриваемые как прекрасные познания духа, т. е. рассматриваемые как функционально эффективные, где значение pulcher сводится к «весьма пригодный, соответствующий» или в другом случае «весьма достойный, похвальный». В этих употреблениях речь идет, прежде всего, об общеположительной квалификации объекта «похвальный, заслуживающий одобрения». Этот этико-утилитарный аспект семантики достаточно отчетливо выражен в приложении рассматриваемых лексем к оценке деяния, поступка, а также мыслей и слов, когда они выражают готовность или намерение совершить какой-то поступок. Можно назвать немалое число контекстных ситуаций, где pulcher определяет деяние: factum (Off. III.19; Dom. 94; Phil. I.9; II.114; II.117; III.18; IV.5; Fam. XII.3, I, 5), facinus (Rabir. 19), res gestae (Phil. II.84). Ср. также: Off. III.2; Phil. IV.34; Ver.a.p. 36. Реальное содержание этого

«деяния» — тираноубийство (Phil. I.9; II.36; II.114; II.117; Off. III.19; Fam. XIII.3.1), казнь катилинариев (Phil. III.8), отказ легиона поддержать Антония (Phil. IV.5). В тексте Phil. II.114 оценка тираноубийства расчленена на три аспекта: facere pulchrum, beneficio gratum, fama gloriosum. Лимитационное употребление re ограничивает оценку pulchrum лишь областью самого факта деяния, оставляя оценку полезности этого поступка gratum, а последующей славы — gloriosum. Тем самым значение pulchrum в данной контекстной ситуации сближается с предшествующим ему praeclarum atque divinum, вводящим pulchrum в семантическую область этически прекрасного, где намечается типичный для Античности синтез этической и эстетической оценок (ср.: горацианское dulce et decorum — Carm. III.2). Отметим попутно и «незаинтересованность» оценки pulchrum, отделенной от gratum et gloriosum. Убийство тирана оценивается как деяние, занимающее высшую ступень в иерархии этических ценностей и в тексте Off. III.19: ex omnibus praeclaris factis... pulcherrimum, где мы видим ту же синонимию praeclarum — pulchrum. Ту же группу встречаем и в тексте Cat. 43. Монтей замечает, что в сознании современников Цицерона pulcher четко совмещает эстетическое и моральное значение (P. 93). По его словам, «существует мало языков, где бы так тесно проявлялась взаимосвязь понятий доброго и прекрасного (P. 342), и он считает возможным предположить, что латинское сознание вообще воспринимало эстетическую красоту через моральную оценку (Ibid.). Общеположительный аспект семантики «прекрасный», «великолепный», «самый лучший» выдвигается на первый план и в определении таких понятий, как libertas (Dom. 108), amicitia (Lae. 80; 26), nomen pacis (Phil. XII.8; 9), patria (Catil. IV.2), civitas (B. 24.3). Эстетический компонент обнаруживается значительно ярче и отчетливее, когда абстрактные понятия метафорически приобретают черты материально зримого образа. Так, в тексте splendor facti pulcherrimi (Dom. 94) метафорическое употребление splendor привносит эстетический оттенок в собственно этическое содержание pulcher. В материально-предметной метафоре amici — pulcherrima — vitae supellex (Lae. 55) прилагательное по отношению к основному пункту сравнения (amici) имеет преимущественно этическое значение, но на уровне всего сравнения, где возникает конкретный образ, обладает уже эстетическим содержанием. В метафоре из текста «Тускуланских бесед», представляющей нравственную жизнь (vita beata), ведомую на мучения в темницу, pulcher определяет «свиту добродетелей», которой «нравственная жизнь» в данном случае лишена: «...что отвратительнее (foedius), что безобразнее (deformius), чем зрелище оставленной в одиночестве, лишенной прекраснейшей свиты добродетелей?» (T. V.80). Относящийся, по существу, к virtus, pulcher формально определяет comitatus, отчетливо воспринимаемый зрительно, тем самым определенную эстетическую окраску, подчеркнутую антитезой с foedus и, особенно, с deformis.

[117] Off. II.37; Fin. IV.42; I.42; T. V.67; 80; III.4; IV.31; 67; Piso 81.

[118] Fin. II.47; 49; IV.58; T. III.4; II.64 (amplitudo animi).

[119] *Monteil P.* o. c. P. 102.

[120] Ср. также: Fin. II.63, хотя контекст несколько ироничен и предполагает скорее не эстетические качества речи, а характер содержания и аргументации. Определение наречием pulchre глаголов augurari, litari (D. I.45; II.36) связано с древнейшим сакральным значением лексемы — «благоприятный», «счастливый» — и указывает не на характер протекания действия, а на его результат. Ср. также: consulere (Fr.A. III.9), adseverare (Cluent. 72).

[121] *Duchaček O.* 1970.

[122] На принадлежность основы *os/*es *venos первоначально к неодушевленному роду указывает А. Эрну (*Ernout A.* Venus, venia, Cupido // Philologica II. P., 1957. P. 87).

[123] *Ernout A., Meillet A.* DELL. s. v.; Walde A., Hoffmann J. B. LEW s. v.; Ср.: Grandsaignes d'Hauterive R. Dictionnaire des racines des langues européennes. P., 1948. P. 237. Сравнительно недавно И. Триром была предложена новая этимология (*Trier J.* Venus. Etymologien um das Futterlaub. Köln, 1963. S. 207). В своей рецензии (*Lejeune M.* // Revue des Études anciennes. 1963. 65) на эту работу М. Лежен не соглашается ни с выводами, ни с самим принципом исследования. Он подчеркивает недостаточность традиционной семантической схемы, предлагаемой для и.-е. корня *wen- Покорным, далеко не способной объяснить все данные, равно как и удовлетворить требованиям точности этимологической конструкции (P. 411). Поиски общего деноминатора приводят к максимально общим и расплывчатым значениям типа «стремиться», «желать» и т. п. И. Трир пытается установить такое первоначальное значение, видя его в значении «дерево» (Покорный не выделяет такое значение). Поскольку листья деревьев и кустарников ощипываются животными, они могут служить кормом для скота. Таким образом, автор пытается сконцентрировать все семы корня wen- вокруг понятия «листья как корм» (Putterlaub). На латинской почве *wen-ya «ветвление», затем — генеалогическое древо, семья, родство, затем — «чувство доброжелательности», естественные в семье «снисхождение» и «прощение». Ср. р. *wen-os означал бы первоначально «фураж». И. Трир ссылается на то, что Venus была богиней садов (ср. Venus Frutis). М. Лежен указывает на произвольность толкования материала и некорректность методов исследования, когда Трир игнорирует факты, не укладывающиеся в его схему. М. Лежен считает вообще маловероятным существование единого корня. А если даже он и существовал, то огромная семантическая разбросанность, засвидетельствованная с древнейших времен в самых различных языках, не дает основания видеть некий единый «первоначальный смысл» такого корня. «Либо перед нами ложная проблема, либо она неразрешима», — заявляет М. Лежен. По его словам, работа Трира методом «приведения к абсурду» (вопреки желанию автора) доказывает истинность этого утверждения.

[124] *Ernout.* Venus, venia, Cupido... P. 103.

[125] *Schilling R.* La religion romaine de Venus depuis les origines jusqu'au temps d'Auguste. P., 1954.

[126] Ibid. P. 61. *Ernout A.* Op. cit. P. 89.

[127] *Ernout A.* Op. cit. P. 103.

[128] Так у Плавта: Amoenitates omnium venerum et venustatem adfero (Stich. 278) и Катулла: Lesbia ... una omnis subripuit veneres (86.6). Плиний прямо указывает, что venus служит для перевода греческой χάρις (33.36.18): Venerem quam Graeci Charita vocant. Квинтилиан не раз пользуется этим словом, чтобы отметить изящество и красоту речи quod cum gratia et venere dicatur (Inst.orat. VI.3.18). Isocrates omnes dicendi veneres sectatus est (Inst.orat. X.1.79), где veneres, по словам Эрну (P. 103), есть семантическая калька греческого χάριτες. В аналогичном смысле слово встречается у Горация: fabula nullius veneris (A.P. 320). Квинтилиан говорит об особой, доступной только Аттике, прелести языка: illam concessam solis Atticis venerem (Inst.orat. X.1.100).

[129] *Monteil P.* 1964. P. 111.

[130] *Ernout A.* Op. cit. P. 106.

[131] Ibid.; Lateinische Grammatik v. Stolz—Leumann—Hofftaann. S. 227. XI B.

[132] *Monteil P.* P. 112; *Benveniste E.* Noms d'agent et noms d'action en indo-européen. P., 1948. P. 167.

[133] *Ernout A.* Op. cit. P. 106; *Monteil P.* P. 112.

[134] Plautus Most. 161, 182; Bacch. 115; Poen. 1113; 1117; Rud. 320.

[135] Так, venusta soror (Cat. 89.2) отнюдь не имеет передаваемого Монтейлем значения, равно как и текст о красоте Квинтии (86.3), которой недостает venustas. Ср. следующие veneres, остающиеся вполне в рамках оценочно-гедонистической семантики. Скорее связь с Venus можно предположить в тексте: quantum est hominum venustiorum (Cat. 3.2).

[136] Особенно отчетливо это видно у Теренция, где venustas употребляется, кстати, единственный раз: Quis me est fortunatior venustatisque adeo plenior (Hec. 848). У него же invenustus выступает синонимом infelix: Adeon hominem esse invenustum aut infelicem quamquam ut ego sum? (Andr. 245). В аналогичном значении употребляется у Цицерона venuste: Qua in re mihi videtur... venuste cecidisse, ut Curio... ratione... usus videretur (Fam. VIII.4.2).

[137] Объединение с illepidum в таком же значении литоты придает invenustum значение «приятный, остроумный». Впрочем, в данной контекстной ситуации возможна и определенная связь с Venus, ибо в 11—15-м стихах дается парафрастическое обращение к Венере с просьбой исполнить обет, «если он не противоречит ее воле» — si... neque invenustum est. Вернее, здесь присутствуют оба значения — и оценочное и каламбурное.

[138] Любопытное замечание, раскрывающее конкретно-жизненный характер эстетического идеала Цицерона, не допускающего даже мысли о красоте болезненной, нездоровой.

[139] В следующих фразах этого же текста место venustas занимают suavitas и lepos (De or. III.181): ...in omnibus item partibus orationis evenit ut

necessitatem suavitas quaedam et lepos consequatur. Об отношении понятий venustas и suavitas см.: Barwick K. o. c. P. 46.

[140] Настойчиво подчеркивая связь и взаимосвязь «полезного» и «прекрасного» и обусловленность второго первым, Цицерон опирался на идеи двух философских школ — перипатетиков и стоиков, в которых они получили наибольшее развитие. Аристотель отмечал связь между красотой и целесообразностью (Part.anim. I.1.639.19—20; 1.5.645.23—25).

Точно так же Сократ, по свидетельству Ксенофонта, объединяет прекрасное и полезное (Memor. III.8.4 и след.). Гармония мироздания, совершенство человеческого тела — излюбленные темы стоиков, которые находили в них помимо прочего аргумент для доказательства (через принцип целесообразности) существования богов. А. Мишель (Les rapports... P. 301, 308, 342, 343), А. Демулье (Cicéron et son gout. P. 246, 247) подчеркивают в учении Цицерона о функциональной красоте прежде всего влияние перипатетической и стоической школ. А. Ф. Лосев обращает внимание на тот факт, что у Цицерона, помимо физического отождествления красоты и целесообразности, что отражает стоическую точку зрения, есть и резкое противопоставление их, в чем, по словам исследователя, «нельзя не видеть платонических корней» (История античной эстетики. Т. 5. С. 492). «Следовательно, — пишет он, — вполне очевиден стоический платонизм или эклектизм в концепции красоты и целесообразности у Цицерона» (Там же). При этом А. Ф. Лосев особо подчеркивает близость цицероновской концепции «римскому практическому, утилитарному духу». Сходный вывод делает Демулье, говоря, что своей эстетической концепцией Цицерон «утверждает римский утилитаризм, давая ему эстетическое обоснование и придавая всем созданиям национального гения их художественное достоинство» (*Desmouliez*. Op. cit. P. 247).

[141] In gestu venustas (H. I.3.12; III.26.4); vocis, vultus, gestus moderatio cum venustate (H. I.3.12); Roscii gestus et motus corporis ita venustus (B. 203.4); gestus... natura ita venustas (B. 272.10); corporis motus plenus venustatis (B. 235.5); ...ut cum venustate moveatur (De or. III.200.5).

[142] cum venustate (H. I.3.12; De or. I.130; III.200); ad venustatem (De or. III.206; N.D. I.47; Inv. II.3); venustati servire (De or. II.316.8, 327); adferre... venustatem (Or. 60.2); tractare... scenica venustate (De or. III.301).

[143] ... ut non brevitati servitum sit, sed magis venustati, De or II.327.9.

[144] Ср.: De or. III.178—181; см. примеч. 140.

[145] Gravis и venustus не всегда находятся в оппозиции друг к другу. Текст «Ad Herennium» объединяет их в сочетании: pronuntiare graviter et venuste (H.IV.69.31), где graviter — оценка содержания, venuste — формы.

[146] Термин urbanitas занимает весьма важное место в социально-культурной лексике латинского языка. Неоднократно он становился предметом рассмотрения в научной литературе (*Lutsch O.* Die Urbanitas nach Cicero Festgabe für W. Crekelius. Erberfeld, 1881; *Heerdegen F.* Über Bedeutung und Gebrauch des Wortes Urbanus im älteren Latein. Ein historisch-semasiologische Untersouchung. Erlangen, 1918; *Frank E.* De vocis urbanitas vi atque usu. Ber-

1932 (diss); *Saint-Denis E.* de. Evolution Sém antique de urbanus-urbanitas // Latomus 1939. 3. P. 5–24; *Ramage E. S.* Early Roman Urbanity // Am. Journ. Philol. 1960. 81. P. 65–72; Urbanitas. Cicero and Quintilian // Am. Jour. Phil. 1963. 84. P. 390–414; *Valenti R.* Per un'analisi semantica di urbanitas in Cicerone. Bulletino di studi latini. Napoli. 1976. VI. P. 54–61). Urbanitas — слово достаточно сложной семантической структуры, включающее множество коннотаций (*Ramage.* P. 390). Е. Франк в своей диссертации указывает на несомненную связь с греческим ἀστεῖος, значения которого, связанные в первую очередь с идеями изящества и отделанности речи, а также остроумия и юмора (с. 13), характерны для urbanus, urbanitas. Она намечает пять основных семантических аспектов этой лексемы: 1) характеристика городской культуры и жизни, 2) оценка юмора вообще, 3) характеристика специфического римского остроумия, 4) характеристика тонкой и изящной шутки, отмеченной хорошим тоном, 5) характеристика особенностей римской речи, ее произношения и специфической окраски. В этих значениях основное место занимает выражение идеи юмора и шутки. Е. Франк (с. 37–41) показывает, что для Цицерона urbanitas выступает как родовой термин для обозначения юмора (ср.: *Ramage.* 1963. P. 396–397). Как показывает Сен-Дени, прослеживающий семантическую эволюцию лексемы на небольшом временном отрезке (57–51 гг.), первоначально urbanitas заключает только коннотацию юмора и лишь к концу рассматриваемого периода приобретает коннотации «изысканности», «вежливости», «светскости». *Помимо общего значения (первоначального), характеризующего* особенности и склад жизни обитателей Рима (*Lutsch.* P. 80–95; *Ramage.* P. 393), а позднее особенности культуры и поведения городского жителя (*Франк С.* 25–36), urbanitas связана с характеристикой речи как важнейшего и всеобъемлющего средства раскрытия духовного и культурно облика человека. (Давая дефиницию понятию urbanitas, Квинтилиан (I.0.VI.3.107) указывает как на ее общекультурный, так и прежде всего речевой аспект, сравнивая с греческим ἀττικισμός). Тесно взаимодействует urbanitas с лексикой «остроумия», «юмора» (sal, facetiae, facet). Рэмедж замечает, что по существу трудно провести точную границу между двумя семантическими аспектами urbanitas — обозначением юмора, с одной стороны, и утонченности и культуры — с другой, поскольку они тесно связаны между собой и первый является выражением второго (*Ramage.* 1963. P. 399). Точно так же невозможно провести границы между родовым значением urbanitas и частным обозначением шутки. Одним из синонимов в обозначении понятия юмора считает urbanitas и Ори в своей книге: *Haury A.* L'ironie et l'humour chez Cicéron. Leiden; Brill, 1955. P. 57–59.

[147] П. Монтей обращает внимание на этот аспект семантики venustas, подчеркивая, что в общем плане venustas может обозначать все, что производит приятное эстетическое впечатление на чувства. Он отмечает активный, динамический характер красоты, выражаемой данной лексемой, красоты, иррадиирующей от объекта и воспринимаемой субъектом, «настроенным на эту волну», «если нет волн, испускаемых

объектом, нет и venustas (*Monteil P.* 1964. P. 345–346). Ср.: *Duchaček*. 1970. P. 46. См. также: *Monteil P.* (P. 123–125, 133 сл.). Venustas, по его словам, «исключает рациональное объяснение» (P. 133). Нельзя не согласиться с автором, когда он подчеркивает эстетическую активность (seduction), выражаемую лексемой. Однако, когда дается общая характеристика качества venustus, представляемого как непосредственно, мгновенно воспринимаемого, действующего недолго, реализующегося в произведениях искусства изящных и грациозных, качества скорее женского (P. 124) в этой характеристике, верной для каких-то частных случаев, чувствуется переоценка собственной дефиниции Цицерона, назвавшего venustas «женской» красотой. Действительный характер определяемых этой лексемой объектов (см. выше) существенно ограничивает сферу применения этой метафоры и не позволяет ей быть всеобъемлющей характеристикой семантики рассматриваемой лексемы.

[148] По мнению Монтейя, venustus и lepidus противопоставлены друг другу как противоположно ориентированные: lepidus ориентирован в сторону субъекта, в нем отчетливее ощущается чувственная реакция субъекта на внешний стимул, тогда как venustas предполагает, наоборот, активную роль иррадирующего объекта (*Monteil P.* 1964. P. 346–347).

[149] До Цицерона только пять употреблений, из них по одному разу у Плавта (Bacc.131), Теренция, Акция. (см.: *Mikkola E.* Die Abstraktion im Lateinischen. Eine semantisch-morphologische Untersuchung... T. II. Helsinki. 1964. S. 125).

[150] См.: *Duchaček O.* 1978. P. 14.

[151] Бенвенист видит в *dek- «мнимый корень», представляющий основу II *éd-ек- корня *a2éd- или *a3éd с первоначальным значением «запирать», «содержать» (см.: *Бенвенист Э.* Индоевропейское именное словообразование. М., 1955. С. 186–187).

[152] *Ernout A., Meillet A.* Dictionnaire étymologique de la langue latine, 4 ed. P., 1959. P. 297–298; *Hofftaann J. B., Walde A.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1938. S. 330; *Grandsaignes d'Hauterive R.* Dictionnaire des racines des langues européennes. P., 1948. P. 36.

[153] dignus < *dec-nos через *degnos, ср. lignum – legere. Вокализм обусловлен переходом в доисторическую эпоху корневого o > i перед гуттуральным носовым. Leumann–Hoffmann–Szantyr. Lateinische Grammatik. Bd. I. München, 1963. S. 221; ср.: Walde–Hoffmann. S. 331.

[154] Функционирование dignitas в семантической сфере политической и социальной лексики всесторонне, на большом лексическом материале рассматривается в работе Эллегуарка. (см.: *Hellegouarc'h J.* Le vocabulaire latin... des relations et des partis politiques sous la République. P., 1963. P. 388–413, особ. 397–413).

[155] H. III.10.12; III.14.3, где объединяется forma; Inv. II.2.6; II.117.6; De or. III.155.6, где объединяется с ornatus; forma H. IV.38.4; 9–12; IV.60.24. ср.: Off. 1.130; B. 235.4.

[156] De or. III.180.7; Qu. III.1.1; De or. 180.11.

[157] Inv. II.2.11–12.

[158] B. 239.13; 250.3; De or. III.31.9.

[159] Or. 56.2; De or. I.64.6.

[160] В греческом языке семантическим аналогом этой лексемы служит не этимологически родственное δέχομαι, а πρέπει, характеризующее не материальное обладание предметом, а социально-этически необходимую отнесенность к нему определенных свойств, действий, состояний, в свою очередь служащую средством оценки данного объекта как социально-этически ценностного.

[161] ...illud prepon, quod decorum vel decens diximus, in eo est, ut rebus apta sint verba ... Sulp. Victor. Rhetorica. 15.321.

[162] *Лосев А. Ф.* История античной эстетики. Т. 2. С. 380; ср.: *Лосев А. Ф., Шестаков В. П.* История эстетических категорий. С. 17.

[163] Некоторые имена типа vestis, ornatus и т. п. в функции субъекта при decere в силу собственной семантики придают глаголу эстетический оттенок в контекстных ситуациях, подобных: ...satin haec me vestis deceat? (Pl. Most. 164) ...Virtute formae evenit, ut te deceat quidquid habeas (Most. 165). Ср.: Cic. Or. 78.

[164] Поздние латинские грамматики пытались установить семантические различия лексем decus и decor (сами эти лексемы в прозаическом тексте в форме косвенных падежей неразличимы, за исключением Acc.), подчеркивая принадлежность decus к этической сфере (anima, virtus, honor, gloria), decor — к эстетической (внешневыразительной forma, habitus, corpus, species). Их повторяющие друг друга определения (см. их сводку: Thesaurus linguae latinae. Vol. V., fasc. I. P. 206) констатируют результат семантической дифференциации, закрепленный в наличии двух лексических вариантов decus и decor, последний из которых еще у современника Цицерона Лукреция выступает в эстетическом значении: scenaique simul varios splendere decores (IV.983). То же у Горация: fugit retro levis iuventus et decor (Carm. II.11.6), Тибулла, Овидия, у которого он может относиться как к человеческому телу: sed te decor iste quod optas esse vetat (Met. VI.48), так и к произведению искусства: tantus decor affuit arti (Met. VI.18). У Цицерона же decor не встречается (приводимое в ThII. место R.P. III.40 ничего не доказывает, так как decor представляет здесь форму аблатива).

[165] Decens приобретает эстетическое значение уже начиная с Горация, становясь частым в этом смысле у Овидия и, особенно, у писателей императорской эпохи — Сенеки, Марциала, Квинтилиана, Аммиана Марцеллина и др. (см.: ThII. v. V. f. p. 131–137).

[166] Fin. II.44; R.P. Fr.8; R.P. VI.25; R.P. III.40; B. 331.11; Fam. XI.25.

[167] Fin. II.56; Off. II.9; I.17.

[168] Fin. II.64; Off. I.41; XII.29.

[169] R.P. V.6; Fin. V.63; N.D. I.7; T. III.18; II.16; Fam. III.28; ср.: T. II.31; T. II.46; Off. III.101; Fin. I.36.

[170] ...ut enim hominis decus ingenium, sic ingenii ipsius lumen est eloquentia (B. 59.1) «...и если краса человека — дарование, то цвет самого дарова-

ния — красноречие» (пер. И. П. Стрельниковой). Если eloquentia как lumen ingenii есть внешнее проявление внутренних качеств (ingenium), то и ingenium (в силу параллельности структуры), проявляясь в красноречии, есть выражение человеческой сущности, т. е. decus принадлежит здесь к плану выражения.

[171] Аналогично у современников Цицерона – у Катулла: decus innuptarum (64.78); o decus eximiam (64. p. 323); у Плавта: decus poli (As. 655); donum decusque amoris (As. 691); capul decus (As. 892), magnum pereristi decus (Trin.). Еще отчетливее эстетический компонент в decus проявляется у Вергилия: tantum egregio decus enitet ore (Aen. IV.150); hunc decus egregium formae movet atque iuventae (Aen. VII.473); quale manus addunt ebori decus (I.952). В двух последних случаях эстетический компонент отчетливо преобладает над этическим. Интересно у Ливия объединение в одну группу decus и pulchritudo: inspectata spolia Samnitium et decore et pulchritudine paternis spoliis comparabantur (A.U.C. X.46.4). Усиление эстетического содержания decus у поздних авторов (см. Thill. v. V. f. I.233) подтверждается определением Амвросия, для которого его принадлежность к эстетической сфере несомненна: decus autem est tamquam venustas et pulchritudo... (Ambr. Med. De officiis. II.45.219).

[172] Ср. у Вергилия: scaenis decora alta futuris... (Aen. 1.429), где decora, согласно Сервию, говорится о театральных колоннах и отчетливо совмещает эстетический («прекрасные») и этический («достойные»), т. е. соответствующие достоинству сооружения, элементы.

[173] *Benveniste E.* Latin «tempus» // Mélanges offerts à Alfred Ernout. P. 11; см.: Moussy Cl. Esquisse de l'histoire de «monstrum» // REL. 1978. 55. P. 350.

[174] ...virtus et... labor honoribus, praemiis, splendere decorator... (De or. I.194 3); ...Socrates... respondit sese meruisse, ut amplissimis honoribus et praemiis decoraretur... (De or.I.232.6).

[175] ...haec omnia vitae decorabat dignitas (B. 265); ...id inani vocis sono de-coratum... (T. V.119).

[176] ...(rem publicam) ipse decorabat... (Piso 27); ...decorare triumphum donis (Mur. II); ...eis ornamentis decorari debeat... (Phil. XII.17). Ср. у Плавта: ... tuos digitos decorat... (Mil. 1048); ...pietatem... decorant di immortales... (Poen. 1255); Larem ... corona decorari volo...(Trin. 39).

[177] Отчетливо этической оценкой отмечено употребление лексемы в тексте: «...считают обсуждение подобных вопросов не вполне достойным (non ita decoram) руководителей государства» (A. II.5). В таком же значении можно встретить decorus у других авторов, например у Плавта: ...haud decorum facinus tuis factis facic... (Aul. 220); ...tibi facinora puerilia objicere ac neque te decora, neque tuis virtutibus... (Mil. 619); ...video decoram dis locum viderier (Rud. 254) или у Ливия: ...ordinem ex censu descripserit vel paci decorum vel bello (I.42.5), decorum erat tum ipsis capessere pugnam ducibus (II.6.8).

[178] По поводу candidus Андрэ (*André J.* Étude sur les termes de couleur dans la langue latine. P., 1949) замечает, что он выражает отношение ме...

цветом объекта и субъектом, т. е. помимо своего чистого качества выражает чувство (всегда положительное), которое его вид возбуждает в зрителе (Р. 35–36). Это аффективное значение расширяет переносный смысл candidus. Среди цветов белый цвет — один из наиболее удобных для метафорического переосмысливания. Еще Платон отмечает значение белого цвета как цвета, символизирующего чистоту чувств (Leg. XII.956a). О символике цвета, и в частности белого см.: Dumézil G. Juppiter, Mars, Quirinus. Essai sur conception indo-européenne de la société et sur les origines de Rome. P., 1941. P. 66–67, 98–99, 116–117; *Andre J.* P. 260–261.

[179] В такого рода позиции decorus близок по значению аналогично употреляющемуся dignus («достойный чего-либо, соответствующий, подобающий чему-либо»). Иногда они выступают вместе. Такое одновременное употребление может указывать в то же время и на некоторые семантические оттенки, подчеркнутые иной раз противопоставлением: «...ибо это и неподобающе (dignum) и недостойно (decorum) богов...» (Div. I.118); «...ибо то, что совершается мужественно и отважно, представляется достойным (dignum) мужа и прекрасным (decorum), противоположное же этому — как позорным, так и недостойным...» (Off. I.94). В обоих случаях decorus, выступая в абсолютном употреблении (в отличие от синтаксически связанного dingus + dat.), дает более общую характеристику, и «недостойное богов», «недостойное мужа» включается в более общую этическую категорию «неподобающего» (indecorum), в то же время как dignus осуществляет конкретную этическую оценку данного факта или явления как отвечающего или не отвечающего критериям, установленным в общественном сознании для данной группы явлений или фактов.

[180] «...что по-латыни может быть названо decorum, по-гречески называется πρέπον» (Off. I.93); «...греки называют это πρέπον, а мы бы, пожалуй, назвали decorum» (Off. 70.8). В этих определениях обращает на себя внимание осторожность, с которой Цицерон употребляет лексему decorum для перевода греческого термина πρέπον («может быть названо», «мы бы, пожалуй, назвали»). Более того, в «De oratore» понятие подобания выражается преимущественно лексемами aptum, apte и congruens, congruenter (De or. III.37, 53, 91, 144, 210–211). Ср. Fam. IX.21.1, к которым дважды присоединяется dignitas (De or. III.53.144). Decere появляется только внутри предложения (De or. III.210, 212), и только в вышеназванных трактатах decere, decorum становится основным носителем понятия «подобание». Все это свидетельствует об определенных трудностях, с которыми сталкивался Цицерон при передаче греческого термина πρέπον (см.: *Desmouliez A.* Cicéron et son goût... P. 274).

[181] Категория «подобающего», одна из основных категорий античной эстетики и этики, неоднократно рассматривалась в научной литературе. Длительная и сложная история этого понятия на греческой почве прослеживается М. Поленцем в ряде его работ, посвященных философии Стои, и прежде всего в таких исследованиях, как: *Polenz M.* Ein Beitrag zur Geschichte des griechischen Geistes. Nachrichten von der Gesellschaft

der Wissenschaften zu Göttingen. Philosopisch-historische Klasse. Heft. 53–92. Berlin, 1933; *Pohlenz M.* Antikes Führertum. Cicero De officiis und das Lebensideal des Panaitios Neue Wege zur Antike, II Reihe interpretationen. Hf. 3. Leipzig: Teubner, 1934. Одновременно появляется другая работа, посвященная категории подобающего у Цицерона и Горация: *Lubowsky L.* Die Ethik des Panaitios. Untersuchung zur Geschichte des decorum bei Cicéro und Horaz. Leipzig, 1934; а также: *Lubowsky L.* Der Begriff des Prepon in der Ethik des Panoitios. Heidelberg, 1934. (diss). См.: *Desmouliez A.* Cicéron et son goût... P. 283. Работы Поленца явились основополагающими и для других исследователей этой проблемы (*Milton P.* Valente, L'éthique stoicienne chez Cicéron. P., 1956. P. 236–254; *Desmouliez A.* Cicéron et son goût... P. 266–284, 285–316).

Встречающийся еще у Гомера глагол πρέπει позднее начинает указывать на внешние признаки, являющиеся характерными для их носителя, и со времени Эсхила πρέπον обозначает то, чего следует (можно) ожидать от человека, что «присуще» ему. Отсюда возникает возможность использовать слово и для этической, и для эстетической оценок. По В. Кроллю, понятие πρέπον возникает в музыкальной теории Дамона (*Kroll W.* Rhetorik // RE 1045–1046), а позднее было применено к поэтике и риторике. Вероятно, Горгий вводит понятие καιρός, близкое к πρέπον (*Rostagni A.* Un nuovo capitulo nella storia della retorica e della sofistica. Scritti minori. I. Torino, 1955. P. 11–13). Ростаньи отмечает, что эпидиктическое красноречие Горгия тяготело к двум фундаментальным понятиям — καιρός, понятию пифагорейского и эмпедокловского происхождения, имевшему целью согласовать речь с обстоятельствами времени, места, личностью говорящего, и πρέπον, касавшемуся единства выражения и выражаемого предмета (*Riposati B.* Problemi di retorica antica. Milano, 1950. P. 660; ср.: *Desmouliez.* Cicéron et son goût... P. 274). Платон дает принципу πρέπον значение гармонии между мыслью и формой, ее выражающей (Resp.III. 398e.8; см.: *Demouliez A.* P. 268). Если Платон отвергает отождествление подобающего и прекрасного, видя в первом лишь видимость прекрасного (Hipp. major. P. 290–293), то Аристотель идентифицирует прекрасное и подобающее (Top. V.5.135a, 12), не давая даже специальной дефиниции подобающему. В «Риторике» (Rhet. III.1408a–1408b) и «Поэтике» (Poetic. 1454a, 1459a), связывая это понятие с теорией λέξις, видит в «подобающем» необходимость приспособления выражения к излагаемому содержанию, согласования с чувствами, которые говорящий хочет выразить. Как заметил Демулье, πρέπον у Аристотеля это не строгое, незыблемое правило, а скорее гибкий и тонкий метод приложения перипатетического принципа «срединности» — μεσότης к использованию средств доказательства (*Demouliez A.* P. 268). В эстетическом аспекте принцип «подобающего» имеет в виду, с одной стороны, соразмерность, пропорциональность частей между собой и по отношению к целому, а с другой стороны, соответствие слов, поступков и внешнего облика драматургического персонажа его характеру (*Pohlenz.* Antike Führertum... S. 58). Перипатетики

употребляют этот термин для обозначения поведения, подобающего тому или иному человеку и тем или иным обстоятельствам. В их теории возникает распространенное выражение καλὸν καὶ πρέπον, которое, в частности, встречается у Аристотеля (Top. 135a.13).

Панеций придает термину более универсальное значение не только внутренней гармонии частей и целого, но и меры и гармонии в поведении человека вообще, если он руководствуется разумом (λόγος), πρέπον становится оборотной стороной καλόν — проявлением моральной красоты (*Valente*. о. с. P. 240). В отличие от Платона с его интеллектуальной концепцией красоты, умственно постигаемой, Панеций вслед за Аристоном Хиосским и Диогеном Вавилонским утверждает возможность чувственного восприятия прекрасного (αἴσθησις), доступного лишь человеку, поскольку он является λογικὸν ζῷον (*Pohlenz*. Antike Führertum... P. 78–80; *Valente*. P. 239), и воспринимаемого как порядок и меру, переносимые по аналогии ни на духовно-нравственную сферу (Ibid. P. 58).

Панеций, по словам Поленца, представляет καλόν как идею внутренней структуры «архитектонически-ритмически», ограничивая сферу πρέπον внешними формами проявления (Ibid. P. 60). Тем самым подчеркивается внешне выразительный (эстетический) аспект πρέπον, а само понятие связывается с теорией искусства. Аналогичная мысль высказывается М. Валенте, предполагающим, что понятие «подобания» заимствовано Цицероном из теории художественной критики (Op. cit. P. 240).

К. Свобода (Les idées esthétiques de Cicéron. P. 110) полагает даже, что понятие «подобающего» у Цицерона связано не с Панецием и Стоей, а непосредственно с перипатетической теорией красноречия и, в частности, с Феофрастом. Но сам Цицерон достаточно ясно указывает на использование именно трудов стоков в «De officiis» (Off. I.6–7), где в основном и раскрывается доктрина «подобающего» в ее этическом аспекте. Однако в более узком, собственно риторическом плане вполне вероятно использование Цицероном несохранившегося труда Феофраста Περὶ λέξεως, исследованию которого посвящена известная работа: *Stroux J.* De Theophrasti virtutibus dicendi, Leipzig, 1912, дающая обстоятельный анализ риторического употребления понятия «подобающего» (P. 17–18, 43, 49–50, 61, 75–76). Цицерон его интересует лишь как источник для восстановления доктрины Феофраста. См. также: *Desmouliez*. P. 268 — критические замечания о теории Строукса. См. также: *Barwik K.* Das rednerische Bildungsideal Ciceros. Berlin, 1563. S. 34, 43; *Buchner K.* Cicero. Bestand und Wandel seiner Geistigen Welt, Heidelberg, 1964. S. 340–341; *Michel A.* Les rapports... P. 130, 267–268, 310, 312, 273–276; Causeret... P. 170. О влиянии цицероновской концепции decorum на Горация см.: *Fiske G.*, *Grant Mary A.* Cicero's De oratore and Horace's Ars poetica. Madison, 1929. P. 43–70. *Лосев А. Ф.* История античной эстетики. Т. V. С. 484–486; *Татаркевич В.* Античная эстетика. М., 1979. С. 187–188; *Thurmair M.* Das decorum als zentraler Begriff in Cicéros Schrift. De officiis. S. 63–78; Studia humanitatis. E. Grassi zum 70. Geburstag. München, 1973. S. 334.

[182] Согласно этому определению, honestas раскрывается в таких терминах, как moderatio, temperantia и особенно conformatio — «придание соответствующей формы». В другом месте (Off. III.116) все эти термины стоят в одному ряду с decus как однородные ему: decus, moderatio, modestia, continentia, temperantia, раскрывая один из аспектов honestas. В четырех из пяти членов этого ряда семантической доминантой является идея «меры», «организации», т. е. идея структурная, что заставляет вполне естественно предположить наличие этой же идеи и в первом члене ряда — decus. Аналогично определение одного из аспектов honestum, состоящего в «порядке и мере (ordo, modus) всего, что говорится и делается, чему присущи сдержанность и чувство меры» (modestia, temperantia — Off. I.15.15–16). Ср. также: «...и в этом роде... присутствует порядок (ordo), последовательность, чувство меры (moderatio) и тому подобное. Ведь применяя некую меру и порядок (modus, ordo) ко всему, что делается в жизни, мы сохраним нравственное начало (honestas) и достоинство (decus) (Off. I.17).

[183] *Лосев*, *Шестаков*. История эстетических категорий. С. 23–27.

[184] Stoicorum veterum fragmenta. coll. v. Arnim. v. III. 278, 279, 392.

[185] *Лосев*. История античной эстетики. Т. V. С. 156.

[186] Определяя decorum, Цицерон говорит: «...вообще если что-то есть подобающее (decorum), то ничто не является (этим)... больше... чем равновесие (уравновешенность aequabilitas), как жизни... так и поступков...» (Off. III.111). Понятие aequabilitas, при всем его этическом наполнении, остается в своей основе принадлежащим к плану выражения, характеризующим структурные отношения и включающим те же «меру», «порядок», и decorum есть соблюдение данной структуры.

[187] «Подобание» распространяется на все внешние проявления личности, являющиеся основным полем его активности: «Поза, походка, как мы сидим или возлежим, выражение лица и глаз, движения рук должны соблюдать это подобание...» (decorum) (Off. I.128); «... подобать (decere) — это почти то же, что и соответствовать (aptum esse) обстоятельствам и личности, что важно как в словах, так и в делах, наконец, во всем облике, движениях и походке; все противоположное этому есть неподобающее (dedecere) (Off. 74.2–5).

[188] Ср. у Саллюстия: decora facies (Jug. 6.1), decora arma (Cat. 7.4), decori oculi (Aen. XI.480); у Вергилия: decora caesories (Aen. I.589), decorum pectus (Aen. IV.589); у современника Цицерона Лукреция: delubra decora (II.352) (ср. также: T. Livius VII.10.7), а также у более поздних авторов — Сенеки, Тацита, Персия, Апулея и др.

[189] «...Мы говорим, что поэты в том случае соблюдают этот принцип подобания, когда происходит и говорится то, что достойно (соответствует decet) каждого из действующих лиц...» (Off. I.97).

[190] «Как в жизни, так и в ораторской речи нет ничего труднее, как видеть, что подобает (decet); «это... мы назовем подобающим» (Or. 71.8); «... самое главное в искусстве — подобание» (decere) (De or. I.132.9).

[191] *Ernout A., Meillet A.* DELL. P., 1959. P. 227.

192 В собственно художественном плане это «подобание» раскрывается как соответствие средств выражения и выражаемого содержания, как чувство меры: «Во всем следует помнить о пределе (quatenus), ибо хотя у каждой вещи есть свой модус, однако излишество всегда хуже, чем недостаток. Апеллес говорил, что в этом грешат живописцы, которые не понимают, что такое "достаточно" (satis)» (Or. 73.1–5).

Понятие «подобание» (decere) представляет синтез понятий aptum (соответствие времени, обстоятельствам, характеру и т. п. (Off. I.97; Or. 74.2–5) и modus — меры этого соответствия, умения найти необходимый объем, масштаб, знание предела, «достаточности» (quatenus...quid satis esse). В этом синтезе и реализуется художественное совершенство, прекрасное.

Иллюстрацией такого понимания эстетической реализации «подобания» служит Цицерону картина того же Апеллеса «Принесение в жертву Ифигении», где в фигурах Калхаса, Менелая, Улисса изображены различные оттенки горя и скорби, Агамемнон же на картине закрывает лицо плащом, и этот его жест в понимании Цицерона и есть наивысшее выражение «подобания» — этот жест соответствует (aptus) личности (personae) Агамемнона и той ситуации (tempus), в которой он находится, свидетельствуя в то же время о присущем художнику чувстве меры (modus), понимании «предела» (quatenus... quid satis). В то же время «подобание», как уже говорилось, вносит в оценку художественности элемент этической значимости.

[193] Наречие употребляется у Цицерона всего шесть раз, из которых в двух случаях оно не выражает никакой эстетической идеи, вполне удовлетворяя основному эстетическому смыслу лексемы (Off. I.114; Fin. IV.18).

[194] Ср. примеч. 180.

[195] В этом тексте: ne prius ad columen formata decore sancta Jovis species claros spectaret in ornatus decore может грамматически относиться и к formata и к spectaret. В первом случае эстетический компонент выступает на первый план: «красиво изваянная статуя (Duchaček O. 1978. P. 31) принимает этот вариант; во втором случае перевешивает этический компонент: «достойно выглядела», но в обоих случаях, учитывая контекстную ситуацию и аккумуляцию в этом тексте слов с семантикой внешней выразительности (formare, species, spectare, clarus, ornatus, excelsus), можно говорить о наличии в decore данного текста эстетического компонента.

[196] *Duchaček O.* L'evolution de l'articulation linquistique du domaine esthétique du latin au français contemporain. Brno: Univerzita J. B. Purkyně v Brně, 1978. P. 30–32.

[197] Цицерон особо подчеркивает отношения между decorum и honestum (Off. I.15; I.93; I.94–95; I.152), утверждая их взаимосвязь и неразрывность, что указывает на богатство этическим содержанием понятия decorum. (см.: *Desmouliez A.* Cicéron et son goût... P. 284).

[198] М. Валенте подчеркивает в такой трактовке принципа «подобающего» Цицероном ее обращенность к социальной стороне понятия: «...трансформируя греческую доктрину подобания, он (Цицерон) стремился направить ее в сторону социальной жизни» (*Valente M.* P. 241); «...с социальной точки зрения decorum — это гармоническое согласие человека к себе подобным...» (P. 251). Как замечает Демулье, Цицерон своим учением о decorum стремился ответить на потребности жизни и социального сознания римлян (см.: *Desmouliez A.* Cicéron et son goût... P. 285).

[199] Семантическая близость decere и dignus, от которого образуется существительное, отмечается еще на материале Плавта. Многочисленные случаи, когда dignum est употребляется в смысле decet: Pl. Pseud. 1013; Ter. Phorm. 402, 438; Verg. Georg. III.391; Liv. XXX.45.5.

Dignissumumst. Decet me amare et te bubulcitarier (Most. 52–53; ср.: As. 80–81): «Так и должно быть — мне положено развлекаться, тебе — пасти скот». С другой стороны, decet может иметь смысл «быть должным», отражающий первоначальный смысл dingus (ср.: Pl. Trinum. 490. *Hellegouarc'h.* Le vocabulaire... P. 96).

О близкой связи decet и dignitas, практически выливающейся в некоторых случаях в синонимаю, свидетельствуют два тексте из «De oratore», где в абсолютно синонимичной позиции — выражение идеи «подобания» в ее этико-эстетическом аспекте — встречаются dignitas (III.178) и decet (III.224.8).

Ряд филологов (преимущественно в начале века) высказывали иную точку зрения, связывая dignus не с decet, а с dico в первоначальном смысле «показывать» («показывать пальцем», отсюда — «известный», «чтимый» и т. п.). Эта идея была высказана еще в конце прошлого века Бругманом (Osthoff; Brugmann, Morphologische Untersuchungen auf Gebiete der indogermanischen Sprechen. IV. S. 206) и неоднократно повторялась потом различными учеными (*Fay E.*, *Am. J.* PH. 1910. 31. P. 415; *Wood Fr. A.* Cl.Ph. 1914. 9. P. 155; *De Witt H. W* Language. 1940. 16. P. 90). Было высказано и компромиссное положение, связывающее dignus с decet, но придающее последнему значение «украшать», основанное на ряде текстов Плавта, типа haec vestis me decet (ср.: Most. 166, 172, 282; Pers. 464; Amph. 1007 (*Skutsch F.* Glotta. 1910. 2. S. 158–159; *Wegehaupt H.* Die Bedeutung und Anwendung von Dignitas in den Schriften der republikanischen Zeit. Breslau, 1932. S. 5 (diss.)). Однако эта аргументация откровенно слаба (*Hellegouarc'h.* Le vocabulaire... P. 390), поскольку в данных контекстных ситуациях decet, сохраняя значение «подходить», «соответствовать» в зависимости от субъекта vestis, ornamentum, aurum, palla, приобретает эстетическое значение. Ср.: *Hellegouarc'h.* Dignitas et la nation de convenance // REL. 1961. 38. P. 46.

[200] См. чтение Cod. Corbeiensis (C), Bambergensis (b), Leidensis (l).

[201] ...ut vires, valetudo, velocitas, pulchritudo (Fin. II.114); valetudo, vacuitas doloris, pulchritudo (Fin. IV. 35); ...valetudo, sensus integri, doloris vacuitas, vires, pulchritudo (Ac.fr. I.19).

[202] *Causeret Ch.* Étude sur la langue de la rhétorique et de la critique litteraire dans Ciceron, P., 1886. P. 173, n. 1.

[203] *Hellegouarc'h.* Le vocabulaire... P. 390.

[204] Ibid. P. 399.

[205] Ibid. P. 404.

[206] *Heinzer.* Auctoritas // Hermes. 1925. 60. S. 348–349.

[207] Dom. 49; Pet. Cons. 18.52; Dom. 3; Piso 24; Off. I.141; Ver. I.49; II.2, 111; Vat. 25; Fin. 64.

[208] Ср. единственный пример с vultus, где обе лексемы объединены и в то же время противопоставлены (tum... tum) друг другу: qui... quantam... adferet tum dignitatem tum venustatem (Or. 60.2).

[209] Ср. Off.I.95, 107; Inv.II.2, где dignitas говорится и о юношах и о девушках; De or. 1.64, 142; H. I.3; Or. 60, 235, 239, 272; De or. III.180.

[210] *Hellegouarc'h.* Dignitas... // REL. 1961. 38. P. 47; *Büchner K.* Studien sur Römischen Literatur. Cicéro. Wiesbaden, 1962. S. 63.

[211] *Desmouliez A.* Cicéron et son goût... P. 316.

[212] *Duchaček O.* 1978. P. 20.

[213] *Маркс К., Энгельс Ф.* Из ранних произведений. С. 594; *Маркс К.* Теории прибавочной стоимости; Маркс К., Энгельс Ф. Собр. соч. Изд. 2-е. Т. 26. Ч. I. С. 414.

[214] *Moussy Cl.* Gratia et sa famille. P., 1966. P. 174, 417–418, 419, 422 ; *Moussy Cl.* Gratia et iucundus // REL. 1964. 42. P. 393.

[215] *Duchaček O.* 1978. P. 37–38.

[216]

	dulcis			suavis			iucundus		
	Adj.	Subst.	Adv.	Adj.	Subst.	Adv.	Adj.	Subst.	Adv.
Филос. соч.	34	6	1	23	22	2	56	18	23
Речи	12	1	—	7	4	—	67	13	3
Ритор. соч.	19	3	1	29	43	3	43	6	—
Письма	17	3	—	52	25	10	130	5	8
	82	13	2	111	94	15	294	42	34
	97			220			372		

Из приведенной таблицы видно, что в группе «iucundus», превосходящей обе остальные, особенно часто употребление прилагательного в письмах (130) и резко различается употребительность прилагательного (294) и существительного (42). В группу «suavis», где также преобладает употребление прилагательного в письмах (52 на 111), почти нет различия в употребительности существительного и прилагательного (94 на 111). Совершенно иную картину дает самая малочисленная группра «dulcis»: прилагательное преобладает в философских сочинениях (34 на 82), со-

отношение же существительного и прилагательного аналогично группе «iucundus» (13 на 82). На уровне существительного suavis резко превосходит не только dulcis (более чем в 7 раз), но и iucundus (в 2,25 раза). На уровне же наречия практически выступают только iucundus и suavis.

[217] *Ernout, Meillet*. DELL. P. 333.

[218] Sexti Pompei Festi de verborum significatione... 42; 73. Thesaurus glossarum emendatarum IV.219a, 161a. Тот же Фест приводит форму clucidatum = suave et dulce (P. 161); ср.: glucidatum (P. 42, 73); clucidatus — part. pass. к clucido от χλυκίδδειν (γλυκίζειν); глоссарии толкуют его как γλυκύς, ἡδύς (словарь Форчеллини указывает и другую этимологию — от древнего delicis —Forcellini A. Totius latinitatis lexicon. Vol. V. s. v. dulcis).

[219] *Ernout, Meillet*. DELL. P. 1164.

[220] Suavis Bucolica 4, Georgica 1, dulcis Bucolica 5, Georgica 22. См.: Ernout A. Le vocabulaire poétique... Philologica II, 1956. P. 77.

[221] herba (Buc. II.49); odores (Buc. II.55); Hyacintus (Buc. III.63); murex (Buc. IV.43); herba (Geor. IV.200).

[222] *Ernout A*. Le vocabulaire poétique... P. 77.

[223] Ibid. P. 78.

[224] Suaves motiones, quae ex formis percipiuntur oculis...

[225] O suavis, dulcis, определяющих обонятельные ощущения, см.: *Lilja S*. The Treatment of Odours in the Poetry of Antiquity. Helsinki, 1972. P. 193–196.

[226] ...alios... dulcia... alies subamara delectant... De facto S. sentit (animal)... et dulcia et avara N.D. III.13, quid iudicant sensus? dulce amarum... (Fin. II.36; ср.: R.P. III.13).

[227] Эту сторону своего значения («сладкий» — при определении «пищи», «питья» dulcis раскрывает лишь в данных контекстных ситуациях. Но во фрагменте Энния (44), определяя морского ежа (echinus), он скорее означает просто «вкусный», «приятный», как у Плиния «рыбы» (N.H. I.32.9). Три текста, где dulcis выступает в устойчивом сочетании с aqua (N.D. III.37; D. I.15; Ver. IV.118) («пресная вода»), практически не характеризуют собственно вкусовое восприятие — здесь это значение стерто, и можно говорить об известной десемантизации dulcis в данном сочетании, хотя имплицитно и сохраняется оппозиция к amarus, лексическое выражение которой можно найти в marina (N.D. III.37; Cato. De agr. 106.1, 112).

[228] Ср.: Pl. Mostell. 1101 (1115.R): elixus esse quam assus soleo suavior — «вареный вкуснее, чем жареный». У Лукреция, однако, встречаем оппозицию suavis — amarus: quod suave est aliis, aliis fit amarum (IV.659).

[229] Voce plenus et suavis (De or. I.132); suavissiva et maxima voce (De or. III.213); Vox quum magna, tum suavis (B. 203.3); vox suavis et canora (B. 234.6); vocis et suavitas et magnitude (B. 235.5); suavitas vocis (B. 259.4); vox canora et suavis (B. 303.7).

[230] Patria (Leg. II.5, Pam. IV.9.3); patriae conspectus et salus (Balb. 11); solum patriae (Cat. IV.16); urbs, domus (Leg. III.19); libertas (R.P. I.47; 55; Cat

IV.16; Att. XV.13.3); nomen libertatis (Ver. V.163); nomen pacis (Phil. II.113; XII.9; XIII.1); victoria (Ver. V.66); gloria (Phil. V.20; Arch. 24; Fam. X.26.3); lux veritatis (A. II.31); prudentia (T. I.94); officium (Fam. X.26.3); honor (Fam. XI.28.2); otium litteratum (T. V.105); agri cultura (Off. I.151).

[231] Чувственно-конкретный характер dulcis по-своему проявляется и в сочетаниях (более редких) с такими словами, как «вспыльчивость» (Qu. I.2.7), «деньги» (Fam. XI.28.2), здесь же «почести». Во всех этих случаях семантический компонент «сладости» трансформируется в компонент «сильной притягательности», обусловленный и мотивированный именно чувственной конкретностью исходной семы «сладости». В двух текстах «De legibus»: «соблазн и обольщение» (Leg. II.38), «порча и соблазн» (Leg. I.47), вторые члены синтагм (corruptela, scabies) придают dulcis резко отрицательный характер, а сама dulcedo становится источником всех зол (Leg. I.47).

[232] liberi (Fam. XIV.32); filius (Fam. XIV.5.1; Att. V.9. ; IV.9.2; Qu. III.1.9; Silla 19); frater (Att. I.15.1; VI.38. Qu. I.3.3; II.5.4; II.14.2; III.4.6; III.7.2; III.9.9; II.3.7); Terentia (Fam. XIV.5.2); gener (Att. VII.3.12).

[233] homo, vir (Piso 93; Balb. 36; De or. II.36.6; I.234; Pet.cons. 42.7; Fam. XII.30.3; VII.15.2; XIII.12.4; Att. IV.15.2); medicus (Fam. VII.20.30; собст. имя 9Fam. VI.18.5; VII.33.1; XVI.4.2; Att. V.1.5; XII.7.8); amicus (Fam. II.13.2); aequalis (Qu. I.3.3); mores (Lae. 66; Phil. III.18; Fam. IX.14.5; Att. XVI.16; A. 6); ingenium (Fam. XV.14.6; III.I.1; V.12.10; в обращении к аресату 9Fam. V.20.9; VII.28.1; X.3.1; XVI.5.1; Att. IV.1.2; XVI.16.13).

[234] amicitia (Lae. 67); studium (Att. VII.18; Fam. IX.10.3); officium (Inv. II.2.3); coniunctio (Fam. XIII.26.1); consuetudo (Fam. III.10.9; X.3.1; XIII.63.1); voluntatis coniunctio (Fam. X.5.1); recordatio (Fam. VI.1.22); invitatio (Att. IX.12.10; adventus (Att. IV.4.6; Qu. II.13.1); in me amor (Fam. V.20.9); amor erga me, humanitas (Att. XV.1.1); hilaritas (Fam. IX.11.10); vita, dignitas (Att. III.20.1; Fam. XV.16.1); humanitas (Cael. 250; обращение в речи: sermo et suavitas (amici) (Fam. IV.6.2; Att. XIII.I.21.2; sermo Fam. XI.27.5; Att. I.17.6; Qu. III.9.6); беседа с братом (Qu. II.8.1); litterae, epistolae (Att. I.20; 1; XVI.15.6; II.12.1; Fam. II.13.1; IX.18.1; XV.21.4; V.12.3; XIII.18.1; Att. XIII; 44.1; II.13.1; Qu. III.1.19; III.1.17; Br. 330.10); loqui (Fam. XVI.12.6); effudi (Att.IV.9.1); colere (Att.X.8.9).

[235] ...quam suave est (T.II.17); ...cuidam suave esse cruciari (T.II.17; 18; Ср. T.V.31); (sapiens)... si uratur: «Quam hoc suave» dicturum (Fin.II.88). Ср.: Fin.V.80.

[236] An potest... quicquam esse suavis? Immo sene nihil melius...

[237] ...in amore summo summaque inopia suave parentem habere avarum...

[238] ...suave etiam? an parum est, si non amarum?...

[239] *Forcellini A.* Totius latinitatis lexicon. V. III. P. 639.

[240] Ibid.

[241] К. Мусси в своей книге, посвященной лексемам этой группы (*Moussy Cl.* Gratia et sa famille. P., 1966), насчитывает в «Carmina» семь примеров такого употребления, отмечая при этом, что gratus чаще

определяет имена вещей и явлений, чем людей. После Горация gratus достаточно широко употребляется в эстетическом значении, определяя конкретные предметы, ощущения и абстрактные понятия (P. 174–177).

[242] Marii Nisolii Lexicon Ciceroniarum ex recensioni Al. Scotti... iuxta editionem J. Facciolati. Londini, 1820. V. II. P. 228. Ср.: Forcellini A. v. III. P. 639.

[243] *Moussy Cl.* Gratus et iucundus // REL. 1964. 42. P. 389–400.

[244] Ibid. P. 390. См. также: *Wistrand E.* Gratus, grates, gratia, gratiosus // Eranos. 1941. 39; *Frisk H.* Gratus, gratia und Verwandtes // Eranos. 1940. 38.

[245] *Benveniste E.* Les adjectives latins en -cundus // Bulletin de la Société linguistique de Paris. 1933. 34 P. 186.

[246] О. Духачек неправильно интерпретирует эти примеры как проявление эстетической оценки (*Duchaček O.* 1978. С. 38).

[247] Att. XVI.16f.18; XVI.16; A. 7; VII.15., IX.16.3; I.17.2; V.19.2; X.13.1; IV.15.10; Qui. I.21.22; Fam. I.7.3; II.2.7; I.9.2.4; II.3.2; II.15.2; II.10.1; III.10.10; IV.13.5; V.21.1; IX.15.1; IX.24.3; XIII.1.5; XIII.28.3; XIII.27.4; XVI.2.1.

[248] ...uni isti... iucundus videretur (Ver. III.23); cuidam hominum generi... iucundior fuit (Cluent. 110); ita... utrisque... iucundus (Sull. 62);...erat iucundus Marcello (Arch. 6); ipsi... C. Mario... iucundus fuit (Arch. 20); utrique eorum... iucundus esset (Sest. 6);...multitudini iucundi non errant (Sest. 1050;... qui... multitudini iucundi esse voluerunt (Sest. 1400); Quis clarioribus viris ... iucundior..? (Cael. 13), etc. Planc. 50; Scaur. 39; Planc. 69; Phil. 1.37; Catil. IV.11.

[249] Att. XIV.14.7; XIV.19.1; VII.5.1; VII.17.1; XII.4.1; VII.2.3; XVI.15.4; VII.1.7; V.20.8; XVI.16.1; Qu. 6.11; II.10.1; II.15.4; Fam. VII.32.3; III.1.2; XII.17.2; XIII.18.1; XIII.19.1; IV.12.1; III.11.3; X.26.1; XVI.21.6.

[250] Sermonis vinculum (R.P. III.3); amicitia (Fin. I.65; Lae. 47; Ogg. I.58; Fam. III.10, 4); vicissitude studiorum officiorumque... remuneration benevolentiae (Lae. 49); quod ab amico est profectum (Lae. 51); consuetude (Fam. XIII.20.2; II.1.2; XII.29.1; Att. I.16.11); coniunctio (Fam. XVI.21.3); memoria nostri necessitudinis (Fam. XIII.68.1); loqui tecum (Att. VII.15.2); tecum otium consumer (Fam. VIII.3); tuus conspectus (Fam. XVI.21.7); conspectus vester (Imp.Pomp.); te esse in tali voluntate (Fam. XIII.27.2); vitae societas (Dom. 28); voluntas erga me (Catil. IV.1); amor liberorum (Ver. I.112); quid mihi sine te,.. tibi sine me (iucundum) (Qu. I.2.8); tua gratulatio (Att. I.17.6); reditus meus (Dom. 147); adventus noster (Att. XV.11); memoria tui (Qu. I.2.8); adventus Ciceronis (Br. I.14.1); humanitas tua (Fam. I.7.3); ... pro te... susceptum (Fam. VI.10.3); officia (Fam. IV.6.1); tua beneficia (Fam. X.23.7); require officium meum (Fam. II.11); familiares (C.71).

[251] senectus (C. 28.2, 49, 56, 85); maturitas (C. 71).

[252] solitudo (Fam. V.21.1; Att. XII.9.3); severitas (Leg. II.3a); liberos amittere (Cluent. 28); misericordia (Fam. V.12.5); acti labores (Fin. II.105); memoria praeteritorum laborum (Fin. II.105); relaxatio animi (Off. I.122): diligi (Fin. I.53); amari (H. 21.6);...non desiderare... (Cat. 47).

[253] conscientia bene actae vitae (C. 9); perseverantia (Dom. 8).

[254] libertas (Phil. III.36; Fam. X.31.3); pax (Phil. XIII.1); pecunia (Qu. Rosc. 23); cumulus bonorum (T. I.110).

[255] liber lectulus (Att. XIV.13).

[256] valere (Fam. XVI.22.1); bona valetudo (Quir. 4).

[257] dolor (T. III.38).

[258] ratio vivendi (H. 24.13); in convivio esse (Deiot. 19); hiemare, requiescere (Att. V.21.1); labor (Ver. V.26); negotium, ratio arandi (Ver. III.227); res rustica (S.Rosc. 51); convivium (Ver. IV.63); iter (T. I.96); libri confection (C. 2).

[259] De finibus. Кн. I, гл. 37, 39; кн. II, гл. 7–18, 30, 39, 75, 114.

[260] Г. Кильб (*Kilb G.* Etische Grundbegriffe der alten Stoa und ihre Übertragung durch Cicéro in dritten Buch De finibus bonorum et malorum. Freiburg in Breisgau, 1939. S. 22–41(diss.)) рассматривает термин laetitia как отражение у Цицерона (Fin. III.35) стоического греческого термина Hédoné. Он отмечает семантическое развитие Hédoné, родственного в корневом отношении латинскому suavis*<suadvis от первоначально объективного (качество объекта — «приятный на вкус») значения к значению субъективному («удовольствие, радость, доставляемые объектом») (*Kilb*. S. 22–23). Аналогично семантическое развитие laetitia от первоначально фиксируемого смысла «тучный», «плодородный» (*Ennius A*. 496 (516): Et detondit agros laetos... Ср.: Columela. II.10, 35; IV.19.2) к «доставляющий удовольствие», «радостный», «веселый» (*Kilb*. S. 39). Отмечая наличие у греческого стоического термина Hédoné двух основных значений: а) «удовольствие», «приятное ощущение», б) аффектированное значение «радости», «веселья», Кильб считает, что Hédoné в первом смысле передается термином voluptas, во втором, аффектированном смысле — термином laetitia, в отличие от Hédoné «без этического знака» (*Kilb*. S. 41).

[261] Р. Понселэ говорит о двух типах аккумуляции — аналитической, когда содержание одной идеи распределено между различными терминами, каждый из которых указывает на определенный аспект этого понятия, и тавтологический (плеонастический), когда семантическое содержание двух рядом стоящих терминов очень близко, и эти термины служат лишь усилению выражаемой идеи. Тенденция латинского языка и языка Цицерона, в частности, состоит в постепенном переходе от аналитического к тавталогическому типу аккумуляции (o. c. P. 196, 200, 205). Наиболее распространенной формой аккумуляции синонимов в языке Цицерона являются бинарные группы, представляющие собой древнюю «двучленную речь» (oratio bimembris — o. c. P. 167, 205: *Poncelet R.* Cicéron traducteur de Platon. P., 1953; а также см.: *Poncelet R.* Précision et intensité dans la prose latine // REL. 1948. 26. P. 134–156).

[262] Аналогично употребление dulcis в письме к Пэту: quod tu ipse tam amandus es tamque dulcis tamque in omni genere iucundus (Fam. I.15.1.13), — где dulcis может характеризовать черты личности Пэта, но дальнейший текст, посвященный чистоте латинской речи, делает

возможным понимание этого определения прежде всего как речевой характеристики.

[263] ...illo libro augurali, quem ad me amantissime scriptum suavissimum ministri... (Fam. III.4.1.14).

[264] ...ut id, quod proximum audias, iucundissimum esse videatur... Ср.: excellentis maxime suavitatis (De or. 25–26).

[265] По словам Козерэ, ornata oratio «не обозначает, строго говоря, никакого конкретного качества стиля, но скорее совокупность качеств, придающих стилю выразительность и блеск» (*Causere.* o. c. P. 172). Ср. определение самого Цицерона (De or. III.14.53). Сложное, порой противоречивое учение Цицерона об ornatus, отражающее эволюцию самого понятия «украшения» в греческой риторике, рассматривается в весьма обширной литературе. Основополагающей является известная работа: *Stroux J.* De Theophrasti virtutibus dicendi. Lips... 1912. P. 10–12, 18–21, 26–28, 67–70, — затрагивающая, в частности, проблему отношения понятия ornatus к греческой κατασκευή. Теория этого автора вызвала критику Костиля (*Costil P.* L'esthétique littéraire de Denys d'Halicarnasse (dact.), P., 1949). См.: *Desmouliez A.* Cicéron et son goût... P. 500–501; 506–509. Кроме того: *Barwick K.* Das rednerische Bildungsideal Cicéron. Berlin, 1963. S. 43; *Michel A.* Les rapports... P. 328–341. Suavis участвует в определении понятия ornatus, раскрывая одну из его сторон: ornatum illud suave et affluens (Or. 79.6). См.: *Stroux J.* De Theophrasti... P. 10.

[266] *Desmouliez A.* Cicéron et son goût... P. 506–508.

[267] В частности, к «среднему», *Desmouliez A.* Op. cit. P. 506–507.

[268] Об отношении suavis и gravis см.: *Barwick K...* S. 45; там же ссылка на: *Geigenmüller.* Quastiones Dionysianae de vocabulis artis criticae. Lipsiae, 1908. P. 37, сопоставляющего suavis и iucundus с gravitas. Gravitas — одно из «ключевых слов» латинской социально-политической и этической лексики выступает и как риторико-эстетический термин, обозначающий характерные черты «возвышенного стиля» речи (*Hellegouarc'h.* Le vocabulaire... P. 281). Как говорит Козерэ, gravis «в применении к языку обозначает речь, выражающую серьезные и сильные мысли, прочные и убедительные основания» (*Causeret...* P. 152). Ср.: *Michel A.* Le rapports... P. 12. Можно, по-видимому, говорить и о более широком, общеэстетическом характере употребления gravis. В этих значениях не могут своеобразно не отражаться основные семантические черты, присущие этой лексеме и ее социально-политической и этической функциям. В основе понятия gravitas лежит чисто физическая идея «тяжести». Переносный смысл тяжести развился в латинском языке в двух направлениях: первое ориентируется на идею «результативности», «толчка к действию», второе — на идею устойчивости, прочности, незыблемости (ср. gravis auctor, testis) (см.: *Dumezil G.* Maiestas et gravitas. De quelques differences entre les Romains et les Austonésiens // Revue de Philologie. 1952. 26. P. 24). Противопоставляется levitas Graecorum (неустойчивость характера, импульсивность, качество, презираемое римлянами в греках) — gravitas Romana. Эволюция gravis, gravitas от чисто физиче-

ского смысла в сторону развития смысла морального качества, моральной ценности (личной или социальной) представляет чисто латинскую специфику (*Dumezil G.* o. c. P. 24; ср. с ролью, принадлежащей идее меры). В этической области gravitas получает наибольшее употребление, обозначая поведение и образ мыслей человека солидного и зрелого, умудренного опытом и сознающего свое социальное (patronus) положение. Соответственно выбираются и внешние формы поведения, исключающие любое проявление levitas, культивирующие строгость, важность, суровость, достоинство (см.: *Hellegouarc'h.* Le vocabulaire... P. 280–281, 287–288). В проекции на область ораторской речи gravis становится стилевой, и даже более широко — эстетической характеристикой, включающей идею убедительности, основательности аргументации, серьезности, важности содержания, достойной формы выражения. У Цицерона неоднократно встречаются gravitas dicendi (Har.resp. 41; Prov.cons. 22; Sest. 130); gravitas in dicendi (Har.resp. 41; Bald. 2); gravitas ornationis (Cato 25; Phil. IX.9).

В научной литературе термин рассматривался неоднократно. Широкий анализ социально-политических аспектов понятия находим у Эллегуарка (*Hellegouarc'h.* o. c. P. 279–290). Семантическая природа термина, ее основные характеристики и эволюция термина прекрасно раскрыты Ж. Дюмезилем в его рецензии (см. выше) на книгу Вагенворта (*Wagenwoort H.* Roman dynamism. Studies in ancient Roman thought, language and custom. Oxford, 1947. Ch. VI. P. 104–127; Gravitas — P. 104–119). Последний пытается обнаружить в латинской социальной терминологии следы первобытного мышления. Вагенворт переносит на римскую почву понятия, сформулированные в науке (*F. Lehmann*) применительно к австронезийской цивилизации, в частности, речь идет о понятии mana — некой мистической силе, присущей отдельной личности или племени и народу. Полемизируя с концепцией Вагенворта, Дюмезиль показывает, что понятия maiestas и gravitas отнюдь не свидетельствуют о «примитивности мышления», но исконно являются понятиями интеллектуального типа, находящими объяснение в специфическом характере римской цивилизации. Дюмезиль подчеркивает чисто материальный характер термина gravitas в противоположность так называемой mana, силе чисто мистического плана (*Dumezil G.* o. c. P. 25). Увлеченный своей концепцией, Вагенворт допускает искажение цитируемых текстов, произвольность их толкования. Так, Вагенворт, пытаясь доказать, будто бы понятия gravitas verborum и т. п. принадлежат к категории mana, представляя результат восхищения человека перед магической силой слова, обосновывает утверждение об исконной связи этого термина с магической концепцией слова, т. е. прибегая к «круговому» доказательству и не учитывая совершенно социальную функцию языка. См. также: *Michel A.* Les rapports... P. 24–25; *Casaceli F.* Osservasioni sul linguaggio tecnico-retorico di Cicérone. A proposito di gravis // Helikon. 1971–1972. 11.12. P. 461–465.

[269] См.: *Michel A.* Les rapports... P. 342–343; *Desmouliez A.* Cicéron et son goût... P. 501.

[270] Ср.: *Causeret*... P. 155–159: стилевые характеристики, основанные на сравнении с человеческим телом. Ср. также: *Demouliez A.* La signification esthétique des comparaisons entre le style et le corps humain dans la rhétorique antique // REL. 1955. 33. P. 59.

[271] См. примеч. 266.

[272] quem... nostrum... non cum quadam miseratione delectat? (Fam. V.12.5).

[273] Письмо к Луккею не раз привлекало внимание исследователей как документ литературно-эстетических взглядов Цицерона. Еще в начале века Рейценштейн (*Reitzenstein R.* Hellenistische Wundererzählungem. Leipzig, 1906. S. 84) отмечал связь высказанных в письме мыслей с греческой риторикой. В статье, посвященной анализу письма А. Гийемен (*Guillemin A.* La lettre de Cicéron à Luceius// REL. 1938. 16. P. 96–103), особо подчеркивает как основной источник взглядов Цицерона на литературное повествование аристотелевское учение о трагедии, в частности в термине temporum varietates fortunaeque vicissitudines отражение понятий «перипетии» (о. с. P. 101).

[274] Риторическая теория выделяет как особый раздел т. н. virtutes narrationis, отличные от virtutes dicendi. Ср. в «Риторике» Аристотеля: о рассказе ὅσα ἡδέα τοῖς δικασταῖς 1417a7, — где, как замечает J. Stroux, оценка относится не к изложению, а к самим событиям (повествованию) (Stroux J. o. c. P. 42–43). На латинский язык передается как iucundus (De or.II.326), suavitas (Part.or.31). Как оценку повествования можно рассматривать и iucundus, определяющий Анналы понтификов: quibus nihil potest esse iucundius (Leg.I.6).

[275] В научной литературе отмечалось, что правила повествования, сформулированные Цицероном, находят, в частности, приложение в повествовании Апулея: *Iunghanns P.* Die Erzählungtischnik von Apuleius' Metamorphosen und ihrer Vorlage, Leipzig, 1932. S. 74, n. 68. См.: *Laurans L.* Cicéron. Vie et oeuvres. V. II. P. 482.

[276] *Duchaček O.* 1978. P. 14.

[277] Принципиально не учитывая данные этимологии в определении семантики слова, Духачек считает lepos автохтонным в поле красоты и, возможно, более древним, чем pulchritudo.

[278] См., например: *Mange H.* Lateinische Synonimik. Heidelberg: Winter, 1959. S. 106–107. А между тем еще в Лексиконе Мария Назолия festivus связывается не только с лексикой остроумия (facetus), но и красоты (venustus, καλός (t. II.29), хотя festivitas определяется лишь как принадлежащая к лексике остроумия εὐτραπελία (t. II.24–25).

[279] См.: *Ernout A.* Metus–Timor // Philologica II. P. 28. На эту неясность обращал в свое время внимание А. Форчеллини (Totius latinitatis lexicon s. v. lepidus), не принимавший донатовской этимологии (к 427 ст. Eunuchus. Terentii), производившей его от λεπίς — lamina (lepidus homo. quia lamina politus est). Эрну вслед за Мейе отвергает сближение lepos. lepidus с λεπτός «тонкий, утонченный», приводимое Вальде – Хоффман-

ном (LEW 1) со ссылкой на Преллвица (Prellwitz2, 265) и Вальде (LEW2, 422).

[280] «Если основа *uelp-, содержащаяся в гр. (ϝ)έλπω, лат. volup-, представляет собой состояние I, то это заставляет нас ожидать состояние II *ulep, которое мы и находим фактически в лат. lepos, lep-idus. Наоборот, гр. λῆ-(=ϝλῆ-) предполагает II *ul-éə1 и I *uel-ə1, т. е. суффиксацию корня *uel- «хотеть» с помощью -ə-» (*Бенвенист Э.* Индоевропейское именное словообразование. М., 1955. С. 186).

[281] *Monteil P.* Op. cit. P. 138.

[282] Значительно различие в употреблении этих лексем в разных группах сочинений Цицерона. Так, lepos в философских сочинениях употребляется 9 раз, в речах — 2, в письмах — 5, в риторических трактатах — 28. Lepidus не встречается в философских трактатах, в речах и риторических трактатах — по одному разу, в письмах — 4 раза.

[283] Liber Curc. 114; Neptunus Ru. 358; Venus Peon. 849–850.

[284] homo (Men. 147–148; Mil. 649, 998; Pers. 791; Cas. 223; Ps. 323, 931); puer (Truc. 505); senex (Mil. 135, 155; Ps. 435; As. 580); anus (Curc. 120); vir (Mil. 1382; Cap. 954); mortalis (Truc. 247, 949); uxor (Cas. 1008); mulier)Mil. 788; Most. 206; Ps. 948; Poen. 697); femina (Mil. 1003); caput (Mil. 725); civis (Pers. 4740, fama (Mil. 1003), caput (Mil. 725); civis (Pers. 474); fama (Tri. 379).

[285] locus (Bac. 84, Per. 661, 696, Ru. 252).

[286] dies (Aul. 704); occasio (Mil. 977).

[287] opus (Mil. 682; Most. 262); mercimonium (Most. 912), amare (Cist. 3130, facinus (Poen. 308, 901; Men. 132); causa (Tri. 809).

[288] victus (Mil. 739; Most. 318 (R); Ps. 847); unguentum (Cos. 226).

[289] forma (Pers. 130; Ep. 43; Mil. 782, 871, 967); species (Ru. 415); spectaculum (Poen. 209); schema (Per. 463).

[290] litterae, tabellae, manus (Ps. 27–28 (в одной фразе, обыгрывающей lepidus); munera (Poen. 1176).

[291] mores (Poen. 307, Most. 168).

[292] 50 употреблений, среди которых немало в функции обращения типа lepidum te. Сюда же относятся и все употребления с forma и species в функции abl. qualitatis.

[293] facere (5), officere (3), concinnare (1). Сюда же следует отнести evenire (2), parare (1), agere (1), procedere (1), succedere (1), operam dare (2), deterrere (1).

[294] ludificare (4), ludere (2), deruncinare, exballistare, aucupare, circumducere, dissimulare, adsimulare, turbare.

[295] *Monteil...* P. 140.

[296] dicere (3), fabulari (2), loqui (2), verba facere, memorare.

[297] ornare (4) (Mil. 897; Per. 158; Poen. 297); lepide ornatus, sternere (Poen. 697) (lectum lepide stratum); vestire (Ep. 222).

[298] inest lepos in nuntio tuo magnus (Rud. 352).

[299] quod plus salis plusque leporis... habet.. (Cas. 218).

[300] inest lepos ludusque in hac comoedia (As.13).

[301] Ср.: neque salsum, neque suave esse potest quicquam (Cas. 222; ср.; 218).

[302] lepores в функции обращения (...mei lepores. 32) не имеет отношения к рассматриваемым случаям.

[303] Ut nunc esse vides vario distincta lepore. Omnia quae pomis intersita dulcibus ornant (V.1376–1377).

[304] Aurea pavonum ridenti imbuta lepore Saecla... (II.502–503).

[305] ...nitido capti levique lepore (V.1259).

[306] ...tam magis haec intius perfuse lepore
Omnia corrident... (IV.82–83).

[307] Veraque constituunt quae belle tangere possunt
Auris et lepido quae sunt fucata sonore (I.643–644).

[308] Ср. единственный случай у Горация, где lepidus оценивает слово как «изящное», «отделанное», противостоящее «неизящному» (inurbanum): Scimus inurbanum lepido seponere dicto... (A.P. 273).

[309] ...qui ne id quidem leporis habuerant, quod solent mediocres ludi...

[310] В возможности подстановки lepos и suavis могла играть роль и глубинная близость значений — принадлежность lepos к гедонистической лексике и этимологическая связь suadere и suavis.

[311] Ср.: ...a cultu atque humanitate provinciae... (Caes. B.G. I.1).

[312] Ср. у Плавта: lepos ludusque (As. 13); sal ... lepos (Cas. 218); у Катулла: lepos facetiaeque (12.8); lepos ac facetiae (50.7); sal et lepos (16.7).

[313] Цицероновская терминология комического, смех, остроумие и, в частности, facetum, facetiae рассматривается в книге: *Haury A.* L'ironie et l'humour chez Cicéron. Leiden. Brill, 1955. P. 55–64; 12, 180–187. См. также анализ этой терминологии в обстоятельной статье Чернявского М. Н. Теория смешного в трактате Цицерона «Об ораторе» // Цицерон. М., МГУ, 1959. С. 105–144; о лексике комического — С. 123–129).

[314] Актуальные проблемы лексикологии: Сб. М., 1967. С. 61.

[315] Однако Ори в книге о юморе у Цицерона не называет lepos среди синонимов, употребляемых Цицероном для выражения этого понятия.

[316] libandus est ex omni genere urbanitatis facetiarum quidam lepos (De or. I.159).

[317] Humanitas принадлежит к числу терминов латинской социально-культурной лексики, привлекавших самое настойчивое внимание исследователей различными сторонами — от анализа круга значений, присущих термину в Античности, до его зднейших употреблений и истории его семантики в новое время. Последнему вопросу, в частности, посвящен раздел в книге А. Будагова «История слов в истории общества» (М.: Просвещение, 1971. С. 140–148). Среди многочисленных работ, посвященных анализу истории и функционирования этой лексемы в латинском языке и, в частности, у Цицерона, назовем исследования: *Schneiderwin M.* Die antike Humanität. Berlin, 1897; *Reitzenstein R.* Werden und Wesem der Humanität in Altertum. Strassburg, 1907; *Boissier G.* A propos

d'un mot latin: comment les Romains ont connu l'humanité // Revue des deux monds. 1906. P. 762, 786; 1907. P. 82–116; *Nybakken O.* Humanitas romana // Transactions of the American philological Association. 1939. 70. P. 396–413; *Wehrli F.* Vom antiken Humanitätsbegriff. Zürich, 1939; *Klingner F.* Humanität und Humanitas. Beiträge zur geistigen Überlieferung. Bonn, 1947; *Beckmann F.* Humanitas, Ursprung und Idee. Münster, 1952; Meyer J. Humanitas bei Cicero Freiburg, 1550 (diss); *Schneider P. J.* Uhtersuchungen über das Verhältnis von Humanitas zu Recht und Gerechtigkeit bei Cicero Freiburg, 1964 (diss); *Haffer.* Die römische Humanitas // Neue Schweizer Rundschau. 1954. 21. S. 719–731; *Clarke M. L.* The Roman Mind. Studies in the History of Thought from Cicero to M. Aurelius. London: Cohen & West Ltd, 1965. P. 135–145; *Kuehnert P.* Zum Humanismus im Rom der republikanischen und der augusteischen Zeit. Wissenschaftliche Zeitschrift der F. Schiller — Univ. Jena, 1972. Reithe 21. S. 871–880; *Hellegouarc'h.* Le vocabulaire... P. 267–271; *Rothe Ch.* Humanitas, Fides und Verwandtes in der Romiacher Provinzialpolitiv, Berlin: Akad.Verl., 1978. S. 107; *Perl G.* Römischer Humanismus vor Ausprägung des Humanitas-Begriffes // Philologus. 1973. 117. S. 49–65; *Büchner K.* Ibid. 1964. S. 99, 499. Обзор работ по этой проблеме: *Haffter H.* Neuere Arbeiten zum Problem der Humanitas // Philologus. 1956. 100. S. 287–304. Этой же проблеме был посвящен ряд докладов на международном конгрессе по изучению латинской словесности в 1970 г. в Бухаресте. Среди этих докладов назовем: *Büchner K.* De humanitate in De legibus. P. 58–63; *Michel A.* De humanitate in Ciceronis studiis rhetoricis. P. 63–71; *Grollios K.* De graeca humanitate in Ciceronis libris de philosiphia. P. 71–76 // Acta conventus omnium gentium latinis litteris linguaeque fovendis. Bucurestiis MDCCCCLXX [1970]. Centrul de multiplicare al Universitatii din Bucuresti. Термин humanitas появляется в латинском языке относительно поздно, лишь с эпохи Цицерона, у которого, а также у Варрона и в «Ad Herennium» он впервые засвидетельствован: *Hellegouarc'h.* Le vocabulaire... P. 268. Его появление в языке часто связывают с проникновением в Рим греческого культурного влияния и, в частности, с деятельностью кружка Сципиона (Шнейдевин, Буассье, Рейценштейн и др.), а в нем самом видят отражение греческого φιλανθρωπία (ср.: *Clarke* o. c. P. 135; *Michel A.* De humanitate... P. 64). Мейе считает humanus переводом греческого φιλάνθρωπος (*Meillet A.* Esquisse d' histoire de la langue latine. P., 1928. P. 286). В то же время многие авторы подчеркивают наличие национально римских черт в этом понятии. Прилагательное humanus встречается в самых первых литературных памятников латинского языка (Pl. Merc. 6, 319; Mil. 1043; Most. 814; Ter. Andr. 113, 278; Eun. 880; Hec. 553; Phorm. 509). Из анализа их употребления Хаффер (с. 722) приходит к заключению, что невозможно обнаружить здесь ни малейшего влияния греческой модели (*Hellegouarc'h.* Le vocabulaire... P. 268, примеч. 9), более того, он считает Цицерона и Саллюстия создателями римской эллинизированной концепции humanitas, предполагая, что сам кружок Сципиона всего лишь мечта (Wunschtraum) Цицерона. (*Haffer...* S. 729–730; *Hellegouarc'h...* P. 271, примеч. 3). Отражение аутентично рим-

ских понятий видят в humilitas и другие авторы (Klinger, Beckmann. См.: *Hellegouarc'h.* P. 268, примеч. 10). Что же касается самого содержания термина, оно достаточно многообразно, строясь, однако, на стержневой идее, связывающей все семантичесике компоненты лексемы с выражением специфически человеческого, т. е. того, что объединяет всех людей как членов одного и того же рода, противопоставляя их животному. В трактате «Об обязанностях» Цицерон называет такие дифференциальные признаки человека, как способность, благодаря наделенности разумом, устанавливать причинно-следственные связи, стремление к взаимному общению (ad orationis et ad vitae societatem) к познанию нового, способность понимания прекрасного и должного (Off. I.11–14). Основные семантические компоненты понятия humanitas близки к цицероновской концепции человека. Это прежде всего идея доброжелательного, снисходительного, любезного обращения с людьми, здесь humanitas находит такие синонимы, как clementia, mansuetudo, misericordia. Для рассматриваемой эпохи такого рода аспект ее семантики приобретает достаточно выраженный социальный оттенок (см.: *Hellegouarc'h.* P. 260–269). Humanitas выражает и идею образованности, «культуры, знания». Именно как образование, воспитание (paideia) понимает этот термин Варрон (A. Gellius XII.17; см.: Кларке. о. с. P. 138). Для Цезаря humanitas прежде всего противоположность варварству (духовная и интеллектуальная культура как результат развития цивилизации и образования) (B.G. I.1, 3; 47.4; IV.3.3; V.14.1). У Цицерона humanitas часто объединено с litterae (Rosc.Am. 121; Ver. II.3.8; 4.98; Arch. 3; Fam. XI.27.6; XVI.14.2); doctrina (Lig.12; Deor. III.34; 94; R.p. II.35; T. V.66); studium (De or. I.256). Humanitas у него может обозначать вообще человеческий род, отличающийся от прочих живых существ способностью к речи: Quid magis proprium humanitatis? Hoc enim uno praestamus vel maxime quod colloquimur inter nos (De or. I.32). Как способность выражать специфически человеческие качества следует, очевидно, рассматривать и связь этой лексемы с выражениями юмора (De or. II.230; 270 и след.).

[318] *Walde A., Hoffmann J. B.* Lateinisches etymologisches Wörterbuch. Bd. I. Heidelberg, 1930. S. 454.

[319] Dictionnaire etymologique de la langue latine par A. Ernout et A. Meillet, 4 ed. P., 1999, s.v. feriae.

Сложнее этот вопрос решается на индоевропейском уровне. Если для старых этимологов Бреаля и Байи значение корня *-fes неясно (*Bréal M., Bailly A.* Dictionnaire etymologique latin. P., 1891. P. 90), а А. Ваничек связывает его с корнем *-bha(bha-n) в значении света, сверкания, явления (ср.: *Vanicek A.* Etymologisches Wörterbuch der lateiniscben Sprache Leipzig. 1861. S. 181), то в более новых работах (*Walde A., Pocorny J.* Vergleichendes Wörterbuch der indogermanichen Sprachen, Bd. I. Berlin; Leipsig, 1926: *Walde A., Hoffmann J. B.* Op. cit.) эта точка зрения, опирающаяся в первую очередь на Прелвица, не находит поддержки и корень *-fes, *-fas уже не связывается с корнем *-bha. См. также: *Fugier H.* Recherches sur l'expression

du sacré dans la langue latine. Strasbourg, 1963. P. 142, 151; *Cipriano P.* Fas e nefas. Roma, 1978. P. 17–19.

[320] *Ernout A., Meillet A.* Op. cit.

[321] Festivus встречается у Плавта 8 раз, у Теренция — 1, у Сенеки — 2, у Плиния — 5, у Апулея — 2, у Квинтилиана — 1, у Авсония — 2 раза; festive у Плавта — 1 раз, у Марциала — 2, у Гелия — 4, у Апулея — 4 раза; festivitas встречается по одному разу у Плавта, Теренция, Светония, Апулея, 3 раза у Геллия и множество раз у христианских авторов.

[322] Thesaurus linguae latinae. Vol. 6. Fasc. 3. Leipzig, 1916 (festivus).

[323] Thesaurus glossarum emendatarum. Ed. Goetz /Б. м./, 1901.

[324] «Festivitas dicta a festis diebus...» (Isidorus. Origenes, VI.18.1).

[325] Thesaurus linguae latinae. Vol. 6. Fasc. 3 (festivus).

[326] Eunuchus 1048 и примечание Доната к этому месту.

[327] Аналогично употребление festivitas в эпиграфическом тексте: ...hic con-dita ossa sunt venustae feminae... festivitate plurima, где при известной ненадежности реконструкции это слово может характеризовать внешние качества: красоту, прелесть, не исключающие и возможность характеристики духовного склада. Другой пример дает поздний (V в.) текст: ...illius feminae laudatur etiam sine forma festivitas, illius sola formositas... (Pomerii. De vita contemplativa III) — «...у этой женщины, даже если она некрасива, хвалят ее прелесть, у той же — одну красоту». Здесь festivitas противопоставлено formositas, причем последнее — несомненно внешняя, телесная красота (forma), тогда как festivitas может существовать etiam sine forma и является либо выражением внутреннего обаяния, прелести, либо употребляется в более узком значении «веселости, веселого нрава». Etiam подчеркивает исключительность ситуации festivitas sino forma, что дает возможность видеть в festivitas общее выражение «прелести», т. е. отнести данное слово к эстетическому ряду значений, с тем что акцент переносится в нем с внешних качеств на внутренние, сохраняя связь с первоначальной идеей «радости».

[328] Кроме Цицерона см. у Марциала: iocari (VI.44) dicere (XII.45) и у А. Геллия в «Noctes Atticae»: dicere (I.25.7), respondere (I.8.11), rescribere (XIII.4.1), inquit (IX.15.11).

У последнего находим и наибольшее число примеров на аналогичное употребление festivus: lepidum atque festivum mendacium «милая и забавная шутка», festivi delectabilesque apologi «веселые и занимательные притчи», argumentum lepidum et festivum «милый и забавный рассказ». Ср. также «Noctes Atticae» (X.4,3), где слово характеризуется как festivissimum et facetissimum — «очень забавное и остроумное». У Плиния festivum в значении «остроумный» объединяется с inexpectatum — «новое, неожиданное», то, что доставляет удовольствие. Единственный пример из Квинтилиана (Inst. orat. VI.3.39) весьма интересен: ...cum elegans et venusta exigitur compositio, tum id festivissimum est... quod orator exegit. Речь здесь идет об остроумной ораторской шутке sales; в этом контексте festivum обретает отчетливо выраженное значение «остроумный, забавный».

[329] De or. II.277.3; Ver. IV.49.162; Fr.B. XIII.5.1; Fl. 91; Phil. V.13; Att. I.12.4; IV.16.3.

[330] De or. I.108; De or. III.100.4; Piso 70.

[331] Par. 38.

[332] *Laurand L.* Étude sur le style... P. 339.

[333] *Monteil P.* Beau et Laid en Latin... P. 167–192.

[334] Ibid. P. 193–220. В подтверждение еще более общего значения «замечательный, выдающийся» Монтей ссылается на указанное место из речи против Пизона.

[335] Ibid. P. 221–240.

[336] В известной степени эстетическим содержанием (контекстно определяемым) эта лексема обладает в ряде писем Цицерона (Att. I.1.5; IV.6.4; VI.1.2; Fam. VII.32.2).

[337] Рассматриваемый текст, по существу, единственный, где festive оказывается членом эстетического ряда. В остальных случаях (D. II.35.107; Att. II.92; Q. II.15.4; Att. II.9.1; IV.14.2) festive не выходит за рамки расширительного употребления, свойственного разговорно-фамильярному стилю (ср. у Марциала: VI.44.1; XII.45.3; у Гелия в «Noctes Atticae»: I.25.7; I.8.11; IX.15.11; XIII.4.1).

[338] Ср.: ...dicendi vis egregia summa festivitate et venustate conjuncta... (De or. I.243) — «... выдающийся ораторский талант в соединении с величайшим остроумием и обаянием...».

[339] Аналогично семантическое развитие лексемы iucunditas (см. гл. II).

СЛОВАРИ

Thesaurus Linguae Latinae. Lipsiae: Teubner, 1900 – .

Porcellini Aeg. Totius Latinitatis lexicon. V. I–V. 1858–1875.

Nerguet. P. A. H. Lexicon zu den Schriften Cicero's. Jena, 1877–1894:

1) Lexicon su den Reden des Cicero. 1877. 1880. 1882. 1884. Bd. 1–4;

2) Lexicon su den Philosophischen Schriften. 1887. 1892. 1894. Bd. 1–3.

Lexicon Ciceronianum Marii Nisolii ex recensione Alexandri Scoti nunc crebris locis refectum et iunculcatum... iuxta editionem Jacopi Facciolati. Londini: J. F. Dove, 1820. Pars 1–3.

Ernesti J. A. Clavis Ciceroniana sive Indices rerum et verborum philologico-critici // Opera Ciceronis,.. Ed. quarta... Halae: Impensis Orphanotropei, 1777.

Sexti Pompei Festi De verborum significatu quae supersunt cum Pauli epitome. Lipsiae, 1913.

Abbot K. M., Oldfather W. A., Canter H. V. Index verborum in Ciceronis Rhetorica necnon incerti auctoris libros ad Herrenium. [S. l.]. 1964.

Oldfather W. A., Canter H. V., Abbot K. M. Index verborum Ciceronis epistolarum. University of Illinois Press, 1938.

Lodge G. Lexicon Plautinum. Leipzig, 1901–1933.

Vaniček A. Ethymologisches Wörterbuch der lateinischen Sprache. Leipzig, 1881.

Bréal M., Bailly A. Dictionnaire étymologique latin. P., 1891.

Walde A., Pokorny J. Vergleichendes Wörterbuch der indogermanischen Sprachen. Berlin; Leipzig, 1926. Bd. I–II.

Walde A., Hoffmann J. B. Lateinisches etimologisches Wörterbuch. Bd. I–II. Heidelberg, 1938.

Ernout A., Meillet A. Dictionnaire étymologique de la langue latine. 4-me ed. P., 1959.

Grandsaignes d'Hauterive R. Dictionnaire des racines des langues européennes. P.: Larousse, 1948.

ТЕКСТЫ

M. Tullii Ciceronis Opera quae supersunt omnia ex rec. J. C. Orellii. Ed. altera emendatior; Cur. J. C. Orellius et J. G. Baiterus. Turici (Zürich), 1845–1861. Vol. I–VIII.

M. Tullii Ciceronis Opera quae supersunt omnia / Ed. J. G. Baiter u. C. L. Kayser. Ed. stereotypa. Vol. I–XI. Lipsiae: Teubner, 1860–1869.

M. Tullii Ciceronis Scripta quae manserunt omnia / Rec. C. F. W. Müller. Ed. stereotypa. Vol. I–IX. Lipsiae: Teubner, 1878–1892.

M. Tullii Ciceronis Scripta quae manserunt omnia

Fasc. 1. Rhetorica ad Herrenium / Ed. F. Marx, W. Trillitzsch, Leipzig: Teubner, 1969.

Fasc. 3. De oratore / Ed. K. Kumaniecki, Leipzig: Teubner, 1969.

Fasc. 4. Brutus / Ed. E. Malcovati, Leipzig: Teubner, 1969.

Fasc. 39. De re publica / Ed. K. Ziegler. 7 ed. Leipzig: Teubner, 1969.

Fasc. 46. De divitatione. De fato. Timaeus / Ed. R. Giomini. Leipzig: Teubner, 1974.

Fasc. 48. De officiis. De virtutibus / Ed. C. Atzert. 6 ed. Leipzig: Teubner. 1971.

Cicero. De oratore / Erkl. von K. W. Piderit. 6 Auf. Leipzig: Teubner, 1889.

M. Tullii Ciceronis Orator / Erkl. von W. Kroll. Berlin: Weidmann, 1913.

P. Terenti Comoediae cum scholiis Aeli Donati et Eugraphi commentariis / Ed. R. Klotz, Vol. 1–2, Lipsiae, 1838–1840.

Plauti Comoediae / Rec. F. Lec. Berlin, 1895–1896.

Catulli Veronensis Liber / Rec. M. Schuster. Ed. ster. cur. W. Eisenhut. Lipsiae: Teubner, 1958.

T. Lucreti Cari De rerum natura / Rec. J. Martin. Lipsiae: Teubner, 1957.

ЛИТЕРАТУРА

Античная литература / Под ред. А. А. Тахо-Годи. М.: Просвещение, 1980.

Бенвенист Э. Индоевропейское именное словообразование. М.: Изд-во. иностр. литературы, 1955.

Вольф Е. М. Грамматика и семантика прилагательного. М.: Наука, 1978.

Гаспаров М. Л. Цицерон и античная риторика // *М. Т. Цицерон.* Три трактата об ораторском искусстве. М.: Наука, 1972.

Дробницкий О. Некоторые аспекты проблемы ценностей // Проблема ценности в философии. М.; Л., 1966.

Грабарь-Пассек М. Е. Начало политической карьеры Цицерона // Цицерон: Сб. статей. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 3–41.

Ивин А. А. Основания логики оценок. М.: МГУ, 1970.

Каган М. С. Лекции по марксистко-ленинской эстетике. 2-е изд. Л.: ЛГУ, 1971.

Кузнецова Т. И., Стрельникова И. П. Ораторское искусство в Древнем Риме. М.: Наука, 1976.

Кузнецова Т. Н. Речи Цитрона против Верреса // Цицерон: Сб. статей. М.: Изд-во АН СССР, 1958. С. 70–110.

Корш Ф. Б. Лекции, читанные в 1897–1898 гг. М., 1897.

Курилович Е. Заметки о значении слов // Очерки по лингвистике. М.: Изд-во иностр. литературы, 1962. С. 237–250.

Лосев А. Ф. Античные теории стиля в их историко-эстетической значимости // Античные риторики. М.: МГУ, 1978. С. 5–12.

Лосев А. Ф. Две необходимые предпосылки для построения истории эстетики до возникновения эстетики в качестве самостоятельной дисциплины // Эстетика и жизнь. Вып. 6. М.: Искусство, 1979. С. 221–238.

Лосев А. Ф. История античной эстетики: В 6 т. М., 1963–1980: Высшая школа; Искусство.

Лосев А. Ф. Цицерон // Античная литература. М.: Просвещение, 1980. С. 322–332.

Лосев А. Ф., Шестаков В. П. История эстетических категорий. М.: Искусство, 1965.

Лосев А. Ф. Эллинистически-римская эстетика. М.: МГУ, 1979.

Лосев А. Ф. Эстетика // Философская энциклопедия. Т. V. М., 1970. С. 570–572.

Лосев А. Ф. Эстетическая терминология Платона // Из истории эстетической мысли древности и средневековья. М., 1961. С. 17–62.

Лосев А. Ф. Эстетическая терминология ранней греческой литературы // Ученые записки Моск. гос. пед. ин-та им. В. И. Ленина. 1954. Т. 83. С. 37–263.

Маркс К. Экономическо-философские рукописи 1844 г. // *Маркс К., Энгельс Ф.* Из ранних произведений. М.: Госполитиздат, 1956.

Маркс К. Теории прибавочной стоимости // *Маркс К., Энгельс Ф.* Собр. соч. М.: Госполитиздат, 1960.

Нахов И. М. Цицерон и греческая культура // Цицерон: Сб. статей. М.: МГУ, 1959. С. 72–104.

Ошеров С. А. Римская литература в оценке Цицерона // Цицерон: Сб. статей. М.: МГУ, 1959. С. 145–175.

Петровский Ф. А. Литературная критика в античном мире // Очерки истории римской литературной критики. М.: Изд-во АН ССР, 1963. С. 3–6.

Петровский Ф. А. Литературные и эстетические идеи Цицерона // Цицерон: Сб. статей. М.: МГУ, 1958. С. 42–56.

Покровский М. М. Избранные работы по языкознанию. М.: Изд-во АН СССР, 1959.

Покровский М. М. Лекции по Цицерону, читанные в Имп. Московском университете в 1904/05 г. Ч. I. М., 1905 (литогр.).

Стрельникова И. П. Некоторые особенности ораторской манеры и стиля Цицерона (по Катилинариям) // Цицерон: Сб. статей. М.: МГУ, 1958. С. 111–149.

Стрельникова И. П. Цицерон как критик римской поэзии // Очерки истории римской литературной критики. М.: Изд-во АН ССР, 1963. С. 56–96.

Татаркевич В. Античная эстетика. М.: Искусство, 1977.

Тахо-Годи А. А. Дионисий Галикарнасский // Античные риторики. М.: МГУ, 1978. С. 319–322.

Тугаринов В. П. Теория ценностей в марксизме. Л., 1968.

Тугаринов В. П. Красота как ценность // Философские науки. 1963. № 4.

Столович Л. Н. Предмет эстетики. М.: Искусство, 1961.

Столович Л. Н. Ценностная природа категории прекрасного // Проблема ценности в философии. М.; Л., 1966.

Столович Л. Н. Природа эстетической ценности. М.: Политиздат, 1972.

Утченко С. Л. Идейно-политическая борьба в Риме накануне падения республики (из истории политических идей I в. до н.э.). М.: Изд-во АН СССР, 1952.

Утченко С. Л. Политические учения древнего Рима III–I вв. до н. э. М.: Наука, 1977.

Утченко С. Л. Цицерон и его время. М.: Мысль, 1973.

Утченко С. Л. Две шкалы римской системы ценностей // Вестник древней истории. 1972. № 4. С. 30–47.

Утченко С. Л. Еще раз о римской системе ценностей // Вестник древней истории. 1973. № 4. С. 19–32.

Фомина Т. К. Философская терминология Цицерона (на основе анализа трактата «De finibus bonorum et malorum»): Дис. ... к. филол. н. М., 1958.

Фомина Т. К. Философская терминология Цицерона (на основе анализа трактата «De finibus bonorum et malorum») // Уч. записки Рижского пед. ин-та. 1957. № 5. С. 193–211.

Фомина Т. К. Варианты и синонимы в философской терминологии Цицерона (на основе анализа трактата «De finibus bonorum et malorum») // Уч. записки Рижского пед. ин-та. 1957. С. 117–136.

Чернявский М. Н. Теория смешного в трактате Цицерона «Об ораторе» // Цицерон: Сб. статей. М.: МГУ, 1959. С. 15–144.

Шмелев Д. Н. Проблемы семантического анализа лексики. М.: Наука, 1973.

Штаерман Е. М. Цицерон и Цезарь в послевоенной буржуазной литературе // Вестник древней истории. 1950. № 3. С. 152–160.

Шталь И. В. Поэзия Гая Валерия Катулла. М.: Наука, 1977.

André J. Étude sur les termes de couleur dans la langue latine. P.: Klingsieck, 1949.

Bolsdon J. P. V. D. Auctoritas, dignitas, otium // The Classical Quarterly. 1960. 10. P. 43–50.

Barwick K. Das rednerische Bildungsideal Ciceros. Berlin: Akad. Verlag, 1963.

Benveniste E. Latin tempus // Mélanges, offerts a Alfred Ernout. P., 1940.

Büchner K. Studien zur Römischen Literatur, Bd. II: Cicero. Wiesbaden: K. Steiner Verlag, 1962.

Büchner K. Cicero. Bestand und Wandel seiner geistigen Welt. Heidelberg: Winter, 1964.

Boyancé P. Les méthodes de l'histore littéraire. Cicéron et son oeuvre philosophique // Revue des Études Latines. 1936. 14/1. P. 206–309.

Boyancé P. Travaux récents sur Cicéron (1939–1958) // Actes du Congres de l'Association G. Budé. P. 1960. P. 254–291.

Boyancé P. Les preuves stoïciennes de l'existence des dieux d'après Cicéron (De natura deorum, L. II) // Hermes. 1962. P. 45–71.

Bailleux R. Les sentiments familiaux de Cicéron d'après le vocabulaire de ses letters // Revue des Études Latines. 1933. 11. P. 66–68.

Causeret Ch. Étude sur la langue de la rhétorique et de la critique littéraire dans Cicéron, P., 1886.

Cipriano P. Fas e nefas. Roma, 1978.

Clarke M. L. The Roman Mind. Studies in the History of Thought from Cicero to Marcus Aurelius. L.: Cohen & West, Ltd. 1955.

Demmel M. Cicero und Paetos. Köln, 1962.

Desmouliez A. Sur la polémique de Cicéron et des Atticiste // Revue des Études Latines. 1952. 30. P. 168–185.

Desmouliez A. La signification esthétique des comparaisons entre le style et le corps humain dans la rhétorique antique // Revue des Études Latines. 1955. 33. P. 59.

Desmouliez A. Psychanalyse de Cicéron // Actes du Congrès de l'Association G. Budé. P.: Belles Lettres, 1906. P. 298–300.

Desmouliez A. Cicéron et son goût. Essai sur une definition d'une esthétique romaine à la fin de la République // Latomus. Revue d'études latines. Bruxelles, 1976.

Dumezil O. Gravitas et maiestas. De quelques différences entre les Romains et les Austronésiens. // Revue de phililogie. 1952. № 26. P. 7–28.

Duchaček O. Le champ conceptuel de la Beauté en francais moderne. Praha, 1960 (Stàtni pedagogické nakladatelstvi).

Duchaček O. L'evolution de l'articulation linquistique du domaine esthétique du latin au français contemporain. Brno: Univerzita J. B. Purkyně v Brně, 1978.

Douglas A. E. Cicero. Oxford: Clarendon, 1968.

Ernout A. Le vocabulaire poétique // Philologica II. Études et commentaries. P., 1957.

Ernout A. Metus–timor // Philologica II. P., 1957. P. 7–56.

Ernout A. Venus, venia, Cupido // Philologica II. P., 1957. P. 87–107.

Ernout A. Aspects du vocabulaire latin. P.: Klingsieck, 1954.

Ernout A. Mémorial des Études Latines. P., 1943.

Fiske G. C., Grant. Mary A. Cicero's De oratore and Horace's Ars poetica. Madison: University of Wisconsin, 1929.

Frank E. De vocis urbanitas apud Ciceronem vi atque usu. Berlin, 1933.

Fugier H. Recherches sur l'expression du Sacré dans la langue latine. Strasbourg: Publications de la faculté des lettres, 1963.

Guillemin A. La lettre de Cicéron a Lucceius (Fam. V. 12) // Revue des Études Latines. 1938. 16. P. 96–103.

Guillemin A. Cicéron entre le genie grec et mos maiorum // Revue des Études Latines. 1955. 33. P. 209–230.

Haury A. L'ironie et l'humour chez Cicéron. Leiden; Brill, 1955.

Hartung H. J. Ciceros Methode bei der Übersetzung griechischer philosophischer Termini (diss.). Hamburg, 1970.

Heinze R. Auctoritas // Hermes. 1925. 60. S. 348–366.

Heinze R. Fides // Hermes. 1929. 64. S. 140–166.

Helander H. On the Function of Abstract Nouns in Latin. Uppsala, 1977.

Hellegouarc'h J. Dignitas et la notion de convenance // Revue des Études Latines. 1961. № 33. P. 46–47.

Hellegouarc'h J. Le vocabulaire des relations et des partis politiques sous la république. P.: Les Belles Lettres, 1963.

Katsimanis K. E. Étude sur le rapport entre le Beau et le Bien chez Platon. Univ. de Lille III, 1967.

Kilb G. Ethische Grundbergriffe der alten Stoa und ihre Übertragung durch Cicero in dritten Buch De finibus bonorum et malorum. Freiburg: Herder und C., 1939.

Kleywegt A. Ciceros Arbeitsweise in zweiten und dritten Buch der Schrift De natura deorum. Groningen; Wolters, 1961.

Korpanty J. Studia nad łacińską terminologią polityczno-socialną okresu republiki rzymskiej. Wrozław. e.a., 1976.

Kühnert F. Zum Humanismus in Rom der republikanischen und der augusteischen Zeit / Wissenschaftliche Zeitschrift der F. Schiller-Universität. Jena. 1972. 21. S. 871–880.

Laurand L. De M.Tullii Ciceronis studiis rhetoricis. P., 1907.

Laurand L. Sur l'evolution de la langue et du style de Cicéron // Revue de Philologie. 1933. P. 62–72.

Laurand L. Cicéron. Vie et oeuvres. P.: Les Belles Lettres, 1933 (1938).

Laurand L. Études sur le style des discours do Cicéron. P., 1938–1940.

Langlois P. Les formations en -bundus. Index et commentaire // Revue des Études Latines. 1962. 39.

Lebreton J. Études sur la langue et la grammaire de Cicéron. P., 1965.

Linderbauer P. De verborum mutuatorum et peregrinorum apud Ciceronem usu et compensatione. Mette, 1892.

Lejeune M., Trier J. Venus. Etymologien zum das Futterlaub // Revue des Études Anciennes. Köln. 1963. 65. P. 410–413.

Lilja Saara. The Treatment of Odours in the Poetry of Antiquity. Helsinki: Soc. Scientiarum Fennica. 1972.

Leumann M., Hoffmann J. B., Szantyr A. Lateinische Grammatik. Bd. X: Lateinische Laut- und Formenlehre. 5 Aufl. München, 1963.

Marouseau J. Traité de stylistique latine. 2 ed. P., 1946.

Marouseau J., Liscu M. O. Étude sur la langue de la philosophie morale chez Cicéron // Revue des Études Latines. 1939. 8. P. 257–259.

Marouseau J., Oksola P. Die griechischen Lehnwörter in den Prosaschriften Ciceros // Revue des Études Latines. 1954. 32. P. 346–347.

Menge H. Lateinische Synonymik. Heidelberg: Winter, 1959.

Mignot X. Les verbes dénominatifs latins. P.: Klinsieck, 1969.

Michel A. De humanitate Ciceronis in studiis rhetoricis // Acta Conventus omnium gentium latinis litteris linguaeque fovendis. Bucurestiis (Bucureşti), 1970. P. 63–71.

Michel A. Les rapports de la rhétorique et de la philosophie dans l'oeuvre de Cicéron // Recherches sur les fondements philosophiques de l'art de persuader. P., 1960.

Michel A. Le Dialoque des orateurs de Tacite et la philosophie de Cicéron. P.: Klincksieck, 1962.

Michel A. Rhétorique, philosophie et esthétique générale. De Cicéron à l'Eupolinus // Revue des Études Latines. 1973. 51. P. 302–326.

Michel A. Rhétorique et philosophie dans les Tusculanes // Revue des Études Latines. 1966. 39. P. 158–171.

Michel A. Weische A. Cicero und die Neue Academie // Revue des Études Latines. 1961. 39. P. 305–306.

Michel A., Kleywegt A. Ciceros Arbeitsweise ... // Revue des Études Latines. 1961. 39. P. 307–306.

Mikkola E. Die Abstraction im lateinischen. Eine semantisch-morphologische Uhtersuchung auf Begriffsanalytischer literaturgeschichtlicher Grandlage. T. II. Helsinki, 1964.

Morillon P. Sentire, sensus, sententia. Recherche sur la vocabulaire de la vie intellectuelle, affective et physiologique on latin. Université de Lille III, 1974.

Monteil P. Beau et Laid en Latin. Étude de vocabulaire. P.: Klincksieck, 1964.

Moussy Cl. Gratia et sa famille. P., 1966.

Moussy Cl. Gratus et iucundus // Revue des Études Latines. 1964. 42. P. 389–400.

Moussy Cl. Esquisse de l'histoire de Monstrum // Revue des Études latines. 1970. 55. P. 345–369.

Moussy Cl. Veneres Cupidinesque (Catullus 3.1) // Mélanges offerts a Leopold Sédar Senghor (extrait). P. 305–314.

Müller H. Ciceros Prosaübersetzungen. Marburg: Görigh u. Weiteshöuser, 1964.

Nicolet C., Michel A. Cicéron. P., 1960.

Oksala P. Die griechischen Lehnwörter in den Prosaschriften Ciceros. Helsinki, 1953.

Pellicer A. Natura. Étude sémantique et historique du mot latin. P., 1966.

Peterson T. Cicero. Abiography. N.Y.: Biblo &Tannen, 1963.

Perrot J., Monteil P Beau et Laid en latin // Revue des Études Latines. 1966. 39. P. 537–541.

Pohlenz M. Τὸ πρέπον. Ein Beitrag zur Geschichte des griechischen Geistes // Nachrichten von Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Philosophisch-historische Klasse. Hft. I. Berlin. 193[illegible] S. 53–92.

Pohlenz M. Antikes Führertum. Cicero. De officiis und Leben[illegible]

dos Panaitios. Neue Wege zur Antike II. Reihe Intrpretationon. H. 3. Leipzig: Teubner, 1934.

Pohlenz M. Cicero De officiis III. Nachrichten von der Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen. Berlin: Weidmannsche Verlagsbuchhadlung, 1934.

Poncelet R. Précision et intensité dans la prose latine // Revue des Études latines 1948. № 26. P. 134–156.

Poncelet R. Ciceron, traducteur de Platon. L'expression de la pensée complexe en latin classique. P.: Broccard, 1953 (1957).

Poncelet R. Sur la forme cicéronienne du latin de pensée; influences grecques et solutions latines // Actes du Congres de l'Association G. Budé. P., 1960. P. 307–310.

Ramage E. S. Urbanitas. Cicero and Quintilian // American Journal of Philology. 1963. № 84. P. 390–414.

Rothe Ch. Humanitas, Fides und Verwandtes in der Römischen Provinzialpolitik. Berlin: Akademie Verlag, 1978.

Seel W. Wort, Staat, Welt. Stuttgart: E. Klegt, 1953.

Smith R. E. Cicero the Statesman. Cambridge, 1966.

Stroux J. De Theophrasti virtutibus dicendi. Lipsiae, 1912.

Süss W. Cicero. Eine Einführung in seine philosophischen Schriften (mit Ausschluß der staatsphilosophisehen Werke). Wiesbaden, 1966.

Testard M. Saint Augustin et Cicéron. Vol. I: Cicéron dans la formation et dans l'oeuvre de Saint Augustin // Études augustiniennes. P., 1958.

Testard M., Michel A. Rhétorique et philosophie chez Cicéron // Revue des Études Latines. 1963. 40. P. 277–281.

Svoboda K. Les idées esthétiques de Cicéron // Acta Sessionis Ciceronianae 1957. Warsawa, 1960. P. 109–120.

Svoboda K. Les idées esthétiques de Sénèque // Mélanges de philologie de littérature et d'histoire ancienne offerts à J. Marouzeau par ses collégues et élèves étrangers. P.: Belles Lettres, 1948. P. 537–546.

Valente M. L'éthique stoïcienne chez Cicéron. P., 1956.

Viansino G. Introduzione critica alla letteratura latina. Solerno, 1975.

Wagenwoort M. H. Roman dynamism. Studies in ancient roman thought, language and custom. Oxford, 1947.

Weil B. 200 Jahre Cicero. Zürich; Stuttgart: Werner, 1962.

Weische A. Ciceros Nachahmung der Attischen Redner. Heidelberg: Winter, 1972. S. 203.

TABULA GRATULATORIA

Кафедра классической филологии филологического факультет МГУ им. М. В. Ломоносова

Антонец
Екатерина Владимировна
Беликов Алексей Евгеньевич
Гришина Ева Германовна
Забудская Яна Леонидовна
Завьялова Валентина Петровна
Золотухина Анастасия Игоревна
Крючков Максим Николаевич
Кузнецов Александр Евгеньевич
Лопатина Мария Георгиевна
Муханова Вита Витальевна
Никитинский Олег Дмитриевич
Павлова Ольга Сергеевна
Пикова Ирина Михайловна
Поняева Людмила Павловна
Савельева Ольга Михайловна
Самар Ольга Юрьевна
Славятинская
Марина Николаевна
Солопов Алексей Иванович
Старостина Наталья Андреевна
Степанцов
Сергей Александрович
Тахо-Годи Аза Алибековна
Теперик Тамара Федоровна
Шефф Инна Альбертовна
Янзина Эвелина Вячеславовна

Кафедра византийской и новогреческой филологии филологического факультета МГУ им. М. В. Ломоносова

Афиногенов Дмитрий
Евгеньевич
Бибиков Михаил Вадимович
Жаркая Анастасия Юрьевна
Климова Ксения Анатольевна
Самойленко Татьяна Игоревна
Тресорукова Ирина Витальевна
Фонкич Борис Львович
Этингоф Ольга Евгеньевна
Яламас Дмитрий Афанасьевич

Кафедра классической филологии Института восточных культур и античности РГГУ

Ахунова (Левинская)
Ольга Леонидовна
Брагинская
Нина Владимировна
Гринцер Николай Павлович
Касаткина Анна Леонидовна
Касьян Мария Сергеевна
Макаров Игорь Анатольевич
Матусова
Екатерина Дмитриевна
Мостовая Вера Геннадиевна
Никольский Борис Михайлович
Потемкин
Александр Рудольфович
Торшилов Дмитрий Олегович
Шумилин
Михаил Владимирович

Кафедра древних языков Института лингвистики РГГУ

Ванюков Андрей Сергеевич
Герасимова Людмила Юрьевна
Златинский Роман Николаевич
Михайлова
Татьяна Александровна
Смирнова Виктория Викторовна

Кафедра древних языков и древнехристианской письменности Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета

Александрова Татьяна Львовна
Волкова Мария Витальевна
Головнина Наталья Геннадьевна
Дужина Наталья Ильинична
Камянченко
Светлана Андреевна
Кулькова Наталья Алексеевна
Матерова Елизавета Викторовна
Пенская Дарья Сергеевна
Сорокина Наталья Сергеевна
Стриевская Ольга Львовна
Шичалин Юрий Анатольевич

Кафедра классической филологии Московского лингвистического университета

Верещагина
Ангелина Васильевна
Кацман Нина Лазаревна
Таривердиева Мария Акоповна
Ульянова Ирина Леонидовна
Ходорковская
Беатриса Борисовна
Шопина Нина Родионовна

Сектор латинского языка кафедры иностранных языков филологического факультета РУДН

Бородина Мария Анатольевна
Качалкин
Анатолий Анатольевич
Провоторова Елена Аркадьевна
Уварова Мария Алексеевна
Шавырина Татьяна Георгиевна

Museum Graeco-Latinum

* * *

Агринская Ирина Анатольевна
Александров
Николай Дмитриевич
Александрова
Татьяна Суреновна
Алиева Ольга Валерьевна
Альтшулер Павел Борисович
Архангельская Анна Валерьевна
Архипов Андрей Анатольевич
Протоиерей Валентин Асмус
Священник Михаил Асмус
Бабенко Евгений Владимирович
Барский Евгений
Баунов Александр Германович
Беленькая Евгения Михайловна
Белова Ольга Владиславовна
Белоусов Алексей
Владиславович
Бобрик (Фремке) Марина
Анатольевна (Берлин)
Боданская Надя (Сан-
Франциско)
Богдановский Алексей
Сергеевич
Болотская Любовь Леонидовна
Большакова
Светлана Александровна
Борисенко Вера Васильевна
(Белград)
Бородай Татьяна Юрьевна
Бродский Всеволод Михайлович
Бройтман Марина Самсоновна
Бут Екатерина Александровна
Вафа Анис Хабибович
Вексина Марина Владиславовна
(Базель)
Викторова Надежда Дмитриевна
Волочаева Наталия Анатольевна
Волчкевич Анастасия Юрьевна
Воронина (Бурмистрова)
Наталья Владимировна

Вревская Анастасия Викторовна
Гаврилина Ольга Александровна
Гадзацев Кирилл
Гандлевская Екатерина Юрьевна
Герасимова (Луферчик) Мария Викторовна
Гимадеев Ильяс Рустэмович
Голубицкая Анна Анатольевна
Горшков Андрей Иванович
Грацианская Любовь Игоревна
Грацианский Михаил Вячеславович
Грибкова (Огнянова) Елена Михайловна
Григорьева Александра Александровна
Грюнерт Анна
Грюнерт-Струтинская Юлия Геннадиевна (Швейцария)
Гуртовая Катерина Михайловна
Гуртовой Константин Георгиевич
Давыдов Тихон Георгиевич
Десницкий Андрей Сергеевич
Джаксон Татьяна Николаевна
Дзядко Филипп Викторович
Дорошевич Елизавета Александровна
Евдокимова Марина Михайловна
Ершов Александр Александрович
Жаворонков Алексей Геннадьевич (Потсдам)
Журавлев Анатолий Федорович
Задорожный Алексей Владимирович (Ливерпуль)
Захарова (Клековкина) Ольга Эрастовна
Зелькова Анна Сергеевна
Златинский Роман Николаевич
Золотухин Александр Валерьевич
Золотухина Наталья Борисовна
Зуева Елизавета Владимировна
Зяблицына Наталья Александровна
Иванов Сергей Аркадьевич
Иванчик Аскольд Игоревич
Иксанова Екатерина
Илюшечкин Виктор Николаевич
Илюшечкина Екатерина Викторовна
Каганович Борис Соломонович
Казанский Николай Николаевич
Калинина Антонина Федоровна (Оксфорд)
Касьянова Мария Ивановна
Каячев Борис Александрович (Лидс)
Ковалева Анна Олеговна
Коротенко (Умнова) Лилия Григорьевна
Кравецкий Александр Геннадьевич
Красухин Константин Геннадьевич
Круглова Капитолина Владимировна
Крюкова Анна Николаевна
Кузенков Павел Владимирович
Кузнецова Луиза Анестиевна
Курилова Анна Дмитриевна
Кучерова Екатерина
Левонтина Ирина Борисовна
Летунова Валентина Александровна
Линько Алла Васильевна
Литвинов Дмитрий Александрович
Литвинова Ольга Александрована
Лифшиц Александр Львович

Любжин Алексей Игоревич
Магомедова Дина Махмудовна
Максимович
Кирилл Александрович
Малинчик Ольга Мироновна
Малкина Виктория Яковлевна
Маломуд Анна Михайловна
Мальчукова Татьяна Георгиевна
Марей (Криницына)
Елена Сергеевна
Маринина (Галкина) Елена
Викторовна
Мартиросова (Торлоне)
Зара (Майами)
Матузова Вера Ивановна
Маяк Ия Леонидовна
Медведев Артем Михайлович
Мейланова Делия Вазифовна
Мельникова Елена
Александровна
Миндрул Ольга Сергееевна
Михайлов Петр Борисович
Михайлова София Борисовна
Мороз Андрей Борисович
Мучкаева (Манко)
Виктория Вячеславовна
Муравьев Алексей
Владимирович
Муравьева Мария (Лада)
Муравьева (Людмирская)
Галина Даниловна
Мушинская Мария Савельевна
Непочатова Марина
Никешина Нина Николаевна
Никольский Иван Михайлович
Новодранова Валентина
Федоровна
Новохатько Анна Алексеевна
(Фрайбург)
Оксенюк (Новикова)
Александра Анатольевна
Осипова Ольга Владимировна
Отто Дарья Александровна
Паит Майя Яковлевна (Берлин)
Петров Валерий Валентинович
Петрова Галина Всеволодовна
Подземская Надя (Париж)
Позднякова Наталья Алексеевна
Полякова Светлана
Энгельгардовна
Попова Анна Александровна
Пролыгина Ирина Викторовна
Пьявко Василиса Владиславовна
Радциг Эмма Васильевна
Радциг Тамара Алексеевна
Раушенбах Мария Георгиевна
Рачкаускас Игнацас Юозович
(Нидерланды)
Розинская Мария Михайловна
Ройшель (Ильина) Екатерина
Сергеевна (Дрезден)
Россиус Андрей Александрович
Рубцова Нина Авенировна
Рыбакова Ирина Викторовна
Савченко Юлия Александровна
Садакова Яна Сергеевна
Сашина Наталья Александровна
Семенова Полина Николаевна
Сиднева Светлана
Александровна
Следников Алексей Георгиевич
Снигирева Ирина Олеговна
Сокольская Мария Мироновна
(Берн)
Сонькин Виктор Валентинович
Стасенко Злата Станиславовна
Строганова Мария Васильевна
Сумм Любовь Борисовна
Тайлашева Наталья
Владимировна
Титова Ольга Васильевна
Толстова София Андреевна
Тоскин Александр Юрьевич
Трубкина Надежда Федоровна

Усачев Юрий Владимирович
Усачева Анна Вячеславовна
Усачева Вера Сергеевна
Файер Владимир Владимирович
Федорцова Анна Юрьевна
Федотова Анна Геннадьевна
Федотова Марина Викторовна
Харитонов Илья Сергеевич
Харитонова Мария Александровна
Харламова Софья Александровна
Хоанг (Анашкина) Елена Николаевна
Чёха Оксана Владимировна
Цивьян Татьяна Владимировна
Цимлова Лилия Федоровна
Шахов Юрий
Шиловский Дмитрий Павлович
Широнина Елена Владимировна
Шичалина (Дружинина) Елена Федоровна
Штейн Ася Владимировна
Шульман Ольга Иосифовна
Щербакова Елизавета Александровна
Щур (Чехарина) Вероника Игоревна
Эрамжян Христофор Андреевич
Эппле Николай Владимирович
Юзефович Галина Леонидовна
Юровицкая Мария Михайловна
Яницкая Галина Ивановна
Яницкий Олег Николаевич

DE HUIUS LIBELLI AUCTORIBUS

Альбрехт Михаэль фон — профессор, д. филол. наук (Гейдельбергский университет, Германия); действительный член Государственной академии Вергилия (Accademia Nazionale Virgiliana, Италия), действительный член Международной академии изучения латинского языка (Academia Latinitati fovendae), почетный доктор Университета Аристотеля в Салониках (Греция), лауреат премии Иоганна Генриха Фосса за выдающиеся достижения в области перевода, почетный член российской академии наук.

Анашкин Антон Владимирович — преподаватель кафедры древних языков и древнехристианской письменности богословского факультета ПСТГУ, сотрудник Российского института стратегических исследований.

Андросова Вероника Александровна — канд. богословия, ст. преподаватель кафедры библеистики ПСТГУ, преподаватель кафедры иностранных языков Международного университета в Москве.

Антонец Екатерина Владимировна — филолог-классик, д. филол. наук, доцент кафедры классической филологии филфака МГУ.

Аусем Ирина Анатольевна — преподаватель истории русской литературы и сравнительной мифологии в вузах Москвы.

Афанасьева Марина Ивановна — филолог-классик; литературный редактор Католической энциклопедии.

Афиногенова (Заец) Ольга Николаевна — к. ист. наук; заведующая редакцией агиографии в ЦНЦ «Православная энциклопедия», преподаватель Московской духовной академии.

Бибиков Михаил Вадимович — филолог-классик, историк-византинист, д. ист. наук, профессор, заведующий кафедрой византийской и новогреческой филологии филфака МГУ; главный научный сотрудник, заведующий отделом истории Византии ИВИ РАН, вице-президент Российского национального комитета византинистов, академик Амброзианской академии (Милан, Италия).

Брагинская Нина Владимировна — филолог-классик и историк культуры, переводчик; д. ист. наук, профессор ИВКА РГГУ, ведущий научный сотрудник Института высших гуманитарных

исследований РГГУ, руководитель научно-учебного центра антиковедения ИВКА.

Ванюков Андрей Сергеевич — преподаватель кафедры древних языков факультета теоретической и прикладной лингвистики Института лингвистики РГГУ.

Геронимус Василий Александрович — к. филол. наук; науч. сотрудник музея-заповедника А. С. Пушкина (Захарово-Вязёмы).

Гринцер Николай Павлович — филолог-классик, д. филол. наук, профессор, заведующий кафедрой классической филологии ИВКА РГГУ, директор ШАГИ РАНХиГС.

Дашевский Григорий Михайлович (1964–2013) — филолог-классик, поэт, переводчик, литературный критик.

Дегтярев Юрий Иванович — д. техн. наук, профессор МАИ, представитель промышленности (ФГУ НИИ РИНКЦЭ РФ), председатель Государственной аттестационной комиссии.

Драгунский Денис Викторович — филолог-классик, политолог; писатель, драматург, публицист, журналист.

Захарова Аглая Валентиновна — филолог-классик, к. филол. наук.

Иашвили Нина Арчиловна — филолог; преподаватель на лингвистических курсах (Классическая гимназия при ГЛК Ю. А. Шичалина).

Касьян (Бочарова) Мария Сергеевна — филолог-классик, ст. преподаватель кафедры классической филологии ИВКА РГГУ.

Киндинов Евгений Арсеньевич — народный артист РФ, артист МХТ им. А. П. Чехова.

Киндинова Галина Максимовна — заслуженная артистка РФ, артистка МХТ им. А. П. Чехова.

Кузнецов Александр Евгеньевич — филолог-классик; д. филол. наук, доцент кафедры классической филологии филфака МГУ.

Кулькова Наталья Алексеевна — филолог-классик; к. филол. наук, доцент кафедры древних языков и древнехристианской письменности Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета.

Малева Татьяна Михайловна — экономист; к. экон. наук, доктор делового администрирования, директор Института социального анализа и прогнозирования (ИНСАП) РАНХиГС.

Малинаускене Надежда Касимовна — филолог-классик; к. филол. наук, доцент.

Михайлова Татьяна Александровна — филолог-классик, к. филол. наук, преподаватель кафедры древних языков Института лингвистики РГГУ.

Никитина Александра Сергеевна — филолог; аспирантка МГПИ, специалист секретариата Управления делами Московской Патриархии.

Никифорова Мария Евгеньевна — филолог, историк, публицист.

Нисенбаум Михаил Ефимович — писатель, филолог-классик, издатель, журналист, преподаватель МФЮА.

Подземская Нина Марковна — филолог-классик, переводчик, член Союза писателей СССР (Париж).

Подосинов Александр Васильевич — филолог-классик, историк-антиковед, д. ист. наук, заведующий кафедрой древних языков истфака МГУ; профессор Центра антиковедения ИВКА РГГУ, главный научный сотрудник ИВИ РАН.

Поляков Федор Борисович — профессор, Institut für Slawistik der Universität Wien.

Полякова Галина Федоровна — филолог-классик (Мюнхен).

Ревазишвили Гугули Георгиевна — заслуженный работник культуры РФ, директор ГОУ ДМШ им. С. И. Танеева, почетный член Международной академии музыки Гилельса–Когана, лауреат премии Николая Рериха в номинации «Сохранение культурных ценностей и миротворчество».

Рубанова Елена Иосифовна — художник, член Союза художников России (ее работы находятся в музеях и частных собраниях России, Германии, США, Нидерландов, Англии, Израиля, Бельгии, Чехии).

Рыбакова Мария Александровна — филолог-классик, писатель, доктор философии, преподаватель университета Сан-Диего.

Савельева Ольга Михайловна — филолог-классик, к. филол. наук, доцент кафедры классической филологии филфака МГУ.

Славятинская Марина Николаевна — филолог-классик, к. филол. наук, доцент кафедры классической филологии филфака МГУ.

Смыка Ольга Викторовна — филолог-классик; ст. преподаватель кафедры древних языков истфака МГУ.

Солопов Алексей Иванович — филолог-классик; д. филол. наук, профессор, заведующий кафедрой классической филологии филфака МГУ.

Старостина Наталия Андреевна — филолог-классик; ст. преподаватель кафедры классической филологии филфака МГУ.

Теперик Тамара Федоровна — филолог-классик, д. филол. наук, доцент кафедры классической филологии филфака МГУ.

Тер-Минасова Светлана Григорьевна — филолог, лингвист, д. филол. наук, заслуженный профессор МГУ (1998), почетный профессор Бирмингемского университета, (Великобритания, 2002), почетный доктор словесности университета штата Нью-Йорк (США, 2007), почетный профессор Российско-Армянского (Славянского) университета (Армения), приглашенный профессор Национального исследовательского Томского государственного университета (Россия, 2013), президент ФИЯР МГУ, президент-основатель Национального объединения преподавателей английского языка России, Национального общества прикладной лингвистики.

Федорова Екатерина Сергеевна — д. культурологии, к. филол. наук; профессор ФИЯР МГУ, научный куратор ГБОУ ДМШ им. С. И. Танеева, член комиссии «Сохранение природного и культурного наследия России» при Президиуме РАН.

Фрумкина Ревекка Марковна — лингвист, психолог, эссеист; д. филол. наук, профессор; научный сотрудник Института языкознания РАН.

Чернейко Людмила Олеговна — филолог-русист, поэт; д. филол. наук, профессор кафедры русского языка филфака МГУ.

Чернышова Маргарита Ивановна — филолог; д. филол. наук, ведущий научный сотрудник Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН.

Шелогурова Галина Николаевна — филолог-русист; к. филол. наук; Русский учебный центр МС —«Мировое сотрудничество».

Эпштейн Лина Мироновна — химик, психолог, д. хим. наук, профессор; ведущий научный сотрудник Института элементоорганических соединений им. А. Н. Несмеянова РАН.

СОДЕРЖАНИЕ

DE NICOLAI VITA ET ARTE DOCENDI

Григорий Дашевский. Nicolai Alexii filii Curriculum vitae 3
Екатерина Федорова. Московские адреса латиниста
Николая Федорова. 5
В «поле красоты» 27
Интервью с Н. А. Федоровым
«Тех, у кого учился, не забываю» *(Беседовал и записал Виктор Муханов)*. 60
«Научить читать, то есть понимать...» *(Записали студенты РГГУ)*. 74

NICOLAO ALEXII FILIO – AMICI, COLLEGAE, DISCIPULI

Михаэль фон Альбрехт 99
Антон Анашкин. 108
Вероника Андросова. 110
Екатерина Антонец 111
Ирина Аусем. 126
Марина Афанасьева 129
Ольга Афиногенова 131
Михаил Бибиков 131
Нина Брагинская 135
Андрей Ванюков 136
Василий Геронимус 137
Николай Гринцер 147
Юрий Дегтярев 151
Денис Драгунский 154
Аглая Захарова 156
Нина Иашвили 160
Мария Касьян 162
Галина и Евгений Киндиновы 163
Александр Кузнецов 164
Наталья Кулькова 180
Татьяна Малева 181
Надежда Малинаускене 183
Татьяна Михайлова 188

Мария Никифорова 190
Михаил Нисенбаум 192
Нина Подземская 193
Александр Подосинов 194
Федор Поляков 197
Галина Полякова 199
Александра Никитина 200
Гугули Ревазишвили 200
Елена Рубанова 202
Мария Рыбакова 203
Ольга Савельева 204
Марина Славятинская 210
Наталия Старостина 214
Ольга Смыка 218
Алексей Солопов 224
Тамара Теперик 227
Светлана Тер-Минасова 231
Ревекка Фрумкина 233
Людмила Чернейко 236
Маргарита Чернышова 237
Галина Шелогурова 245
Лина Эпштейн 247

NICOLAI FEDOROV SCRIPTA MINORA

De statu et studio Latinitatis in Russia 250
Становление эстетической лексики Цицерона 259
Tabula gratulatoria 461
De huius libelli auctoribus 466

Научно-популярное издание

ARS DOCENDI
ИСКУССТВО НАУЧИТЬ

К 90-летию латиниста
Николая Алексеевича Федорова

Художественное оформление *Ю. Б. Коробовой*
Корректор *Е. Б. Варфоломеева*
Верстка *Ю. Б. Коробовой*

Подписано в печать 27.11.2015. Формат 60x90 1/16
Объем 29,5 п. л. Тираж 300 экз.

Издательство Православного Свято-Тихоновского
гуманитарного университета
115184, Москва, Новокузнецкая ул., д. 23, корп. 5а
E-mail: izdat@pstgu.ru
www.pstgu.ru

Отпечатано в ООО «Клаб Принт»
127018, г. Москва, Марьиной Рощи 3-й проезд, д. 40, корп. 1.
Заказ № 1263

ARS DOCENDI
ИСКУССТВО НАУЧИТЬ

К 90-летию латиниста
Николая Алексеевича Федорова











Николай Алексеевич Федоров — легендарный московский латинист, чья преподавательская деятельность составила целую эпоху в истории отечественного классического образования. Вот уже 70 лет (с 1945) он в МГУ имени М.В. Ломоносова, 20 лет преподает в РГГУ, 15 — в ПСТГУ. Является и сегодня популярным среди студенчества преподавателем, остается любимым учителем для многих поколений филологов. Учебник Lingua Latina, написанный совместно с коллегой и другом В.И. Мирошенковой, более полувека востребован в столичных вузах и образовательных учреждениях других городов. Вышел в свет он и в этом году — в качестве награды его получили призеры Латинской Олимпиады-2015. Н.А. Федоров —известный переводчик (Цицерон, Френсис Бэкон, Готфрид Лейбниц, Томас Гоббс, Джон Локк, Пьер Гассенди, авторы эпохи Возрождения). В год своего девяностолетия он работает над переводом св. Амвросия Медиоланского, латинского учителя церкви IV в. н.э.

